95 коп. Индекс 73276



«Нева», 1989, № 12, 1—208

НЕВА 12 1989

12/1989

ISSN 0130—741X

Вяч. РЫБАКОВ
Не успеть
Повесть

Б. ГОЛЛЕР
Привал комедианта
Пьеса

Нева

Р. КОНКВЕСТ
Большой террор

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

А. АНСЕЛЬМ
Запад есть Запад,
Восток есть Восток!



«Лебяжья канавка»

Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

12/1989

Выходит с апреля 1955 года

Ленинград «Художественная литература». Ленинградское отделение

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

В номере цветная вклейка: «Страна Гальбландия».

Сдано в набор 28.08.89. Подписано к печати 30.10.89. М-25017. Формат бумаги 70×108[1]/16. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 24,05+2 вкл.=24,34 уч.-изд. л. Тираж 675 000 экз. Заказ 233. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Леонид АГЕЕВ

◆◆◆

Грядущий век... Реальность. Не мираж.
В двенадцать верст — последняя теснина
до берега... Грядущий век — не наш.
Все явственней — на слух — его пучина.
Густеет ветра крепнущего соль.
Без прежней — за грядущее — тревоги
последнюю усваивают боль
души и тела темные ожоги.

На отболевшем *нашем*, отходном,
нам так их не случайно обновляли,
что мы привыкли: с ними доживем,
как многие — в отшелестевшей яви...
Успеть бы лишь,
паскудно не забыть
в тщете коловращенья вхолостую —
над пропастью березку посадить,
с отцовскою березой одесную...

Командарм

Убежденный, что «дела» вздорного
скоро кончится канитель,
в приближении лета скоро —
«...пересыпь нафталином шинель!» —
написал жене...

Человеку ли
знать —
что не постижимо уму?
И шинель надеть будет некому,
«пересыпать» — не будет кому...

◆◆◆

Проще всего говорить: «Это было!».
Было и это... случалось и то...
Не сосчитать —
подводящих уныло
дням своим распотрошенным
итог.
Проще всего говорить: «Это будет!».
Все впереди, мол,
рванем — будь здоров!
Только надкушен поджаристый бублик,
чаша веселья полна до краев!
О настоящем — сложнее. Труднее.

Суть настоящего затенена.
Как ты устал от бредовой идеи —
муху поймать, чтобы сделать слона!..
Прошлое можно искусно припудрить,
бодрую песню грядущему спеть.
Мало ль, какою ты маялся дурью
за перспективу — не маяться впредь?!
А в настоящем...
И сила — не сила,
вся изоляция нервов — труха:
чуть перегрузка — и закоротило,
тычется слепо в рубильник рука...

Игры
(Полушутейное)

На вершине Кавказа седого
и незрелую грушу жевал
и огрызок,
а вслед за ним — слово
бросил в пропасть: случился обвал...
У истока незнатной речонки
как-то я по весне...
А потом
долго с телеэкрана ученый
объяснял небывалый потоп...
И подумал я: что за холера?!
И задумался: что за дела?!
Далеко тебе до Гулливера,
не потомок ты Гаргантюа...

Значит, истинно: все до предела
уплотнилось и сжалось вокруг,
спеленал твое грешное тело
бытия не спасательный круг.
День за днем
в водопаде известий
зябко ежится сердце твое.
В ненадежном каком равновесье —
это самое
бытие!
...Не помять бы старушку в трамвае.
Не обидеть бы в поле пчелу.
В обреченные игры играя,
не развеять бы в космос золу...

Явка обязательна

А кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят...
Наум Коржавин

1

Подполковники милиции...
и советники юстиции...
над столом «Казбека» дым...
Человек не дрейфить силится
и стихи читает им.
Он, сюда повесткой вызванный,
должен снова убедить,
что все мысли его — вызнаны,
что не кличет он беды
на родимое правительство,
на родной советский строй,
а особо — на провидца,
на того, кто всей страной
обожвем...
Подполковники
и советники молчвт.
На закатном подоконнике
глобус пламенем объят...

2

...Дочитать —
с мольбою: верьте!
Дохрипеть — не онеметь!
До слезы
глаза
на двери
кабинета —
не смотреть
заставляя...
Повезет ли,
как тогда... и как тогда?
Невезучих — были сотни,
где онн?
«Иных уж...» Да.
...Словно мышь из мышеловки,
выпускался он в Москву.
В первой встреченной столовке
водку пил, жевал жратву,
наливался теплым чаем,
клал под блюдечко рубли...
Разморожен,
беспричален —
уходил
и шел, как шли
рядом тысячи.
И только
что-то в теле пело тонко,
что-то саднило во рту!
Про советников юстиции,
подполковников милиции
(как в студентах — на ходу,
как в семнадцать лет — запоем!)
он «стишата выдавал»,
и боялся их запомнить,
и к утру не забыввл...

1962

Вячеслав
РЫБАКОВ

НЕ УСПЕТЬ

Повесть

КАТАСТРОФА

Жжение под лопатками я почувствовал, стоя за чаем. Духота и давка были страшные, и в первый момент я подумал, что это просто очередные струйки пота, сбегая по спине, на редкость едко бередят кожу. И далеко не сразу испугался. Слишком уж все с утра удачно складывалось, настроение ощущалось победоносное. День был у меня библиотечным, в институт я мог не идти и официально считался пребывающим в Публичке, в зале древних рукописей. На рассвете, еще по утреннему холодку, я успел отметиться в очереди за творогом. Ежась от зябкого ветра, зевая и сонно жмурясь, длинный хвост выстроился у магазина за час до открытия — каждый боялся оказаться вычеркнутым. Десятка полтора счастливцев, надеявшихся отовариться уже сегодня, добродушно переговаривались у самых дверей. «Еще не говорили, что забросили?» — «Высунулась, буркнула что-то, и опять заперлись...» — «Переспросить надо было!» — «Да разве успеешь, когда она сразу дверь захлопнула?» — «Детские творожники по тринадцать восемьдесят дадут. Я сам видел, как машину разгружали...» Какой-то пожилой, но молодящийся ферт, без сумки, без сетки, руки в брюки стоя рядом со мной и озирая смирную толчею, пробурчал громко:

— До чего со своей перестройкой страну довели!

Ему никто не ответил — не до того было.

— Восемьсот третий так и не пришел — я его помню, с усами с такими, в белой кепке!

— Загляните в окно, будьте любезны, масла там не видно на прилавке? Дама, дама! Загляните в окно! Мне не протиснуться...

К восьми тридцати я уже освободился. Очередь продвинулась на семнадцать человек — не слишком сильно, но меня это и устраивало: в таком ритме я надеялся ухватить как раз к той поре, когда жена с Кирей вернутся с дачи, а творог именно и был нужен Кире.

За чаем пришлось стоять уже внутри, в духоте. Касса то и дело рвала ленту, поэтому двигалось все медленно, и хвост рос и рос. Многие прижимали к ушам транзисторы. Шел очередной съезд, трансляция велась почти непрерывно, и Черниченко, ничуть не утративший пыла, бил наотмашь:

— ...И что получается? Пекари стоят в аптеку, фармацевты стоят в булочную, рабочие и инженеры стоят и туда, и туда, и ничего нет, потому что никто не работает, а все только стоят! А раз ничего нет, то и очереди не двигаются!

Это была сущая правда. Люди слушали, затаив дыхание; какая-то старушка передо мной тихо плакала, утираясь зажатым в кулачишке пучком талонов. Поодаль застрекотала, заколотилась касса — все плотнее прижали транзисторы к ушам, с ненавистью глядя на источник шума, и облегченно вздохнули, когда механизм заскрежетал и вновь захлебнулся. Взмыленная,

задерганная до багровости кассирша всплеснула руками, вскочила и выбежала из своей стеклянной конуры так, будто за нею гнались рэкетиры.

Я просунул руку за спину почесаться, промакнулся рубашкой и отчетливо почувствовал, что зудит не кожа, а под ней. Где-то в глубине меня.

И вот тут я похолодел.

Не помню, как отстоял. Дрожащей рукой кинул в сумку июньскую пачку, и даже то, что это оказался индийский, не смогло обрадовать или хотя бы несколько отвлечь меня. В голове билось: «Неужели? Неужели?!» Невозможно было так сразу поверить, но тоска уже накатила. По инерции, на ватных ногах я протолкался в сладкий отдел — симпатичные итальянские баночки с детским питанием громоздились изобильно, в несколько рядов, но сердце даже не дрогнуло надеждой. Для очистки совести я спросил, сам привычно стесняясь глупости вопроса:

— Свободно?

Продавщица замедленно зевнула и, моргая, сказала:

— Ток по рецеп.

Я так и думал. Рецепт-то у нас должен был быть, но третий месяц в поликлинику не завозили бланков, и розовые давно кончились. Обижало то, что пенсионерских оставалось еще навалом — бланки разных типов выделялись в равных количествах, хотя, если рассудить, ясно же, что у пенсионеров малолетних детей меньше, чем у работающих; но горздраву, или кому там, именно так втемяшилось в голову осуществлять социальную справедливость. Когда у нашего педиатра закончился рабочий день, я, полчаса прождав ее за пересыхающими, почти без почек кустами напротив поликлиники, вылетел ей вслед, догнал за углом, чтобы ее коллеги не увидели нас из окон, и попытался уговорить выписать рецепт на пенсионерском — она только поджимала губы и головой качала: любая ревизия заметит, премии лишат; а когда я, доведенный до отчаяния — Киря совершенно не лопал то, что мы с женой могли предложить, и в свои без малого три не набирал, а сбрасывал вес,— первый раз в жизни предложил, заикаясь, взятку, она посмотрела на меня с презрением и процедила: «А еще доктор наук!» Не знаю, что она этим хотела сказать. Жена, когда я отчитывался, предположила, что я пожалел на ребенка денег и мало посулил.

Я вывалился на улицу. Дело шло к полудню, солнце пекло, и от яркого, палящего света резало глаза. Зуд под лопатками усиливался, переходил в боль; я то и дело заламывал руку и оглаживал спину, выступы лопаток и отчетливо тянущуюся цепь позвонков — все было нормально, ни опухоли, ни упругости характерной, но это ничего не доказывало, рано. Боль говорила сама за себя. Сомневаться уже не стоило. И все-таки не верилось; просто не укладывалось в голове, что это случилось со мной.

Я стоял посреди тротуара, и меня толкали то идущие влево, то идущие вправо. Все неслись. А мне уже никуда не хотелось, никуда не надо было. Еще утром я собирался зайти после чая за бельем в прачечную — кажется, ее починили; потом проехаться по фотомагазинам в поисках фиксажа — жена обижалась, что я давно Кирю не щелкал; потом отметиться на баранину — к концу месяца должна была подоспеть моя очередь... а вечером, перекусив на углу Садовой — лоток «Медея» там, я видел, проезжая мимо, опять поставили, видимо, слух, что пирожки набивают мясом больных, не могущих улететь ворон, при расследовании не подтвердился — перекусив по-быстрому, действительно заскочить в Публичку и поработать до закрытия хотя бы часок. Работу-то мне никто не отменял, за нее деньги дают. Но теперь я уже не мог, просто не мог. Я стоял и равнодушно смотрел, как разгоряченная толпа вываливает из «Золотого улья» двух вполне приличных молодых людей, крича:

— К вам приедешь, так хлеб только по прописке, а тут навалились наши вафли жрать!

— Нас в респуплике четыре миллиона, а вас в отном короде пять! — с легким акцентом пытался объяснить один из молодых людей.— Мы вас не оппъетим!

— Да вы китайцев обожрете, не подавитесь!

Какой-то старичок, проходивший мимо и сразу все понявший — в руке у него была большая сумка, а на груди потертого, засаленного пиджака жарко желтела звезда Героя, и он, настроенный на внеочередное отоваривание, оказался способен мыслить по-государственному,— закричал, надрывая свой фальцет и очевидно сострадая:

— Не надо! Не надо так грубо, они же отделятся!

Но только подлил масла в огонь.

— Мы первей сами отделимся на хрен!

— Остошизело паразитов умасливать!

— Пускай катятся к ерзаной матери!

До рукоприкладства, однако, не дошло. Бедняг просто оттеснили подальше от дверей магазина и утратили к ним интерес. Они отряхнулись.

— Русское пыдло,— вполголоса сказал один, поправляя галстук и затем проверяя бумажник.

— Прокнившая импе-ерия,— хмуро сказал второй, проверяя бумажник и затем поправляя галстук.

— Одну пачку я все же успел схватить,— сообщил первый, перейдя на свой нежный, с эластично приплясывающими звуками язык. Приятель хлопнул его по плечу, и они медленно, с достоинством потерялись в толпе.

Я снова заломил руку за спину — и ощутил.

Ниже левой лопатки перекатывался под пальцами едва уловимый плоский желвачок. Сгусточек.

Винг-эмбрион.

То, что только под левой, ни о чем не говорило. Через полчаса завяжется и под правой. Боль будет нарастать. Потом, когда эмбрионы укоренятся, разодрав плотно лежащие друг на друге ткани, она поутихнет, а между двумя стремительно распухающими лопаточными узлами пробежит тонкий стебель перетяжки, перехлестнет позвоночник — и тогда, при взаимоподпитке зародышей, процесс пойдет еще интенсивнее...

Да куда уж интенсивнее. Прошло два часа, а уже узел. Мне осталась неделя, не больше.

Если я за это время не доберусь до своих, я никогда их больше не увижу.

И они, наверное, даже не узнают, что со мной. Будут ждать, будут плакать... Кирилл будет спрашивать маму по двадцать раз на дню, когда я приду, и она не сможет ответить. И осень настанет; и осенью, и возможно, даже зимой жена будет вздрагивать от гулкого звука ночных шагов на затихшей черной улице и бежать к окну посмотреть, кто идет; и вскакивать от любого звонка, срываться к двери ли, к телефону... И в милиции ей будут говорить: не обнаружен, ищем, не волнуйтесь...

Осенью?

Да у меня же их талон на билеты на сентябрьскую электричку!

Если я до них не доберусь, как же они вернутся в город, когда у жены кончится отпуск?

ПОТУГИ

Домой я приполз, совершенно обессилев от боли и отчаяния. В автобусе меня изрядно подавили, и привычная давка на этот раз оказалась невыносимой — эмбрионы были донельзя чувствительны, малейшее нажатие отзывалось в них сверлящей вспышкой, пронзавшей тело до легких, до схлопывавшегося от болевого шока сердца; я дергался и, глуша крик, закусывал губу при каждом толчке, при каждом тяжком подскоке усталого автобусного тела на очередной выбоине, когда плотная, как ком лягушачьей икры, масса склеенных от пота людей упруго и слитно встряхивалась...

Я попытался вызвать такси, но было занято. Тогда газетой, наполненной дословным изложением вчерашних докладов, я смахнул тараканов с письменного стола и принялся за письмо. Мне все время хотелось вылезти из рубашки и посмотреть в зеркало на свою спину, и я изо всех сил не делал этого — смотри не смотри. Боль пригасла, и только шустрые, как тараканы, иголочки онемения плясали по напряженно растягивающейся под давлением

изнутри коже. «Дорогая!» — медленно написал я, зачеркнул и написал: «Милая!» И сразу сам себе напомнил гротескного Штирлица, наподобие последней серии «Мгновений» — когда тот пишет по-французски жене: «Моя дорогая!», потом зачеркивает, потом долго думает и пишет: «Дорогая!», а потом, кажется, сжигает листок и говорит, что действительно не стоит везти записку через сколько-то там границ. Что там границы, господи! Если бы только границы! «Я ни в чем не виноват и никогда ничего такого не хотел. Ты знаешь. Но что-то происходит в организме — без всякого сознательного желания, без всякого предупреждения, само собой, как будто где-то за морем, а не внутри твоего собственного тела — и ничего нельзя поделать. Как землетрясение. Если я пойму, что не успею с вами увидеться, я отправлю письмо и вложу талон. Но, пожалуйста, верь — я старался...» Нет, не получалось у меня. Я снова набрал 312-00-22, и снова не пробился. Я встал, заломив руку, непроизвольно огладил спину — перетяжка уже сочилась между двумя круглыми и твердыми, как древесные грибы, подкожными опухолями. Можно было разреветься, совершенно по-детски, все равно никто бы не увидел, глаза жгло, словно кислотой, горло сжималось и вздрагивало. За что? Это мой дом, я вырос тут, жил тридцать шесть лет, работал — и плохо, и хорошо, как когда; любил, с сыном играл в хоккей, в солдатики, книжки ему читал и собирался читать и впредь, вон, сборник сказок ему купил на той неделе по случаю, такие картинки!.. И я должен все это покинуть! За окном пластались и горбились просторные, далекие, разные, разновысотные крыши окрестных домов, все тех же, что в пору, когда с отцом играл в солдатики я, они не менялись, а я менялся неудержимо, и с этим ничего нельзя было сделать, ничего, ничего. Что будет со мной через неделю? Где я окажусь? Я не хочу, я хочу здесь! Далекий сверкающий купол Исаакия висел над волнами крыш, с этого расстояния он казался невесомым, он парил, отбрасывая золотые, тонкие, как раскаленные нити, блики невидимых отсюда граней — но он-то весом, он останется! Я снова позвонил в такси, долго не было гудка; я, всхлипывая и все оглаживая спину — так язык сам собой тычется в новую пломбу или в ямку вырванного зуба, и никак не запретить ему этого, стоит лишь отвлечься, он уже там,— ждал, ждал, будучи уверен, что не соединилось, сигнал заглох где-то в хитросплетениях проводов и надо перенабирать. Но в трубке щелкнуло, и певучий женский голос начал с полуслова: «...вет, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди». Придерживая трубку плечом, огладил спину. «Ждите ответ, вы на очереди». Придвинул бумагу, взял ручку. «И Кирюшку поцелуй от меня». «Ждите ответ, вы на очереди». «Не знаю, откуда это у меня. Но ведь и никто не знает, откуда это. Я жил, как раньше, просто уставать больше начал, но ведь от этого не может быть, это просто возраст уже сказывается, да и жизнь стала напряженнее». «Ждите ответ, вы на очереди». «В очередях буду отмечаться, пока смогу, я на творог занял, на баранинку, на виноград на сентябрь записался, на скороварку... Постараюсь везде объяснить, что получать будешь ты, номерки перепишу тебе, только не перепутай, какой куда. Талон на билеты действителен с первого по пятое сентября, придешь в Рощино на станцию, в крайнем левом окошечке, в любой из этих дней, заплатишь тридцать семь сорок и вам дадут билеты на текущий день. Только постарайся заранее подготовить деньги точно, там всегда нет сдачи, кассирша очень злится и может не дать билет». «Ждите ответ, вы на очереди». «Кире я купил с рук книжку, оставлю на столе, на видном месте. По-моему, хорошая, и очень добротные иллюстрации, звезды, кипарисы, море... Как в Крыму, помнишь? Какая луна в окно светила, прямо над горой, и цикады... Сказки для пятилетних». «Ждите ответ, вы на очереди». «Наверное, Кире еще рановато, но ведь не протухнет, пусть покамест смотрит картинки. Там все в роскошных турецких шароварах, минареты повсеместно...» «Ждите ответ, вы на очереди». Волоча телефон за собой — длинный провод с шуршанием потянулся по полу,— я, не в силах дальше писать, подошел к окну. «Ждите ответ, вы на очереди». На площади перед райкомом стояла умеренных размеров толпа с лозунгами, стояла спокойно, из ее угла торчал, как значок римского легиона, шест с крупной надписью: «Демонстрация разрешена». «Ждите ответ, вы на очереди». С такого расстояния не все лозунги я мог разобрать, но некоторые

читались отчетливо. «Перестройка — да! Анархия — нет!» «Не позволим вбить клин между народом и партией, героически взявшей на себя ответственность за результаты своих действий и возглавившей процессы обновления!» «Критикуя воина, ты критикуешь всю армию! Критикуя всю армию, ты оскорбляешь память павших!» «Ждите ответ, вы на очереди». На демонстрантов не смотрели, взмыленный народ несся туда-сюда мимо, был конец рабочего дня, улицы переполнены, все спешат. Казалось, стоящих на солнцепеке вообще не замечают. Но когда из райкома несколько дюжих ребят гуськом вышли — вахтер придерживал громадную дверь — с подносами, уставленными почерпнутой в закрытой столовой снедью и начали обносить демонстрантов, чтобы те подкрепились, бегущие стали останавливаться, у многих вскинулись к лицам подзорные трубы и бинокли — посмотреть, чем кормят.

«Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди».

Я не мог больше. Спину тупо ломило; казалось, плоть едва слышно хрустит, потрескивает от напора твердо вздбухающих новообразований. Я положил вежливо и монотонно бубнящую трубку на стол, придавив ею листок недописанного письма, выгреб из пиджачного кармана мелочь и пошел вон из квартиры. Приходилось держаться очень прямо, впервые за много лет я следил за осанкой. Я тебе доску к спине привяжу, говорила когда-то мама, чтоб не сутулился... Стоило лишь чуть-чуть ссутулиться привычно, и накаленная проволока перетяжки впивалась в щель между позвонками, будто готова была разрезать хребет. Секундами накатывало ощущение, что идти стало легче,— и тут же исчезало. Иллюзия, конечно, нервы. Вес начнет уменьшаться дня через два-три. Течение болезни было описано досконально, я все это читал, изумленно и отстраненно ахая, все это знал, но никогда мне даже в голову не приходило, что меня это может коснуться. Не может, не может! Ну ведь не может... В ушах сам собой бубнил телефонный голос. На провонявшей гниющими отбросами лестнице я привычным уже движением бережно, стараясь не потревожить опухолей, огладил спину. Нет, со стороны еще ничего нельзя было заметить. Но я все равно отдернул липнущую к потной коже рубашку, чтобы болталась посвободнее, скрадывая, скрывая очертания меня. И все равно на улице, среди снующих по своим делам усталых людей, мне чудилось, будто все смотрят на меня и сверлят взглядами сзади.

Когда освободился автомат, я втиснулся в прокаленную, прокуренную кабинку, залитую яростным предвечерним сиянием; вставил гривенник и набрал домашний номер директора института. Был исчезающе малый шанс — у директора дача в Горьковской. Дачевладельцам, в обмен на сданные овощи и фрукты с участков, выдавались недельные сертификаты на проезд в пригородном транспорте того направления, на котором находилась дача,— и, хотя передавать сертификаты в чужие руки формально запрещалось, установить подлог было практически невозможно, разве лишь контролер попадется, случайно запомнивший лицо истинного владельца; ни номера паспорта, ни фотографии на сертификате пока не полагалось. Директор был дома, ответил — и я так обрадовался, как если бы мы уже договорились обо всем.

— Аркадий Иванович, здравствуйте,— сказал я.— Пойманов вас беспокоит.

— Здравствуйте, здравствуйте, коллега,— приветливо сказали в трубке, и я обрадовался снова.— Слушаю вас. Какие-то проблемы?

— Да, вот хотел... узнать,— слова вязли в горле. Я понял, что не знаю, как просить. Ведь объяснять придется.— Вы... вы на дачу не собираетесь в эти дни?

— М-м-м,— с удивлением сказал директор, но тут же мобилизовался.— Представьте, нет. Такая погода, а приходится сидеть в городе. Вы же знаете, какой напряженный сейчас период. К тому же во вторник, вы помните, приезжают французские коллеги. Среди них, кстати, ваш давний знакомый, профессор Жанвье. Рад вам сообщить, что он специально осведомлялся, сможет ли увидеться с вами, и выражал восторг по поводу вашей последней статьи. Хотя, позвольте — разве я вам не говорил на Совете?

— Да-да, я помню,— соврал я. То есть, не вполне соврал — утром я действительно еще помнил и, стоя у молочного магазина, даже предвкушал встречу, потому что, несмотря на все их условия, на всякую там компьютеризацию библиотек и кондиционирование кабинетов, мне опять удалось обшлепать симпатичного бордосца, информацию я давно привык заменять интуицией, и как-то покамест получалось. Но за прошедшие часы все улетучилось из извилин, все стало несуществующим.— Я по другому поводу. Видите ли, мои теперь на даче, в Рощине. Мне понадобилось срочно до них добраться... ненадолго, во вторник я, конечно, буду в институте,— снова соврал я, чтобы его успокоить.— Неожиданно, внезапно понадобилось, и я просто не представляю, как это сделать. Вы же знаете, на электрички народ с февраля записывается...

— М-м-м,— сказал директор уже без приветливости. У меня упало сердце; я сгорбился и тут же рывком распрямился от бритвенной боли. Дикое, непредставимое ощущение — будто режут по живому, секут, как шашкой, да еще не по коже, а прямо внутри, прямо по кости, потому что шашка — в середине тебя.

Выхода не было. Я с отчаянием спросил:

— Вы не могли бы одолжить мне свой сертификат? Хотя бы на сутки?

— М-м-м,— сказал директор.— Но, видите ли, коллега, у меня в настоящий момент сертификаты только на вторую половину июня и далее. Старые мы все проездили, в мае посадили, что могли... а новый урожай еще не поспел, сейчас и сдать-то нечего. Право, никак не могу вам помочь.

— Понял,— глухо сказал я. Наверное, у меня был такой голос, что директору стало не по себе.

— А что, Глеб Всеволодович, у вас... стряслось? — с усилием выговорил он.

— Да так,— ответил я.— Дела семейные.

— Послушайте, коллега... Ведь не в сертификат свет клином уперся... то есть, сошелся... ну да. Возможны какие-то варианты...

— Возможно, возможны.

— В конце концов, сейчас уже пятое июня. Осталось одиннадцать дней, и мой документ заработает. Устроит вас через каких-то одиннадцать дней?

— Благодарю вас, нет,— устало сказал я. И вдруг добавил, сам уже не зная, зачем: — Я улечу скоро.

Он долго молчал — только трубка шуршала, да едва слышно играла где-то в безднах телефонной паутины музыка. Я хотел попрощаться, но тут директор спросил:

— Что?

— Улечу,— сказал я.

— Вы отдаете себе отчет в своих словах? — ледяным голосом осведомился он.

— Отдаю.

— У вас в будущем году истекает срок плановой темы. Это вы, надеюсь, помните?

— Помню. Теперь честно могу вам сказать — я все равно, наверное, не успел бы. Никак по-настоящему не взяться.

— Вы пять лет зарплату получали под эту монографию!

— Попробуйте вычесть ее из зарплаты моей... вдовы.

Он опять помолчал. Потом опасливо спросил:

— Это точно?

— Абсолютно.

— Я попробую что-то придумать,— неуверенно сказал он.— В понедельник у наших соседей по корпусу пойдет машина в Выборг за жидким азотом — двенадцать... Завтра автобус с финской делегацией уходит... Я попробую. Позвоните мне часа через два-три.

— Спасибо, Аркадий Иванович,— почти без надежды проговорил я, и он тут же дал отбой.

Ждите ответ.

Я вышел из будки.

Город плыл в мареве. Сверкали окна, темнели окна. Колыхался густой зной. Пахло асфальтом и бензином, машины шли стеной, люди шли стеной, стены стискивали машины и людей. От сознания того, что все это скоро исчезнет для меня, хотелось выть. Я шел домой, держась до нелепости прямо, почти запрокинувшись, а в голове и в горле пульсировало: последний раз. Последний раз. Что последний раз? Все.

Такси.

— Такси! Эй, такси! — чуть руки не оторвались, как махал.

Визг тормозов.

— В Рощино поедете?

— Ты что, командир, совсем оборзел?

В почтовом ящике белело — я открыл машинально. Это была открытка из «Детского мира» — уведомление, что наша очередь на коляску продвинулась еще на пятьдесят человек и просьба подтвердить актуальность заказа. Заказ мы сделали за полтора года до появления Кири, но месяц от месяца очередь подвигалась все медленнее, и теперь мы с женой шутили иногда, что подойдет она аккурат, когда коляска Кириным деткам понадобится. Нам же в свое время приходилось изворачиваться; я клеил коробы из машинописных страниц, пуская на это свои черновики, наброски и начала статей, довести которые хронически не хватало времени и уже ясно было, что никогда не хватит, а вместо колес приспосабливал бобины от старого магнитофона — это выручало, но произведения получались недолговечными, бумага размокала и лопалась, стоило Кире описаться на прогулке, тогда приходилось клеить сызнова. Счастье, что я в свое время столько написал,— написал, как после рождения Кири стала говорить жена; сейчас такое количество бумаги просто неоткуда было бы взять. Завтра надо бежать в «Детский мир» и оставить очередную открытку. Завтра. Господи, завтра. Неужели не уеду? Все равно как-то надо забежать, очередь терять нельзя. Трубка бубнила, лежа на письме, ясно было, что именно она бубнит, но я все равно поднес ее к уху мокрой от пота рукой. «Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди». Два часа. Или три. Это значит, между семью и восемью. Может, он все-таки сделает что-то? Он ведь влиятелен... Полчаса уже прошло. Чем бы заняться? С дальнего угла стола с издевательским призывом смотрела дочитанная до половины диссертация, в среду я должен оппонировать. В среду. Смешно. Безо всякой пощады давя тараканов, я пошел в туалет, достал из шкафчика за трубами половую тряпку. С мазохистским наслаждением чувствуя, как перепиливается позвоночник, я стал тщательно мыть пол, время от времени замирая и сквозь шумное клокотание сердца прислушиваясь к голосу из трубки. «Ждите ответ, вы на очереди». В глазах темнело от боли. Вот так тебе, бормотал я. Вот тебе, вот. Болен, но могу. Коридор, кухня. Комнаты. Рукава рубашки промокли до локтей, но я не решался их закатать — рубашка высохнет, а вот если потускнеют и станут неразборчивыми номера, которыми руки исписаны от запястий до плеч... Куда там Замятину с его номерами вместо имен! Куда там концлагерям, где татуировали пять-шесть аккуратных цифирок! Имен никто не отменял, но никто ими не интересовался; а номера мы пишем себе сами: за хлебом ты шестьсот восемьдесят второй, а за мармеладом пять тысяч трехсотый, и не дай тебе бог перепутать! Все. Полы влажно отблескивали, и по квартире плавал теплый, душноватый запах сырого паркета. Замер, прислушался. «Ждите ответ, вы на очереди». Мытье полов заняло только час. Как много времени отнимает быт, стоит только захотеть чем-то настоящим заняться — и как быстро все можно сделать, если надо убить время! Я вымыл унитаз. Потом надраил газовую плиту на кухне. Вот тебе, вот. Вернулся в комнату, упал в кресло совершенно без сил и со стоном отдернулся, подавшись вперед,— в спину будто всадили два до красного каления доведенных стержня. Откидываться по-удобному я тоже теперь не мог.

В трубке щелкнуло, и возник новый голос. Издалека было не разобрать слов, но чувствовалось, что они — иные. Выпадая из шлепанцев, я рванулся к телефону, сердце обмирало от недоверчивой надежды: неужели дозвонился? И сразу: интересно, на какое время дадут машину? И сразу: надо отзвонить Архипову, что помощь уже не нужна. И сразу: на моторе до Рощина час, еще

засветло буду! То-то они обрадуются! Книжку, книжку Кире захватить! И талон... Господи, да как же я ей скажу?! Я подхватил трубку и успел услышать конец фразы: «...будет снят. Благодарю за внимание».

— Алло! — крикнул я.— Мне нужна машина как можно ско...

Голос, не слушая меня, возник снова, и просьба умерла.

— С вами говорит электронный учетчик производства совместного предприятия «ИБМ — Проминь». Уважаемый товарищ! Вы непозволительно долго ведете телефонный разговор, перегружая общественную сеть коммуникаций и препятствуя нормальному общению граждан. Поэтому ваш телефон отключается на недельный срок. Не позднее завтрашнего дня вы должны внести штраф в размере семисот сорока шести рублей пятидесяти копеек по адресу: Синопская набережная, четырнадцать, отдел внеочередных платежей, в противном случае ваш аппарат будет снят. Благодарю за внимание.

Я постоял еще секунду, уже ничего не говоря и не прося, затем помертвелой рукой положил помертвелую трубку. В ней было тихо. Ни дальней музыки, ни треска. Все. Не ждите ответа.

Было без четверти восемь. Я осторожно огладил спину. Без пиджака на улицу мне уже не стоило выходить, рубашка отчетливо натянулась на двух выпирающих, словно из литой резины, горбах.

Киношники отсняли демонстрантов, и те начали расходиться, сворачивая лозунги и дожевывая оставшиеся бутерброды с севрюгой. Зной шел волнами, изредка перемежаясь порывами затхлой прохлады из проходных дворов. День истекал — первый из шести-семи, что мне остались. Я вошел в будку телефона. За эти три часа в ней появилась новая надпись: «Если встретишь наркомана — раздави, как таракана!» Неприличных слов теперь уже почти не писали, всколыхнулись новые, социальные интересы. Прямо над аппаратом было вырезано глубоко и резко: «Люби свою Родину!» А на полочке слева было начирикано шариковой ручкой: «Честным кобелям СПИД не страшен. А будешь сношаться с кем попало—сдохнешь, как Сталин, без причастия!» Я разглядывал все это, прижимая горячую трубку к щеке, а длинные гудки мерно улетали в квартиру директора и никого не могли дозваться. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый... Я нажал пальцем на рычаг и набрал снова. «Если встретишь наркомана — раздави, как таракана!» «Фашистов мы разгромили, но курумпированную часть аппарата еще нет». Написано было именно так. Пятнадцатый... семнадцатый...

— Алло! — произнес заспанный, крайне недовольный женский голос.

— Добрый вечер. Аркадий Иванович может подойти?

— Аркадий Иванович не может подойти. Аркадий Иванович улетел в Москву.

Трубка едва не выпала из моей руки.

— Как улетел? Куда?

— Ну говорю же вам русским языком — в Москву. В командировку, час назад. Завтра шестидесятилетие академика — секретаря Отделения АН, в которое входит папин институт,— слова «папин институт» голос произнес с такой небрежностью, а слова «академик-секретарь» — с такой лихой привычностью к титулам, что тщета разговора стала очевидной. Но я все-таки спросил — с удивительным для самого себя спокойствием, равнодушием даже:

— Это Глеб Пойманов. Мы с ним созванивались три часа назад по важному делу. Он ничего не просил мне передать?

— Нет,— почти негодующе ответил голос.— Он весь исхлопотался...

— До свидания,— сказал я и повесил трубку.

Стоял в будке и не выходил. Куда бы еще позвонить? Ничего не шло на ум. Только всякая фантастика роилась: рвануть на Финляндский и дать взятку диспетчеру... если удастся его найти... Обмануть перронных контролеров и поехать зайцем, авось не нарвусь на контроль линейный... Выйти из города по Приморскому шоссе и голосовать всякую машину, какая-нибудь да подбросит, если денег пообещать побольше... Я вынул бумажник и посчитал деньги. Денег было негусто. Если учесть, что мне завтра на Синопской штраф платить... Потом я подумал про Тоню.

Она работала прачкой в яслях, а ее брат — механиком в гараже какого-то завода. А мать их, продавщица, жила в Ушкове, и они часто к ней ездили, угоняя на день-два какой-нибудь грузовик или «рафик» из этого же самого гаража — не на электричку же всякий раз пробиваться, не на автобус же, все равно отсутствия машины никто не замечал, в гараже всегда все в разгоне. Мы познакомились с Тоней год назад, случайно — я возвращался с очередной конференции на редкость прилично одетый, в на редкость приподнятом и воодушевленном состоянии, а это всегда очень бросается в глаза в нашей задерганной толчее — и вдруг красивая девушка ни с того ни с сего решила со мной познакомиться прямо в метро. Я так никогда не умел и не пробовал, а у нее получилось элементарно: как проехать туда-то? ой, что-то не пойму... Простите, но вы показать не могли бы?.. Часа четыре мы просидели в каком-то скверике, до июльской темноты курили пачку «Салема», зачем-то подаренную мне, некурящему, моим бывшим стажером Реджи Уокером,— Тоня тянула сигарету за сигаретой, и сначала, как сигареты, тянула составленный из одинаковых душных звеньев разговор, единственный смысл которого — якобы общаясь, не расходиться; а потом как-то размякла, стала собой и стала говорить о себе. Я слушал и, как всегда и всем, быстро начал сочувствовать; она рассказывала, что руки совершенно не заживают от стирки, рассказывала, как любит возиться с детьми и сама давно бы родила, да не на что растить, рассказывала, как еще школьницей ее вывалил на дорогу шофер самосвала, которого она вечером попросила подвезти от Солнечного до Ушкова, но которому не дала, и он, согласившись для виду, просто поднял кузов на ходу — и, простецки задрав юбку, показывала длинный шрам на бедре, дерганым, бугристым синим зигзагом нырявший под чистенькие трусики с изображением ягоды вишни... Когда «Салем» иссяк, она сказала: «Никогда так много не курила, прям тошнит...» — «Зачем же?» — «А чтоб не уходить».— «Все равно ведь надо». У нее дрогнули губы, она, поняв мои слова как намек на созревшее прощание, быстро встала и качнулась — я, вскочив, поддержал. «Крыша поехала»,— застенчиво сказала она. Покосилась на меня, отчетливо понимая, что говорит опять стандартную, как сигарета, фразу, но искренне, и боясь, что я не пойму, что искренне: «Вы меня не проводите?» Я проводил. Едва мы вошли в квартиру, у дверей, частями застекленных, за которыми тянулись пропахшие нечистой жизнью недра громадного коммунального лабиринта, возникли лица, и отчетливые голоса провожали нас, передавая друг другу, пока мы путешествовали под сушащимися поперек коридоров трусами и комбинациями, под пеленками и пятнистыми, истертыми до сквозного мерцания простынями, под гирляндами прищепленных один вплотную к другому штопаных-перештопанных носков, мимо груд наваленных вдоль стен пустых бутылок, множественно звеневших, когда под нашими ногами прогибались хлипкие крашеные половицы: «Гляди, гляди, Тонька-то опять нового привела!» — «Да окстись, Никола, к ней уж, почитай, месяца три никто не ходит, измаялась девка вконец!» — «Старый ухажер-то...» — «А галстуков таких теперь уж не носят».— «С по́ртфелем, как генерал-майор...» Мы вошли, она захлопнула дверь, рывком обернулась ко мне, глаза ее стали громадными, темными. «Я никогда так ни с кем не разговаривала»,— призналась она и стала меня целовать, а потом — потом уже я, хоть и скупо, но тоже, не удержавшись, рассказывал ей о себе, а потом мы обменялись рабочими телефонами: в этой сумеречной конюшне не было телефона, у меня дома была жена; и я ушел, точно зная, что не позвоню никогда, но почему-то совестясь выбросить клочок бумаги с торопливо и призывно набросанной цифирью, а она позвонила сама; и летом, и осенью, и в начале зимы еще звонила мне на работу, дрожащим голосом спрашивала меня по имени-отчеству, звала в гости, обещала пожарить картошки со своего огорода, угостить маслятами, которые собирала и мариновала, мечтая угостить ими меня, и рвала мне сердце. «Тонюшка, ну не трать ты на меня время...» — «На кого ж еще и тратить-то?» — «Ну что тебе с меня?» — «Все».

Но я так и не пошел, а теперь, в отчаянии, вспомнил.

Я сразу узнал ее голос.

— Тоня? Здравствуй, Тоня.

И она сразу узнала мой голос.

— Глебушка! Надо же! Здравствуй! У тебя что-то случилось?

И мне стало легко и почти не стыдно. Только пиджак нескладно топорщился на спине.

В трубке отдаленно рокотали стиральные барабаны.

— Да, Тоня, случилось. Ты можешь сейчас разговаривать?

— Конечно!

— Послушай. Вы к маме не собираетесь в ближайшие дни?

— Хочешь отдохнуть? Сколько раз я тебя звала...

— Нет, Тоня... Тоня. Мне нужно... Мои сейчас в Рощино, на даче, и мне нужно как можно скорее до них добраться. Извини меня, что я прошу... Но я просто в чудовищном положении, и мне не к кому обратиться, кроме тебя.

Она помолчала.

— Я позвоню Толе, Глебушка. Мы не собирались пока, но я узнаю,— ее голос был чуть-чуть погасшим, но таким же мягким, как вначале.— Может, он сумеет.

— Как мне узнать?

Она опять помолчала.

— Через полчаса я кончаю работать, может, даже пораньше вырвусь, раз такое... Ты приходи ко мне, я буду дома через часика полтора и к этому времени все узнаю. Помнишь дорогу? Придешь?

Теперь помолчал уже я.

— Приду.

— А я к этому времени все-все узнаю,— повторила она.

СВЕЧА

— Ой, ты знаешь, Глебушка, я не дозвонилась пока. Его дома нет, жена сказала, к одиннадцати будет. Но ты не волнуйся, пожалуйста, я позвоню еще, буду выскакивать и звонить. А пока давай посидим немножко. Ты не торопишься?

— Нет.

— Садись сюда. Вот сюда, вот стульчик, как в тот раз. Ты ужинал?

— Нет.

— Я так и думала. Я картошечки пожарила. Котлетку будешь?

— Ну что ты, Тоня...

— Будешь, будешь! А то скучно так сидеть. И смотри, что у меня еще есть. О!

— Господи, Тоня! Зачем...

— Немножко, по рюмочке. Ну я же тебя так давно не видела. Праздник!

— Спасибо... Хватит! Вот столько...

— Конечно, и мне вот столько. Ой, Глебушка, миленький, как хорошо мы посидим! Сейчас... Солнце мне так в глаза, тебя не вижу. Задернем занавесочки, а? Видишь, у меня занавесочки новые! Плотные такие, ничего сквозь не видно. А то в тот раз вон из того окошка дядька глядел. Вот, теперь уютно. А давай свечку зажгем? Или выпьем сначала по глоточку? Ты ешь, остынет ведь! Вот, смотри, какая свеча красивая! Ты извини, я суечусь не в меру... Я уж думала, никогда тебя больше не увижу. А ты взял да и позвонил, молодец какой! Ну, по глоточку...

— Твое здоровье, Тоня.

— И твое. И твоих родных. А смотри... только обещай, что возьмешь. Обещаешь? Ну, обещаешь?

— Обещаю...

— Во-от. Это я твоему мальчику сегодня купила. Правда, симпатичный? Хитрющий, да? Чаф-чаф-чаф!

— Тоня... Нет, я не могу. Это же дорого.

— Ну могу я тебе раз в год подарочек сделать? Обещал, обещал! Твое! Ну? По глоточку? Котлетка не остыла? Как свеча красиво горит, правда? Ну, пригубь, пожалуйста.

— Тонь, а где ты водку взяла? Мы тут с другом хотели принять чуток — везде только азербайджанский по сто семьдесят три.

— Надо было меня свистнуть. Ты впредь если что — ко мне. Гоша — помнишь?.. ну, неважно... он же на разливе работает. У него казенки всегда возьмешь, хоть залейся. И сверху не хапает... Я сразу с работы туда — прыг!

— Когда ты только успела...

— А я, как ты позвонил, в десять раз быстрее шевелиться начала. Ни скуки, ни усталости...

— Почему?

— По кочану. Обрадовалась, что тебе хоть что-то от меня понадобилось.

— А почему обрадовалась?

— А потому что ты не козел.

— А что это такое?

— Ой, да все ясно, вот пристал. Чего ты не ешь? Не нравится, да? Невкусно?

— Вкусно. Просто совершенно не хочется есть.

— А ты тогда выпей. И я с тобой.

— Да меня уж и так развезло.

— Развезло... Знаешь ты, что такое развезло... Просто расслабился, и глазки стали не такие больные... Ты прям уж такой замученный пришел, сердце в клочья.

— Все замученные.

— Ой, не скажи. Многим такая жизнь по сердцу. Кричи, бегай, рви — а делать ничего не надо. А ты, я ж знаю — работал бы да работал...

— Откуда знаешь?

— Оттуда. Ой, я сама запьянела. Вот здорово! Налей теперь ты, мужской рукой. Ага, хватит. И себе, себе! За то, чтоб у нас все было хорошо. Жаркая погода какая, да? Я так рада за твоих, что они в такую погоду отдыхают на свежем воздухе. Мальчик, верно, загорел, носик облупленный... А тут — духота. Можно, я переоденусь немножко? Полегче чего-нибудь... Отвернись, пожалуйста, на секундочку. А посмотри, какой я себе купальничек скомстралила. Как тебе?

— Тоня, а у тебя шрам поблек.

— Ой, Глебушка, не надо. Ты мне просто приятное хочешь сказать, от доброты. Шрам и шрам, привыкла.

— Честное слово.

— Как тебе купальничек мой?

— Оч-чень молодежный. Если прищуриться, как будто его и нет.

— Ой, ну ты скажешь! Цирки какие...

— Неужели сама?

— Конечно. Можно, я так посижу? И ты пиджачок снимай. Что за глупость — в такую жару, в доме, этак париться?

— Я с ним сроднился, Тоня.

— Не позволю. У тебя даже личико блестит от жары. Сама сниму.

— Тоня, не надо!

— Еще отбивается! Девушка за ним ухаживает, а он отбивается! Щас раздену! А ну, руки вверх! Да ты что, драться со мной бу... Ой!

— Ну, вот.

— Глебуш... Ой, еще! Твердые какие... Глебушка, что это?

— Крылья растут, Тоня.

Она потрясенно накрыла рот ладонями и несколько секунд стояла, чуть раскачивая головой.

— Бедный... Что же теперь?

— Не знаю.

— Из-за этого тебе и надо туда?

— Да. Могу ведь даже не успеть попрощаться, Тоня. Как они тут будут без меня в этой каше — ума не приложу...

— Прости меня. Ой, какая я змея! Прости!

— За что?

— Потом скажу... Как торчат. Совсем скоро, да?

— Быстро зреет. Будто, знаешь, долго собиралось и прорвало наконец. Так обидно, Тоня, ты не представляешь... Ведь я же не хочу!

— Больно?

— Сейчас уже не очень. Только, знаешь, чудно как-то. Одеревенело.

— Можно я их поцелую?

— Почему именно их?

— Потому что им больно.

— Нежная ты девочка, Тоня. Жаль мне тебя...

— А мне-то тебя как жалко, ты б знал... Сколько слышала, в газете читала один раз... А не видала. У наших-то ни у кого... Чего же это такое?

— Никто не знает.

— И куда ж ты?..

— Никто не знает.

— Я бы с тобой куда угодно полетела... Да где уж. Ты сколько весишь?

— Шестьдесят три, кажется.

— Ну! А я под семьдесят! Одни сиськи кило на четыре тянут, в каждой очереди какой-нибудь пердун да упрется локтем, как бы в тесноте... Глебушка. А Глебушка... Я ведь тоже, значит, тебя больше никогда не увижу. Давай я постелю, а? Пожалуйста...

Я не мог сказать ничего. Она подождала, умоляюще заглядывая мне в глаза, а потом купальник будто сдуло с нее порывом ветра.

И я любил ее.

Но, как бы ни обнимал, как бы ни накрывал, словно кругом визжали пули, ее собой — мне было не защитить ее и не заслонить от ее фактической нищеты, от этой комнатенки, сдавленной и безвоздушной, от просто поднявшего кузов шофера, от очередей с растопыренными локтями, от потных рук, в переполненных автобусах лезущих ей под юбку и, дождавшись, когда она заслонится сумкой, выгребающих из этой сумки ее гроши, от нескончаемого грохота вечно ломающихся смрадных барабанов, от затхлого чада полутемной громадной квартиры, запутанной, как кишечник, от «Тонька-то, Тонька — нового привела!», от вони гниющих на жаре прямо за окном, в прокаленной теснине двора-колодца баков, истекающих жижей на растресканный асфальт, гудящих роями титанических мух, от узаконенной отравы в заботливо и проворно приготовленных ею картошках и котлетах, ни от чего, ни от чего, даже от собственного ухода... и, значит, эти объятия были как бы обман, имитация, они обещали защиту, нет, они просто по определению должны были включать в себя защиту как основной свой смысл — и не давали ее; и потому, как бы самозабвенно ни распахивалась девочка подо мной, как бы ни кричала от счастья, ощутив, что в ее глубине взрывается моя бесплодная, не защищающая нежность — я не чувствовал себя мужчиной, я был кастратом, строй жизни кастрировал меня.

Но если научиться забывать это, гнать эти мысли, если сделать близость из заботы сортирным облегчением организма — наверное, это и будет козел. Наша жизнь заставляет выбирать: козел ты или кастрат; и третьего здесь не дано.

— ...Как хорошо, Глебушка. Как хорошо. И откуда такие нежные берутся? Никогда не думала, что это так бывает... Знаешь, я бы десять лет жизни отдала, чтобы вот так побыть с тобой еще разочек. Тебе понравилось, а?

Я только улыбнулся.

— Как ты улыбаешься, милый... А хочешь, я угадаю, чего ты подумал, когда увидел меня в купальничке?

— Ну, угадай.

— Ты совсем не про меня подумал.

— Ну да?

— Вот и да. Потом уже про меня и про то, чего тебе делать с бесстыжей девкой, которая сама лезет...

— Тоня!..

— А в первую секундочку ты подумал, хорошо бы подарить такой купальник жене. Угадала? Молчи, сама знаю, что угадала. Хочешь, я сошью? Скажи размер, я за три дня управлюсь.

— Тоня, ты святая.

— Тить! Святые разве трахаются?

— Все делают одно и то же. Только чувствуют разное.

— Нет, Глебушка. Я ведь тебя обманула, очень повстречаться хотела, ты меня сейчас убьешь. Брат нам помочь не сможет, они четвертый день замнач ОТК выбирают, и сколько еще проорут, неизвестно. Все раздухарились, никто не работает, гараж опечатан. Вот такая я змея. И не жалею. Потому что это лучший вечер в моей жизни. А если ты ко мне придешь через три дня, я действительно сошью твоей жене купальничек такой же, и, может, у них там баланда кончится, и мы поедем. Придешь, Глеб? Придешь?

— Не знаю... Как я могу сейчас обещать что-то? Смешная ты...

— Не понравилось. Ну, я одеваюсь тогда.

— Ох, как голос заледенел...

— Голос как голос. Ночку пореву, а вечером к Семе. Он жену с младенцем закатал родильный стафилококк лечить — звал перепихнуться, пока дом пустой...

— Зачем тебе?..

— Это уж мои заморочки. Летишь — и лети себе, не отсвечивай.

— Тоня...

Посасывая валидолину, я брел домой по мягкому асфальту. Прокипевший город медленно остывал на своей немытой асфальтовой плите и, казалось, еще чуть скворчал, шипел изредка прокатывающими авто. Млело марево, дома в улетающих прямых створах улиц колыхались в чаду. Я не знал, что делать. Или действительно пойти завтра — нет, уже сегодня — к первой электричке и попробовать сунуть кому-нибудь на лапу? Не получится же... Да и деньги надо поберечь, жене будет туго с этим, когда я... исчезну. Да, вот еще что: завтра... нет, уже сегодня... надо снять все деньги с книжки и оставить дома, либо отвезти ей, если удастся. Или послать переводом? Но процент... Ни с того ни с сего, как довершающее издевательство, поплыло перед глазами оглавление ненаписанной моей книги — все давно уже было в голове, только руки не доходили написать, оформить, выстроить текст...

Дома было чуть прохладнее. Я смахнул тараканов со стола и тупо, уже не думая ни о чем, стал на отдельный лист аккуратно, медленно переписывать номерки с рук с указаниями, который на что и — в скобках — с ближайшими датами отметок. Очень странно было ставить запредельные даты, точно зная, что меня уже не будет; нелепо, нелепо... девятого июня за скороваркой я еще успею, а вот двенадцатого — скорее всего, уже шабаш, и всю осень жена будет без «Пемолюкса». Дичь какая-то... Как же они тут справятся без меня?!

Когда я закончил, было около двух ночи, за занавесками теплилось серое глухое свечение. Глаза жгло, но о сне не могло быть и речи; да к тому же к пяти надо было добраться на Финляндский вокзал и что-то сделать. Может, перекупить у кого-либо билет? Но кто же продаст?.. или столько запросит, что вылетят все трудовые мои сбережения, и жена останется тут совсем без резерва, а ведь моя зарплата... странно, как это слово похоже на слово «заплата», заплата на бюджете, никогда не приходило в голову... и так отвалится, едва только я сгину... голова шла кругом.

Закончив, я посидел немного просто так, а потом достал из глубины нижнего ящика стола пачку старых фотографий и медленно начал их перебирать. Им было пять, семь, восемь лет — казалось, совсем все было недавно, но как все изменилось. Я любил их разглядывать в тишине, когда особенно худо становилось от бездушной безмозглой гонки, они давали мне силы, нет, не силы, больше — чувства; я смотрел на молодые — а впрочем, с виду почти такие же, как теперь, лица жены, и вроде бы откатывался душой туда, в это недавно, которое ощущалось одновременно и странно близким, и странно невозможным: в лесу на Карельском, среди золотых, свежих сосен, в прозрачном солнечном просторе Крыма... Вот же мы, чувствовал я, вот какие мы на самом деле — веселые, счастливые, свободные, жадные друг до друга и бережные друг к другу; а остальное все, что, как плесень, покрыло нас теперь, — это просто от усталости, от суеты, это наносы; стоит хоть на один вечер как-то смыть их, и сверкнем мы вот такие!..

До Крыма теперь не добраться — ни на поезд, ни на самолет билетов нет никогда, хотя и поезда вроде ходят, и самолеты вроде летают, но благосостояние увеличилось, а количество рейсов — нет; говорят, за валюту можно, но у меня ее отродясь не бывало. Да и не слишком-то тянуло туда с тех пор, как комиссия проворно доказала, что семибалльных землетрусов в Крыму уже не будет, и в сжатые сроки, очевидно боясь, что правительство передумает, угрохав на темпы миллиардов сто семьдесят сверх сметы, запустили АЭС — этак схватишь, выкупавшись в кристально чистой воде, рентген семьсот, а врач потом, как водится, скажет, что на солнце перегрелся, и даст больничный на три дня... а если еще и с ребенком?.. да и без рентген, шут с ними, но питьевой воды совсем не стало, все, что дает протараненный поперек засушливых степей канал, заглатывает охладительный контур, а перегретое сбросами побережье от Керчи до Судана киснет от сине-зеленых, на съезде об этом было заявлено со всей откровенностью...

А жена ревновала к собственным фотографиям. «Что душу травить? Меня не интересует прошлое, оно прошло — меня интересует, что сейчас и что потом»,— вот что она мне сказала еще пару лет назад, когда я предложил ей повспоминать вместе, пройтись, взявшись за руки, по нашему общему корню, неудержимо тонущему в трясине дней; а однажды дошло до скандала. Был день ее рождения, гости ушли; умаявшись насмерть стряпней, затолкав в постель перевозбужденного Кирю, она рухнула сама. К двум ночи я перемыл посуду, искипятив на нее пять чайников — горячей воды, как всегда летом, не было, шла сезонная проверка теплотрасс, а мыться при жаре можно и собственным потом, если слегка посыпаться «Пемоксолью» или, на худой конец, «Суржей», аллергии пойдут, значит, кожа изнеженная, сам виноват,— а потом, уверенный, что она уже спит, затворился в кабинете и раскинул живительный пасьянс. Дверь открылась у меня за спиной раздраженно и внезапно, фотографии на столе дернулись от пощечины сквозняка; женщина, еще хмельная, спросила с порога: «Опять онанизмом занимаешься? Живая баба в постели лежит — а он тут холодных, плоских щупает...» Коньяк и у меня журчал в церебральных сосудах; нейроны, как подгулявшие деревенские орлы, развернув гармоники, стояли в нем по колено, без сапог — я даже не попытался спрятать засушенные лепестки отцветшей жизни, в которой я мог хоть пять сезонов носить одну и ту же рубашку, и она, хоть и выгорала, но не расползалась от первой же стирки; в которой на один лучезарный морской день нам хватало для счастья грозди винограда и банки сардин, и стоило это счастье копеек семьдесят, а не сорок три рубля при условии штампа о временной прописке, за каковой, сутки отстояв под надписью «Граждане СССР имеют право на отдых», нужно отдать двести семьдесят три рубля госпошлины и тридцать с копейками комиссионного сбора; в которой я был уверен, что состояние моих близких зависит от моей чести, моего таланта, моей работоспособности, от того, что мною можно гордиться, ведь я узнаю и придумываю такое, чего не знает и не может придумать на Земле, кроме меня, никто... и сами собой, без усилий, расцветали, как на припеке, кипели, как в очаге, в голове идеи, и десятки страниц — те, из которых я клеил потом коляски — покрывались умными, безошибочными, изумляющими словами... Не по-доброму взвинченный недобрым вторжением, я ответил тихо: «Зато этих плоских вон сколько, и мы с ними друг друга любили...»

Была истерика. Жена плакала. Жена кричала: «Уходи! Невыносимо тебе?! Дохлая я, дохлая, да? А сам-то! Ну уходи — хоть на все четыре стороны, хоть к библиотекарше своей! Думаешь, дожидается еще? Ну иди!! Но мы же умрем! Женщина не может одна и зарабатывать деньги, и искать, где на них что-то купить! Я же с ума сойду, я же сдохну на бегу, в какой-нибудь давке, и твой сын умрет с голоду в пустой квартире! А ты иди! Рисуй свои закорючки, академиком станешь!»

Состояние близких зависит лишь от того, насколько быстро уменьшаются номерки на твоих руках.

Я убрал фотографии и подошел к окну. Я держался очень прямо и все равно ощущал невыносимую, тяжелую горбатость. Твердое сырое полено, вздувшееся внутри меня, давило легкие; было не продохнуть; было не забыть

ни на миг. Я открыл раму, уличная духота дотронулась до духоты в квартире и замерла на пороге окна. Спящие, безмолвные дома витали в прозрачной мгле, пустые улицы, странно просторные, серыми лентами катились внизу. Неподвижность.

Из дома напротив вышла пара.

Парень и девушка, оба в брюках, оба обнаженные по пояс. Они держались за руки. Им оставались минуты. Крылья девушки были напряжены, развернуты просторным мерцающим крестом — даже отсюда было видно, как в густом безветрии шевелится, переливаясь бархатными волнами, нащупывая направление, ориентационная шерстка. Они заметили меня, парень что-то сказал негромко, девушка звонко засмеялась в бескрайней ночной тишине и, помахав мне светлой рукой, крикнула: «Счастливо оставаться!» «Квакай дальше, отец!» — крикнул парень. Он отставал немного, с его плеч будто громадный бесформенный тюк свисал до земли. Больше они на меня не оборачивались. Девушка прижалась грудью к локтю парня и, заглядывая друг другу в глаза, они стояли и ждали.

Где-то вдали, за райкомом, прогрохотал, лязгая раздрыганным железом кузова на измолоченном асфальте, порожний грузовик. И снова все замерло и затихло.

Трудно сказать, когда именно началась эпидемия. Сначала, пока случаев были единицы, взлеты объявлялись мистикой, досужей болтовней, вроде Бермудского треугольника или летучей посуды — но теперь по стране, по данным ЮНЕСКО, в иные дни доходило до полутора сотен. Новая загадка свалилась как снег на голову. Одни валили на нитраты и вообще на захимиченность бытия; другие кивали на дальние последствия Чернобыля и Карачая, а то и вообще на мутагенное воздействие полузабытых, казалось, лишь в архивах оставивших след ядерных испытаний эпохи пятидесятых; а подчас, полушепотом, поговаривали, что скорее дело в некоем психогенном воздействии. Существует ли возбудитель? Если да, то как он передается? Если нет, то по какому принципу недуг выбирает очередную жертву? Что представляют из себя винг-эмбрионы? Как внедряются они, как укореняются? Как и за счет чего происходит прорастание? Что обеспечивает подъемную силу и энергию переноса, ведь не по ветру же он идет, ведь не секрет, что вектор сдува, насколько можно судить по запоздало включенной статистике, никогда до сих пор не был ориентирован внутрь страны, и поэтому некоторые идеологи уже вещали с видимой доказательностью, будто славянство сгенерировало наконец некое особой компрессии очистное биополе, вытесняющее на задворки мира всех изнеженных, тонкокожих и нервных полукровок... Как и почему крылья безболезненно, за несколько часов, отмирают после переноса?

На все эти вопросы ответов не было.

Но последствиям заражения невозможно было препятствовать. Предпринимались попытки, особенно на первых порах, стихийно, подстерегать больных в момент отрыва и придавливать к земле чем-нибудь тяжелым — гусеницами бульдозеров, ковшами экскаваторов, бетонными балками или шпалами... однако не удавалось избежать членовредительства. Предпринимались попытки изолировать больных в наглухо запертых помещениях без окон — но сила полностью созревших эмбрионов была такова, что они либо проламывали перекрытия и словно из пушки выстреливали искромсанного человека в небо, либо расплющивали его насмерть, лопаясь при этом сами и заливая помещение кровью и странной светящейся лимфой... Предпринимались попытки ампутации эмбрионов на разных стадиях созревания. Одну из них осуществил на Песочной мой школьный приятель, блестящий хирург-онколог; по категорическому требованию родителей, не желавших, чтобы их ребенок оказался изнеженным полукровкой и тем бросил и на них некую тень, он пробовал удалить семичасовые эмбрионы у двенадцатилетней девчушки, книжницы и хохотуньи... Мать отравилась потом газом. А мой друг перестал оперировать навсегда, он поседел, и пальцы начинали дрожать при одном виде инструментов. Девочка погибала три дня, с почти непрерывным криком, наркоз не действовал, никакими обезболивающими не удавалось купировать шок, и швы на спинке раз за разом непостижимо лопались с отчетливым

треском — будто взрываясь изнутри, выхаркивая на простыни, на стены палаты переставшую сворачиваться кровь, волокнистые клочья черных тканей, осколки распадающихся, как труха, лопаток и позвонков...

Шерсть на крыльях девушки установилась, вздыбленно замерла, выбрав. Девушка мягко взмыла — парень удержал ее за руки, видно было, как его тряхнуло. Она что-то сказала, он смолчал, с усилием подтягивая ее обратно вниз, к себе. Тюк за его спиной трепетал. Девушка снова засмеялась, нагнулась под своей упругой плоской крышей и — мне плохо было видно теперь их головы, крылья заслоняли — кажется, поцеловала парня.

Словно этого ему и не хватало. Уродливая груда на его спине вдруг с мощным утробным хлопком развернулась, выбросившись в стороны двумя громадными лопастями; по мгновенно напрягшейся шерсти прокатилась стремительная, светящаяся от искр волна и, не разнимая рук, оба свечой пошли вверх — сначала неспешно, потом все быстрее. Парень захохотал, заулюлюкал молодецки — казалось, он должен перебудить полгорода; а когда они пролетали мимо моего окна, сунул руку в карман и, продолжая победно вопить, что-то прицельно швырнул. Две маленькие плоские тени, как летучие мыши, прошелестели у моего лица и обессиленно шлепнулись на пол.

Это были их паспорта.

Когда я снова высунулся, в пепельно-голубом предрассветном небе виднелась лишь продолговатая сдвоенная точка.

Я кинул в рот сразу две таблетки валидола и разгрыз на осколки, чтобы растворялись поскорее.

А потом — потом, едва не сбившим меня с ног ударом, зазвонил мой отключенный телефон.

СПАСИТЕЛЬ

— Здравствуйте, Глеб Всеволодович,— сказали там.— Узнали?

— Конечно, Александр Евграфович,— ответил я и на обмякших ногах опустился в кресло.— Доброе утро.

— Ценю ваш такт,— сказали там.— Утром еще и не пахнет. Но с вечера я не мог вас застать — сначала занято, потом — никого... Поэтому решился побеспокоить ночью — время, как вы лучше меня понимаете, дорого.

— Почему время дорого? — с каким-то предсмертным нахальством делая вид, что ничего не понимаю, спросил я.

— Мы в курсе ваших неприятностей,— сказали там.

Животный ужас, вколоченный в грациозные, беспомощные и податливые, как девичьи лона, спирали ДНК Скуратовым, Ромодановским, Ежовым... да сколькими, сколькими!.. на миг погасил рассвет.

— Каким образом? — сипло спросил я.

— О, не волнуйтесь, на сей раз никакого «стука»,— по тону чувствовалось, что там улыбнулись.— Что вы! Просто ваш Архипов дал мне знать, что вы в затруднительном положении. Дозвониться до вас он не смог, и, поскольку спешил на самолет, передоверил дело мне, памятуя о нашем с вами давнем знакомстве. Я хотел бы встретиться с вами как можно скорее, потому как не исключено, что мы сумеем вам помочь. Хотите, я подъеду?

— Хочу,— сказал я.

Знакомство действительно было давним. Еще в восьмидесятом, в аспирантские мои времена, Александр Евграфович — тогда, кажется, капитан, руководил маленькой группой, которая, до инфаркта перепугав мою мать и деликатно перетряхнув мой дом, удалила из него кучку произведений, в последние годы наперебой публикуемых всеми лучшими журналами. Фатальных последствий не было, мне даже дали защитить свой диссер, но изредка, раз в два — два с половиной года, Александр Евграфович позванивал мне, как приятель, чтобы задать какой-нибудь вопрос или дать какой-нибудь совет. Первое время я нервничал, потом привык на вопросы отвечать нелепыми советами, а на советы — нелепыми вопросами.

Брезгливо смахнув газетой тараканов, он уселся напротив меня, и кресло придушенно пискнуло, словно в его хрупкую плетеную чашу уселся своими котлами, валами, фрикционами, поршнями и заклепками весь тысячетонный государственный аппарат, выкованный на вековых оборонных заводах.

Государство пришло ко мне снова.

Он тоже постарел.

— Ничего не переменилось,— сказал он, озираясь и закуривая.— Все как стояло, так и стоит. Даже креслице это... Только книг сильно прибавилось. Хватает времени на книги?

— Как когда.

— Понимаю вас, понимаю... У меня тоже руки редко доходят. «ГУЛаг» только сейчас и прочел толком... раньше-то, если попадался, сразу по описи сдавать приходилось. Поднаврал старик в деталях — но в целом проза крепкая.

— А я с тех пор и не перечитывал как-то.

— Что разрешено — то неинтересно? — усмехнулся он, держа сигарету в отставленной руке. Дымок поднимался вверх почти без извивов. Свечой. Я промолчал.— Конечно, вам-то не в новинку... хотя, помнится, в те поры чтение Солженицына вы категорически отрицали. Ну да ладно, это, извиняюсь, теперь для широких масс забава. «Самолет по небу катит, Солженицын в нем сидит. „Вот те нате, шиш в томате!“ — Бёлль, встречая, говорит!» — продекламировал он с нарочитым нижегородским прононсом. Затянулся, прищурился, посерьезнел. Кресло пискнуло.— А вы, значит, решили обойтись без самолета?

Я промолчал.

— Негоже, уважаемый доктор, негоже. В такое время покидать страну. Бросать! Когда каждый порядочный человек на счету! А семью, значит, сынишку трехлетнего, значит — под колеса локомотива истории?

Я промолчал.

— Карьеру вы сделали. Зарабатываете для гуманитария неплохо, да и жена, врач, кое-что в клювике приносит. Не бедствуете. У начальства на счету на хорошем. Мы вам никогда никаких препон не чинили — в симпозиумах участвуете, защищаете честь отечественной науки... Что вам не нравится? Пора перебеситься, пора!

— Не нужен я никому,— вдруг сказал я. Он даже крякнул.

— А вы, батенька, что думали? Конечно, не нужны! Не те времена, чтобы сидеть в башне из слоновой кости! Изящными искусствами страну не накормишь. Но представьте, вынесет вас куда-нибудь, где вам ухитрятся найти применение! Статьи-то ваши переводят, стажеры ездят благоговейные... письма такие пишут — зачитаешься! Хотя, между нами говоря, я думаю, просто с жиру бесятся... не могу я себе представить, чтобы нормальный здоровый человек всерьез интересовался, извиняюсь, социоструктурной этикой... Но, скажем, найдут. Это ли нам не плевок? Пишите здесь! В стол пишите, побольше, чтобы груды начатых разработок лежали, черт возьми, может, и пригодятся! — он разгорячился, видно было, что говорит о наболевшем.— Малевич полвека в запасниках гнил — а теперь выставки, выставки, валюта стране! Булгаков, когда помирал, не всем даже почитать мог дать свой гениальный роман — а глянь: на все языки мира переведен, вон она, советская литература, какая,— не Фадеев проспиртованный! Или этот... ну, первый в мире словарь крючков каких-то восточных составил... расстреляли его случайно как японского шпиона, но нынче-то сорок мировых университетов на его пыльные тетрадки молятся! А вы?! Вам все при жизни подай, на блюдечке, как зарплату! Негоже!

— Булгакова жена любила,— сказал я.— Она его рукописи берегла. Она по редакциям ходила...

— Ну, тут уж что можно сказать,— он развел руками.— Романтическая натура, до революции воспитана. А может, он просто, извиняюсь, как мужик покрепче вашего был? Вы витаминов побольше ешьте... чем на крылышки-то соки тратить. Коньячок тоже помогает — грамм пятьдесят перед... ну, перед.

— Ох, не травите душу, Александр Евграфович. Что ж я, нарочно, что ли? Вам ли не знать, что это болезнь...

— Болезни лечить надо, Глеб Всеволодович.

— Надо,— согласился я. И вдруг сорвался: — Да я бы черту душу заложил, чтоб отстричь этот горб!.. Вы что, не понимаете?! Душу бы!.. — у меня перехватило горло. День был слишком тяжелым — нервы рвались, и опять, как кислотой, подступившими слезами прожигало глаза изнутри.

Он помедлил.

— Ну что ж, это ответ. Значит, я не ошибся в вас.

— Дайте закурить.

Он протянул мне широкую, сверкающую синевой и золотом пачку «Ротманс». Дал огня.

Мне тоже захотелось сидеть непринужденно, развалясь, с сигаретой в расслабленной руке. Этот срыв был непереносим, унизителен. Но сигарета не помогла, тряслась в воздухе вместе с пальцами, и дым шел не свечой, а робким барашком. Только голова закружилась еще сильнее.

— Думаю, мы сможем вам помочь,— сказал Александр Евграфович.

— Каким же это образом? — спросил я холодно, кинул ногу на ногу и попытался расслабиться. И опять непринужденной позы, подобавшей беседе двух равных, не получилось — я забыл про горб; он уперся в спинку и оставил меня высунутым вперед.

— Терапевтическим.

— Умирать я тоже не хочу,— проговорил я.— Тем более, в муках.

— Речь не об операции. Разработан новый метод.— Александр Евграфович глубоко затянулся и помолчал, тщательно обивая пепел в карандашницу.— Риск, конечно, есть, но... В сущности, нам нужен доброволец. Когда Архипов позвонил мне, я понял, что это судьба. Я был уверен в вас и даже определенным образом поручился за вас генералу. Почему-то... почему-то те, кто недоволен страной, когда приходит час испытаний, как правило, наиболее склонны жертвовать собой ради нее.

Не сговариваясь, мы глубоко затянулись оба. Как равные. Пепел медленным карликовым снегопадом осыпался мне на колени.

— В чем состоит метод?

— Консервация зародышей. Горб, конечно, останется, но... горбатых вы, что ли, не видели? Умные, вежливые люди, просто с физическим недостатком. Мало ли у вас физических недостатков? Но зато останетесь здесь. С друзьями, с семьей!.. Да что я вам объясняю... Потому я так и спешил, чем раньше начнем, тем меньше горб, он же у вас пухнет, как бешеный...

— Кем разработан?

Александр Евграфович помолчал. Снова тщательно отряхнул пепел.

— Опытными специалистами.

— Если эмбрионы будут убиты, ткань может загнить. Заражение... гангрена... Мне не очень верится.

— Вас будут наблюдать.

Он помолчал, и мы опять, не сговариваясь, затянулись одновременно.

— Риск, конечно, есть,— честно повторил он.— На животных тут проб не проведешь.

Алый клок восхода неспешно влетел в комнату сквозь узкую щель между домами напротив. Вдали грохотал первый трамвай.

— Вы вправе отказаться,— проговорил Александр Евграфович.— Хотите лететь — летите. Но уж тогда имейте совесть сознаться: хочу улететь. И никто вам слова худого не скажет...— скулы у него запрыгали, и вдруг он хлопнул ладонью по столу, выкрикнув с болью: — Но мы должны остановить отток, должны! Ведь если так пойдет, здесь, может, вообще никого не останется, кроме безнадежных алкоголиков и большого начальства!

— У меня условие,— хрипло сказал я.

— Я вас слушаю.

— Я должен повидаться с семьей.

Он покивал.

— Понимаю вас, понимаю... Разумеется, Глеб Всеволодович. «Волга» с шофером ждет в проходном дворе, распоряжайтесь.

Я отвернулся. Пепельное душное солнце всплывало над крышами.

— В случае... нежелательных последствий,— сказал Александр Евграфович,— о вашей семье позаботятся. В этом можете быть уверены, товарищ Пойманов.

— Надеюсь,— сказал я и встал.

И не смог сделать ни шагу. Ноги будто приросли.

Александр Евграфович понял; слышно было, как он грузно поднялся из кресла у меня за спиной. Кресло освобожденно пискнуло. Оно пищало одинаково и когда его сдавливали, и когда его освобождали.

— Я жду вас в машине,— тяжко вздохнув, проговорил Александр Евграфович и, не глядя на меня, чуть горбясь, вышел из комнаты. Через секунду в коридоре лязгнула дверь и стало совершенно тихо. Только отдаленный, пробуждающийся шум улиц нарастал.

Обвел взглядом кабинет. Нестерпимо захотелось посмотреть фотографии. Поправил бумаги на столе, завязал тесемки на папке с недочитанной диссертацией. Все было на своих местах — стеллажи, книги, в карандашнице еще чуть дымилось. Розовый свет захлестывал стены. Я поднял трубку и тут же положил обратно на безмолвные рычаги. Телефон снова был отключен.

«Волга» покатила по быстро заполняющимся магистралям, аккуратно обгоняя переполненные трамваи и троллейбусы, вежливо притормаживая в узостях, птицей перелетая мосты. Александр Евграфович вновь попытался закурить; плотный бьющийся поток из полуоткрытого окна сметал пламя зажигалки, и Александр Евграфович, пощелкав немного, с неприязненным лицом закрутил стекло вверх до упора.

— Дайте и мне,— сказал я так, будто это уже само собой полагалось мне по рангу. Он протянул пачку; дал огня. Затянулись мы одновременно.

— Давно курите, Глеб Всеволодович? — спросил он, не глядя на меня. Курить было неудобно — машину колотило на латаном асфальте, упругая спинка сиденья то и дело, как боксер в грушу, била меня по горбам, и я мазал фильтром мимо рта.

— Всякий, кто этим воздухом дышит — курит,— ответил я.— И днем, и ночью «Беломорина» на губе.

— А все же не нравится вам здесь, не нравится,— с горечью произнес Александр Евграфович. Я промолчал. Нас с силой повезло по сиденью вправо — «Волга» слетела с Ушаковского моста, нырнув под только что зажегшийся желтый свет, и зарулила, почти не тормозя, на Приморский проспект. Сколько было связано с этим местом, с этим поворотом даже — здесь всегда отдых был близко впереди, залив, необозримые песчаные пляжи с валунами, чистые леса... Слева тянулись за узкой зеркальной полосой Невки зеленеющие Острова; мелькнула, утопая в разливах сирени, прибрежная беседка с эхом, которую когда-то показала мне жена — накатывала ночь, беседка плыла, медленно рассекая серую воду и серое небо, я ломал цветущие ветви и говорил: «О!», и потолок беседки отвечал: «О!», и жена отвечала: «Ого!»

Проскочили буддийский храм. Шофер крутнул баранку, огибая что-то, но опоздал, и нас кинуло вверх на плохо подогнанном, перекошенном канализационном люке.

— Болит... штука-то? — осторожно спросил Александр Евграфович.

— Нет. Онемела совершенно. Мешает только.

Он затянулся; приоткрыв окно, коротко выставил сигарету наружу, и ветер слизнул седой хвостик пепла.

— Спешить надо.

— Делаю, что могу,— сказал шофер. Я впервые услышал его голос.

— Я не тебе, Володя. Ты работай.— Он повернулся ко мне,— я даю вам час.

— Три,— сказал я.

— Я думаю, торг здесь неуместен,— голосом Остапа Бендера сказал Александр Евграфович. Я усмехнулся кривовато, а Володя вдруг громко рассмеялся и на короткий миг обернулся к нам, вспышкой показав веселое смуглое лицо.

— Машин мало,— сказал я.— Странно. Когда-то в такую погоду шел сплошной поток...

— Ездить особо некуда стало,— угрюмо проговорил Александр Евграфович.— Залив прокис, в озерах то гепатит, то менингококк...

— Да не в этом дело, Александр Евграфыч,— снова подал голос Володя.— Народ в Сосновом Бору в ХЖО купается, и ничего...

— Что это? — спросил я.

— Хранилище жидких отходов,— ответил Александр Евграфович.— Могильник.

— Во-во! Так даже нравится — всегда теплая, говорят... А вот налоги на дороги опять так вздули! Кто может столько выложить, кроме мафиози? И, главное, все как в прорву улетает, вы посмотрите на покрытие! Это же убийство, а не покрытие! Частники сейчас от машин избавляются...

Мы затянулись одновременно.

— Единственная хоть сколько-нибудь убедительная теория,— вдруг сказал Александр Евграфович,— то, что улеты — это какая-то приспособительная реакция. Эскулапы наши считают, будто заболевают те, у кого оказались исчерпанными адаптационные возможности. Если жарко — человек непроизвольно потеет. Если холодно — непроизвольно начинает стучать зубами и подпрыгивать. Ну, а если сил нет как хреново — непроизвольно взлетает абы куда... Так, примерно.

— Интересно,— процедил я.

— Да уж куда как интересно,— угрюмо сказал он; прикурил вторую сигарету и, уже не спрашивая и не дожидаясь просьбы, протянул мне пачку. Я закурил. Во рту щипало и жгло.— Ведь сердце кровью обливается! Царь жал, душил, голодом морил — сидели смирненько, трудились. Сталин жал, душил, голодом морил — сидели, коммунизм строили с пеной у рта. А теперь, когда всем бы действительно навалиться плечом к плечу... полетели. Пташки!

— Может, это как облучение,— предположил я хмуро.— Дозы накапливаются, накапливаются... оседает, оседает стронций в костях, и вроде даже привычно с ним, подумаешь — обычное дело: стронций, без него вроде и никак уже... а потом все-таки: бац!

— Глеб Всеволодович,— чуть помедлив и почему-то понизив голос, всем корпусом повернувшись ко мне, произнес Александр Евграфович.— Скажите честно. Что называется, не для протокола. Вы действительно считаете, что... что наша жизнь — это... извиняюсь... стронций?

Я промолчал.

— А я вам вот что скажу! — почти выкрикнул он, подождав и поняв, что ответа не дождется.— У них там есть и другие теории! В апреле группа медиков из Лос-Анжелеса опубликовала статью, где доказывается, что наши улеты — это начало некоего грандиозного, глобального процесса перемешивания. Генофонд вида ощутил региональное закукливание генной информации и пытается его парировать. Дескать, в условиях нашего стремительно меняющегося техногенного мира человек не успевает развиваться синхронно со своими произведениями, приспосабливаться к ним, и чтобы подстегнуть приспособление, надо усилить мутагенный фактор; а что для этого? — для этого как можно быстрее и хаотичнее перемешивать расы, народы...

— Тоже интересно,— сказал я.— Но очень сложно.

— Для вас сложно,— почти со злобой сказал Александр Евграфович.— А вот там обыватели быстро разобрались, что к чему. Зар-разы сытые! Как представили себе, что, ежели так, скоро тоже начнут взлетать из своей Айовы, из Новой Зеландии своей, и опускаться у нас в Нечерноземье, или, извиняюсь, в Кулундинской степи... Ведь от страха офонарели! От наших там шарахаются сейчас — заразиться боятся. Позавчера,— он совсем почернел и буквально грыз фильтр,— позавчера был первый достоверно зафиксированный случай линча. Близ Кальтаджироне парнишка сел, даже крылья не отвалились еще. Зверье... Не приближаясь ближе чем на сорок метров, его спалили из армейских огнеметов, и потом еще минут десять прожаривали труп и почву кругом, пока кости не истлели! Мы случайно сняли со спутника...

Я смолчал. Я представил себе молодую пару, так безоглядно, так предрассветно взлетевшую сегодня. Потом я представил Кирю.

— Я вам больше скажу,— проговорил Александр Евграфович.— ВОЗ уже дважды делала представления нашему правительству. Чтобы мы как-то их оградили... Дошли до того, что намекнули даже...— он мотнул головой, сгоряча не в силах связно подбирать слова.— В общем, чтобы силы ПВО страны сбивали улетчиков над границей. Сами они мараться на государственном уровне не хотят — но дрейфят! И, понимаешь ли, мы же сами, нашими же МИГами чтоб сбивали наших же людей! В целях, извиняюсь, укрепления доверия между Востоком и Западом... И я не уверен, что у наших хватит духу отказывать раз за разом.

Я думал о Кире, и не мог думать ни о чем ином. И вдруг почему-то вспомнил — всей кожей вспомнил, всем телом — как легко и сладко было вчера с Тоней.

Постоянно болевшее, словно проткнутое, сердце на миг упало со своего вертела в пляшущий костер.

В Сестрорецке мы забуксовали среди массы людей. Даже не понять было, что стряслось — кто-то хохотал возбужденно, кто-то всхлипывал, кто-то горячо говорил... Поодаль, встав на урну, бородатый кряжистый человек выкрикивал речь, но его было почти не слышно.

— В чем дело? — жестко спросил Александр Евграфович, выглянув в открытое окно, пока «Волга» пробиралась, слегка лавируя, между неохотно расступающимися людьми.

— Спидоноску придушили! — с кретинической радостью крикнул лохматый небритый паренек в шортах и драной майке, поверх которой болтался прицепленный впопыхах вверх ногами нательный крестик.

— Что?! — крикнул Александр Евграфович. Вены на его шее набухли, стали лиловыми. Паренек в восторге ударил кулаком по капоту «Волги». Сосредоточенный Володя вздрогнул и ругнулся вполголоса, будто ударили его самого — но даже не повернул головы.

— Вроде женщина-то приличная, колечичко на руке,— с готовностью застрекотала аккуратно одетая бабка и, одной рукой катя коляску с равнодушно глядящим оттуда младенцем, потащилась с нами рядом.— А выходит из раболатории, где анализ-то берут — и плачет! Ясно дело — положительный! Ну, а у ребят-то у наших тут в кусту дежурство организовано круглосутошно, блюдемся...

Перекрывая гомон, бородатый поодаль надсаживался, триумфально размахивал рукой — до нас долетали обрывки: «Физическое и нравственное здоровье русского народа идут рука об руку!.. Кризис требует кардинальных мер, и любые будут оправданы, ибо ставка предельно высока!.. На действенную помощь Кремля, раболепствующего перед инородцами, рассчитывать не приходится!.. Мы вправе спросить: Горбачев, где обещанные презервативы? Ты отдал их казахам!.. Убийственный вирус СПИДа, выведенный в тайных масонских лабораториях еще при Лорис-Меликове, которого в действительности звали, как известно, Лейба Меерзон...»

Мы прорвались. Володя, наверстывая время, погнал на предельной скорости. Асфальт летел под шипящие, утробно екающие на выбоинах колеса.

— А презервативов действительно нет,— заметил Володя.

— В том-то и дело,— с тяжелым вздохом отозвался Александр Евграфович.

— Этими-то хоть вы занимаетесь? — большим пальцем показав назад, спросил я.

Володя хохотнул горько. Александр Евграфович, глядя прямо перед собой, долго молчал.

— Эх, Глеб Всеволодович,— сказал он безнадежно,— до всего просто руки не доходят... Что говорить! — его голос затрепетал от скрытой боли.— Нам ведь даже фонды магнитной ленты заморозили! Можем отрабатывать только тех, к кому подключились когда-то, а захочешь сейчас внепланового «жучка» вколоть — изволь за свой счет...

— И куда все девается,— сказал Володя, не оборачиваясь.

Больше мы не разговаривали до самого Рощина.

СВИДАНИЕ

Здесь был рай. Дощатая пристройка утопала в свежей июньской зелени, утренний воздух благоухал; в тишине перезванивались вечные, нормально крылатые птицы. Киря стоял на цыпочках, положив подбородок на край переполненной бочки и, держа в вытянутой руке еловую шишку, сосредоточенно водил ее по воде вправо-влево.

— Кирилл,— сказал я,— здравствуй.

Он обернулся ко мне.

— Шишка купается,— сообщил он так, будто мы расстались полчаса назад. Сначала я обмер, мне показалось, что он где-то упал совсем недавно и стесал кожу с лица. Но это был диатез. Вот тебе и свежий воздух.

— Замечательно,— сказал я,— шишке хорошо. А у тебя рукава мокрые.

— Рукава не мокрые,— серьезно возразил он.

— Ты чем-нибудь другим заняться не хочешь?

— Другим не хочешь.

Рукава были насквозь мокрые. Я закатал ему рукава. Номерков у него на руках еще не было, так что можно.

Жена сидела у газовой плиты нога на ногу, к двери спиной, и что-то читала. На плите булькало, из-под слегка сдвинутой крышки кастрюли курился парок. Газ шел еле-еле. А кран был открыт полностью. Баллон пора менять.

— Здравствуй,— сказал я. Она обернулась. Будто мы расстались полчаса назад.

— Привет,— приветливо сказала она, не закрывая книгу.— Какими судьбами?

— Заехал проведать,— объяснил я, стараясь держаться очень прямо и как-то втянуть предательски раздувшие пиджак горбы на лопатках.— Друг подбросил... ненадолго. У него тут дела, он на машине. Через час обратно.

— Какие у тебя друзья появились, пока нас нет. С машинами. Мужчина или женщина?

Она подзагорела. Чуть-чуть. Но выглядела она страшно устало, простотаки измочаленно. Под глазами темные мешки, губы бледные...

— Мужчина, представь. Как вы тут? Не болеете?

— В пределах допусков,— ответила она.— Горло все время, особенно с утра. Тепленького попьешь — вроде проходит... А этот совсем не спит. И мне не дает, естественно... Ну, как водится.

— Бедняга... Комары не заели?

— Начинают заедать. Хозяин говорит — это еще что, вот через недельку...

— Что читаешь?

Она закрыла книгу и пихнула ее куда-то в груду посуды на столе.

— Некогда мне тут читать. Стирка-готовка-прогулка, прогулка-стирка-готовка...

— Суп варишь?

— Третий день один пакет мусолим,— она сунулась в ведерко за плитой и показала мне пустой пакет из-под супа «Новинка».— В лабазе — шаром кати. Сперва еще ничего было, а сейчас дачники наезжают экспоненциально... Ты ничего не привез?

— Нет. Как-то не догадался.

— Во! — она постучала костяшками пальцев по столу, намекая, что я дубина.— В морозилке же курица лежит!

— Знаешь, даже не посмотрел.

— Привези. Просто хоть траву лопай...

— Кору с деревьев.

— Лебеду.

— А ты знаешь, как лебеда выглядит?

— У хозяйки спрошу.

— А как они фураж достают?

— Черт их знает. Неудобно спрашивать. Ты же знаешь, сейчас у всех свои маленькие хитрости... Они уж пару раз мне подбрасывали. Тоже не очень жируют, знаешь...

Протопал под оконцем Киря, повозился на лавке около двери и заглянул к нам.

— Шишка загорает,— сообщил он, подошел к матери и полез к ней на руки прямо в башмаках. Она вяло отбивалась. Я перехватил его за плечики.

— Кирюша, не надо. Мамочка очень устала.

— Мамочка очень не устала.

— Мамочка очень устала,— убеждающе повторил я, держа его к себе лицом и глядя в глаза. Он моргал, губки — бантиком; слушал смирно.— Мамочка все время о нас заботится, а на это надо очень много сил. Мешать нельзя, мамочка нам готовит вкуснющий суп, у нее это так замечательно получается...

Еще когда Киря был в проекте, мы с женой много говорили о том, что при ребенке, с самого рождения, очень воспитательно будет с настойчивостью произносить друг о друге только хорошее, как можно больше и чаще, и очевидно отдавать друг другу, например, лучшие куски, лучшее место перед телевизором... Я свято держался этой линии, жена тоже старалась — правда, с модификациями. Она говорила: «Папочка у нас очень умный, только руки у него не тем концом вставлены» — и лукаво косилась на меня, или: «Папочка у нас хороший, но затюканный». Тексты о лучшей доле она тоже переосмыслила: «Сегодня папочка заслужил вот этот вкусный кусочек мяса...» или «этот замечательный ломтик папочка честно заработал...» Сначала я обижался, но быстро привык; да и не лаяться же из-за обмолвок всякий раз, тем более, что проскакивают они быстро, незаметно, беззлобно... да и, что греха таить, зачастую справедливы...

Кирилл послушал-послушал, заскучал и вышел на улицу, аккуратно притворив хлипкую дверь.

— Он стал чище говорить,— заметил я.— Почти все слова понимаемы. Все-таки перемена обстановки подстегивает развитие, правильно мы пошли на эту дачу...

Я осекся. Про полезность перемены обстановки мне не стоило сейчас говорить.

Впрочем, жена не обратила внимания на мои слова. Она тем временем расстегнула халат до пояса и спустила с плеч. Лифчика не было.

— Ты все-таки подзагорела немножко,— сказал я.— Сейчас хорошо видно.

— Посмотри, что тут у меня,— сказала она и приподняла левую грудь ладонью.— Бугорок какой-то. Третий день трогать больно, а самой никак толком не заглянуть, зеркало мы с Кирей кокнули.

Я посмотрел.

— Угорь. Закраснелся чуток. Наверное, купальником натерла.

— Тьфу, пакость... Выдави.

— Ой, не могу. Такое место... боюсь больно сделать, правда.

Она покусала губу и натянула халат обратно на плечи.

— Ладно,— сказала она, застегиваясь.— Ни о чем тебя просить нельзя... Пойду у хозяев зеркало попробую поклянчить. Последи тут, чтоб суп не убежал... Да, кстати, хорошо, что приехал. Видишь, баллон издыхает совершенно. Сходил бы на газостанцию, а? Тем более, ты на колесах.

— Попробую,— сказал я.— Во всяком случае, переговорю.

— Пустой вон в углу. Вот проверочный талон, вот свидетельство на право пользования,— она тяжело поднялась, шагнула к двери.— Не скучай.

— Постараюсь.

— Как ты сутулишься,— проходя мимо меня, заметила она.— Говорю тебе, говорю...

Я улыбнулся.

— Горбатого могила исправит.

Она фыркнула. Протяжно заскрипела дверь, от сотрясения задребезжало плохо закрепленное стекло в окошке.

Я прилег на лежанку. Солнце било сквозь листву, радостные безветренные пятна света лежали на стене неподвижно. Сдержанно, мягко бормотала кастрюля. Было так уютно, так спокойно и тихо, что мне показалось, будто я смогу сейчас уснуть. Все-таки добрался. Ноги гудели, гудела голова. Едва

слышно что-то как бы переливалось или перекатывалось в глубине спины. Вошел Киря, у меня не было сил даже голову повернуть к нему. Он протопал ко мне, встал у лежанки, посапывая и ласково заглядывая мне в лицо.

— У! — сказал я.

Он засмеялся и ответил:

— У!

— Ы-ы! — сказал я, выпятив челюсть, и двумя пальцами пощекотал его живот, проглянувший, как луна сквозь тучи, между разъехавшимися полами рубашки. Он вывернулся. Наклонился ко мне; ухмыляясь, медленно сунулся носом мне в нос. Когда носы уткнулись друг в друга, он нежно сказал:

— Дысь.

— Дысь,— ответил я с наслаждением. Это у нас было такое приветствие. Нос у него был маленький и гладкий, а глаза большие. А щеки и подбородок — словно ошпаренные. Можно сделать великое открытие, можно повеситься, можно выйти на площадь с транспарантом «Долой!!!» — диатез это не лечит. Диатез лечит только уменьшение номеров на руках. Киря полез на лежанку, я подцепил его рукой, помог. Он уселся у меня под мышкой. Со двора донесся заискивающий голос жены: «Просто не знаю, как вас благодарить... Вы меня так выручили...» Я приподнялся было на локте, чтобы в окошко посмотреть, чем ее облагодетельствовали — и лег обратно, почувствовав вдруг: неинтересно. Мало ли чем! Может, угорь выдавили. Киря сидел, подпирая одним башмаком мой бок, и с удовольствием строил мне рожи. Мысль о том, что я, скорее всего, сижу с ним в последний раз, была непереносима: я старался не думать, не вспоминать, и только самозабвенно строил рожи ему в ответ.

Вошла жена с пластиковым пакетом, тяжело опустилась на расхлябанный стул.

— Ох,— сказала она и, вдруг глянув на меня исподлобья, улыбнулась почти виновато.— Замоталась я тут совсем... Коленка болит. Вроде и не стукалась... Ладно. Во! Десяток картошек хозяева отвалили. Ублажить любимого человека.

— Ой, нет, я не буду, ешьте...

— Ну, как знаешь,— она поставила пакет у стены, и он с внутренним раскатывающимся стуком осел на полу.— Пригодится... А в следующий раз обязательно куренка захвати.

— Хорошо.

— Как ты-то живешь? Нормально?

— Нормально,— ответил я.— Суечусь...

— Ничего стоящего опять не успел?

— Да нет...

— Уж и мы не отсвечиваем, а ты все равно сачкуешь. Жаль,— она вздохнула, а потом, потирая колено, озабоченно оглянулась на плиту.— Мечта юности была — сдувать пылинки с гениального тебя.

— Ну... кое-что... Французы вот приезжа...

— Совсем газ кончается. Так заправишь баллон?

— Не заправишь,— сказал Киря, почему-то решивший, что просьба обращена к нему.

— Заправишь,— сказал я и встал.

Володя, привалившись задом к капоту, медленно курил, с удовольствием озираясь на безмятежный зеленый мир. Александр Евграфович, запрокинув крупную голову на спинку заднего сиденья, приоткрыв рот, беззвучно дремал в распахнутой машине. Впрочем, дремал он профессионально. Шагов за пять он услышал меня, закрыл рот, потом открыл глаза, потом легко вылез из машины.

Я чувствовал себя последним идиотом.

— Ну, как она? — осторожно спросил Александр Евграфович.

— Ничего,— ответил я.

— Мужественная женщина.

Володя, отшвырнув окурок подальше, поглядел на меня уважительно и полез на свое место.

— Тут вот какое дело,— промямлил я и выставил перед собою красный, чуть облупленный баллон.— Газ кончился, мне надо сперва баллон заправить. И вы знаете... раз уж мы ездим... все равно ведь: часом раньше, часом позже, мне горб не страшен. Курицу надо из города привезти, я в холодильнике забыл.

Руки Володи свалились с баранки. Александр Евграфович затрудненно сглотнул.

— Вы... серьезно?

— Им лопать нечего! — заорал я, тряся баллоном.

— Да что она, курицу сама купить не может? — побагровев, гаркнул Александр Евграфович и нервно полез за сигаретами.

— Вы в здешний магазин заходили? На полках только искусственные цветы, кооперативные свечи да «Стрела» с «Беломором»!

— И за «Беломор» спасибо скажите,— пробормотал, раскуривая «Ротманс», Александр Евграфович. Руки у него тряслись от возмущения.

— Дайте сигарету.

Он спрятал пачку в карман. Цепко, с прищуром посмотрел на меня, выдохнул дым. Как когда-то.

— Слушайте, Пойманов. Вы помните, какие книги мы у вас изъяли?

Ума не приложу, как я не засветил ему баллоном. Наверное, потому что очень устал.

— Помню,— сказал я.— «Континенты» с Гроссманом, Замятина, обоих Оруэллов «Посевского» издания... «Слепящую тьму» в машинописи... Роя Медведева пару отрывков...

— Ведь замечательная литература! — выкрикнул Александр Евграфович, размахивая сигаретой прямо у меня перед носом.— Умная, честная! И вы тянулись к ней! Рисковали, сознательно рисковали — но тянулись, понимания вам хотелось, истины, высокого чего-то! Масштабного! Помню, привели вас — щенок, соплей перешибешь... видно, как поджилки трясутся, но — гордый! Нога на ногу, собой владеет — сто процентов, даже голос не дрожит. И на мордочке прям написано: сейчас, дескать, меня пытать начнут! А завтра про меня «Голос Америки» на всю страну бабахнет — узник совести, последний гуманист в империи зла... Я вас уважал, клянусь! Так ведь и не сказали, откуда к вам попали эти произведения! Ужом крутились, а ни гу-гу! Я ведь собирался на вас представление писать, загремели бы вы, как оно водилось... да Архипов за вас просил. Такой, говорил, талантливый вьюнош, одумается еще. Но вы, извиняюсь, так одумались! Ведь все же у вас есть: талант, положение... книги — читай не хочу... Свободу вам дали, свободу! Вам бы сейчас кровь из носу пахать для страны! А в голове у вас что? «Курица, курица»! — гнусавым голосом передразнил он.— Смотреть тошно!

Он умолк и опять жадно затянулся. Я следил взглядом каждое движение его сигареты. Не знаю, зачем. Наверное, оттого, что он не дал мне закурить.

— Вот что, Пойманов,— сказал он и кинул окурок себе под ноги. Взялся за ручку дверцы.— Идите вы к черту. Никто и нигде вас не сможет применить. Дохлый вы номер.

— Да почему же меня обязательно применять? Я ведь живой!

Володя, пользуясь тем, что шеф не видит, со значением посмотрел мне в глаза и постучал себе по лбу согнутым пальцем.

— Пока вы не доказали свою ценность для страны,— жестко сказал Александр Евграфович,— живой вы или не живой есть ваше личное дело. Сначала подвиг, а уж потом, если руководство изыщет резервы или сочтет целесообразным у кого-либо изъять,— курица. А вам все наоборот хочется: сначала курица, а уж потом, если ваша левая нога захочет — подвиг. Так держава не устоит. На всех вас кур нет у нас. И не должно быть.

Что-то удивительно родное, удивительно домашнее было в этих словах... Сегодня папочка честно заслужил этот кусочек мяса.

Как одинаковы те, кто не любит, но использует. Презирает, но нуждается. Замордован и обессердечен настолько, что не может не стремиться паразитировать.

Некогда я твердил себе изо дня в день: мы навсегда в ответе за тех, кого приручили. От этих слов, пронзивших меня еще в детстве, бодрей бегалось. Но

в реальной жизни оказалось иначе: мы навсегда в ответе за тех, кто приручил нас.

— А вас не беспокоит, Александр Евграфович, что вместо подвигов все просто либо прут, что могут, либо друг у друга рвут?

Его глаза сузились, как в момент прицеливания.

— Отрегулируем,— убежденно сказал он.

— Скажите,— я оглядел «Волгу», шофера, исступленно делавшего мне предупредительные знаки, окурок, породисто отсверкивающий золотым ободком.— Вы сами совершили много подвигов?

Он пожал плечами и ответил без рисовки:

— Вся моя работа — подвиг...

— Понятно,— сказал я.

— Что вам понятно? — он опять вспылил.— Ничего вам не понятно! У меня пятый день бачок в сортире хлещет! Все трубы сгнили... А сантехник, зар-раза, радио не слушает даже нашего, газет не читает, книг со школы в руках не держал... Пьянствует водку и ни хрена не делает. Ничем его не пугнешь...— загружаясь в машину, он хрипло, протяжно вздохнул.— Житуха наша скотская... В Управление,— велел он совсем иным, железным голосом и беспощадно захлопнул дверцу.

И тут я понял, что произошло.

У меня что-то словно взорвалось внутри. Я побежал за ними. Бежать не было сил, по бедру бил баллон, и горбы под пиджаком тряслись, как у верблюда на скаку.

— Стойте! — кричал я.— Ну стойте же! Я никуда не хочу!.. Они же пропадут без меня, пропадут!.. Не надо курицу, только газ наберем!.. *Вылечите меня!!!*

Раскачиваясь и скрежеща рессорами на песчаных ухабах проселка, государство уехало от меня. Само. Осела пыль. Задыхаясь, я остановился.

Цвела сирень.

И вокруг беседки цвела сирень. «О!» — говорил я. «О!» — отвечало эхо из чаши потолка. «Ого!» — отвечала жена и прятала счастливое лицо в благоуханных кистях...

Распрямиться. Немедленно распрямиться.

До города километров шестьдесят, за полтора дня дойду. И полтора назад. В общем, успеваю. Вот только курица на обратном пути может прокиснуть, а весь холодильник мне не донести. Тьфу ты, господи, да если б и донес — включить-то его по дороге куда? Ну, скиснет, так скиснет. Я ее пожарю перед выходом.

Да, ведь еще баллон.

Телефон снимут. Сегодня мне никак до Синопской не добраться, снимут, сволочи, телефон. Как же мои будут? «Неотложку», скажем, вызвать...

Обязательно снять с книжки все деньги. Часть оставить дома, а часть принести сюда.

Привести в порядок все черновики. Вдруг кому-нибудь когда-нибудь пригодятся.

Интересно, на какую высоту меня поднимет? Хорошо бы повыше, в стратосферу, там бы я задохнулся...

Не забыть талон на билеты.

1989

Александр ВОЛОДИН

♦♦♦

Нас времена три раза били,
и способы различны были.
Тридцатые. Парадный срам.
Тех посадили, тех забрили,
загнали в камеры казарм.

Потом война. Сороковые.
Убитые остались там,
а мы, пока еще живые,
все допиваем фронтовые
навек законные сто грамм.

Потом — надежд наивных эра,
шестидесятые года.
Опять глупы, как пионеры,
нельзя и вспомнить без стыда...
Все заново! На пепелище!
Все, что доселе было — прах:
вожди, один другого чище,
хапуга — тот, другой — что взыщешь,
едва держался на ногах.

И вот пришел. И вот ура!
Он хочет правды и добра,
достоин быть главой народа.
Он просит нас: друзья, пора!
А мы бы рады! Прям с утра!
Ан нет, не та уже порода.

Усталы, вялы, безразличны
к разоблачениям скандальным,
к починам, местным и столичным,
и переменам кардинальным.

Кто знает, сколько лет пройдет,
покуда дорастет народ.
Но чья звезда взойдет тогда?
Кто нам — иль им — главою будет?
Что он одобрит? Что осудит?
Неведомо. Вот в чем беда.

♦♦♦

Как города самые западные
похожи на города самые восточные!
В буфетах одинаковые запахи.
Начальство — одинаковое точно.
Какое равенство и единообразие!
Если кто и выделяется, то в точности как другие.
О любом поймешь после пятой фразы:
склонен к панихидам, или предпочитает гимны.
Укорочен лозунг французской революции.
Равенство без свободы и братства.
За одно равенство стоило ли драться?
Равенство напившихся тем, что напьются?
Равенство хитрых и ушлых — ушлым?
Равенство глупых с дураками?
Равенство продавшихся — продавшим души?
Равенство рабов в душе — с рабами?
Равенства не надо. Это лишнее.
Умные, гордитесь неравенством с глупцами.
Честные, дорожите неравенством с подлецами.
Сливы, цените неравенство с вишнями.
Города должны быть непохожи, как люди.
Люди непохожи, как города.
Свобода и братство. Равенства не будет.
Никто. Никому. Не равен. Никогда.

70-е годы

◆◆◆

Солнечным сиянием пронизан,
ветром революции несом,
над землей парит социализм
с получеловеческим лицом.

70-е годы

◆◆◆

Неверие с надеждой так едины,
то черное неверье верх берет
и свет надежды угасает, стынет,
но так уже бывало. В прошлый год
и в те века, и в те тысячелетья,
надежды все обманывали нас.
И вновь неверью нечем нам ответить.
И свет надежды все слабее светит.
Но что такое? Светит, не погас...

◆◆◆

Никогда не толпился в толпе.
Там толпа — тут я сам по себе.
В одиночестве поседев,
по отдельной иду тропе.

Боковая моя тропа!
Индивидуализма топь...
Где толпа моя? А толпа
заблудилась средь прочих толп.

◆◆◆

Когда в атаку не подняться,
вам первым перейти порог:
вот привилегия. Залог,
чтоб в плен живым не попадаться.
Свинцовый влепят *вам* паек.

Война далёко...
«К сожаленью,
Они партшколы не прошли...» —
Вот аппаратчиков сомненье:
Поймут ли *эти*? Смогут ли?

А *эти* молчаливы с *теми*
разделены глухой чертой.
Многопартийная система?
Уже две партии в одной.

◆◆◆

Так неспокойно на душе.
Добрее быть, твержу, добрее!
Умнее быть, твержу, умнее!
Но мало времени уже.

СТРАНА «ГАЛЬБЛАНДИЯ»



В. А. Гальба. Акварель Ф. Шольте. 1925

В текущем году выйдет в свет сборник воспоминаний о заслуженном художнике РСФСР Владимире Александровиче Гальбе. Коренные ленинградцы помнят, каков был в жизни этот юморист, яркий иллюстратор К. Чуковского, С. Маршака, Марка Твена.

Первый учитель его — профессор Ф. Ф. Шольте, строгий реалист, долго привыкал к пылкости ученика, но веселому дарованию не мешал и даже посмеивался над шаржированными образами гипсовых Лаокоонов и Зевсов.

В юные годы наставниками Гальбы стали сатирики высочайшего класса — А. Радаков, К. Ротов, Б. Антоновский. Нельзя было видеть Гальбу без его огромного альбома, что носил он под мышкой. На этих листах толпились прелестные нимфы, поэты, атлеты, рогатые олени и динозавры — все обитатели Гальбландии, как назвал выставку Гальбы патриарх нашей сатиры Борис Ефимов.

Помнится факт из биографии Гальбы, известный ленинградцам блокадникам. С самого начала Великой Отечественной войны «Ленинградская правда» стала ежедневно давать на первой полосе острую карикатуру, подобную залпу по врагу, с подписью «В. Г.» в правом углу. Эти обличительные, яростные рисунки поддерживали боевой дух, вселяли презрение к фашистской нечисти. И жил тут в осаде худенький мальчик, покоренный картинками стойкого художника. В течение 900 дней блокады вырезал он эти карикатуры и вклеивал в заветные альбомы.

Сегодня седовласый Всеволод Инчик гордится уникальным собранием рисунков, рассказывает о подвиге художника. Бесчисленные шаржи, натурные рисунки, листы «Боевого Карандаша», созданные Гальбой, узнаешь вмиг, даже без его характерной монограммы. Многие сотни ярких рисунков, этюдов и уличных набросков — все это создано в неповторимом стиле, совсем не стареющем, хоть и связано с давними временами.

Борис СЕМЕНОВ



По первопутку. Рис. для «Мурзилки». 1973



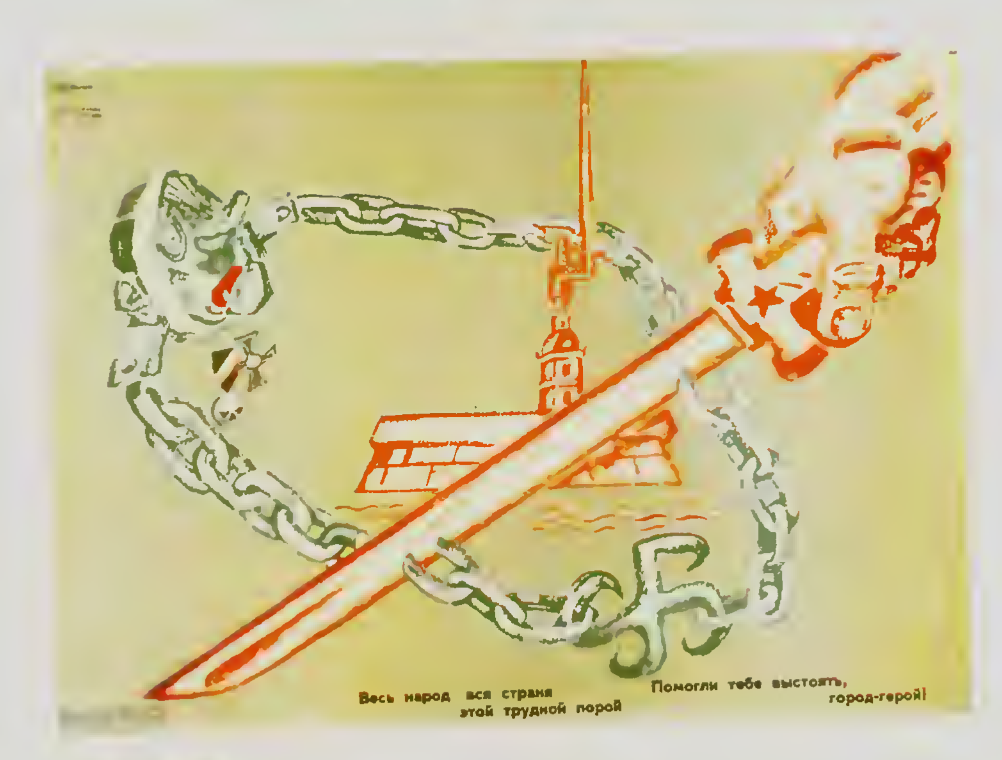
Рисунок из цикла «Шотландские сказки». 1966



Артист Луи Сенье-Журден в комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». 1954



Адольф кровавый. Акварель. 1937



«Боевой Карандаш». 1945

Валентин
ТУБЛИН

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Роман

Мое воображение рисует мне то эти картины, то другие.

На самом деле все могло быть иначе. Не так, по-другому. Именно непредсказуемость реальности ставит в тупик писателей и детективов.

Реальность сегодняшнего дня: завтрак. В кают-компанию я снова заявился последним, уже не было никого, кроме кока. И снова привычка этой девушки по имени Лена не носить ничего под прозрачной блузкой меня смутила — состояние, не свойственное ни мне лично, ни вообще людям, прожившим достаточно долго. Красивая грудь... А какой она, скажите, должна быть у двадцатилетней девушки? И острые твердые соски нежно-розового цвета — в этом тоже не должно быть ничего удивительного. Лена: двадцать лет, выпускница кулинарного специализированного ПТУ, коротко остриженные волосы, круглое лицо, зубы с щербинкой.

Карие глаза, прямой взгляд.

Я тщательно пережевываю бутерброд с ветчиной и собственные мысли. Почему бы не остаться в этой реальности навсегда?

Лена выглядывает и снова скрывается. Видит ли она меня? Я думаю так: она замечает меня, но не видит. Для человека двадцати лет пятидесятилетние не существуют, точнее, они существуют как фон, в экологическом смысле, как нечто похожее на экспонат.

Я допиваю свой кофе, стараясь продлить удовольствие. Каюта Лены в трех шагах от моей собственной, но это ничего не значит. Абсолютно ничего. Если бы я собирался выполнить взятые на себя обязательства, если бы я действительно собирался писать очередной свой роман на производственную тему, как делал это не раз и не два (роман мог бы носить название «Река — море»), вот тогда я мог бы записать в свою записную книжку все, что мне удалось о ней узнать: и то, что ей двадцать лет, и то, что она плавает уже второй год, и то, что ни с кем из команды не спит и получила (и отклонила) уже три предложения выйти замуж.

Она побывала уже в Финляндии, Швеции, Италии и Марокко. В Иране она не была, лесовоз идет туда впервые. Она курит, но пить она не любит...

Зачем мне все эти сведения? Они никогда не попадут ни в какую записную книжку, я не собираюсь писать никакого романа из жизни речников. Вообще какого-либо романа, с этим покончено.

Я допил, наконец, свой кофе. Меня никто не гонит, я могу сидеть, сидеть просто так, сидеть, сколько мне угодно, и смотреть на Лену, или смотреть в иллюминатор, или смотреть в прошлое.

Лена прибирается в камбузе. Камбуз оборудован электроплитами, электромясорубкой, огромным морозильником. Все сверкает. С моего места видны еще какие-то предметы, назначения которых я не знаю. И вообще...

И вообще, подумал я вдруг, я знаю поразительно мало для человека, прожившего более пятидесяти лет. Но затем я вспомнил, что нагадала мне цыганка. Это было в Одессе, куда я поехал после окончания института, в Одессе строили новый аэродром и без меня им было не обойтись. Моя жена была со мной, она ждала ребенка, и цыганка сказала прежде всего, что это будет сын и что сам он, Чижов, проживет очень долго, девяносто четыре года. Сын у него действительно родился, и если предсказание цыганки обладало по-прежнему своей силой, то впереди для познания и всего остального в запасе было еще сорок лет...

Даже больше.

Окончание. Начало см.: «Нева», 1989, № 10, 11.

Запись для памяти: атрибуты богов
Зевс и Гера — со скипетрами
Посейдон — с трезубцем
Аполлон — с кифарой (нечто вроде лиры)
Артемида — с луком и стрелами, иногда с собаками
Гефест — с молотом и клещами
Афина — в шлеме, со щитом и эгидой (шкурой, на которой привешена голова Медузы)
Арей — в доспехах гоплита
Гермес — с крылышками на сандалиях. В руке жеал, кериейон, обвитый змеями
Ника — с крыльями и венком в руке для победителя
Ирида — с крыльями
Афродита — с гранатовым яблоком и голубем
Дионис — в венке из плюща и с тирсом
Пан — с козлиными ногами и со свирелью.

Примечание душеприказчика: запись эта, никак не связанная ни с предыдущими страницами, ни с последующими, оставлена исключительно ввиду ее общекультурного значения. Если предполагаемому читателю не принесут ущерба довольно бессвязные на наш взгляд рассуждения и описания автора, то упоминание об атрибутике древнегреческих богов, разумеется, во всех смыслах безопасно.

Часом позже, лежа на пригретых утренним солнцем сосновых брусках, совершавших путешествие из Финляндии в Иран, Чижов думал о том, чего он не сказал тогда Сомову; там, в сауне, сидя на расстеленном махровом полотенце. А не сказал он ему то, о чем должен был сказать в первую голову — об опасностях собственной переоценки, равно как и о не меньших опасностях, связанных с чрезмерным оптимизмом. Ибо и то и другое было напрямую связано и чревато разочарованиями. Это можно сравнить с эйфорией от достигнутой высоты; в то время как взгляд, брошенный вниз, может вызвать головокружение и гибель.

Но он Сомову ничего не сказал. Почему?

Да потому, что Сомову не нужна была истина. Ему нужна была поддержка. Он искал опоры, упав, он снова поднимался по шаткой лестнице успеха, все по той же лестнице, по которой он уже продвинулся однажды так многообещающе далеко и с которой упал, только чудом не сломав себе шею. Другой извлек бы из этого урок, но Сомов был упрям, и он верил, что все предыдущее было случайностью. И еще он верил в себя, и еще он верил в Справедливость — с большой буквы. И он снова рвался наверх, он шел истово уже однажды пройденным путем, хотя время от времени ловил себя на том, что лестница казалась ему чуть-чуть другой. Но это не могло его ни остановить, ни обескуражить. Нет. Уж на этот раз он поднимется до самого верха, на этот раз он не споткнется. Вот только ступени на этот раз казались ему бесчисленными — в прошлый раз этого не было, но, может быть, тогда он просто не думал о ступенях. Не все ли равно? Он *должен* был снова пройти все, и он пройдет. Он был упрям. Когда он думал об этом, на ум все приходил какой-то мифический грек, которому определено было вкатывать в гору камень, который с самой вершины скатывался обратно; упрямый грек тут же начинал все сначала. Неужели он, Сомов, уступит греку? Чем он хуже? Он не хуже. И терпения у него столько, что никакому греку не снилось. Терпение — вот что определяет конечный успех дела, недаром говорится в народе, что терпение и труд все перетрут. Это как раз про него, про Сомова. Он должен был, обязан был переломить судьбу, а чем ее переломишь? Только верой в свою правоту, лишь терпением и трудом, и тут Сомова впору было назвать верующим — настолько верил он в труд и его чудодейственную силу. Но разве он был не прав?

Он был прав, признаем это. Конечно, он был прав. Разве не вера и труд вернули его со дна морского, из пучины бедствий на поверхность жизни? Прошагать весь путь во второй раз? Ну и что? Надо, так надо.

И он шел. Вперед и выше. Вот только с дыханием было что-то не так. Возраст? Растренированность? Нет. Это снова было испытание. Оно еще не кончилось. Это было испытание жизнью, так как же оно могло кончиться? Никак — до тех пор, пока он был жив. Кто знает, что нас ждет впереди? За тем вон поворотом, за следующим. Судьба испытывает его. Что ж, он готов к испытаниям, готов ко всему. Он вспомнил, как в институте они испытывали изделия из бетона. Бетоны были разные: легкий бетон, ячеистый, тяжелый. Черт, как же они не понимали тогда там, в институтских лабораториях, что перед ними были не кубики из бетона, а их собственная жизнь, которую судьба будет испытывать и жарой, и тюрьмой, и славой, на сжатие и растяжение, но больше всего — на изгиб с кручением... Но они не понимали этого. И он, Сомов, разумеется, этого не понимал и понял лишь когда жизнь изогнула и закрутила его. Но теперь

он это знал. Знал, что жизнь испытывает нас, испытывает все время, каждый день и каждый час, не давая ни отдыха, ни передышки. Только закончится одно испытание — на смену ему спешит другое, и так без конца. И кто-то — неведомо кто — смотрит внимательно на кубик твоей жизни — выдержит ли он? Не рассыпался ли? Не треснул?

Но Сомов выдержал. Сомов? Он выдержал. Выдержал и выдержит еще, сколько его ни нагружай, сколько ни испытывай.

Год после падения он проработал простым инженером. Старшим инженером проработал всего полгода, еще через шесть месяцев стал руководителем проектной группы, а затем главным специалистом на одном очень важном объекте — все, как и много лет назад при первом восхождении, только во сто крат быстрее. Сила, неведомая никому, кроме него самого, снова вела его вверх через некогда пройденные ступени. Они были ему знакомы, он знал их на память, на ощупь, они были необходимы, но неинтересны ему, их просто надо было пройти, миновать, раз уж шел он к вершине тем же путем. Тем же? Не совсем, только цель была та же. Шаг за шагом тропа вела его вверх, ввысь, туда, откуда должен был открыться иной обзор, увидеться иные дали и тот день, когда он *снова* прошел в так хорошо ему знакомые величественные двери обкома партии с билетом в кармане, он имел полное право ожидать наступления поистине *иных* времен. Его час должен был пробить, этот час был недалек, Сомов чувствовал это. Он стоял на горном склоне жизни, преодоленные рубежи лежали под ногами, внизу. А вершина, казалось, была рядом, протяни руку; он видел ее хорошо, она высилась перед ним, заманчиво мерцая голубым отсветом вечных снегов. И хотя до нее было еще далеко, но Сомов не волновался, и сердце его билось мощно, спокойно и ровно...

Я лежал на желтых брусьях. Мы шли по Свири. От красоты, расстилавшейся окрест, замирало сердце. Слева все тянулся и тянулся обрывистый песчаный берег, песок был белым, как сахар. Вода была неподвижна, словно ее только что прогладили утюгом, и без конца и без края в полной тишине стояли леса. Они стояли, не потревоженные человеческим присутствием на многие километры, и нельзя сказать, что отсутствие людей как-то оскорбляло природу. Наоборот, оскорбляли ее изредка возникавшие темные и кривые деревушки на два-четыре двора, из которых едва ли в одном угадывалась дотлевающая жизнь.

Слава богу, что я не пишу роман и мне не надо ничего запоминать. Солнце поднимается все выше. В синем небе, тщательно промытом с утра, не отставая от нас, летает какая-то птичка. Она села на штабель в метре от меня, и я вижу, что она искоса разглядывает все вокруг, словно решая, по пути ей или нет.

Она сама решает этот вопрос, ей не нужно никакого удостоверения, и в этом она ушла далеко по пути прогресса.

Мне почему-то кажется, что это та самая трясогузка, которую я видел, когда мы отваливали от причала.

В голове легко и пусто, и мне вдруг кажется, что именно в этом и заключается счастье. Но я, разумеется, ошибался. Это было не так, но разве правду узнаешь?

...не так, совсем не так это было, и девочки ошибались, и, конечно, они были бы огорчены, если бы узнали правду: любовника-дипломата у нее не было и любовника-министра тоже. Был Сомов, только он, но к нему это слово было неприменимо, он был просто он, и она никогда не думала о Сомове как о любовнике, никогда, но и кроме того никогда и ничего у нее не было — ни в Болгарии, ни в Румынии, ни в иных местах, где бы она ни была. И потому все, что в ином случае могло бы послужить уликой, она делала для себя, просто для себя — маникюр, одежда и французские духи. Для себя. Объяснить это она не могла.

Внешнее все это было. А внутри она осталась той же — деревенской девочкой, которой день за днем потрескавшимися от холода руками приходилось рыться в застывшей земле, отыскивая пропущенную картофелину, и в которой, как некая заповедь, жила неистребимая, почти патологическая стыдливость. Ее она преодолеть не могла. Похоже, что это было ее собственное, только ей присущее свойство, не поддававшееся изменению, как отпечатки пальцев или цвет глаз; к деревне это прямого отношения не имело, к городу тоже, ибо, несмотря на убеждение писателей-почвенников, наличие или отсутствие стыдливости никак не связано с местом проживания. Она ничего не могла с собой поделать. Может быть, в этом был некий знак? Знамение? А может быть, это был ее крест?

Может быть.

Раздеться перед другими? Это было невозможно. Это касалось любого. И Филимонова тоже. Всех.

Кроме Сомова. В этом все было дело. Ее стыдливость в этом, одном-единственном случае как бы решила дать себе передышку, вот почему так все произошло.



Рис. А. Пахомова

Вот уже два часа я лежу на брусьях, которые путешествуют, говоря словами поэта, с милого севера в сторону дальнюю.

Мало-помалу мои мысли обращаются в сторону размышлений более высоких. Я думаю о писателе N.

Нравственность есть правда — писал N. Допустим.

Тогда уместно спросить (но кого — писателя N, которого уже нет, или себя?.. но я не знаю ответа) — а что есть правда?

Отсутствие лжи? Или что-то еще?

И что есть ложь? Только ли искажение действительности? Но какое? Сознательное? Случайное? Или злонамеренное? Или с заранее продуманным умыслом? А, может быть, вынужденное? А что, если вызванное самыми лучшими побуждениями?

У писателя N. обо всем этом нет ни слова. Никаких определений явлению, которое он назвал правдой, писатель N. не давал.

«Я знаю лишь то, что ничего не знаю»,— признавался Сократ на старости лет. Похоже, что он был умнее и меня и даже писателя N. А ведь его приговорили к смерти именно по обвинению в безнравственности.

Дойдя в своих рассуждениях до этого места, я остановился. Я не знал, куда идти дальше.

Почему я вообще думал обо всем этом? Не знаю.

Может быть, мне показалось обидным, что, не зная правды, я по милости N. оказался лишенным и нравственности? А если и так?

В этом-то и было все дело. Мы столько лет жили без правды, что с ней произошло то же, что и с религией, без которой, как оказалось, вполне можно жить, и даже неплохо. А вот нравственность — это совсем другое. Что-то совсем, совсем другое. Хотя и не очень понятно, что.

Но отказываться от нее так просто в угоду писателю N. мне не хотелось.

От долгого лежания на маслянистых брусках я устал. Никогда не думал, что безделье может быть столь же утомительно, как и работа. Оказалось, что может. Я накинул рубашку, поднялся на капитанский мостик и уселся в кресло...

Сидя в кресле с высоким подголовником, Филимонов ждал Нину. Он ждал терпеливо, он не спешил. Только сейчас он понял, что устал. Что устал, как лошадь.

Все дни были не легкими, но сегодня... А из-за чего? Из-за снега. Будь он проклят. Валил всю ночь, кто мог ожидать, метеоцентр обещал отсутствие осадков, и это никого не насторожило, и утром транспорт остановился, только трудяги-трамваи ползли еле-еле, разумеется, труженики тысячами опаздывали на работу, начались звонки — сверху и снизу, слева и справа, район (читай: райисполком, то есть он, Филимонов) должен был обеспечить уборку снега. Да, да, да. Нет. Да. Немедленно. И по исполнении доложить. Этот вопрос курирует сам товарищ Фундуков.

Значит, Фундуков...

Фундуков. Курирует. Но курированием снег не уберешь. Нужна механизация, уборочные машины, где они, они были централизованы, район получал их по разнарядке согласно заявкам, подаваемым заранее, капризы природы не предусматривались, стихийные бедствия тоже, все снегоуборочные машины подчинялись Стародубу, и Филимонов знал — сорок процентов из этих машин постоянно находились в ремонте...

Он сидел, закрыв глаза, плыл в ароматических волнах салона красоты, расположенного в самом центре бывшей российской столицы, сиял неоновый свет, в холле толпился народ, наблюдавший драматическую битву на ледяном поле, и оттуда доносились до кресла с подголовником, в котором, расслабившись, возлежал сейчас Филимонов, то возбужденный голос диктора, комментировавшего матч, то поочередно вздохи, стоны и крики недостриженных и недобритых болельщиков. Щелкали ножницы, шипели фены, нежно и утробно ворковали электромашинки, шваркала швабра, доносились какие-то слова, фразы, шарканье ног, смех, пахло хорошим мылом, лосьонами, пудрой, притираниями. Потом неслышно появилась рядом Нина, маленькая, решительная, она схватила Филимонова за плечи, пустила горячую воду и наклонила его шею к раковине. И вот уже ее маленькие крепкие руки направили теплую струю ему на затылок, и он, упершись подбородком в салфетку, весь отдался этому очищающему насилию. Ему не надо было ничего говорить, ему не нужно было ничего делать, все делалось так, как делалось уже много лет и бесчисленное количество раз, и что-то ароматное лилось ему на голову, где некогда кудрявые волосы вылезли, образовав небольшую проплешину, какие бывают на футбольном поле, в том месте, куда судья ставит мяч для пенальти, и сильные пальцы, массируя кожу, пробежались по остаткам кудрей, повисших в этот момент жалкими прядками, и по проплешине лилась, лилась теплая вода, журча и успокаивая, и если бы не сегодняшний сумасшедший день, Филимонов с удовольствием погрузился бы в убаюкивающую полудрему, сквозь которую прохладным

ручейком потек бы Нинин рассказ о доме, о семье, о новостях, о склоках в парикмахерской, о мебельном гарнитуре, купленном в рассрочку, о дочери, вышедшей замуж до исполнения восемнадцати лет и уже ожидавшей ребенка, и он выслушал бы еще и еще раз слова благодарности за помощь с квартирой, в которой она наконец-то в свои сорок пять лет может жить без соседей — весь тот набор их всегдашних разговоров, обусловленных двадцатипятилетним знакомством, к счастью, не омраченном никакими сексуальными притязаниями с обеих сторон, который был присущ их общению, позволяя Филимонову, по своему положению несколько оторвавшемуся уже от жизни простых тружеников, окунуться в их простую и очень непростую жизнь.

Но сегодня этого не получалось, и виноват был в этом Стародуб, который, конечно же, не дал машин, хотя нет, виноват был снег, который, невзирая на прогноз и метеосводки, завалил улицы, переулки и трамвайные пути едва не по колено, виноват был тот, кто без конца названивал в исполком из райкома и говорил все более сухо и официально, ссылаясь на недовольство обкома и лично самого товарища Уткина, который в служебной иерархии стоял ступенькой выше Фундукова, и секретарша Соня, которую Филимонов взял к себе по просьбе Чижова, то и дело входила к нему в кабинет и, глядя своими чуть косящими черными глазами, протягивала очередную пачку телефонограмм, требовавших обеспечить, наладить, ликвидировать, организовать и принять меры, а приняв меры — доложить...

Филимонов меры принял. Он принял все меры, но их оказалось недостаточно, сделал все, что мог, но этого оказалось мало, и тогда он принял дополнительные меры, но там, наверху, не в обкоме, а еще выше, кто-то, желавший, видимо, показать ему, сколь малы и тщетны его усилия, чуть приоткрыл емкости, в которых до поры до времени хранились атмосферные осадки, и новая снежная круговерть свела все усилия Филимонова на нет. И тогда Филимонов принял экстренные, а потом уже в совершенном отчаянии и сверхэкстренные меры, благо у него были налажены и отлажены нормальные отношения со всеми директорами в районе, и оказалось достаточное количество дворницких деревянных лопат, и несколько тысяч людей, вооружившись этими лопатами, остановили шалости всевышних сил, и поскольку в остальных районах положение было еще хуже, о нем забыли и оставили в покое. Главной опасностью были звонки людей, которым не удавалось попасть сначала на работу, а потом уже домой, и тут сказалось то обстоятельство, что в *его* районе дело было поставлено так, что рабочим и служащим — по возможности, разумеется,— жилье старались давать поближе к работе, и теперь, в дни прорыва небесных сфер, он пожинал плоды своей административной деятельности.

Нина вытерла ему голову мягким полотенцем, расчесала непроходимые некогда заросли кудрей, безжалостно прореженные жизнью, и включила фен.

Филимонов думал о работе.

Ни о чем другом он уже думать не мог. В этом было спасение, в этом было проклятие, но изменить он уже не мог в себе ничего. Это было проклятие, но ничего другого в его жизни — в той, которую он прожил, и в той, что ему еще предстояло прожить, не было.

Мэром его не назначат. Это он чувствует.

А жаль. Очень жаль. Он бы хорошо поработал.

Нина щелкала ножницами.

Хорошо. Ту мысль, что исподволь точила его, мысль о том, что пачка денег попала ему в ящик стола не без участия заведующего райжилобменом Вьюнова, эту мысль он засунул куда-то в дальний и темный чулан, завалил всяким хламом, а сверху набросал высохшие листья никому не нужных оправданий.

К черту!

Щелканье ножниц, прикосновение рук, далекий гул, какие-то слова, на которые можно не реагировать, не отвечать. Расслабиться. Он не будет мэром этого города. Сейчас бы рюмку коньяка. Полную рюмку. Сейчас сидеть бы дома в любимых шлепанцах, рюмку поставить на подлокотник, вытянуть ноги, уставиться в телевизор, фигурки мелькают, телекомментатор выходит из себя.

Вообще-то он больше любил водку, но Люда водки дома не держала.

Но еще больше он любил работу. Кто бы мог подумать! Когда двадцать пять лет назад его и Чижова, двух самых отъявленных на курсе шалопаев, исключали из комсомола, самым веским аргументом был именно этот — они не любили работать, особенно сын профессора Филимонова, профессорский сын, плесень, тунеядец, посмотрите на его брюки и обратите внимание на его кок...

Из комсомола исключили почему-то одного Чижова. Хотели исключить и из института, но заступился Иван Иванович Селюков, парторг факультета, полковник в отставке с таким количеством боевых орденов, что спорить с ним не стали. Ошибся ли в них Селюков?

У Филимонова мелькнула вдруг совершенно дикая мысль заявить об этой тысяче... и пусть будет, что будет.

Исключат из партии? Но Сомова тоже исключили, а потом восстановили.

Выгонят с работы? Неужели он не найдет работу? Любую.

Он еще несколько мгновений разглядывал эту мысль...

Проклятая работа! Только там он чувствовал себя на месте, чувствовал себя человеком, нет, никуда он не пойдет, конечно, надо эту тысячу, черт бы ее побрал, как-то оприходовать, перевести ее на счет какого-нибудь детского дома, как в том фильме, ну, со Смоктуновским... И вообще... вообще...

— Снять покороче?

Он кивнул. Снять покороче. И еще проблема — Люда. Он чувствует. Что-то с ней произошло. Она почти не разговаривает с ним. Разве он не дал ей все, о чем только может мечтать современная женщина? Абсолютно все. Когда-то он полетел через всю страну, чтобы сделать ей предложение... Он не жалеет об этом. Он ей благодарен. Просто все проходит... проходит... И тут он прозрел — ну, конечно. Как это он не понял сразу. Все дело в этой самой Соне, его новой секретарше. Из-за этой Сони.

Ему стало смешно. Закутанный в простыню, он удерживает смех. Он просто улыбается. Это даже лестно, что Люда так считает. Соня младше его на двадцать пять лет, но все равно это лестно. Понятно теперь, почему Люда невзлюбила Чижова: она думает, Чижов поставляет мне девочек. Ерунда.

Время девочек прошло. Кончилось.

— И побрить?

И побрить, да, конечно, никто из работников руководящих органов не может себе позволить растительности. Можешь быть седым, можешь быть лысым, с бородавкой на носу и со вставной челюстью, но ни бороды, ни усов быть не должно, это неписаный закон, где все равняются на одного, на *первого*, а тот гол как сокол.

Из холла доносится не то стон, не то вздох. Гол?

Это остается неизвестным.

Многое неизвестно и многое непонятно.

Частично понятна нелюбовь Люды к Чижову. Совершенно понятна нелюбовь Люды к девушке по имени Соня. Совершенно непонятна неприязнь Люды к Сомову.

Он заметил ее, эту нелюбовь и неприязнь.

Почему она так холодна с Сомовым? Разве он виноват, что его жена ушла от него к другому? А если даже и виноват?

Золингеновская бритва невесомо скользит по коже.

Спокойно, Филимонов. Не верти головой. Ты на волосок от смерти. Твоя жизнь висит на волоске. Одно движение бритвой — и ты покойник...

Это всё мои домыслы. Не исключено, что Филимонов думал в эту минуту о чем-то другом. В эту минуту. В минуту, которую еще оставалось прожить Сомову, уже повернувшему с проспекта Славы направо, в узкий проезд с односторонним движением, который выводил на Витебский. Но мысль о смерти вполне могла у Филимонова возникнуть. Я спрашивал его об этом, и он признался, что всегда, когда парикмахер берет в руки опасную бритву, ему становится не по себе. Значит, такая мысль возникнуть у него могла.

Он, разговаривая сам с собой, всегда называет себя по фамилии. Филимонов, сделай это, говорит он. Или наоборот: Филимонов, не делай этого. И Люда называет его так. Филимонов, говорит она, писем не было? Ей это почему-то нравилось. И ему это нравилось. Ему нравилась его фамилия — хорошая, простая, старая русская фамилия, фамилия его отца и деда, фамилия, которая, сколько он себя помнит, висела на их двери, выгравированная на латунной, покрытой патиной дощечке: «Докторъ Филимоновъ». Отец, дед и прадед — ко всем эта дощечка имеет самое непосредственное отношение. Но не к нему. Впервые за несколько поколений он изменил семейной традиции, именно он. Не стал врачом.

Он не жалеет об этом.

Тем более, что семейная традиция не угасла из-за его отступничества, из-за его непреодолимого отвращения к анатомичке. Ведь у него есть брат, Борька, любимый старший брат, замечательный терапевт, доктор медицинских наук, профессор. Как отец и как дед. Борька молодец, надо будет подарить ему такую же латунную дощечку: «Докторъ Филимоновъ». И дочь его, Ира, тоже врач, специалист по болезням крови. Подумать только — Ирка, которая еще в детском садике лечила всех кукол. И вытирала им нос. Она тоже пишет диссертацию, а может уже написала, надо позвонить Борьке, узнать, как дела. Так что нечего грустить, Филимонов, все в жизни идет своим чередом, традиция не прервется, она могла бы прерваться, если бы не было Борьки, но он есть и она не прервется...

Может быть, в эту минуту? В это мгновенье?
Мы никогда этого не узнаем...

Из холла снова доносится рев. На мгновенье он растерянно пытается вспомнить, в чем дело, потом вздыхает с облегчением. Надо же так задуматься, а он вот задумался, в какую-то секунду ему показалось... что-то показалось, как-то тяжело стало на сердце, но это, конечно, только примерещилось, да и с чего бы, все хорошо, он прекрасно отдохнул, он даже отключился от жизни настолько, что забыл про хоккей. Совсем спятил. Хоккей — игра номер один, политический спорт, в его районе, первом по развитию спорта в городе, шесть стадионов, два плавательных бассейна, тридцать четыре хоккейных коробки, есть где вырасти новым звездам, новым чемпионам. Таким, как на экране, где *пятерка Одиссея бросается в бой. Одиссей ведет за собой команду. Ветеран в прекрасной форме. Наступает решающий момент. Хотя счет еще в пользу Трои, для греков потеряно не все. От их мужества, от их решимости добиться перелома в игре и будет в конечном итоге зависеть исход этой решающей встречи...*

В Бухаресте их встречали. Их ждали, ждали давно, поезд запоздал, но встреча от этого не была менее теплой. Им поднесли цветы, букет тюльпанов получил руководитель делегации Тогрул Оркеев, букет гвоздик член делегации Вениамин Чижов. Вспыхнули и погасли блицы, фотокорреспонденты поспешили сдавать материал: *В Бухарест прибыла делегация советских писателей.* Они прошли к выходу, машины уже ждали их на привокзальной площади. Шел снег, но он был им не страшен. Вспыхнул еще один блиц. Их усадили в машины.

Из того, что Чижову удалось разглядеть, он сделал вывод, что Бухарест похож на Ригу. Он счел необходимым поделиться своим глубоким наблюдением с переводчицей. Ведь ему по статусу — подумать только — полагалась персональная переводчица, вот она и была рядом; только ради этого одного стоило ехать в такую даль и даже еще дальше, такой она оказалась красавицей, похожей на итальянскую кинозвезду, говорившую к тому же по-русски без акцента, причина чему выяснилась впоследствии. О, господи, воскликнул Чижов, рассмотрев свою спутницу как следует, и тут же в нее влюбился. Думайте, что хотите, но член советской писательской делегации Чижов на пятой минуте знакомства влюбился в совершенно до того не знакомую ему красавицу-румынку, чего, вполне вероятно, не случилось бы, не будь эта девушка так фантастически похожа на Лючию Бозе, в которую не только Чижов, но и все его сверстники были влюблены с той самой минуты, как она показалась в фильме «Рим в 11 часов», и которая впоследствии, изменив как Чижову, так и его поколению, вышла замуж за не менее известного испанского тореадора, кажется, Домингина, так что, с учетом вышесказанного стаж влюбленности Чижова был не так уж легкомысленно мал.

И вот, кто бы мог подумать, не прошло двадцати пяти лет, как его мечта исполнилась или, по крайней мере, приблизилась к исполнению вплотную, о чем некий романтический школьник из двадцать первой средней вечерней школы рабочей молодежи (Пионерская улица, дом шесть), днем работавший учеником слесаря на трикотажно-чулочной фабрике «Красное знамя», не мог всерьез и подумать и что не мог увидеть даже в самых своих тайных и сокровенных снах: чужой, абсолютно импортный город, непонятная, но волнующая речь и длинная машина с шофером, а рядом — не с шофером, разумеется, а с ним, Чижовым, прекрасная девушка с длинными волосами...

Сердце его билось толчками.

И тут машина остановилась. Она и остановилась как раз там, где ей было положено останавливаться и где она не раз уже останавливалась в тех давних и сладких чижовских снах — у залитого огнями отеля, над которым прямо в небе висела сверкающая надпись — «Континенталь».

Расторопный рассыльный, усилием воли скрывший удивление, схватил жалкий чемодан Чижова и унес куда-то изделие из брезента, окрашенного в уже облинявшие шотландские цвета. Чижов принял надменный вид, никто не мог обвинить его в обладании жалким чемоданчиком, вполне можно было подумать, что этот человек ожидает, пока выгрузят его кожаные кофры. Формальности не заняли и трех минут: номера им были заказаны и забронированы, им просто-напросто выдали ключи от номеров и гостевые карточки; разумеется, номера относились к классу «люкс». На скоростном лифте они взлетели к небесам, и еще выше, через перекрытия и далее к звездам, в отдаленные галактики взлетело сердце Чижова, рядом с которым, подобно прекрасному сновидению, стояла переводчица.

К счастью, он не думал о том, как он выглядит, а выглядел он, скорее всего, полным идиотом. Переводчица стерла улыбку и спросила:

— Вам нравится?

Чижов набрал полную грудь воздуха и закрыл рот. Потом он собрался с силами и посмотрел в ту сторону, откуда донесся до него этот райский голос; смотреть ему пришлось, по правде говоря, немного снизу вверх — так стройна была обладательница этого голоса, так она была прекрасна. И голос ее был тоже прекрасен — он был низким и теплым, он был нежным, он был...

Чижов наверняка придумал бы подходящее определение ее голосу, как-никак он был почти что мастером слова, но к своему несчастью он посмотрел ей в глаза — и тут он понял, что не придумает уже больше ничего и что он погиб и обречен навеки. Глаза, в которые он смотрел, были такими, что у него защемило сердце, и какой-то частью своего наполовину парализованного мозга он стал вспоминать, куда положил валидол. Они были густого синего цвета, внезапно переходившего в зеленый, подобно волне Черного моря в районе Батуми в солнечный день; ее глаза напоминали глаза Сильваны Помпанини, прекраснее которых, по утверждению Сомова, невозможно было ничего представить, но более всего эта девушка напоминала ему знаменитую Сару Леандр в не менее знаменитой картине «Мария Стюарт», вот теперь, глядя одновременно в глаза трех самых красивых женщин современности, Чижов в несколько приемов и кое-как сумел объяснить, что ему очень, очень здесь нравится; несколько приемов понадобились ему потому, что после каждого у него на какое-то мгновение перехватывало горло.

Бедный Чижов! В мгновение ока он снова вернулся в свое детство, несытое и бедное, он снова был маленьким тощим заморышем с килевой от давнего рахита грудью, мечтавшим в темноте переполненного зрительного зала о бессмертных подвигах, которые завоюют ему преданную любовь немыслимой красавицы с роковым взором. Он снова стал робок, как тогда, но он не потерял способности ценить красоты, здесь надо отдать ему справедливость.

Он не хотел признаваться себе, что и здесь снова опоздал, и, не признаная этого и чувствуя, как кровь то приливает, то отливает от пылающих щек, он не хотел признаваться и в тех мыслях, что возникли у него при виде этой годящейся ему в дочери девушки, у которой самое время было осведомиться об имени.

Она назвала его. Роксана — так ее звали, не больше и не меньше. Ну, разумеется, ведь должны же были ее как-то звать — вот и досталось ей на долю это имя. Роксана. Или Елена. Да, то или это. Про Елену образованной публике ничего объяснять не надо, а вот о Роксане следует сказать несколько слов, ибо и это было по-своему роковое — в историческом аспекте — имя, поскольку на нем споткнулся в самом конце своей совершенно незаурядной карьеры такой герой, как Александр Македонский, так что если брать в целом, Чижов оказался в неплохой компании, и мыслей своих — какими бы они ни были — стыдиться не следовало, особенно если учесть, что мысли-то были тайные и не ведомые никому, что давало ему ощущение безнаказанности. А поскольку последняя поощряет в робких смелость, то можно сказать, что в определенном смысле он был в эту минуту даже храбр. И вот, ощущая прилив мысленной храбрости, он робко еще раз взглянул на прелестную девушку, стоявшую рядом, и, удивляясь себе, подумал: «Она и я. Невозможно...» И снова вспомнил, что у него килевая грудь.

Невозможно... Он не продолжил фразу, он не додумал мысли. Не выразил ее четко. Зато отдался полету, полету воображения. Воображение — это сила слабых, и у Чижова всегда было самой сильной стороной. Вот и сейчас он мог убедиться в этом, ибо оно заработало на полную мощь. Невозможно. Но почему? Почему бы и нет? Почему бы не свершиться чуду, о котором он мечтал двадцать пять лет, тридцать лет тому назад, почему бы не повториться истории шотландской королевы и маленького горбатого итальянца, ведь известно, что женщина любит ушами, почему бы этой девушке, Роксане, просто и безо всяких побудительных и требующих объяснения причин не полюбить нового Александра, не полюбить посланца дружеской литературы, прибывшего сюда с благородной миссией доброй воли?..

Слишком поздно все приходит. Все. Это должно было произойти тогда, двадцать пять, тридцать лет тому назад; теперь же он мог созерцать всю эту красоту лишь с болезненно острым ощущением невозвратимости времени...

«Судовое время четырнадцать часов. Команда приглашается к обеду. Приятного аппетита»...

Я все еще сижу в рубке. Сижу и гляжу, как бегут навстречу берега. Леса, просинь над головой и цепочки бакенов слева и справа, и на сердце у меня мир и покой.

Если бы найти такое судно, чтобы шло и шло по зеленой глади воды до самой смерти. Что касается меня, я согласен.

За это время я многое узнал о старпоме. Его звали Леонид Николаевич. Ему было пятьдесят два года. Тридцать один год тому назад он окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, то самое, возле которого в задумчивости стоял бронзовый адмирал Крузенштерн. Отслужив десять лет, он демобилизовался и пошел в речники, о чем не жалел и не жалеет.

Он сказал это с такой убежденностью (дважды), что я поневоле не поверил ему.

Он женат. Жена его — врач-гинеколог, кандидат наук (медицинских, разумеется), дочь (27 лет) тоже гинеколог.

Говоря о зяте, он поморщился, словно у него заболел зуб. Потом рассказал о своей замечательной трехкомнатной квартире на Васильевском острове в старом доме, потолки пять метров. «Жаль разменивать»,— сказал он, и я все понял о зяте. «Жаль разменивать. Такой уж больше не найдем».

Я согласился с ним. Вполне можно было и не найти.

«Просто не знаю, что и делать»,— сказал старпом.

И снова мне не оставалось ничего, как кивнуть. Я тоже не знал, что делать. Я не знал, что делать старпому, что делать мне самому, я не знал тоже. Причем речь в случае со мной шла, увы, не о квартире...

Чижов ходил по квартире. Это был его рай, это был его ад, это было место его добровольного заточения, где он жил, мучился и работал, что в принципе было одно и то же, он был сейчас в своем рабочем кабинете, который, в зависимости от обстоятельств и времени суток, мог оказаться также и спальней и гостиной, потолок нависал у него над головой; настоящий кабинет современного писателя, подумал Чижов, и ему захотелось оглянуться, чтобы увидеть этого современного ему писателя, но в комнате не было никого. Никого, кроме него самого, да и вообще комната была пуста, если не считать книг. Но книги были, и их было много — много замечательных книг, написанных замечательными и наверника уже *настоящими* писателями, они стояли на полках, они стояли в книжных шкафах, стояли аккуратно за пыльными стеклами. Стекла были защищены в свою очередь перекрещивающимися витыми прутками, отчего книги, стоявшие в шкафах, были видны словно сквозь тюремную решетку. Словно они были в заключении.

Так оно, впрочем, и было. Разве не заточил их Чижов в эти стеклинные, забранные решетками клетки? Разве не пребывали они в преступной праздности, эти сгустки любви и ненависти, разве не проводили долгие дни и ночи в бездействии? Ибо страж их, Чижов, был здесь, как Шейлок. Он был скрягой, скопидомом духа, он был драконом, охраняющим чужие сокровища, вместо того, чтобы увеличивать их число, разыскивать их и выпускать на волю, а может быть, и создавать самому. Но разве он был виноват? Разве именно этого он не хотел больше всего на свете? Но как это сделать?

Думая обо всем этом, он всегда вспоминал один из рассказов Хемингуэя, который назывался чисто по-хемингуэевски. «Дайте рецепт, доктор» — вот как назывался этот рассказ, кстати, один из лучших, и, думая о том, что он хотел бы сделать, Чижов часто повторял эти слова. Вот что ему нужно было сейчас, сейчас и всегда, но сейчас, в эту минуту более, чем когда бы то ни было — доктор, который дал бы ему рецепт. Но доктора не было, и не было рецепта, впрочем, и самого Хемингуэя тоже не было уже давно. Выходит, и этот неутомимый возмутитель спокойствия не сумел построить собственную жизнь так, чтобы в нужный момент возле него оказался доктор и дал бы ему рецепт. Похоже, что так.

А вывод? Он таков: рецептов не существует. Или: каждый сам себе доктор. Каждый сам себе все — и штурман, и капитан, и команда, и даже корабль. И картограф, и мастер парусных дел. И если ты хочешь плыть, плыви. Смелее. Ставь паруса — и в путь. «Надо всегда отплывать, а море есть там, где есть отвага». Это сказал Чапек, он умер, когда немцы вошли в Прагу, он отплыл в бессмертие.

Ну, а Чижов? Бедный Чижов. Бедный, бедный. Стоя на берегу, он тоже мечтает о море. Он тоже хочет отплыть, почему ж он стоит и томится? У него не хватает смелости? А может, у него нет компаса и он не знает, куда плыть, боится потерять курс и посадить свое судно на камни? Он смотрит в небо, ведь можно править и по звездам, он ищет проблеск — звезды, маяка. Он жаждет света.

Он жаждет любого знака.

И знак появился. Это был звук, он доносился из передней, это звонил телефон, который Чижов обычно отключал, и все-таки, видимо, он не был отключен, и Чижов, поколебавшись не более двух мгновений, устремился на этот звук, надеясь обрести в нем опору и поддержку, он схватил черную эбонитовую трубку и с надеждой прижал ее к уху, но поддержки он не получил и ничего не услышал. Нет, это неверно, он услышал, он услышал скрежет, потом он услышал еще скрежет, потом свист и вой и под конец слова, но что было в этих словах, он не понял тоже — слова были искажены, узнать их было невозможно, откуда они доносились, из какой дали — из прошлого? из будущего? Язык этих слов был Чижову неведом, слова были непонятны, быть может, они доносились из Галактики, сначала грозно и громко, потом все тише и тише, потом снова громко, все громче и громче неслись слова, перекрывая протяжные гудки отбоя, которые не могли вырваться из трубки, из черной эбонитовой дыры, слова накатывали и нарастали, как прибой, и вскоре заполнили весь мир, *который видел, который видел вместе с вами, дорогие телезрители, как был забит этот гол, вы могли разглядеть это на ваших телеэкранах, да, своими собственными глазами видели вы, как была заброшена*

третья шайба в ворота троянской команды, вы все это видели, а теперь посмотрите этот выдающийся и неповторимый момент в видеозаписи, исторический, я не побоюсь этого слова, бросок в видеозаписи, сейчас оператор нам покажет все снова...

Операторы не щадили себя, они были профессионалами, они были профессионалами гладиаторской службы информации, они знали свое дело и потому растаскивали по долям секунды малейшие движения молодого защитника греческой команды, который был невидим большинству телезрителей, но который не ушел от всевидящего телеглаза, и только *боковой судья Минос указал на тот оставшийся незамеченным факт, что в самый последний, я повторяю, в самый последний момент броска по воротам защитник придержал вратаря троянской команды, посмотрите снова этот, не побоюсь сказать, самый драматический*, и диктор, не боясь этого слова, повторял его опять и опять, обыгрывая и так, и этак, таковы были его представлении о драме, а может быть, и о трагедии, вовсе не исключено, что данный эпизод представал перед его взором именно в трагическом обличьи, может быть, в лице молодого защитника греков увидел он скорбный лик Агамемнона в момент, когда блеснул над ним нож, занесенный Эгисфом, и диктор не в силах был забыть об этом, расстаться вот так, за здорово живешь, с правдой факта, с правдой жизни, не смог, а может быть, и не имел права утаить это вызывающее катарсис происшествие от миллионов людей, чьими глазами и устами он в ту минуту был, он описывал и комментировал с твердым убеждением, что в эти минуты и эти секунды на всей земле в целом и на любом из ее континентов в отдельности не происходит и не может происходить ничего более важного, вот почему он говорил, не закрывая рта, едва поспевая за изображением и за полетом собственного вдохновения, *посмотрите, посмотрите, как это было на самом деле*, и, внимая его страстному призыву, миллионы и десятки миллионов людей смотрели, как это было в то самое время, как типографские машины бесстрастно набирали на бесчисленных газетных полосах *экстренное сообщение: во время волнений в Иране за вчерашний день было расстреляно сто двадцать семь военнослужащих, отказавшихся стрелять в мирное население, требовавшее возвращения в Иран аятоллы Хомейни...*

Восемь лет спустя я сидел в рубке сухогруза, который должен был доставить три тысячи кубометров древесины в Иран.

В котором уже давно не было шаха. В который давно уже возвратился аятолла Хомейни, который вот уже шесть лет воевал с соседним Ираком, который...

Шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, покинувший изгнавшую его страну на личном самолете, уже давно умер от рака. В какой-то американской клинике, в позапрошлом году.

Трясогузка (та же самая?) как ни в чем не бывало продолжала ходить по штабелям. Судя по всему, она всерьез собралась посетить Иран. В отличие от Чижова, она вполне могла себе это позволить.

Вот что такое время, подумал Чижов, ему захотелось вдруг отвлечься от мыслей о птичке, ему захотелось вдруг утешиться, но он не мог придумать, чем, и вместо утешения вспомнил о том, как некогда у них дома, в те времена, когда у него еще были дом и жена, да, в те мифические времена в их доме появились (их происхождение он не мог сейчас вспомнить, да и не в этом суть) две канарейки. Они очень оживляли жизнь Чижова, а также его жены и сына, но отравляли жизнь их общей кошке, которая все свободное время проводила, сидя под клеткой с канарейками и клацая зубами. Как-то само собой разумелось, что корм и воду будет обеспечивать им Чижов, но однажды он забыл это сделать, и обе птички подохли. И тогда жена сказала Чижову: «Запомни этот случай. Вот пример того, какая участь ждет тех, кого ты, по твоим словам, любишь».

В свое время я постарался забыть и об этом случае, и об этих словах, но теперь я вспомнил о них.

Позднее жена не раз еще напоминала мне о птичках.

Чижов смотрел на птичку, но теперь он думал уже об Иране. Поразительно, думал он, как много изменений произошло в этой древней стране за последние несколько лет. Для страны с историей в несколько тысяч лет подобные временные отрезки вообще должны быть незаметны. Тем более для восточной страны.

Я спросил старпома (возвратившись с ним после обеда снова в рубку), что лично он думает об Иране.

Не нравится мне вся эта история, сказал старпом, и я не сразу понял, что он имеет в виду войну Ирана с Ираком.

Чижов попытался вспомнить, что он знает об Иране. Раньше, вспомнил он (но что значит — раньше?), Иран назывался Персией. Именно в Персии был убит Грибоедов, убит фанатиками-мусульманами, об этом лучше всего рассказано в романе Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», он был написан в тридцатые годы, но Чижов прочитал его совсем недавно. В то время Персией правила династия Каджаров. Жизнь Грибоедова, точнее, его смерть была оценена в стоимость бриллианта «Шах-надир». То была самая высокая цена, когда-либо уплаченная официально за поэта.

Столицей Персии в те времена был Тегеран.

В Тегеране происходила Тегеранская конференция (1943).

Много позднее, прямо уже в наши дни событиям того времени был посвящен фильм, который так и назывался: «Тегеран-43». Если верить фильму (а как можно ему не верить?), Тегеран тогда был буквально нашпигован разведками всех воюющих стран, но наша была, безусловно, лучшей. В фильме было вдоволь стрельбы, погонь и сногсшибательных трюков, а также Джигарханян, Белохвостикова и Ален Делон.

В «Тегеране-43» Ален Делон играл полицейского комиссара, Джигарханян — наемного убийцу, а Белохвостикова — себя.

Лучше всего в фильме удались документальные кадры.

До 1978 года, как всем известно, Ираном правил шах. Это был страшный тип. Он закончил военную академию, был летчиком высокого класса, он сам водил свой самолет и мечтал, похоже, сделать из Ирана современную страну.

На чем и сломал себе шею.

Потому что забыл о своих мусульманах.

Он слишком прытко принялся за реформы и за это поплатился. Аятолла Хомейни спокойно жил себе в Париже, получая от своей иранской паствы чуть больше двух миллионов долларов в год. По сравнению с шахом, владевшим миллиардами, он был просто нищим.

Заботясь о стране, шах, как и подобает истинному отцу своего народа, не забывал и о себе, и о приближенных.

Шах был малый не промах.

Чижов видел шаха Резу Пехлеви. Он видел его в один из приездов шаха в СССР. Шах по необъяснимым причинам любил навещать северного соседа, где его всегда ожидал дружеский прием, и никогда не упускал возможности посетить бывшую столицу, а в ней не миновать ему было мечети. Возле которой и жил во время оно кто? Чижов. Жил прямо возле мечети на Малой Посадской улице, в доме рядом с булочной, и там именно — не возле булочной, разумеется, а возле мечети — он и увидел повелителя мусульман в один из его самых первых визитов. В те времена, когда шах еще был женат на фантастически красивой принцессе Сорейе.

С которой шах потом развелся, чего Чижов не сделал бы.

Шах Чижову понравился. Он был в оливковой военной форме и очень напоминал тех красивых, с орлиными носами румынских пограничников, которых Чижов увидел позже, чем шаха.

Чижов захотел поделиться своими воспоминаниями о встречах с шахом Резой Пехлеви. Он хотел рассказать о своих впечатлениях капитану, но капитан куда-то исчез. Чижов не удивился этому. Капитан всегда ходил в войлочных шлепанцах, поэтому неудивительно было, что он исчез бесшумно. Но вот как исчез столь же бесшумно старпом, Чижов не понял — старпом шлепанцев не носил.

Господи, птичка все так же прыгала по штабелям и, судя по всему, никуда улетать не собиралась. Не так-то уж много преимуществ у птички перед человеком, подумал Чижов. Не так много, как мы думаем.

В рубке был теперь один только третий штурман. Вид у него был угрюмый. Я хотел было спросить у него, не помнит ли он, как звали последнего шаха Ирана, но, посмотрев на третьего штурмана внимательно, решил этого не делать.

Тогда в Иране...

Они были выстроены в шеренгу, они были построены, они стояли во дворе армейских казарм в Хорремабаде, стояли плечом к плечу, сто двадцать семь человек, со спороть ми нашивками, без ремней, сто двадцать семь черноволосых мальчишек в возрасте от девятнадцати до двадцати одного года; в ту далекую уже, в ту неотвратимую минуту они стояли на пыльной горячей земле под древним хорремабадским солнцем, видевшим столько смертей со времен Ашшурбанипала и Хаммурапи, а напротив них на той же земле и под тем же небом, сжимая потными руками автоматы, стояла такая же шеренга точно таких же мальчишек в возрасте от девятнадцати до двадцати одного года, которые еще недавно, быть может, даже вчера, сидели, шутили, смеялись вместе с теми, кто стоял сейчас без ремней, стоял и ждал приказа, стоял и ждал смерти, стоял без улыбки и надежды, стоял и ждал судьбы, нескольких слов, произнесенных вслух, выкрикнутых сорванным голосом, нескольких слов, зафиксированных на бумаге, запечатанных в конверте и переданных для исполнения экзекуционной команде; и в то же время существовал где-то какой-то, никому здесь неведомый и недосягаемый для

милосердия человек, поставивший под бумагой свою подпись, в результате чего приговор вступил в силу, и в то время, как во дворе прозвучала команда *«готовсь»*, сердце его билось ровно, точно так же, как и всегда, как и в любую другую минуту, поскольку он только исполнил свой долг, а раз так, то и те, кто его не выполнил, сто двадцать семь человек (в возрасте от девятнадцати до двадцати одного года) должны были понести примерное наказание; и хотя сам этот человек не был далек от понятий добра и зла, он подписал и тем самым утвердил приказ о смертной казни, и он же отклонил просьбу о помиловании, что вполне согласовывалось с его личной добротой, с его любовью к семье и детям, а также с его понятиями о совести и долге, в результате чего сто двадцать семь нарушивших присягу солдат (в возрасте от девятнадцати до двадцати одного года) изымались из жизни во имя торжества принципов повиновения и дисциплины. Звучит команда *«цельсь»*.

Нужно представить себе. Нужно представить себе, что в этот момент, в какой-то миг, когда еще не было произнесено последнего слова, когда можно еще было что-то изменить, остановить, исправить, что в эти последние мгновения существовали в мире: бумага, плотный лист, обладавший смертоносной силой, почти чистый лист с несколькими словами и подписью, выведенной тушью, лист с подписью и печатью, прижатой к штемпельной подушке, которая через секунду впитает в себя кровь ста двадцати семи детей, отказавшихся стрелять в своих братьев, отцов, матерей и сестер, и существовала рука, принадлежавшая человеку, которому из-за того, что он проставил на этом листе свою подпись, оставалось жить ровно две недели, потому что эта подписанная им бумага была в самом деле смертным приговором, который он подписал самому себе (на том же самом дворе. У той же самой стены. И те же автоматы выплеснут смерть. И руки, держащие автоматы, будут дрожать, но уже от ярости), и что в эту минуту, секунду, мгновение еще можно было все остановить.

Но...

Разве мы знаем? Мы не знаем. Как не знал ничего и он, кто подписал бумагу и запечатал конверт, он не знал, о нет, он не знал, не думал, не предполагал, он был так высоко вознесен судьбою, что чувствовал себя неприкосновенным, защищенным, чувствовал себя в безопасности и никак не мог предвидеть, предполагать, как, стоя у стенки, будет выть, кричать, скулить весь мокрый, в поту и в моче, всего через четырнадцать, подумать только, всего через четырнадцать дней, как не захочет умирать, превращаться в ничто, а ведь ему было больше девятнадцати лет и больше двадцати одного, и все-таки он хотел жить и не хотел стоять у стены, он полз вдоль нее и ни за что не хотел умирать по-человечески, так ему не хотелось расставаться с этим миром, расставаться вот так, у глиняной стены под солнцем, видевшим Синнахериба, под чистым синим небом. Но кто знает — может быть, в какой-то момент он вдруг увидит свою руку, вот эту, в которой он сейчас держит сигару, которая несколько минут назад вывела его имя на почти пустом листе бумаги, увидит свою руку и ужаснется тому, что она сделала, и вернет все обратно, вырвав множество жизней, в том числе и его собственную, из широко раскрытых объятий смерти, которая глядит на всех них сквозь черные прорези прицелов в ожидании команды «пли!», расплываясь в последние секунды, отпущенные этой шеренге черноволосых мальчишек в этой жизни...

Синий дым сигары, не расплываясь, висит в воздухе.

На что же он надеялся? На то, что все позабудется, развеется, как этот вот дым, растворится без следа в мировом океане зла, втечет в него тонкой струйкой и смешается с водами рек и морей? Или он надеялся на то, что бумага есть просто бумага, и она ничего не значит, поскольку все терпит, потому что она так хрупка и эфемерна, так подвержена исчезновению и забвению и зависима от огня, что может исчезнуть, или потеряться, или потерять свое значение после того, как по команде «пли!» автоматы изрыгнут не бутафорский огонь и не фейерверк, не имитацию выстрелов, а свинцовый дождь. Но ведь так и не бывает, увы, так не бывает, это было бы слишком большим чудом, оружие стоит слишком дорого и достается слишком тяжело, чтобы его использовать для развлекательных игр, миру не нужны чудеса (по мнению военных), миру нужны дисциплина, повиновение, порядок, и автоматы изрыгнули *настоящую смерть, вот как это происходит вообще и так оно происходило тогда, происходило в те самые секунды, когда комментатор, полный профессионального экстаза, вещал о самом, я не побоюсь этого слова, драматическом событии сегодняшнего дня, которое только можно себе представить*, но он не сказал ни слова о скрюченных телах ста двадцати семи солдат в возрасте от девятнадцати до двадцати одного года, распростертых вдоль длинной глинобитной стены под палящим иранским солнцем. И никто не скажет об этом ни слова, ибо мертвецы должны помалкивать, и они отправятся догнивать в одной поистине братской могиле, а генерал, подписавший приказ об экзекуции, вернется, чувствуя легкую служебную усталость, к своей семье, а экзекуционная команда вернется в казармы и займется чисткой оружия в отведенных для этого комнатах, а после этого присоединится к телезрителям, к тем, кто в этот день был свободен от нарядов и кому не пришлось отвлекаться для всякого рода неприятных дел, и теперь, собравшись вместе,

они узнают о том, что *за задержку вратаря игрок сборной Греции Эврипил удаляется с поля на две минуты*, и комментатор скажет по этому поводу, что происшедший инцидент весьма досаден, и с ним согласятся миллионы телезрителей севера и юга, востока и запада, в том числе: отчим Чижова, старый воин, отчаянный десантник, неустрашимый боец морской пехоты, герой Невской Дубровки, оставивший там одну ногу, а вторую и кисть правой руки уже много лет спустя в различных госпиталях и больницах, бывший старший лейтенант, который в эту минуту сидел на своей тележке и тоже смотрел на экран то открывая, то закрывая глаза, грузно осев туловищем, которое теперь уже не перебросишь одним рывком через бруствер, как тогда, в той последней атаке, последней для него, последней для половины его роты, пистолет на ремешке зажат в руке, последние взгляды вдоль траншеи, и какой-то голубой цветок на изогнутой ножке, и ракета, а за ней бросок, за *Родину, за Сталина*, а кто такой Сталин, спросил недавно внук, и он не нашелся, что ответить, бросок на край бруствера под пули, вверх, как птица, навстречу стонущему жадному посвисту пуль и не оглядываясь, но это было давно, в сорок первом, а сейчас уже семьдесят восьмой, и увидеть подобное можно было только в кино, где война выглядит так красиво, а смерть даже вовсе не страшна, и все войны похожи друг на друга, и борьба за мир достигла апогея и войн больше не будет, и не будет никогда, и никто не забыт и ничто не забыто, но нельзя жить только прошлым, надо смело глядеть вперед, новые времена и новые песни, артисты зарубежной эстрады, *фестиваль в Сан-Ремо, катастрофа в проливе*, это события мирных дней, либерийский танкер потерпел аварию, он сел на камни, раскорячился на скалах, из распоротого брюха текут потоки черной крови, цены на нефть (на лондонской бирже) упали до двадцати долларов за баррель, и птицы — птицы, птицы, они попали в аварию тоже, они ничего не могут понять, они не могут взлететь, им уже не увидеть небо, *какая досада*, их перья черны от вязкой жидкости, они конвульсивно дергают лапками; телевидение не дремлет. *Крупный план*: птицы умирают; *крупный план*: глаза открываются и закрываются, закрываются навсегда. У генерала, снявшего мундир, доброе сердце, он смотрит на умирающих птиц, это жестокость, от нее надо прежде всего уберегать детей, и он гладит шестилетнего мальчугана, одного из своих сыновей, он гладит его по жестким черным волосам, поскольку он любит детей, поскольку он добрый, и это только естественно, что он любит их, как можно их не любить, и рука его, несколько часов тому назад подписавшая смертоносный приказ, мирно лежит сейчас на голове сына, а ребенок доверчиво прижимается к теплой отцовской руке, весь во власти сопереживаний, слава Аллаху, что он не увидел бедных издыхающих птиц, генерал успел переключить программу, хоккей — вот что настроит мальчика на нужный лад, ведь *игра еще не окончена*, как справедливо отметил комментатор, она длится, она все еще длится, так долго, что генерал стал понемногу освобождаться от тягостных событий сегодняшнего дня, отходить от них, они были поистине неприятны, но, увы, необходимы для общего блага, да, слава всевышнему, что человеческая память способна благодаря воле Аллаха *забывать*, и скоро, уже сейчас и с каждым мгновением все больше и больше настоящее отходит и отходит в туманную даль прошлого, и снова все будет хорошо: все пойдет, побежит, понесется, как и до *того*, ибо жизнь стремительна, двадцатый век, хотя и не стремительнее пули, вылетевшей из автомата, и все же она (жизнь) не стоит на месте, «ни минуты покоя, ни секунды покоя» поет группа «Ариэль», а потому не надо тревожить царство теней, что было, то было, не надо оглядываться, надо верить, как верит генерал, который уверен, что все худшее уже позади, который верит в спасительность времени, делающего настоящее далеким и с каждой секундой все более далеким прошлым, который прямо-таки уверен, что через какое-то время все войдет в колею, а это означает, что оправдана устремленность взгляда в будущее, оно и только оно, в то время как прошлое становится бесполезным хотя бы в силу необратимости времени и тем самым не может быть признанным в обладании хоть какой-нибудь ценностью; с момента свершения это просто зарегистрированный факт.

Не более того.

И не надо преувеличивать. Не надо преувеличивать и не надо *обобщать*. Не надо. Жизнь самоценна, жизнь есть благо, и в жизни есть все, в том числе и зарегистрированные факты. *Но не надо обобщать*, капли, сливаясь, дают ручейки, те превращаются в реки, реки впадают в моря. Море фактов — в нем тонет все. Нельзя, нельзя непрерывно думать о справедливости, нельзя без конца оплакивать мертвых, нельзя вернуть к жизни неправедно осужденных, как нельзя накормить всех голодных. Терпение. Все в свое время. Зато можно уже сейчас дать всем зрелища — часто вместе с хлебом, иногда вместо хлеба, иногда вместо мысли. Это не просто, это совсем не просто, но, к счастью для всех, это возможно, а иногда и желательно, а часто просто необходимо, такова диалектика жизни, века НТР, прогресса, который явен и ощутим, который чувствуется во всем, в том числе и в насыщении зрелищем. Этому делу отданы сегодня самые передовые достижения человечества, спутники связи повисли в космосе, ретрансляторы гордо высятся на земле во славу достижений человечества, заменив рождественские свечи, горят по всему миру символы преуспевшей цивилизации — от Сингапура

Сянга до армейских казарм Хорремебаде, горят и светятся черно-белые и цветные окна в мир.

Цветные сны, призывающие к отдыху, призывающие забыть и забыться, забыть о заботах, забыть о неприятностях, своих и чужих, чужих тем более, забыть о расстрелах, казнях и пытках, о сиротах и вдовах, ведь *греки снова атакуют*, забудьте об убогости дня прошедшего и того, что предстоит, расслабьтесь, рассейтесь, отвлекитесь, развлекитесь. Если вы устали от хоккея, поверните ручку настройки, и вы увидите *совещание на Ямайке*. Проблемы безопасности. Интересы государства. Строгая конфиденциальность. Секретность. Правда вредна, она должна быть доступна лишь посвященным. Отсюда жреческая важность каждого жеста. Дипломатический ритуал полон скрытого смысла, и пусть завистливые журналисты, давно уже и цинично готовые осквернить любые святыни, называют наши встречи на высшем уровне «очередным раундом болтовни» — для тех, кто принимает участие во *встрече на Ямайке*, все происходящее исполнено глубокого смысла, как было бы исполнено смысла и для вас, будь вы там. Эта встреча не показалась бы вам бесплодной, более того, вы не допустили бы подобного бесплодия, вы получили бы вместе с другими свою долю плодов, и, обсуждая *положение в мире*, вы не остались бы внакладе.

И разве это не правильно? Разве неправильно, что мы его обсуждаем, обсуждаем без конца, иногда осуждая, иногда одобряя? Нам есть что обсуждать. Разве наши достижения не впечатляют? Разве наши открытия не изумляют? Разве наша мощь не безгранична? Разве не такова она, благодаренье господу (Христу, Магомету, Иегове), что этот мир с его красотой и с нами самими, с нашей отвагой и с нашей трусостью, нашей неукротимой энергией и нашей ленью, равнодушием и возвышенными принципами, весь этот единственный и неповторимый, данный нам игрою космического случая прекрасный мир в считанные мгновения может быть уничтожен, разрушен, разнесен вдребезги, раскатан по бревнышку, истолчен в порошок. Это ли не сила, от которой кружится голова, это ли не достижения, которыми можно гордиться? Кому такое по плечу, кто это может вынести? Такая сила пьянит, такая власть бросается в голову, как спирт. Будем ли мы трезвы? Хватит ли у нас здоровья выдержать все это и не захмелеть, не опьяниться всеми нашими успехами, не опьяниться до смерти? Способны ли мы трезво взглянуть на себя, способны ли еще чему-то научиться — ведь у нас такой терпеливый учитель, как история. Ведь пока мы живы (и *пока еще живы*), мы могли бы попробовать еще раз. Еще и еще, пока есть еще кому садиться за парты, пока вместе с нашими замечательными достижениями и нашими открытиями и выдающимися дипломатами и непревзойденными государственными деятелями не исчезла еще земля и не исчезли с ее лица все учителя и ученики вместе с партами, школами и университетами, пока еще длится и не прекратилась сама история, пока еще можно все спасти. Все. Спасти все, всех и всюду, капиталистов и пролетариев, бедных и богатых, умных и глупых, красивых и уродливых, правых и неправых, пока это еще можно сделать. Пока не поздно. Сейчас. Еще нет.

Теперь уже нет. Теперь уже было поздно. Теперь уже не нужно было ему думать о времени, не нужно было спешить, торопиться, переживать, предполагать, гадать, волноваться о том, что было бы в этом, а что в ином случае, как было бы, если бы все сложилось иначе. Теперь он, уже недвижимый, лежал под грудой раздавленного, расплющенного железа, и сам он был раздавлен и расплющен, но он не сознавал этого. Он лежал себе тихо, не ощущая ни боли, ни страха, не испытывая вдруг того, что вспыхнуло на мгновенье, чтобы тут же погаснуть у него в мозгу, когда слева и сзади он ощутил внезапно присутствие чего-то нового, какой-то опасной силы, угрожавшей ему. Но он не понял, не успел понять, что же это была за сила, потому что в следующее уже мгновение все взорвалось, возникло, увеличилось, опрокинулось и исчезло, и теперь он не знал, что случилось с ним и с его машиной, которая бесполезной уже грудой железа накрывала его, словно саван из тонкого скомканного металлического полотна. Он не видел неба и не видел людей, не слышал их голосов, не слышал воя сирены, не знал, что с ним — несут ли его, лежит ли он недвижим или парит в воздухе; он не знал даже, кто он сам. Это было совсем не так просто, на это он не смог бы дать однозначный ответ, но ведь не было и нужды в ответах, поскольку никаких вопросов он не задавал. Он переживал состояние нового рождения, факт нового бытия, не осознаваемого им, правда, ни как бытие, ни как существование. Перед ним, тем и таким, каким бы он мог ощущать себя, если бы такая осознанная способность у него сохранилась, проходили, проплывали, подобно безмятежным облакам, какие-то картины или видения, просто картины, одна за другой, картины без подписей, с разными действующими лицами, мужчинами, и женщинами, и детьми, которых он когда-то знал; но, может быть, ему только казалось, что он знал; а может быть, это они его знали. Несомненно одно — все эти картины были каким-то образом связаны между собой, но каким? И еще была ниточка, но уже не зрительная, а звуковая, застрявшая у него в мозгу, которой он тоже

должен был найти надлежащее место, какие-то слова, произнесенные в самый момент взрыва. *Так играть нельзя.* Непонятные слова, представлявшие в каждой своей части неразрешимую загадку. Что означало — *так*? Почему *нельзя*? Что значит *играть*? Над этим думала какая-то отдельная и самостоятельная часть его существа, а перед глазами проходили картинки.

Так, он увидел самолет, нарисованный на фанере, настоящий самолет, на крыльях пятиконечные звезды. Красные звезды украшали крылья боевого истребителя, внезапно, как прекрасное видение, возникшее среди базарной суеты и толкотни (но что это был за город, что за базар и в каком это все было году?), а на том месте, где должно было быть лицо летчика, был вырезан овал, свободное место. Для кого оно предназначалось? Оно было предназначено для маленького мальчика. Мальчик, стоя на табурете, был счастлив. Он сидел в кабине могучего краснозвездного корабля, он летел в небе, покачивая крыльями, он проносился над полями, реками и лесами, летел, как птица, летел, как ветер, неустрашимый герой, доблестный летчик Толя Сомов, гроза врагов, сталинский сокол, и непрерывно строчил из пулемета. Сталинский сокол Толя Сомов летел на параде, он летел над Тушинским полем в строю таких же, как он, соколов, он видел под собой несметные толпы народа, которые стояли, задрав головы, чтобы посмотреть на него, и он приветливо, перед тем, как резко взмыть вверх, описать мертвую петлю, ввернуться в штопор и взмыть обратно, покачал им крыльями, приветливо покачал им, всем этим незнакомым ему людям, короткими крыльями, украшенными звездами, пролетел над ними в последний раз, а потом без всякой посадки улетел далеко-далеко, в страну, которая называлась Испанией, и там он спасал испанцев, спасал испанских детей, которые недавно приехали на пароходе в Советский Союз из своей далекой Испании, в которую он сейчас прямо с Тушинского поля, и летел.

А это что? Это снова он? Куда он идет, или куда его ведут? Он не знает и не помнит. Он идет, кто-то держит его за руку, и ему это приятно. Потом из глубины его памяти выплывает смешное слово *Бармалей.* Бармалеева улица, вот оно что. Имеет ли она отношение к Бармалею? Он не знает. На Бармалеевой улице есть детский сад, это он знает, вот туда-то он и идет, точнее, туда его ведут. Его ведет туда мамина рука. Он счастлив от того, что эта высокая красивая женщина, которая ведет его за руку, его мама. Они идут по Большому проспекту к Бармалеевой улице, все оглядываются на них. Оглядываются мужчины, оглядываются женщины. При этом он чувствует, что женщины оглядываются на маму совсем не так, как мужчины, разницу он чувствует точно, а как назвать ее — не знает. Но ни на мгновенье он не сомневается, что и те, и другие в восторге от встречи с ним и с его мамой, и он еще крепче сжимает ее длинные тонкие пальцы. Он знает, что его мама *балерина*, но что это такое, он не знает. Зато он хорошо знает, что она всегда занята, вот почему он *круглосуточный*, еще говорят, это он слышал много раз, что она прекрасно танцует, и что у нее *огромный талант*, но ни о том, ни о другом судить не может. В голове у него бродит много слов, но он не всегда точно знает, что это такое, например — абсолютный слух. Это про него было сказано — у него абсолютный слух, слово звучит красиво, хотя и не совсем понятно, что это такое и что из этого следует.

Проходит какое-то время, и ему нужно готовиться к празднику, и всем им выдают праздничную форму — бескозырки с надписью «Аврора», черные брюки (длинные, как у настоящих моряков) и белые матроски, а в большом зале, где они всегда собираются по праздникам от самых старших групп до самых малышей, возникает пахнущее столярным клеем и свежим деревом нечто необыкновенное по красоте, от чего у всех захватывает дух — настоящий крейсер «Аврора». Много лет спустя он найдет желтую фотографию и найдет себя на ней: третьим в первом ряду. Найдет маленького мальчика среди других маленьких мальчиков, многим из которых так и не довелось вырасти, превратиться в больших, многим из которых оставалось всей их жизни только до начала войны, то есть два или три года: но тогда их судьба еще не была определена. Она еще ковалась где-то международными конференциями, речами о взаимном доверии и взаимных гарантиях, о взаимной помощи и ненападении, о суверенитете и плебисците; она ковалась уже где-то на заводах Круппа и «И. Г. Фарбениндустри», она таилась в зернах, которым не дано будет взойти, лежала на Бадаевских складах, которые сгорят, она еще бежала живым соком в деревьях, которые еще росли, как росли они сами в школах, яслях и детских садах; да, деревья еще росли. Их еще не срубили, не связали в плоты, не сплавили по реке, не размололи, не изготовили бумагу, на которой так скоро будут напечатаны продуктовые карточки, несущие в себе, в маленьких отрывных талонах, жизнь и смерть. Еще не придумано было слово «отоварить», еще печатали газеты оперсводку ЛВО: «В течение 31 января боевые действия на фронте ограничивались поисками разведчиков», а фотография увековечила миг, когда «седовцы по окончании исторического дрейфа водружают на льдине красный флаг с именем товарища Сталина»; еще лился и лился поток приветствий в связи с шестидесятилетием со дня рождения «от граждан хутора Песковатки на Дону Городищенского района Сталинградской области; от коллектива гостиницы Дома Советов г. Алма-Ата; от учеников 9-а класса 18 школы г. Запорожья», к которым чуть ниже примкнула «парторганизация Московского отделения „Резиносбыт“», и присоединились «коммунисты парторганизации Управления рынками Кагановичевского района города Одессы», еще все звучало и пело, а эти девочки и мальчики в матросках и бескозырках с ленточками, чинно выстроившиеся в ряд в несколько деревянных позах вдоль фанерного борта фанерного крейсера, уже были мертвы, как если бы они и не жили вовсе, не были зачаты, выношены, рождены с мукой и надеждой.

Газеты писали: *«Больные места французской экономики»*, но дети не читали газет, они жили своей детской жизнью, они верили взрослым, газеты писали: *«Речь Гитлера.* 31 января (ТАСС)», но дети не знали, что такое ТАСС, и слабо представляли, что такое Гитлер. Зачем им было это знать? Они играли в свои игры. К сожалению, взрослые тоже играли в свои, но детям об этом ничего не было известно.

«Вчера на торжественном собрании, посвященном годовщине прихода национал-социалистов к власти, Гитлер произнес речь, в которой сказал: „В течение многих столетий Германия и Россия жили в дружбе и мире. Почему этого не может случиться и в будущем? Я думаю, что это возможно, потому что этого хотят оба народа. Всякая попытка британской или французской плутократии спровоцировать нас на столкновение обречена на неудачу“».

Народы слушали, они слушали безмолвно. Народы работали, их дело было производить прибавочную стоимость, им некогда было размышлять над речами, они крутили колесо истории в темноте своих шахт, они еще верили своим пастырям. Миллионам человеческих зерен в ближайшие годы суждено было обратиться в прах, в прах и тлен, и среди них затерялись и никогда никому не стали известны судьбы двадцати двух мальчиков и девочек, память о которых случайно сохранилась на старой фотографии. На ней, да еще в памяти Сомова, который лежал в эту минуту в перевернутой и искореженной груде железа на развилке Витебского шоссе. Теперь было совершенно некуда спешить, и времени для воспоминаний у него было вполне достаточно.

У меня самого проблема времени свелась, похоже, к завтракам, обедам и ужинам.

Я сижу на мостике. Меня нет, я призрак, я временный гость, на меня не надо обращать внимания. Я смотрю, как люди занимаются своей работой, но я ничем не занимаюсь, и хотя я никому не мешаю, мне почему-то стыдно.

Я думаю о времени. Когда-то мне казалось, что существуют всего две проблемы, которые надо решить. Это проблема времени и проблема выбора.

Теперь мне так не казалось...

Но тот Чижов, которым я был несколько лет тому назад, был просто помешан на этих вопросах. Я могу его понять, для человека пишущего или размышляющего над вопросами бытия вопрос времени действительно является самым важным. Одним, во всяком случае, из самых важных. В свое время об этом же думал Эйнштейн, открывший относительность времени, то его качество, что в разных местах оно течет с разной скоростью, то быстрее, то медленнее, точь-в-точь — как течет река. Тот Чижов, разумеется, не понимал физической сущности теории относительности, как общей, так и специальной, но течение разного времени он ощущал каким-то ему самому неведомым образом, и это мешало ему, как только он хотел написать о чем-то существенном, важном для него самого, а не только о том, каким образом воруют в универсамах и откуда берутся миллионеры сегодняшнего дня. Он спотыкался о время, поскольку то время, в котором он жил, все убыстрялось и убыстрялось, требовало от пишущего совсем иной техники, которой не было еще в природе, однако, оглядываясь, он не видел, чтобы это хоть кого-нибудь волновало.

Тот Чижов, каким был я восемь лет назад, считал, что в наше время писать так, как писали раньше, нельзя.

У меня нет никакой точки зрения. Я ничего не знаю. Я не знаю, как надо сейчас писать и надо ли вообще заниматься этим делом. Может быть, всем пишущим на какое-то время следовало бы вообще вернуться к их прежним профессиям?

Мне кажется, что в этом был бы определенный смысл. Я сам, во всяком случае, нахожусь на пути к такому решению.

Тот Чижов, каким он стал восемь лет спустя, сидит на капитанском мостике и смотрит на реку, пример которой помогает ему лучше понять и себя и время. Река подает ему пример, пример трудолюбия, пример терпения, пример того, как следует служить людям, не требуя ни признания, ни наград.

Река делает все это, подумал я, она делает это для людей, но сама она в людях ничуть не нуждается. В этом и состоит самая главная разница между рекой и человеком. Потому что человек без людей не может...

Что бы он там себе ни говорил...

Стоя на палубе, я видел, как уходили вниз бетонные стены шлюза. Ощущение было такое, словно это сам господь бог на своей огромной ладони поднимает их «Ладогу-14» навстречу синему небу и аккуратным домикам шлюзового поселка с его цветниками и дорожками, посыпанными красным песком, но, может быть, подумал я, это был просто толченый кирпич. Как бы то ни было, но в ту минуту я испытывал уже забытый мною душевный подъем...

Тот Чижов, каким он был восемь лет назад, никакого подъема не испытывал, ни в прямом, ни в переносном смысле. Потому что именно в то время (здесь уместно было бы сказать — наконец-то) он собирался начать новый роман, и не какое-нибудь сочиненьишко на тему дня, а большое, развернутое, так сказать, историческое полотно, к которому он сквозь свои «универсамы» шел, и даже, можно сказать, карабкался все предыдущие годы; произведение, которое должно было вернуть ему уже порядком подтаявшее уважение к самому себе.

Он собирался писать роман о канцлере М.

Который, бесспорно, был великим человеком.

Чижов великим человеком не был. И в этом-то и заключалась незадача, которая так усложняла задачу, поставленную Чижовым перед самим собой; незадача состояла в том, что человек во всех отношениях обыкновенный поставил перед собой задачу написать роман о человеке во многих и многих отношениях необыкновенном, и решить эту задачу можно было, только придумав какой-нибудь фокус, вроде того, который еще в школе так поразил пятиклассника Чижова. Ту задачу нельзя было решить иначе, как введя туда совершенно постороннего верблюда. За давностью лет Чижов не помнил деталей, но соль заключалась в том, что как только в задачу входил неведомо где находившийся до етих пор чужой верблюд, все решалось очень быстро, причем этот лишний верблюд так и оставался лишним, так что хозяин при желании уже через десять минут мог взять его за веревку и увести домой, и, вспомнив об этой задаче, Чижов искренне пожалел, что у него сейчас нет под рукой такого верблюда. А впрочем, и никакого другого, ни одного из тех, что он видел в свое время, во время войны, в эвакуации — мохнатых и важных, с библейскими глазами, хотя и не такими библейскими, как у овец. Чижов не поверил тогда, что верблюды плюются, он был полон почтения и не видел никаких оснований для нарушения величественным животным элементарных правил общежития.

Нет, верблюды не плевались. Это был очередной завистливый навет человека, присвоившего их труд. Они не плевались и шли, и шли, и шли величественной поступью, позванивая своими колокольчиками.

Что-то мне напомнили тогда эти колокольчики.

«Однозвучно звенит колокольчик»? Нет, не то.

«И колокольчик, дар Валдая»?

На Валдае Чижов работал в свое время начальником изыскательного отряда. Это было в 1961 году, они трассировали тогда обходную дорогу, точнее, спрямляли трассу Ленинград — Москва, выводя транспортный поток за пределы вдрызг разбитых проездов. Красивее тех мест представить себе невозможно, запущеннее и захламленнее — тоже. Впечатление было такое, словно орды Чингиз-хана только позавчера покинули эти места, пощадив только магазин, торговавший спиртными напитками. Особенно пострадал Иверский монастырь на острове посреди озера, по которому дважды в день ходил маленький пароходик, собранный не позднее начала прошлого века, на заре пароходостроения, но здесь он был вполне на месте. Воинствующие безбожники приспособили бывшую обитель под пионерский лагерь, и дети воинствующих безбожников сделали то, чего не могло сделать время. Они разорили все, что можно было разорить, сожгли то, что могло гореть, а в довершение всего отломали левую руку гипсовому пионеру, трубившему в горн посреди двора на невысоком постаменте; останки пионера были аккуратно выкрашены серебряной краской.

Вот только с водой пионеры ничего сделать не смогли. Вода в озере — по крайней мере, в тысяча девятьсот шестьдесят первом году — была прозрачной и чистой.

Тогда я еще не имел никакого отношении к литературе. Совершенно неизвестно, имею ли сейчас, но тогда не имел точно. Только тогда я был по-настоящему счастлив, поскольку занимался делом, которое знал, любил и умел хорошо делать. Это были лучшие годы моей жизни. Только я не сознавал этого.

Впрочем, я многого не понимал. И тогда, и позже...

Это не поддается объяснению. Тот факт, что, не довольствуясь своей работой, Чижов вдруг начал писать. Он не имел никакого представления о писательском деле, не знал, что это значит. Теперь-то он имел об этом полное представление и мог бы дать желающим вступить на этот путь несколько дельных советов, вот только желающих получить эти советы он вокруг себя не видел. А ему в свое время никто из знающих людей не встретился. Вот он и сбился с дороги, свернул не туда, встал не на ту стезю, по которой и докатился...

Но тогда он всего этого не знал. В ту пору он верил в себя, верил в то, что ему по

плечу то, что по плечу другим, разве литература — не такое же дело, как строительство, разве не шли в литературу стройными рядами девушки и юноши по комсомольскому призыву, разве он был хуже? Он не был хуже. «У нас героем становится любой»,— так утверждала песня, и Чижов слова этой песни целиком и полностью относил к самому себе. Он строил дороги, почему бы ему не проложить новые пути в изящной словесности, тем более, что в это время он открыл для себя великого американца. Текст и подтекст, особенно подтекст. Чижов чувствовал себя в подтексте как рыба в воде, в чистой воде Иверского озера, он написал несколько рассказов, полных подтекста, и послал их на творческий конкурс в Литературный институт. Да здравствуют новые силы, идущие в литературу из глубин народной жизни. Если есть конкурс, значит, будут и победители. В том, что его полные подтекста рассказы возведут его на пьедестал почета, он не сомневался. Только вперед.

Он весело трассировал дорогу, работа шла от зари и до зари, у него подобралась хорошая группа, они отсняли несколько километров самого сложного участка и сели за камеральную обработку, когда пришел ответ из Литинститута. Чижов навсегда запомнил этот день. С утра они выкупались, потом долго сидели у самовара с медалями, потом сели за работу в чистой горнице, и снова работалось споро и весело, в такой день должно было случиться что-нибудь светлое, и солнце палило нещадно, вот только из соседнего двора доносился, мешая, истошный поросячий визг, и Чижов на правах начальника, долженствующего обеспечить наиболее благоприятные условия работы подчиненных, вышел, чтобы прекратить это безобразие или, по крайней мере, выяснить его причину. Он смог выяснить только причину: в соседнем дворе ветеринар холостил поросят, которым Чижов в тот момент, когда он вышел, мог только посочувствовать. И тут он столкнулся с почтальоншей. Вам пакет, сказала почтальонша и полезла к себе в сумку. Пакет был из Литинститута. В бумаге за двумя подписями (неразборчиво) и печатью Чижов уведомлялся, что творческого конкурса не прошел и, таким образом, от дальнейших беспокойств избавлен.

Так я стал писателем.

Если бы не этот отказ, Чижов, вполне возможно, остался бы инженером-дорожником по сию пору, но что можно сказать совершенно точно, что никто ни на какие экзамены в разгар полевых работ его не отпустил бы. Но тут его заело. Он был честолюбив, самолюбив, он почувствовал себя задетым. Они еще увидят, подумал он, разрывая конверт, они еще пожалеют. Кто такие они — так и осталось загадкой.

Останки пакета с рассказами он сунул в печь. Листок с двумя неразборчивыми подписями, но зато очень четкой печатью, он оставил до лучших времен, которые теперь уже точно должны были наступить, только неизвестно когда.

Так начался его творческий путь — под визг поросенка, освобождаемого для его же пользы от всех страстей.

Теперь этот путь был закончен. Он закончился в тот момент, когда Чижов ступил на выкрашенную зеленой масляной краской палубу сухогруза «Ладога-14».

Я не думал об этом. Мне это было неинтересно, словно речь шла о каком-то другом человеке, которого я едва-едва знал.

А может, мне только казалось, что я знал его.

В двухстах метрах за шлюзом тощая высокая труба извергала в чистое небо клубы неряшливого бурого дыма, который длинным шлейфом тянулся по ветру чуть ли не на километр. Чижов долго не мог понять, что напоминает ему это синее небо и бурый дым, но потом понял — это напоминало ему войну, такую, какой он видел ее из теплушки, увозившей его в сорок втором на восток. Он смотрел на этот дым широко раскрытыми глазами, удивляясь, как хорошо он все помнит. Неужели это было на самом деле, и было с ним? Неужели снова дипломаты ошибутся и будет война? А потом он подумал, что если это случится снова, то потом уже не будет ни тех, кто сможет вспоминать, ни самой памяти. А река, подумал Чижов, река, возможно, и будет, но из нее нельзя будет пить. А небо? Небо тоже будет, но в нем некому будет летать. И дыма не будет — после того, как все сгорит, будет только пустая синева. И тишина. Над всем миром.

Над всем миром и навсегда.

Сомов не любил тишины. Не любил еще с блокады, когда он оставался дома целыми днями один, закутанный в сотню одежек, один, в пустой квартире; тишина была страшная. Взрослые на работе, никого нет, «буржуйка» остыла. Сиди и жди. Заберись под одеяло, заползи, замри. Лежи и думай, думай, о чем хочешь, только не о еде, только не о том, что хочется есть, об этом думать не надо. Вот придет мама и чего-нибудь принесет. Надо заснуть и проснуться, а мама уже идет к тебе и несет хлеб, маленький кусочек хлеба, она кладет его на печку. Печка уже пылает, в комнате чуть теплее и начинает пахнуть пригорающим хлебом. Хлеб согревается, разрумянивается, а тут появляется еще какая-то мисочка, а в ней какая-то каша на самом донышке; надо заснуть и доспать до самого маминого прихода. Доспать до конца: до конца часа, до

условно говоря народу. Да, в трезвом — пусть даже это утверждение не стопроцентно — уме и твердой памяти неделя за неделей и месяц за месяцем распродавали они прекрасную библиотеку профессора Филимонова, который к тому же с достопамитных дней пятьдесят второго года, разделив участь «убийц в белых халатах», разоблаченных героической Лидией Тимощук, вынужден был временно покинуть свой родной город, переместившись в солнечную столицу Киргизии, так что его надзор за книжными сокровищами был несколько затруднен. Его библиотека, которую начал собирать еще дед Пашки Филимонова, оказалась настолько щедрой, что даже разбойному наследнику фамильных сокровищ долгое время не удавалось нанести ей сколь-нибудь заметного ущерба, поскольку в начале этого злого дела было достаточно грабить лишь задние ряды необозримых старинных книжных стеллажей, предавая гражданской смерти лишь дубликаты, и только много позже пробил час сначала отдаленных углов, а затем и фасада. Из всех подвигов запомнились лишь отдельные полустершиеся эпизоды, например, продажа собрания сочинений Киплинга в десяти томах. В десяти ли? Но запомнилась эта цифра. Может быть, потому, что им давали по десять рублей за том — «старыми», конечно,— и таким образом набралась целая сотня? Подробности забывались, и сейчас уже ничего было не вспомнить, вот только Киплинг, его почему-то было особенно жаль. Позднее Филимонов пытался найти этот десятитомник и нашел; цена ему была уже пятьсот — разумеется, «новыми». Увы, от Киплинга пришлось отказаться. Бедный Киплинг, в свое время самый высокооплачиваемый писатель в мире: по сообщению Чижова, ему (Киплингу, разумеется) платили по шиллингу за слово. Он прожил некороткую жизнь, которую двадцатый век перерубил ровно посередине. Именно на тысяча девятисотый год, когда ему было тридцать шесть лет, пришелся пик его славы: он писал прекрасные стихи и прекрасную прозу и, между прочим, написал для детей маленькую книжку про Маугли, мальчика, которого похитили и воспитали волки; говорят, что он не придавал ей никакого значения и по иронии судьбы именно с ней отвоевал себе вечное место в истории литературы. В двадцатом веке он прожил вторую половину своей жизни, еще ровно тридцать шесть лет, но к своей предыдущей славе не прибавил ни слова, умерев в тридцать шестом году едва ли не полузабытым. Пашке Филимонову было в то время три года, он ничего не знал еще тогда о Киплинге, чьи сочинения так выручат его в трудную минуту студенческого безденежья; в тридцать шестом году он ходил в детский сад, в который ходил и трехлетний Веня Чижов, живший с отцом и матерью на углу Большой Пушкарской и Кронверкского, и Толя Сомов, но это выяснилось много позже; а тогда они просто ходили в этот единственный в том районе Петроградской стороны между улицей Плуталова и улицей Шамшева детский садик; в круглых белых панамках они возились в одной песочнице в разучивали к торжественным дням стихи о том, что Сталин часто курит трубку, но почему-то обходится без кисета, а сам Сталин смотрел на них, прищурясь, с портрета в спальной, и были у него на этом портрете замечательные тугие усы. На Чижова, похоже, он смотрел более пристально, потому что чуть позже, может быть, через год, а может, и через два с отцом Чижова что-то случилось и он исчез, настолько основательно, что Чижов его больше не видел, а вслед за отцом исчезла и мать, которую частично по доброй воле, частично по безвыходности положения, которое было в те фантастические времена вовсе не такой уж редкостью, заменила тетка. А затем вынужденная поменять на время работу и место проживания тетка забрала его из дошкольного учреждения, и многое в жизни подрастающего Чижова стало иным; теми же, пожалуй, оставались только портреты Сталина, который смотрел на Чижова все более неодобрительно, но тут случилась война, так что Чижов оказался в эвакуации вместе с детьми тетки, имевшей какое-то, так и не выясненное отношение к ЭПРОНу. Из эвакуации Чижов возвратился домой в сорок четвертом году и ходил уже в школу, в которую ходил и Сомов, но только много лет спустя, разговорившись, они выяснили обстоятельства своего далекого детства, связующим моментом которого как для Чижова с Сомовым, так и для профессорского сына Филимонова было посещение в тридцать шестом году одного и того же детского сада за невысоким деревянным забором на Бармалеевой улице, что выходит на Большой проспект Петроградской стороны.

Я не понял, как это случилось. Для этого мне пришлось взглянуть на себя со стороны и, сделав это, я покраснел, словно подглядывал в щелку не за собой, а за кем-то посторонним в момент занятия постыдным делом. Таким оно и было, ибо я сидел и что-то писал.

Зачем, для чего? И я подумал, что это — как алкоголь, как наркотик.

Я даже не заметил, как исписал целую страницу. Я не мог даже сказать самому себе, что это — заметки, обрывки мыслей, какой-то связный кусок. Рука двигалась по листу бумаги, словно одержимая зудом.

Не читая, я разорвал листок и выбросил обрывки в иллюминатор. Потом поднялся из-за столика и вышел на палубу.

Светило солнце.

Никакая литература была не нужна.

Людмила должна была уже вернуться с работы, но когда Филимонов позвонил, она ему не открыла, и он долго ковырялся ключом, который, конечно, заело. Дома ли она? Конечно, она дома, где ей быть. Филимонов снял пальто, оказался в шлепанцах. Он прислушался, но ничего не услышал. Она, конечно, дома. Но, может быть, она уснула? Или не хочет, чтобы ее трогали?

Пожалуйста.

Он не претендует на внимание. Он обойдется своими силами. Он устраивается в кресле, включает телевизор, достает из шкафчика внизу бутылку коньяка, точнее, половину бутылки и рюмку. Он наливает себе три четверти рюмки, делает большой глоток, закрывает глаза и расслабляется. Испуг? Ничуть не бывало. Это молчание за дверью ни о чем не говорит. Оно неприятно, но не более. Ему неприятно, что его жена сидит в соседней комнате за плотно прикрытой дверью. Люда. Он чувствует ее молчаливое неодобрение, но его это уже не удивляет. Он привык. Он ощущает ее недовольство. В конце концов он может этим пренебречь. Тем временем у телевизора прорезывается голос, хоккей, к сожалению, кончился. Если ему захочется, он может ничего не замечать, может как бы списать то, что творится за дверью. А что там, собственно, творится? Люда сидит и смотрит перед собой своими глубоко посаженными серыми глазами, на коленях у нее «Метаморфозы» Овидия. Смешно? Смешно. Зачем ей, специалисту по вертикальной планировке и генплану, Овидий?

Главное — это чистая совесть. Как у него.

Он ворочается в кресле своим огромным телом, кресло стало явно тесным. Он вдруг снова начинает думать об открывшейся вакансии мэра города, но никаких фамилий он больше не называет, словно ему все равно, кто будет назначен. Люда! Его чистая совесть чувствует себя неудобно, совсем как он сам в этом ультрасовременном кресле, его совести, похоже, столь же тесно. Этот снегопад, исполкомовские дела, депутатский прием, да, все так. Но совесть его, всегда чистая, как только что выпавший снег, сегодня не так чиста. Ну да, ну да. Черт бы все побрал. Надо бы поговорить с ребятами об *этом деле*. А он? Неделю не звонил Сомову, неделю не звонил Чижову. Надо позвонить. А все дела, дела. Люда могла бы, кстати, выйти из своей комнаты. Здравствуй, Паша, как дела? Одно-два слова, не больше. Но она не выйдет. Овидий, Гораций, Катулл, Тибулл, Проперций. Смешно. Смех, да и только. Как там у Овидия: «Родилась в ничтожных Гипепах...» Это про нее, про мою жену. Это она родилась в Гипепах, а теперь не желает со мной говорить.

Он наливает еще три четверти рюмки. Пить надо большими глотками, но вот хитрость — прежде, чем проглотить, надо подержать этот глоток во рту. В полости рта, так правильнее. Обжигает, а потом, согревшись, мягко проваливается куда-то внутрь.

Что-то и много пью, подумал Филимонов. Многовато.

Сомов мог вполне и позвонить. Если бы не дела... если бы не снегопад. А дела будут всегда. Но дружба превыше всего.

Да, когда подержишь во рту. А потом поднимается из глубины и мягко обволакивает голову. Чуть-чуть туманит остроту восприятия, ну да не беда. Снегопад — вот несчастье. А если не снегопад, то что-нибудь другое. Разные бывают причины для несчастий. А иногда кое-что свершается и без причины. Вот, например, Люда невзлюбила Сомова, стоит упомянуть — и губы ниточкой. Раньше этого не было, и вдруг... А Чижова вообще не переносит на дух. Из-за Сони. Ну, это уж того... это слишком. Это полный абсурд.

Просто удивительно, как быстро исчезает коньяк. Вроде бы и сделал два-три глотка, а уже осталось на самом дне. У них должна быть еще бутылка, он помнит. Вот он встанет сейчас и спросит у Люды. Он не боится ее, и ее глаз тоже, и ее поджатых губ.

Если у человека есть хоть на копейку логики...

Он упирается руками в подлокотники кресла и пытается встать, но не может. «Зажирел, как боров»,— подумал он. Чьи это слова? Да это же Сомов сказал ему в прошлый раз, когда они ходили в сауну. А что, он прав. Сходить бы в сауну еще раз, попариться, потолковать с ребятами. Дружба — вот что превыше всего. Согнать бы килограммов двадцать, а то и тридцать. Соня? Она вообще не в его вкусе, если уж говорить честно. Уж тогда скорее Галина Ивановна, исполкомовский юрист, тридцать два года, разведена, красива, лишена предрассудков, умна, внимательна... и так далее.

Он встает из кресла, он дышит тяжело. Что же она себе позволяет, Люда. Он смотрит на экран, там политический обозреватель изображает из себя пифию, он говорит горячо, но туманно. Рюмка? Филимонов держит ее в руке, она пуста. И бутылка тоже пуста. Пролил он коньяк, что ли? Алкоголь ему противопоказан, врачи утверждают это категорически, но для расширения сосудов... Да, в этом все дело — у него слишком узкие сосуды, и он вынужден расширять их все время. Чего только не утверждают врачи. А ведь каждый день мы живем на границе жизни и смерти, инфаркт молодеет, он точно помнит, что та бутылка коньяка была армянского розлива, и если сосуды расширить еще немного, то усталость этого дня снимет, как рукой, а потом пусть читает своего Овидия, и даже Светония в придачу к Плутарху. Гипепы! А «Напо-

леон», что ни говори, отдает все же парфюмерией, или даже, точнее, химией. Почему так тихо за дверью? Вот до чего дошло — он боится войти к ней в комнату, все-таки боится, он, который не боится ничего. Кроме, может быть, обкома. Для решительного действия не хватает самой малости — одного, самое большое двух глотков. Но и без того он не оробеет. Нет. Он распахнет дверь, он раскроет ее настежь. Пусть войдет свежий ветер! Он стучит. Ответа нет. Он стучит еще раз. Ответа нет. Он раскрывает дверь, он распахивает ее, он впускает в комнату свежий ветер новых отношений, но ветер только шевелит листком бумаги, лежащим на туалетном столике. При свете ночника он читает: «Филимонов! Я ухожу от тебя. Это бесповоротно. Я ухожу к Сомову. Я его люблю. Прощай. Люда».

В кают-компании было тихо, Лена выглянула из-за переборки и ушла по своим делам, выглянул и тоже исчез боцман.

Я лениво перебирал книги, случайно оказавшиеся в трех небольших шкафах. Наконец я остановился на книге Малькольма Лаури и в течение часа листал ее, втайне надеясь, что Лена все-таки выйдет, оставив боцмана на произвол судьбы.

Имя Малькольма Лаури мне ничего не говорило, как, наверное, и любым девяноста девяти человекам из ста.

Роман назывался «У подножия вулкана». В нем, как я успел понять, перелистывая страницы, рассказывалось о судьбе человека, заброшенного волею судеб черт знает куда, в какую-то мексиканскую дыру у подножия вулкана, так что название романа было полностью оправдано. Главного героя звали Хью, и он был консулом. Британским консулом. Кроме того он был образован, он был храбр, во время второй мировой войны он командовал «судном-ловушкой», которое ловило немецкие подводные лодки в Атлантике. Но потом он начал пить, и, начав, уже не мог, а точнее, и не хотел остановиться, пока, наконец, не допился до чертиков, и даже любовь не смогла его спасти.

Хотя, по правде говоря, что в этом удивительного?

Его жену звали Ивонна. Она развелась со своим пьющим мужем и отправилась в Париж. Надеялась ли она, что этот поступок заставит бывшего моряка бросить бутылку? Так или иначе, надежды ее не сбылись. И когда она вернулась, то увидела, что в Париж ездила совершенно напрасно. Или наоборот — что могла бы не тратить деньги на возвращение.

В какой-то момент я даже позавидовал этому бравому консулу. При всей своей антиобщественности, для отдельного индивидуума иногда пьянство все-таки является каким-то выходом. Другое дело, куда этот выход ведет.

С другой стороны, подумал я, все выходы, как и все дороги ведут к одному и тому же. К смерти, которой никому, увы, действительно никому еще не удалось избежать.

Смерть — демократична. Она не знает предпочтений.

И это утешает. До известной степени.

Мне очень хотелось узнать две вещи: что там делает боцман с Леной и чем закончится роман. Если бы я читал его дома, я просто заглянул бы в конец, но сейчас что-то удерживало меня. Что-то удерживало меня на месте, хотя я просто мог взять книгу «У подножия вулкана» и дочитать ее у себя в каюте. Мне показалось (но это было бы совсем уж глупо и смешно), что я ревную, может быть, все дело в том, что меня давно уже никто не любил...

Единственный человек, который меня любил по-настоящему, была моя жена. По странному, если не сказать неправдоподобному, стечению обстоятельств ее тоже звали Ивонной. Это имя дала ей моя теща, которая во время беременности читала какой-то популярный в тридцатые годы переводной роман (какой — мне не удалось выяснить), героиня романа, девушка высоких нравственных качеств, носила имя Ивонна.

Это имя поразило меня в тот день, когда я познакомился со своей будущей женой. Это произошло весной пятьдесят пятого года на остановке автобуса у памятника «Стерегущему». Мне было тогда двадцать два года. Ивонне за неделю до этого исполнилось девятнадцать.

Я не знаю, почему я вдруг надумал с нею познакомиться. Она не была в моем вкусе, совершенно не была, ведь я был влюблен в Лючию Бозе и меньше чем на Сару Леандр не согласился бы.

Ее телефон я записал на обложке конспектов по химии.

Мы поженились через три года. До этого мы расходились с ней раз десять, из них восемь — навсегда.

А в семьдесят третьем она от меня ушла. И с тех пор меня никто не любил. Она умерла от рака легких. Мне было бы легче, если бы это произошло со мной. Но нам не дано выбирать. Я был с ней до последней минуты, и, кто знает, может быть, она меня простила...

Это было у них в роду — онкология. Моя теща тоже умерла от рака — в шестьдесят пятом. Перед этим она промучилась долгих десять месяцев. После этих двух смертей я и дал себе слово: если со мной случится нечто подобное, ни за что не стану дожидаться конца на больничной койке среди желтеющих больных. Нет. Я уеду куда-нибудь подальше от дома и от родных, лучше всего в какое-нибудь пустынное место, в какой-нибудь Чимкент и там отойду в иной мир, который, надеюсь, окажется не хуже этого.

Я совершенно здоров. Совершенно. То, что Петька Вахромеев, с которым мы вместе околачивались в двадцать первой школе рабочей молодежи (теперь он одно из светил онкологического института на Песочной), предложил мне «чисто профилактически» убрать кой-какие узелки (его терминология), не произвело на меня никакого впечатления, я не верил Петьке ни тогда, когда мы вместе учились, ни сейчас.

По правде говоря, мне очень не хотелось в угоду Петьке расставаться с «кое-какими узелками». Это были мои собственные узелки, и я не видел никаких резонов с ними расставаться. Более того, после Петькиных слов они мне стали как-то очень дороги.

Я всю жизнь мечтал побывать в Каракумах.

Я вовсе не боюсь умереть. Долгие годы я все мечтал снова прокатиться по местам, в которые забросила меня в свое время эвакуация. Дербент, Баку, Красноводск и так далее. Если и было время, когда подобное предприятие оказалось мне не по силам, то это время давно прошло. Я чуть не отдал тогда концы. Я писал тогда роман о лорд-канцлере М. Вот тогда я почувствовал себя очень плохо. Не то что теперь. Теперь я чувствую себя превосходно.

Так плохо, как тогда, Чижов никогда себя не чувствовал. Причина так и осталась ему неизвестной. Не исключено, что всему виною был договор.

Впервые в жизни он писал по договору.

Когда ждешь чего-то достаточно долго, есть шанс, что дождешься своего, как бы фантастично такая надежда ни выглядела. Вот и он дождался — договора, самого настоящего, с бланком, подписью и печатями. Тут и кончилась его свобода. Теперь он не представлял в издательство плод, так сказать, свободного полета мысли, а обещался и брался написать то-то и то-то, о том-то и о том-то, теперь он подрядился осветить определенную тему, и определял эту тему вовсе не он. А он был связан и чужим замыслом, и определенными не им рамками.

Это был договор в «ИР» — популярной историко-биографической серии столичного издательства, которая расшифровывалась как «Истинные революционеры». Список истинных революционеров был на многие годы и даже десятилетия утвержден в инстанциях, которым и подобало знать, кто является истинным, а кто нет.

Чижову от этого было не легче.

Он должен был написать роман о канцлере М.

М. был не просто канцлером. Он был лордом-канцлером, для человека понимающего — разница огромная.

Лорд-канцлер М. жил во времена Реформации. Во времена Мартина Лютера и императора Карла Пятого. Лорд-канцлер М. был человеком широко известным как у себя дома, в Англии, так и за рубежом. Выше него в его родной Англии был только король. Г. Восьмой, Английский. Он тоже был человеком незаурядным, этого у него не отнять, но революционером он не был, во всяком случае в высочайше утвержденный список «ИР» в отличие от своего лорда-канцлера он не попал.

Известно, что у него было шесть жен. Не одновременно, это разумеется само собой. У лорда-канцлера их было две, у императора Великой Римской империи (К. Пятого) лишь одна. Это, разумеется, не означало, что честолюбивый император с одной женой был более, как говорится, морально устойчив, чем английский король с его шестью женами, которых он, кстати говоря, любил время от времени предавать казни на эшафоте по обвинению в государственной измене... однако все это были люди, оставившие заметный след в истории Европы.

Претерпев при этом метаморфозы, которые не снились и Овидию.

Лютер, например, бросивший вызов самому папе римскому и швырнувший в дьявола чернильницей, кончил тем, что призвал к уничтожению участников крестьянского восстания в Германии; некогда скромный монах, он умер в достатке и в милости сильных мира сего. А император Карл, который уже от рождения был сильным мира сего и ничего так не хотел, как основать всемирную империю, которая стояла бы вечно, в тот самый момент, когда мечта была ближе всего к осуществлению, почувствовал вдруг такое отвращение к своим подвигам, что плюнул на все эти свои гегемонистские, как мы сказали бы теперь, планы и, отрекшись от престола, ушел в монастырь в том возрасте, в котором современные политические лидеры только-только добираются до вершин власти. Он умер, не дожив и до шестидесяти, совершенно тихо, взяв себе примером не то римского диктатора Суллу, не то более позднего императора Диоклетиана, положившего начало движению вегетарианцев. Разочарование постигло и патрона канцлера М.— имеется в виду многоженец английского престола Г. Восьмой (Тюдор): не сумев предать смерти свою последнюю жену, он пришел в такое расстройство, что

испустил дух — от водянки, которая, в свою очередь, была следствием застарелого сифилиса, болезни столь же почетной, сколь и популярной в те далекие времена.

Шалости восьмого Тюдора не стоили бы упоминания (разве что в истории англиканской церкви, основателем которой этот разнообразных достоинств король и явился в свое время), если бы за десяток лет до своей собственной кончины он не отправил на эшафот своего старого и преданного друга и даже в каком-то смысле учителя, которым был не кто иной, как «ИР» — уже знакомый нам лорд-канцлер М. В недобрый час лорд-канцлер разошелся со своим королем в чисто теоретическом вопросе о прерогативах королевской власти в вопросах веры; здесь он и проявил известную недальновидность, стоившую ему жизни, ибо наивно считал, что короли могут сносить чьи-либо мнения, отличные от их собственных. Непростительное заблуждение!

Отдаленным результатом непреклонного желания лорда-канцлера М. остаться в лоне католической церкви было причисление его триста лет спустя к лику святых — факт, совершенно упущенный из виду утверждающей инстанцией «ИР».

Вот в чем была сложность задачи, стоявшей перед Чижовым, впору было опустить руки, или, наоборот, поднять их в знак сдачи. Как написать об этом? Единственным мотивом, в конце концов заинтересовавшим его, было совершенно необъяснимое упрямство, с которым государственный чиновник противостоял высшей исполнительной (она же законодательная, она же и судебная) власти.

В этом что-то было. Противоречить воле короля... зная вспыльчивость Его Величества! Пример, достойный, как минимум, исследования в качестве поразительной политической аномалии и заслуживающей всяческого осуждения. Не удивительно было бы, чтобы результатом такого гражданского неповиновения было бы примерное наказание строптивца. Как оно и случилось на самом деле. Желание подчиненного иметь свое собственное мнение при наличии мнения более высокопоставленного лица должно быть пресечено. И оно было пресечено — мечом палача, чье имя, как всегда, осталось неизвестным.

Слава богу, что нынешние времена не в пример гуманнее.

И все-таки интересен вопрос — почему это верховная власть так не любит возражений и так болезненно к ним относится? Боится цепной реакции несогласий? Боится сказаться неправой? Показать свою некомпетентность, а то и несостоятельность? Как бы то ни было, репрессии тут как тут. Вы возражаете? Вы не согласны? Предлагаю вам подумать, одуматься и добровольно переменить свою точку зрения.

В случае с лордом-канцлером М. вопрос был проще пареной репы. Его верховный сюзерен объявил себя с такого-то числа главой английской церкви, парламент единогласно подтвердил правомерность такой постановки вопроса; лорду-канцлеру, будь он хоть на четверть так умен, как о том гласила молва в Европе, оставалось бы только кивнуть — «да, согласен», и он, вполне возможно, дожил бы в холе и славе до отдаленных времен.

Но он не кивнул. Более того, он стоял на своем и решение парламента, видите ли, не было для него законом.

Будь вы королем — потерпели бы такое? Сомнительно.

А потому — разговор был недолог. Он согласился со мной или нет, спросил, наверное, король у одного из приближенных, из тех, кто согласился со всем раньше, чем король открыл рот.

Нет, ваше величество.

Жаль. Мы когда-то с ним хорошо ладили. Может быть, он передумает?

Времени, чтобы спуститься в темницу и подняться обратно, ушло не так уж много.

Итак?

Стоит на своем, ваше величество.

Ему же хуже. Этого мы терпеть не станем. Позовите... этого... как его?

Палача?

Вот именно.

У него сейчас перерыв, ваше величество. Обед.

Затемнение.

Из затемнения выходит палач.

Палач *(вытирая усы)*. Звали, ваше величество?

Король. Кто такой? Откуда?

Палач. Обижаете, ваше величество. Здешний я. Специалист.

Король. Инструмент с собой?

Палач. С ним даже спать ложусь. Вот обоюдоострый. Шведская сталь. Не хуже золингеновской.

Король. Тут такое дело, почтенный. Провинился наш лорд-канцлер. Справишься?

Палач *(с достоинством)*. Я, ваше величество, справлюсь с кем угодно. Шведская сталь. Раз — и все. У меня, знаете ли, отличные характеристики. Почетный диплом нашей коллегии в Мангейме, второе место на фестивале в Сан-Ремо...

Вот так оно и было. Так или очень похоже. Шведская сталь не подвела. Голову уже бывшего лорда-канцлера М. надели на пику и выставили у дворцовых ворот на всеобщее обозрение. В виде поучительного примера, к чему могут привести разногласия с верховной властью по вопросам свободы совести. События тех дней наверняка были многим интересны. Может быть, даже всем. Кроме палача, чье имя, к искренней жалости Чижова, все-таки затерялось во времени. А жаль. Слишком часто уж теряются имена палачей. Так или иначе, известно, что палач спал спокойно. Ему что? Честь своей профессии он поддержал, смену честно отработал, дело свое сделал — и на покой. И действительно, какой с него спрос? Маленький человек, а семья большая. А цены? Простой труженик, человек из народа. В поте, так сказать, лица. Как и у всех, свои заботы: жена прихварывает, детишки идут в школу, имущество кое-какое. Молодежь какая нынче — глаз да глаз, не сбились бы с прямой дороги. Какие времена, вот когда мы были молоды, а? Разве сравнить! Не та молодежь, не та. А что до лорда-канцлера М.— он палачу не понравился. Высокомерно вел себя, без должного смирения. Интелли... ну, словом, умник. Даже на эшафоте все шутил. Уже и голову положил, а потом и говорит — ты, мол, руби, дорогой друг, голову, а не бороду. Она-то никакой государственной измены не совершала...

Несерьезный господин, упокой его господь...

Так вот рисовалось это Чижову. И вдруг подумалось ему, что вовсе не о лорде-канцлере М. надо бы написать роман, а о палаче. Заглянуть вглубь, посмотреть, как живет этакий вот простой человек, плоть от плоти народной, честный семьянин, полезный член общества, хороший производственник. Может быть, даже наставник молодежи: вот он, в кругу учеников. Честное отношение к работе, передовые методы, он не таит их. Производственные секреты, рационализация, приспособления, облегчающие труд. Десять заповедей, он следует им сам, он учит других — не укради...

Сам он не крадет. Он честен, чужого ему не надо, живет трудом своих рук. Такой же, как и все. Настало лето, надо вывозить детей за город, мечтает о дачном участке, любит цветы, природу. Заботы, заботы... Он сетует на дороговизну, потихоньку критикует начальство. Общественные хлопоты — он член месткома, отвечает за культурные мероприятия, коллективные походы в кино, субботники. Ратует за бережное отношение к кадрам: человеческий фактор. А как бывает — только собрался на рыбалку, а вместо рыбалки...

Дома его не понимают. Раньше была надбавка за вредность, теперь отменили. Премии только по праздникам, и то не всегда. Вечером в пивной он сетует — мягкий характер, всяк вертит им, как хочет. А времена такие, что хорошую работу найти нелегко. Опять же выслуга лет — ее еще не отменили...

И так далее. Словом, производственный роман с простым человеком в центре повествования.

Не поймут.

Впрочем, канцлер М. тоже был человеком простым и вышел, как и мы все, из народа. Чижов не думал, что подобное было возможно в те все-таки достаточно дикие времена. Однако документально засвидетельствовано: будущий лорд-канцлер поднялся на вершины власти из самых низов. Был он внуком булочника, не более того, и никогда этого факта не скрывал. Доживи он даже до наших времен и то не мог бы сделать более блистательной карьеры.

Лирическое отступление. Некогда один поэт написал следующие строки: «...до самых верхов дошли из рабочих нор мы»... Сам поэт, дойдя до верхов поэтических, дошел далее до того, что выстрелил себе в сердце, заключив напоследок, что «...любовная лодка разбилась о быт». В этом видится корректив, внесенный временем: палач не нужен, человек сам по себе выносит приговор и приводит его в исполнение, а вместо плахи — быт, о который разбивается лодка человеческого существования. Может быть, это парафраз знаменитого гамлетовского «Быть или не быть?». Ничуть не бывало. Это просто быт, новый источник трагедий, которые не снились ни Эсхилу, ни Софоклу. Быт: стол, стул, платяной, к слову сказать, шкаф, гарнитур из полированной древесины — юноша рубит его дедовской саблей. Высокая драма. Драма идей превратилась в драму вещей. В центре «фирма», то есть вещи *оттуда*, за ценой не постоим. Престиж. Не только престиж вещей, но и жилья, машин, зарубежных поездок, загородных дач. Иногда вопросы быта можно решить путем подкупа должностных лиц (райжилобмен и так далее), иногда путем обмена или обмана. К примеру, вы читаете объявление в газете: *меняю две комнаты в разных местах центра, 14 и 21 кв. м. Все удобства, кроме ванной, горячей воды, лифта и телефона, балкона нет, на трехкомнатную немалогабаритную квартиру, звонить с 18 часов: 218-68-67, спросить Тамару Михайловну. Возможен обмен по договоренности.*

Вот еще тема для романиста, уже надкушенная, так сказать, с одной стороны, но еще полная коллизий, тема для осмысления. Как, например, спроецировать исторический пример (случай с лордом-канцлером М.) на события сегодняшнего дня, каков пример и что за мораль. «В истории мы ищем не пепел, но огонь»,— сказал один фран-

цуз, а немец повторил это за ним, ничего не меняя. Чижов был согласен и с тем и с другим, однако один вопрос оставался открытым — о сущности старого понятия в новые времена. Возможна ли следующая революция, и мыслим ли новый революционер. Если он таится в недрах старого общества, чтобы взорвать его и дать прорасти семенам нового,— каков он? Если его существование допустить хотя бы теоретически, придется признать, что до вершин власти ему еще далеко. Он живет, как и все, он живет скорее всего в коммунальной квартире и борется за отдельную. Он ходит на службу, он испытывает миллион терзаний. На этот раз революция должна произойти сверху, это ясно, и он ждет сигнала. Ждет знаменья. Ждет централизованных указаний. А пока он ждет и готовится. В темноте экономических туч рождается ослепительная молния, она испепелит все старое и затхлое, она освежит застоявшийся воздух. Грядет луч света. А пока он испытывает рядовые затруднения. Допустим, такое: дочь выросла, приводит мужа, родился ребенок, надо разъезжаться. Приходится отложить в сторону вопрос о всеобщем счастье и заняться обменом, слава богу, что существует справочник по обмену жилой площади, Ветхий завет и послания апостолов в одном томе, настольная книга революционера, святое писание будущего преобразователя общества. Обменять, улучшить, отделиться, наконец, зажить нормальной жизнью. Жена революционера пилит его во внерабочее время. Она высказывает вполне обоснованные сомнения. Он мужчина или тряпка? Он решится когда-нибудь пойти к директору или нет? Вот уже восемь лет он первый в очереди; он в состоянии стукнуть кулаком?

Он не в состоянии. Он тряпка. Он грезит: настанет царство справедливости... Он мечтает по ночам: когда мы возьмем Зимний, почту и телеграф, когда «Аврора» шарахнет из бокового орудия, когда все бюрократы, эта отрыжка прогнившего старого мира, отойдут в прошлое и в раззолоченные с гнутыми ножками кресла сядут классово чистые братишки из низов, тогда, Маша, все пойдет по-другому, и правда, чистая, как солнце, правда засияет над страной без нормированного снабжения колбасой в Пензе, без жуликов, пробравшихся к власти на рабочих хребтах, без вылощенных болтунов с дипломатическими номерами на машинах.

Утром, спеша на работу, он все-таки успевает краем глаза увидеть зеленоватый листок бумаги, прикнопленный к дверям парадной, который извещает жителей дома, что сегодня вечером в красном уголке «Товарищеский суд разбирает дело гражданина Э. Роттердамского о нанесении оскорбления ответственному квартиросъемщику гражданину Лютеру М.».

Заметка для себя: Написать роман «Жизнь и смерть в коммунальной квартире». С подзаголовком «Жизнь великого мыслителя и истинного революционера лорда-канцлера М., проживающего по адресу: Большой пр. Петроградской стороны, д. 38, кв. 12 (вход со двора)».

Бывший инженер Князев выходит во двор. Ящики, доски, кирпич, мусор — ничего нет. Все под снегом. Чисто, бело. Он стоит, в голове муть, ноги гудят. Все, довольно. Он двенадцать часов на ногах, он продал сорок ящиков мандаринов, двадцать пять рублей Светлане Петровне тихо лежат в левом кармане, тридцать рублей заработал он сам. Он должен быть доволен, он должен быть счастлив, если только счастье существует, если оно не выдумано писателями.

Но он не счастлив. Жизнь не удалась.

А кто виноват? Никто. Никто не виноват. И он тоже. Он не виноват. Как всегда, виновных нет. Есть только обстоятельства, те, эти. Объективные и субъективные. Все объяснимо. А жизни нет.

И никто не виноват.

Если бы он учился чуть похуже, его не послали бы в Китай. И тогда он не встретил бы там Е Кэ-тон, с которой учился в институте, но никто и тогда не был бы виноват, потому что в одной стране одни порядки, а в другой другие, и никто не виноват, что пока он строил социализм в одной далекой дружественной стране, его жена Катя встретила старого школьного друга, подводника, который укреплял нашу обороноспособность где-то на севере, и Катя уехала с подводником, о чем честно написала Князеву в письме, которое и пришло к нему через два месяца. И никто не виноват, что желтый человек и белый человек могут полюбить друг друга, хотя это и нежелательно, и вот уже блестящий инженер Князев с позором выдворен из дружественной страны, судьба маленькой девочки по имени Е Кэ-тон ему отныне и навсегда неизвестна, и он отправляется домой, хотя остался ли у него дом как таковой, он ничего не знает. Некие силы распоряжаются судьбой инженера Князева, темные или, наоборот, светлые, неизвестно. Кто знает, не родился ли он при неблагоприятном расположении звезд — иначе как объяснить все слагаемые его несложившейся жизни? А тут еще он напивается в поезде — разве это говорит в его пользу? Далее следует его безобразное поведение в министерстве. В ответ на вполне (по-человечески) понятное любопытство облеченного властью человека из отдела кадров, касающееся сути происшедшего между со-

ветским гражданином Князевым и китаянкой, он вдруг позволяет себе стать в позу, обидеться. Полное отсутствие раскаяния, он, видите ли, живой человек, их (вы чувствуете?), их нормы поведения составлены из расчета на евнухов, вы бы еще в задницу мне заглянули (кто после этого станет с ним говорить), это вам не царское время, кричал он в совершенном отчаянии, ничего вы со мной не сделаете, кричал он, дерьмо буду возить, в ассенизационный обоз, там мой моральный облик вполне подойдет, как вы полагаете? Нет, каков, а *так* разговаривать в министерстве, считай, Князев, сказал ему кадровик, что тебе *очень* повезло, *времена* теперь другие, а вот раньше... И он был прав.

Кадровик. А Князев нет, не был прав.

А Катя отказалась от алиментов. Ей его деньги не нужны.

Не нужны деньги? Он сплевывает на снег. Не нужны? Это мы еще посмотрим. Это слова. Деньги? Единственное, что еще чего-то стоит. Деньги всегда пригодятся, деньги это все, разве нет? В них сила, в них уважение. Есть они — и все есть, нет — ты в дерьме. По самые уши, да, так, так он думает, так он думает, стоя на белом снегу, покачиваясь, он уже протрезвел, почти протрезвел, а когда он трезв, он думает именно так: деньги — все. Но не всегда. Не всегда он трезв, и не всегда он так думает, напившись до чертей, он думает иначе, тогда он думает, что деньги и есть то дерьмо, что в них, кому они принесли радость, кому дали счастье? Напиться? Можно и без денег, вон вокруг магазина валяются ханыги, всегда без денег, а пьяны, так для чего же они нужны, для кого? Для баб, для липких мух, которые обсидят тебя и высосут до дна, как алкаш высасывает рюмку, деньги нужны для куража, завей горе веревочкой, деньги нужны для разговора о них, есть люди, для которых это слово слаще меда и они повторяли бы его без конца, без конца: деньги, деньги, деньги-деньги.

В голове гудит, словно колокола бьют.

Надо идти. К Светлане Петровне.

Он стоит.

Кто виноват? И в чем правда, если она есть?

А правда есть, есть она. Светлана Петровна, есть правда?

Да разве она ответит? Светлана Петровна. Еще красивая, когда-то очень красивая перепелка, чуть заплывшая жирком, поблескивающая золотишком. Нет, не ответит, да и кто он, чтобы спрашивать ее. Он никто. Когда-то он был кем-то, но разве запомнишь, когда и кем...

Продавец Князев Вячеслав, диплом № 181716, специальность инженер-теплотехник, беспартийный, нет, не был, не привлекался, 1933, русский, родился в Ленинграде в семье служащего, стоит под косо падающим мягким снегом. Ему давно уже пора идти, а он стоит. Холодно; за спиной у него фанерный ларек, карманы набиты бумажками — красными, желтыми, синими. Он стоит при свете уличного фонаря, огромный, нелепый — человек, потерявший себя. Он смотрит себе под ноги — что он хочет там увидеть, что думает найти? Падает снег. В свете фонаря снежинки похожи на маленьких белых бабочек, капустниц. Когда-то давно, в другой, не в этой жизни, Вячеслав Князев рисовал, у него были способности, он хотел стать художником.

Может быть, поэтому и приходит ему в голову такое сравнение — о том, что снежинки в свете фонаря похожи на капустниц?

Он стоит под столбом, стоит во дворе, просто стоит и смотрит на снежинки, потом стоит, закрыв глаза, подняв лицо с закрытыми глазами навстречу падающему снегу, стоит неподвижно, потеряв счет времени. Стоит.

Мы стоим, мы не движемся, и я просыпаюсь в абсолютной тишине за минуту до того, как голос из динамика говорит мне:

«Судовое время семь часов тридцать минут. Доброе утро. Команда приглашается на завтрак. Капитан желает всем приятного аппетита».

Традиция — великая вещь!

Я вскакиваю, наскоро умываюсь, выхожу на палубу. Туман. Ничего не видно, совсем ничего, и только еле-еле, не видны, нет, скорее угадываются, домысливаются близкая дорога, деревья, кусты, поля и совсем невидимый дальний лес.

Воду в канале еще можно разглядеть.

Из диспетчерской шлюза женский голос сказал: «Внимание! Внимание! Производится наполнение шлюза. Следите за швартовами». Швартовы надо было отпускать и снова набрасывать на кнехты — чугунные тумбы на берегу, без этого канаты могли лопнуть.

Были ли шлюзы у древних греков, подумал Чижов ни с того ни с сего. У древних китайцев были наверняка.

«Ладога-14» тем временем миновала шестой шлюз. Волго-Балт в этом месте был похож на канаву, обрывистые и обгрызанные суглинистые берега были извилисты и грязны.

Внезапно, ни с того ни с сего на берегу канала, среди высокой травы и кустов возникло нечто фантастическое: вздыбленные бетонные плиты и трубы, металлические балки, швеллеры и двутавр и еще что-то, чему не было названия, поскольку в общем хаосе ничего нельзя было различить, и все это вместе взятое более всего походило на обвалившийся памятник какому-то неведомому божеству. И снова на километры кусты, кусты, кусты и подточенные волнами суглинистые берега слева и справа от коричневой воды. «Ладога-14» медленно ползла по Волго-Балту среди кустов, делая 6 километров в час и засыпая на ходу.

Соня проснулась в чужой квартире. В чужой постели. Проснулась с трудом. Который час? Часов у нее не было. Где она? Она не знала. Она выплывала, как рыба, выплывала из сна, который сном не был. Сон был явью, он был явью когда-то, теперь он повторился. Она не могла решить только, как некий китайский мудрец в притче о бабочке, что же было явью на *этот* момент: то ли что она чувствовала сейчас, а прежняя явь ей снилась, то ли ей снился неотличимый от яви *сон*.

Ей снился Чижов. Они были вместе, в каком-то городе. Она и Чижов, которого она называла на «вы». Что это был за город, она не знала, как они туда попали — тоже. Не все ли равно? Там была река? Она не могла вспомнить. Чижов был внимателен, это трогало ее. В свое время они познакомились в спорткомитете. Она-то была машинисткой, а он? Чижов был не похож на спортсмена. Соня часто спала со спортсменами, не со спортсменами, правда, тоже. Спортсмены ей нравились, они были молодцеваты и глупы. Они не задавали вопросов. Она печатала очередной приказ: «Для подготовки к Спартакиаде...». Несколько усталых тренеров, ожидая приема, говорили на своем языке; их язык был ей непонятен. Она допечатала приказ и взяла книгу. Она читала:

> Дай руку, не дыши — присядем под листвой,
> Уже все дерево готово к листопаду,
> Но серая листва еще хранит прохладу
> И света лунного оттенок восковой...

Чижов читал это вместе с ней, читал из-за плеча. Брови у него поползли вверх. Он был удивлен. Девушки, печатающие на машинке, редко читают Верлена. Он посмотрел на Соню и увидел, что Соня была прекрасна. Ей было двадцать три года. На машинке она печатала, зарабатывая себе на жизнь, но жила она только стихами. О чем Чижов узнал много позже. Стихи жили в ее груди и просились наружу, скреблись по ночам, как мыши, разговаривали тоненькими голосами. Ей не мешало ничто, ей не мешал спорткомитет, ей не мешали ни усталые тренеры, ни молодцеватые спортсмены; она была красива, но и это ей не мешало. Иллюзий у нее не было. Если ее приглашали провести вечер и у нее было хорошее настроение, она соглашалась и проводила его; на этом все кончалось. Голоса просились наружу, остальное не имело значения. Она не была любопытна, не была любознательна, ей никто не мог помочь и никто не мог помешать. Ничто не имело значения, кроме слов, неопределенных, как облако, как дым. Она жила как во сне. Пить? Она могла пить, могла и не пить; курить или не курить, маленькая медноволосая машинистка не выделялась ничем, она казалась легкой добычей, внутри у нее клубился огонь и пахло серой, внутри был рай и ад, и чистилище тоже, внутри были терцины Данте Алигьери, там был Вергилий, там было все; если она оказывалась в чьей-то постели, она не делала из этого трагедии; кроме того, это ей нравилось — не только получать, но и давать наслаждение; она была девушкой честной. Людей она не знала; она их чувствовала, каким-то неведомым ей самой чувством постигая их проблемы. Разве жизнь не была тяжела? Не была бедна впечатлениями? Не была однообразна? Разве человеку дано было развиться настолько хотя бы, чтобы он мог понять свою неразвитость, свою отсталость? Ей было жалко спортсменов — модно одетых, простоватых, добрых, недалеких, в американских джинсах, в японских нейлоновых куртках, похожих на кору, на кору дерева; они вечно уезжали и возвращались из-за границы, они спешили, короток был век их славы, их жизнь напоминала яркую ярмарочную карусель. Среди этой карусели и наткнулся на Соню впечатлительный Чижов. Верлен — вот кто сбил его с толку, вместо того, чтобы прямо подойти к ней, он стал искать подходы. Он заметил ее красоту, синеву под глазами, матовый цвет кожи, ее отрешенность. Воображение его заработало на полную мощь, снова из детства выплыла сказка о заколдованной принцессе и храбром принце — он, Чижов, и был принцем, почему она так грустна, уж не ждет ли она того, кто разрушит злые чары поцелуем?

Он набрался храбрости, он похвалил Верлена. Он... Соня смотрела на него с подозрением. От тонкостей она отвыкла давно. Кроме того у нее было тяжело на сердце, она была беременна, лучше было об этом не думать. Она и старалась не думать. Она ждала, что предложит ей этот человек, явно хотевший что-то предложить. Он предложил достать ей какую-нибудь книгу. Любую. Книгу? Она подумала; она подумала вдруг, а может, все обойдется, хотя это было с ней не впервые, ей было немножечко страшно, пусть даже она знала, что ничего здесь страшного нет; она рада была бы немного отвлечься или развлечься, сейчас в самый раз было бы что-нибудь попроще, какой-нибудь чемпион с бычьей шеей, но был Чижов. Он предлагал ей? Что?

— Книгу.

— Но какую?

— Любую.

Чтобы испытать его, она сказала:

— Ахматову. Можно?

— Все можно.

Через час книга лежала у нее на столе.

— Еще желания будут?

Это было как тайфун, как самум, ветер пустыни. Он предложил ей свое общество. Он предложил ей прокатиться на пару дней. Куда? Ну, хотя бы в Прибалтику. Что для этого нужно? Для этого нужно было либо кивнуть головой, либо сказать «да». Она кивнула головой.

Решено.

Как все давно женатые мужчины Чижов любил свою жену, как все, любя, боялся ее, а потому обманывал как только мог. Он придумал какую-то версию, где были и семинар, и вызов, и творческие планы, он нашел друга с машиной, он нашел еще одного старого друга в Прибалтике, он использовал связи прямые и обратные; он был так нежен, что жене стало его жалко и она сделала вид, что верит ему — ей ли было его не знать.

И Чижов отбыл. Он отбыл вместе с Соней и еще одним персонажем — маленьким, чисто выбритым кавказского вида человеком с машиной «Жигули-2106», с печальными глазами и привычкой к месту и не к месту цитировать древних философов; Соня едва успела оформить в отделе кадров три дня за свой счет, как машина, вздрагивая от скорости, как живое существо, мигом домчала их в маленький игрушечный прибалтийский городок, славный своими гребными регатами, где их уже ждали. Их ждал старый друг Чижова с длинной литовской фамилией, которого для краткости все звали Макс, и Макс показал им два крохотных коттеджа на берегу синего и узкого, похожего на реку озера — и то и другое на два дня было в полном их распоряжении. Едва освежившись, они начали светскую жизнь под предводительством все того же молчаливого Макса, перед которым безропотно открывались все закрытые двери: кончилось тем, что в два часа ночи совершенно счастливая Соня влезла в местную достопримечательность — городской фонтан и, подобная русалке, стала плескаться в нем, вздымая тучи брызг; Макс, совершенно трезвый, смотрел на нее с отеческой добротой, Чижов дрожал от возбуждения, восточного вида владелец «Жигулей» тихо дремал, прислонившись к столбу. «Залезть на дерево, что ли»,— мелькнула мысль у Чижова, но он отверг ее. Не без сожаления. Они подошли к своим домикам. Макс незаметно исчез. Знаток старинной философии исчез тоже. Они остались вдвоем — Чижов и Соня. Сейчас! Соня взялась за ручку двери. Чижов поймал ее взгляд — быстрый, трезвый. На мгновение он потерял чувство реальности. «Спокойной ночи. До завтра»,— сказала Соня и закрыла за собой дверь. Чижов остался один, перед закрытой дверью. Этого он не ожидал. Всего, чего угодно, только не этого. Он не знал, что ему думать...

...Место называлось Анненский Мост, и Чижов подумал об Иннокентии Анненском, о его стихах, о его жизни и смерти; друг Чижова, знаменитый писатель Х., написал об этом в свое время хороший рассказ. Стихов Анненского Чижов не помнил, у Анненского были прекрасные стихи о снеге, Чижов помнил их ритм, но не слова, впрочем, у него всегда была плохая память. Почему это место так названо, никто не знал. Они миновали паромную переправу. На одном берегу парома ожидали: мотоциклист в коричневой куртке, голубой автобус выпуска 1905 года и «газик», в котором сидели люди с портфелями, на другом под навесом сидели несколько старух. Маленькая девочка с косичками играла с куклой. Здесь же была высокая будка смотрителя с крохотным окошком наверху, выкрашенная в зеленый цвет. Смотритель был внизу. Он поливал цветы из зеленого эмалированного чайника.

Почему человеческой жизни хватает так на немногое, подумал Чижов. Почему никогда ему больше не увидеть эту переправу, этих людей, старух, девочку, смотрителя и даже тех, с портфелями. Может быть, он, Чижов, именно тот человек, которого они ждали всю жизнь, может быть, среди них был тот, кого он сам искал и ищет, тот, кто подскажет ему, как жить дальше.

Вокруг была вода. Вокруг был лес, затопленный лес. Повсюду из воды торчали пни, обрубленные и обломанные стволы и целые деревья, голые и мертвые деревья. Они давно уже умерли, но, мертвые и голые, все еще цепко, с какой-то безнадежной отвагой держались за землю, в которой росли, словно надеясь на чудо.

На чудо, которого никогда не будет. Разве что в судный день, подумал Чижов, когда архангелы затрубят в трубы и все мертвое снова станет живым. А ведь когда-то, подумал он чуть позже, когда-то это был березовый лес, под деревьями росла трава и в ветвях щебетали птицы. Где трава и где птицы? Их нет, как нет и леса, как нет никого, кто ответит за это.

Из лоции, неизвестно зачем, я выписал себе:

«Река Шола и Шолопасть являются основными притоками реки Ковжа». На какой-то момент я испугался, что и это все исчезнет тоже, как исчез березовый лес, затопленный вонючей водой.

Затопленный лес тянулся без конца и без края. Забитые по всему фарватеру слева и справа бревна стерегли этот высохший лес, даже после смерти не обретший свободы, словно тюремщики.

Теплоход «Генерал Черняховский» проплыл мимо, как белое видение, полное расслабленного веселья, безделья и отдыха.

...нет, только не это, думал Сомов, только не это, не расслабление, нет, наоборот, ибо было уже такое, был искус, был соблазн расслабления, хотелось пожалеть себя, махнуть на все рукой и поплыть, поплыть по течению, как плывешь на белом пароходе в летнюю пору, был соблазн отдаться в руки судьбе, дать ей волю и смиренно принять вынесенный ею приговор, да, приговор; так оно и было. Так оно и было в тот день, так оно было в ту ночь в тюремной камере, накануне суда, накануне заключительного заседания. Ночь, но никто не спит, тишина, которой никого не обманешь, они еще на свободе, но уже в заключении, уже давно под следствием, но еще не осуждены; еще не сказано последнее слово, еще есть надежда. И вот они лежат в своей камере, высоко над спящим городом, с огромной круглой башней, которая, словно маяк, испускает невидимые радиоволны. Здесь, в этом городе, все случилось, сюда привезли их судить, но разве они виноваты? Они не виноваты. А кто виноват? Приговор будет объявлен завтра, но они-то знают — они не виноваты, это просто злой рок, стихийное бедствие; это ухмылка судьбы — этот взрыв, эта авария, обрушившая перекрытие, разметавшая колонны, исковеркавшая их жизнь, жизнь ни в чем не повинных людей. Потери и жертвы имели место, а раз так, то, значит, должны быть виновные, и вот они названы, разысканы, собраны вместе в этой камере, а среди них — он, главный виновник, он, Сомов Анатолий Васильевич, «рождения 22 декабря 1933 года, уроженец города Ленинграда, с высшим образованием, в 1957 году окончил... институт, по специальности инженер-строитель, состоял членом КПСС с 196.. по 197.., исключен из рядов КПСС решением бюро обкома КПСС от апреля 197.. в связи с настоящим делом, ранее не судим, женат, имеет сына... награжден орденом „Знак Почета" и медалями, в момент совершения преступления работал начальником отдела вентиляции и одновременно главным инженером Проектного института...», и все это он, Сомов, который и обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 172 Уголовного кодекса РСФСР, обвиняется «в преступной халатности при исполнении служебных обязанностей».

Он?

Он — в преступной халатности? Он, который... который всегда, всегда, всегда самый первый, всегда раньше всех, раньше всех на работу, групповой инженер, зам. начальника отдела, начальник отдела, зам. главного инженера, все раньше и раньше, и, наконец, главный инженер Сомов А. В. с семи утра до девяти, десяти вечера главный инженер головного института Сомов Анатолий Васильевич, не зная ни дня, ни ночи, но, который тянул из себя жилы, оставаясь при всем том еще и начальником отдела, что было уже просто выше человеческих сил и было бы просто невозможно, если бы не люди, которые работали рядом, которые росли вместе с ним, которых он сам разыскал, такие, например, как Аркадий. Как Аркадий, который всегда был его правой рукой, всегда был рядом, который в эту минуту лежал на соседней койке, Аркадий, самая светлая голова института, Аркадий «правительственных наград не имеет», но зато «имеет двух детей 1972 года рождения», близнецы Миша и Гриша, за которых тоже отвечать ему, Сомову А. В.,— да, он за все в ответе по статье сто семьдесят второй Уголовного кодекса — за Аркадия Зальцмана и за всех остальных. За Колю Рыжикова, за Гошу Тамарченко, за Николая Николаевича Петухова, и еще, и еще, и еще — за всех, за всю свою команду, за этих людей, которых он по одному разыскивал по городу, тащил к себе, обещал, что мог, и давал, что обещал,— он был за них в ответе.

И время ответа близилось.

И его самого, и всех их отделял от ответа только узкий промежуток времени, несколько часов, ночь и утро, только эти часы были у него, только эти часы еще могли что-то изменить, и он не имел никакого права расслабляться и плыть по течению судьбы. И хотя в камере был погашен свет и никто не мог, не имел права нарушить распорядок, одно он мог себе позволить: не спать, собрать всю волю свою и думать, думать, думать, чтобы назавтра быть собранным и готовым к борьбе.

Но тут-то он и почувствовал это — завораживающее, ласковое бессилие, расслабленность и растворяющую волю покорность. Да, покорность, расслабленность и бессилие, паралич воли. Как сладко было думать, что стоит только опустить руки — и ничего уже не будет нужно, и будь что будет, ведь так уже повелось от века, что есть преступление и наказание, есть жертва и искупление, а ведь вина их велика, ведь погибли какие-то люди, которые тоже не были ни в чем виноваты, он не знал их, никогда о них не думал, но теперь, когда их не стало и из зала на него смотрели десятки и сотни негодующих глаз, он должен был думать и о них — о тех, кто неведомо для него жил, работал, учился, любил или собирался любить, собирался прочесть книгу, но не прочитал, собирался купить шкаф, но не купил и уже не купит, собирался поступать в институт, но уже не поступит никогда. Вместо этого, вместо жизни и надежд, связанных с ней, скромный памятник, бетонное надгробие за счет завкома, вспомоществование семье, потерявшей кормильца, и слезы матерей, слезы до скончания века — и все потому, что где-то на свете, независимо ни от кого и ни от чего, в какой-то день и какой-то час собрались однажды, задолго до этого, совсем другие люди и в рабочем порядке, опираясь на техническое задание и строительные нормы и правила (СНиП), а также опираясь на заключения экспертов, приняли такое, а не иное решение, в результате которого через шесть лет, 10 марта такого-то года во столько-то минут в корпусе № 2 такого-то завода «произошла авария, причиной которой явился взрыв мелкодисперсной пыли полиэфирного лака, образовавшейся при шлифовании и полировании деревянных футляров».

Вот так. Произошел взрыв, «эквивалентный взрыву тысячекилограммовой бомбы, в результате чего погибли люди и причинен ущерб государству в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей», ущерб, который они не смогли бы — все вместе — покрыть, работая бесплатно до конца своих дней, но что еще более важно, что важнее всего, что никто не вернет к жизни погибших людей, не воскресит двух мужчин и женщину.

Так чего же он хочет? Зачем сопротивляется, от чего хочет защититься, от чего хочет защитить других? Разве любая защита что-нибудь изменит для троих, разве вернет их домой такими, какими ранним утром они уходили на работу, какими бы они ни были, хорошими или плохими, со всеми их достоинствами и недостатками, с их планами, которым не суждено осуществиться, с их надеждами, которым не сбыться никогда? И все же...

И все же он будет защищаться. И он не может, нет, не может допустить никакой пассивности, никакой расслабленности и обреченности. Да, это ужасно, смерть — это ужасно, но он сам — что ж, он не прочь, он готов, он хотел бы умереть так, сразу, мгновенно, без мучений, не зная, что умираешь, что уже умер, быстрая смерть — милость судьбы; да, умереть так: без болезни, без мучений, сразу, и не думать ни о чем. А все мучения и все проблемы выпадают на долю тех, кто остался, на их долю. На долю полутора десятка человек, тех, кто, не жалея себя, работал, не замечая ни дня, ни ночи. На их долю: более трех веков производственного стажа на всех, более двух десятков правительственных наград. Прикрыться? Нет. Никто не хочет этим прикрываться, этим не прикроешься, но зря никто из них эти награды не получал, эти ордена и медали. Долгие годы работы, изнурительные усилия, бессчетные дни и ночи, напряжение от рассвета до заката. Была ли жизнь? Если и была, то она называлась — работа. Смерть — трагедия, а жизнь? А рухнувшая жизнь, итогом которой является камера, решетки на окнах и вооруженная охрана? Не лучше ли было и им умереть, умереть чуть раньше, без проволочек, вознестись прямо в небо, без этой ночи, без камеры, без завтрашнего позора, умереть на трудовом посту, с честью погибнуть при исполнении служебных обязанностей, перейти в иной мир, как герои, а не лежать в тюремной темноте с открытыми глазами в ожидании рассвета, в ожидании суда, где их вина ни у кого не вызывает сомнения, где любому ясно, что перед ними преступники, поскольку погибли люди и причинен материальный ущерб...

И вот они ждут. Ждут последнего акта, ждут, опустив головы, приговора, все они, преступники, совершившие деяния, предусмотренные статьей такой-то и такой-то, ждут, когда общество избавится от них на какой-то срок. Виновны?

Он не согласен!

Он, Анатолий Сомов. Он не согласен. Они не преступники, и действия их не преступны. Он не согласен быть преступником, на предварительном следствии не признал своей вины, не согласился, что был преступно халатен, что недосмотрел, недоучел, что оказался никуда не годным специалистом, не согласился с тем, что «грубые нарушения норм проектирования при разработке проекта корпуса номер два допустили бывшие работники Проектного института Рыжиков Н. Е., бывший главным инженером проекта, Сомов А. В., начальник отдела вентиляции и отопления, Зальцман А. И., главный специалист, а в дальнейшем начальник того же отдела, а также Никулин В. В., директор института, Пастухов Н. И., бывший главным инженером, и его заместитель Объедков Б. И.».

Он не согласен.

Они? Они сделали все как надо. В своей жизни они спроектировали не один такой цех, не два и не пять. И он сам, и Аркадий Зальцман, и Рыжиков. Они были асами своего дела, они были не просто знатоками своего дела, не просто специалистами, они прошли всю проектировочную лестницу снизу доверху, без пропусков, проползая ее на брюхе, спустились по нескольку раз на собственной заднице с каждой ступеньки вниз, снова поднялись, и снова спустились, чтобы не забыть, где и что с чем едят, да и сами съели на таких проектах не только всех мыслимых и немыслимых собак, но и собственные зубы. Они вытащили из дерьма свой институт на первое место в министерстве, так что призовыми знаменами в директорском кабинете они могли кормить моль еще лет сорок. У них не было рекламаций — никогда, ни одной. Так как же они могли споткнуться на этом ровном месте? Разве он выжил из ума? Разве он не помнит, как все было? Все было, как было уже не раз, все было, как всегда, как оно и должно было быть, не раньше, чем все нужные и ненужные экспертизы были проведены и все мыслимые и немыслимые бумаги оформлены. Он помнил каждое слово, которое тогда, на том совещании произносилось, оно запомнилось ему навсегда и не случайно: хотя он и был еще формально начальником отдела, самым молодым и самым настырным из начальников отдела, но как раз накануне директор сказал ему, что его, Сомова, кандидатура утверждена в министерстве и как только Петухов уйдет на пенсию (через неделю), так ему и заступать.

Такое не забудешь и до смерти. Так что он все уже знал. Знал, что скоро он сам начнет собирать начальников отделов; а пока что Коля Рыжиков всем им — строителям, технологам, сантехникам — зачитал заключение экспертов, которые исследовали эту самую пыль, исследовали по разработанной ими же самими методике, и Коля, он помнит это, занудно перечислял все составляющие этой пыли. И пусть в обвинительном заключении хоть десять раз повторяется, что «помещение шлифовально-полировального участка, в котором выделяется взрывоопасная мелкодисперсная пыль, без надлежащего выяснения ее свойств и в нарушение пункта 1.2 строительных норм и правил проектирования П-М2-62 и пункта 7 3-8 Правил устройства электроустановок неправильно отнесено к категории и классу пожароопасного производства, а не к категории взрывоопасного производства», да пусть не десять даже, а сто, тысяча раз будет это повторено, он, Сомов, даже если ему придется отсидеть за это лишний год, или два, или три, он никогда не согласится с тем, что они отнеслись к своему делу халатно. Та пыль, что они давали на экспертизу, когда они еще только собирались делать проект, та пыль, о которой и докладывал Коля Рыжиков, та пыль, черт бы ее побрал, *не взрывалась*.

Об этом и свидетельствует акт экспертизы.

Да нет, это же понятно и дураку. Понятно ребенку, понятно сопливому студенту с вытаращенными от непонимания глазами, это понятно любому пуделю, что если разговор идет о пыли, если есть эта пыль, если она скапливается в процессе производства, то первый вопрос, без которого не сдвинуться даже с места, звучит так: взрывается или горит? И если взрывается, то так и пишем, черным по белому, и ничего тут мудреного нет, просто не проектируем никаких накопителей, и обходимся без подвалов, и по-другому производим расчет несущих конструкций, и другая вытяжка и очистка, вот и все. Но она не взрывалась. Она горела. И пусть его присудят к пожизненному заключению в этой башне, он все равно, даже ложась в гроб, будет размахивать заключением экспертов и заключением специалистов из лаборатории УПО — Управления пожарной охраны: *эта пыль не взрывоопасна.*

Почему же она взорвалась?

«Неправильное определение категорийности производства шлифования и полирования футляров, покрытых полиэфирным лаком, повлекло за собой выполнение проекта вентиляции и электроустановок на шлифовально-полировальном участке не во взрывоопасном исполнении».

Чушь и бред. Сомов уже не думал ни о жертвенности, ни об апатии. Как только он доходил до этого места, его подбрасывало на жесткой койке, как на батуте, он готов был разорваться, как перегретый котел. Чушь, галиматья — от начала до конца. Тот, кто писал это, ни хрена не понял. Да как же иначе? Если черным по белому в заключении экспертов написано «не взрывается», на каком основании они могли бы разработать взрывоопасный вариант, который не сложнее пожароопасного, но дороже на миллион. Если эксперты пишут: она горит. Горит, она горит, и если бы нужно было начать все проектирование сначала, и если бы проектировали не они, лучшие из лучших, а любые другие, любые — было бы сделано то же самое.

Но она взорвалась. Почему?

Никто не узнает, никто и никогда. Она взорвалась, и перекрытия не выдержали и обрушились, и трое человек погибло, полтора миллиона убытка, и все оказались в тюрьме, на койках, рядом: бывший директор завода и бывший директор института, два бывших главных инженера и начальники отделов вместе с начальниками цехов, бывшие некогда уважаемыми людьми и специалистами своего дела, ставшие подследственными, подсудимыми; бывшие члены партии, бывшие орденоносцы, а ныне обыкновенные уголовники, все они попали сюда, как если бы подрались в кабаке, набили бы друг другу морду, как если бы были лицами без определенных профессий, или если бы спекулировали, или способствовали хищениям, нажили бы каменные хоромы, обзавелись тридцатью тремя сберкнижками на предъявителя, стали бы подпольными миллионерами, завели по десять любовниц, а в домах пылился бы в тоске хрусталь и фарфор и шагу не ступить без ковров. Как это могло случиться, Сомов? Как могло случиться, что ты здесь? Думай, Сомов. Ты должен ответить на этот вопрос. Должен. Именно здесь, в камере, лежа на койке, на грубом жестком белье (но таким оно и должно быть в тюрьме?), ты должен решить этот вопрос, должен найти на него ответ, должен понять, наконец, в чем смысл жизни; должен найти ответ в эту ночь, в эти оставшиеся несколько часов, пока еще это имеет смысл, пока еще не вынесен тебе приговор.

Именем Союза Советских Социалистических Республик...

Именно так — от имени всей страны, от имени всех людей, населяющих ее, от имени русских и узбеков, белорусов и осетин, от имени евреев и татар, пока от имени всех их еще не вынесли тебе приговор.

Зачем ты жил?

Затем, чтоб работать. Так ты думал? Да, так ты думаешь и сейчас. Чтобы работать. Просто работать? Нет. Чтобы хорошо работать. И все? Нет, чтобы работать сначала хорошо, а потом еще лучше, и так без конца — все лучше и лучше. Ну и как? Я работал. Все лучше и лучше? Да, лучше и лучше. А книги ты читал? Да нет, пожалуй, нет. А сына ты растил? Не помню. А дома ты бывал? Конечно... Э, не ври. Дома ты не бывал. Ты бывал дома, как бывают в гостинице, как ночуют в ночлежке, как останавливаются в кемпинге, приползал домой, волоча ноги, пьяный не от вина, а от усталости, чужими глазами смотрел на дом, на стены, которые тоже становились тебе чужими, на женщину, которую ты едва узнавал и тела которой не помнил; а ведь было другое время, когда при одной мысли об этой женщине, твоей жене, ты пылал и горел. Что же такое случилось с тобой, Сомов? А, ты работал... Это верно. Ты *рос*, ты вырастал на глазах, подымался, как на дрожжах, без посторонней помощи, верно, своим горбом, это правда, шаг за шагом, шаг за шагом, и все выше и выше, выше и выше. Но разве я это делал для себя? Это ты хочешь спросить? Нет, конечно, нет. Конечно, не для себя, тебе же ничего не нужно. Верно? Ты просто был уверен, что *так надо*, ты был уверен тогда, да и сейчас тоже, что так надо для дела, ты уверен, что все было верно, все было правильно, что ты шел верным путем и правильной дорогой, а для себя? Две пары брюк, костюм, чтобы было в чем сидеть на совещаниях, да куртка на молнии — вот и все, что тебе *лично* было нужно. Да, зарплата, но не она тебя вдохновляла; она росла вместе с тобой, в то время как ты *естественным* путем шагал со ступеньки на ступеньку, зарплата определялась штатным расписанием, и ты о ней не думал, ты думал о престиже, о славе, об успехе, об успехе дела, но не о зарплате, нет, и не о том, как растет твой жизненный уровень, хотя разве не в этом смысл жизни всех людей. Не в том разве, чтобы жить все лучше и лучше, потому что все лучше и лучше работаешь?

И ты работал. Все лучше и лучше, и, положа руку на сердце, спроси себя — разве мог бы ты работать еще лучше, если бы даже и хотел? Нет, не мог. Ты работал изо всех сил.

В чем ты можешь себя упрекнуть? Ни в чем. Ты не только работал сам, но и другие работали рядом с тобою, и ты не забывал о них — и друзьях, и врагах. Твои друзья, друзья по работе, росли вместе с тобой, и как ты гордился этим, как гордился тем, что ты не похож на Игоря Усачева, с которым вы сидели рядом в институте, получили одно распределение и которому ты с легкой душой уступил место освобожденного секретаря райкома комсомола, хотя и сам райком и ребята выдвигали тебя, ребята, которые верили в тебя, а не в Усачева, и хотели, чтобы ими руководил инженер Сомов, а не инженер Усачев. Но ты уступил свое место Усачеву, который так хотел этого, ты уступил его потому еще, что прежде всего хотел стать хорошим специалистом, тебе жалко было упускать время, ты собирался поехать в Китай, чтобы выполнить там свой интернациональный и профессиональный долг, и ты сказал ребятам в институте и другим ребятам в райкоме, чтобы избрали Усачева, хороший парень, ну, заносится иногда, но это пройдет, и Усачева избрали. И вот Сомов в Китае, добросовестный и дельный Сомов, а Усачев? Тоже дельный, и уж он-то не промахнулся, он вообще был парень не промах, понял, что к чему, и пошел, пошел, тоже вверх, из института в райком, инструктор райкома, третий секретарь, дельный парень, сообразительный, старательный, инструктор обкома комсомола, со ступеньки на ступеньку, и так вскоре забрался туда, куда смотреть надо, задрав голову. И вот он уже наверху, он близок к вершине, он дышит горным воздухом, едва ли не чистым кислородом, он крепко стоит на ногах. И у него ничего не взрывается — неоценимое преимущество; может быть, поэтому, узнав о несчастье, случившемся с Сомовым, он почувствовал некоторое неудобство, может быть, поэтому не протянул Сомову дружеской руки, но поднял ее вверх, когда на бюро обко-

ма (а он был уже членом бюро обкома) голосовался вопрос об исключении Сомова А. В. из партии.

В чем Сомов обвиняет Усачева?

Он не обвиняет его ни в чем. Вопрос об исключении всех причастных к печальному происшествию был решен в сферах еще более высоких, да и что Усачев мог? Но дружеское слово в его поддержку он мог бы сказать, ведь если бы не старый друг Сомов, то все могло бы быть иначе, и кто знает, не откажись тогда Сомов от комсомольской должности, может быть, именно он, Сомов, сидел бы сейчас в бюро рядом с сильными мира сего, но он сидел бы иначе, он не сидел бы с непроницаемым и отрешенным видом и не смотрел бы на бывшего друга (почему, впрочем, на бывшего? Разве несчастье должно обрывать человеческие отношения? Обрывать дружбу?) как на нечто, не имеющее ни объема, ни веса, как на нечто, уже не существующее, отсутствующее, исчезнувшее.

А может быть, смотрел бы? Стал бы точно таким же, как Усачев, который, что ни говори, был хороший парень, ведь когда-то дружили семьями и вместе учились и работали и встречали праздники — и вот взгляд, как через пустоту, человек наверху, официальное лицо, о котором в газетах пишут: «на приеме присутствовали...», причем не тогда, когда пишут «...и прочие официальные лица...», нет, у него уже было не прочее, а собственное лицо, требовавшее персонального упоминания, так далеко он пошел, этот многообещающий молодой человек, и вот из этого далека он и смотрел тогда на Сомова, не видя его и не разлвчая, как если бы он, Сомов, был каким-то докучливым насекомым, которого такой человек, как Усачев, не мог и не имел никакого желания разглядывать.

Что же, и он, Сомов, стал бы таким? Если да — то тогда уж лучше сюда, в камеру, под жесткое тюремное одеяло.

Но он таким бы не стал. Не стал бы, нет. Он не такой, не такой, у него голова не закружилась бы, как не закружилась, когда он стал главным инженером, он был одним из самых молодых главных инженеров в отрасли, он руководил огромным предприятием, коллективом в несколько тысяч человек, и руководил хорошо, и не было никого, кто мог бы сказать иначе, и тогда, в те времена, Усачев узнавал его, Сомова, потому еще, может быть, что второй в городе человек, Дергачев, под началом которого находился тогда Усачев и который разбирался в людях как таковых и в людях как работниках, всегда находил время и место сказать ему, Сомову, при всех несколько ободряющих слов — и не в последнюю очередь потому, что Сомов на его глазах вытаскивал и вытащил-таки из прорыва очень интересный не только для города, но и для страны институт, и хорошо вытащил. И Дергачев не считал для себя зазорным подойти на совещании партактива, да и потом, как стало известно Сомову, пытался сделать для него все, что можно, и потому, уже после исключения, позвонил домой и подбодрил.

Нет, не обязательно было становиться таким, как Усачев. И Дергачев был не таким, и сам он тоже. У него душа чиста. Нет ничего, что бы он мог поставить себе в вину, особенно из того, в чем его обвиняют. Премии? Да, премии были. А как же без премий. Если люди работают, и работают, не жалея себя, как же без премий. Были, были премии, и большие, и он только гордится этим. Были все время, были у всех, у всего института до последней лаборантки, до сторожа охраны, до гардеробщицы включительно. Наконец-то они были, а раньше, много лет, их не было вообще, а если и случались, то такие, что курам на смех. И за этот проект они получили премию, да еще какую — и вот за нее-то обвинение и ухватилось и вписало лыко в строку. «...Сомовым А. В. в частности (писалось в обвинении), были приняты необоснованные предложения группы сантехнического отдела Соловейчика И. Я., относящиеся к проектированию системы вентиляции с применением для очистки воздуха от шлифовально-полировальной пыли фильтров ФТ-2, применяемых в текстильной промышленности. (В связи со смертью Соловейчика И. Я. дело в отношении него прекращено.)»

Хорошо, что Соловейчик до этого не дожил, умер через три дня после вызова в суд. А он, Сомов, будет теперь защищать и это дело. И не только защищать, но и гордиться им, да, гордиться. Потому что это было хорошее, полезное, правильное дело, когда они заменили «циклоны» этими самыми фильтрами, которые были не просто лучше «циклонов», но и во много раз надежнее, и которые не попали в первоначальный проект, потому что в их отрасли нигде и никогда не применялись, а у текстильщиков являлись последним достижением на мировом уровне, но разве кто-нибудь, кроме Соловейчика, мог додуматься до того, чтобы обратить внимание на третьестепенную заметку в какой-то немыслимой отраслевой газете, повествовавшей о неслыханном очистном чуде; и кто, кроме Иосифа Яковлевича, мог писать и названивать во все концы страны и добраться наконец до того единственного завода в мире, где можно было эти самые фильтры наконец посмотреть, потрогать и понюхать; а потом он, невзирая на свои шестьдесят семь лет и инфаркт за плечами, понесся в командировку за тридевять земель, сидел там две недели и, все посмотрев, потрогав, понюхав и узнав, вернулся и сказал: «То самое. То, что нам надо».

Так оно и было. Как раз то, что было нужно. Эти текстильные, никому не известные фильтры давали экономию в несколько десятков тысяч да еще ставили очистку воздуха на неизмеримо более высокий, прямо скажем, на европейский уровень, что и подтвердили и собственные их опыты, и экспертиза. Бедный Соловейчик! Как он гордился собой, как гордился этим своим даром вынюхивать прямо из воздуха всевозможные новинки и применять их к собственным нуждам. Бедный, бедный, бедный Соловейчик, думал Сомов, думал тогда, натянув на голову одеяло и качая головой, пока ему не пришла в голову мысль, что, может быть, все как раз наоборот, и Соловейчик самый из них счастливый, потому что, когда эта треклятая пыль взорвалась и с ним, Соловейчиком, произошло то же, что и со всеми, он не стал дожидаться ни процесса, ни тюрьмы, а взял и умер дома — предпочел, так сказать, иной выход. Произошло это на другой день после постановления о привлечении их к судебной ответственности.

И вот он, Сомов, в тюрьме. Путь закончен.

Почему он здесь?

А впрочем... Не ресторанная жизнь, конечно, а где ресторанная? Нет, жить можно, вполне. А главное — никакой нервотрепки, делай свое дело и ложись спать. Режим — великое дело. В одно время подъем, в одно отбой. Правильно сказано: от сумы да от тюрьмы...

Заключенный Сомов, преступник Сомов А. В., бывший главный инженер, бывший честный человек, еще и достаточно умен, чтобы следовать народной мудрости, он не отказался от тюрьмы. Не то что Соловейчик И. Я. Тот отказался, и где он? Его нет. Так что правильно сделаешь ты, Сомов, если и впредь не будешь отказываться. Преступная халатность. Сколько могут дать? От силы пять лет. Есть ли у тебя силы для борьбы?

Лежа под одеялом, он вздыхает: сил нет.

Не отказывайся.

У него было такое ощущение, словно повторяется что-то в его, сомовской, жизни, словно это уже было, словно он лежал уже когда-то на тюремной койке и думал о будущем, и пытался осмыслить прошлое, пытался пройти по нему снова, против течения времени, чтобы дойти до начала, до самых истоков. Все сущее имеет начало, что нельзя сказать о конце. Конца нет. То, что кажется нам концом, лишь точка на бесконечном пути. Об этом говорят нам апории Зенона: стрела летит или не летит? Можно подумать, что свои апории Зенон обдумывал на тюремных нарах. Вот подходящая для осмысления тема: человек, которому через несколько часов объявят приговор, свободен или не свободен? И еще: человек, которого закон признал виновным,— виновен или нет, если сам он этой вины за собой не признает? Где начало кривой дорожки, казавшейся некогда такой прямой, что прямым ходом привела его за решетку? Инженер Сомов А. В., ты пошел по кривой дорожке, почему?

Вот что он должен был решить, решимость, вот что самое главное, когда решишь что-нибудь, неведомо откуда прибывает сил. И в камере у него хватало сил, а вот теперь какая-то слабость. Он заснул и проспал приговор? Он остался один в камере. Почему так темно, и где все остальные? Почему его не разбудили? Встать, встать. Он пытается приподняться, но сил нет. Какая тяжелая слабость, словно кровь вытекла из жил. Но что это за голоса вокруг него? «Осторожно, осторожно...» Что происходит? «Поднимите его... тихо... тихо». Кого они там поднимают? Не его же? Вспомнить, вспомнить, он должен вспомнить что-то важное. А где же Лида, где его жена? «Осторожно». А, вспомнил. Поднимают что-то, поднимают осторожно. Его жена Лида, доктор филологии. Ты же ничего не понимаешь в практических делах, и артист твой тоже ничего не понимает. Это же раствор, раствор в бадьях, его надо поднимать очень осторожно, чтобы не опрокинуть. Техника безопасности прежде всего. Здесь можно пострадать, можно жестоко поплатиться и даже попасть в тюрьму. Кто-то знакомый, кто-то страшно знакомый, надо бы вспомнить, кто бы это мог быть. Это просто интересно — попасть в тюрьму. С ним это никогда не случится, нет, конечно, но интересно, интересно. Это ужасно смешно — попасть в тюрьму. Различные моменты, скажем так: кто-то хочет бежать, а как? На вышках охрана, как раз для этого. Например, так: он, Сомов, стоит на вышке, а кто-то бежит. Он вглядывается, бежит кто-то знакомый. Да это же Соловейчик! Разве он не знает, что побеги запрещены, разве он не знает, что ворошиловский стрелок Сомов А. В. стоит на вышке и выполнит свой долг. Соловейчик, не беги! Но он бежит. Тогда тот Сомов, что стоит на вышке, прижимается щекой к прикладу и вспоминает, чему его учили: «Не дергаться, вести мушку за объектом ровно, не заваливая, вроде бы лениво, на спусковой крючок жать мягко и непрерывно, до конца и даже после выстрела» — что он и делает: ведет мушку, совмещенную с прорезью, ведет мягко, но Соловейчик И. Я., большой специалист по очистке воздуха, ни о чем не хочет знать. Бездумная пташка, куда ты летишь? Ведь палец все мягче жмет на крючок, раздастся выстрел и прольется кровь, а кому это нужно? Остановись, разве можно убежать от судьбы? Почему он вдруг подумал о крови? «Переливание крови»,— этот голос он уже слышал, но не знал, чей он. Когда-то Сомов и будущий космонавт Г. решили побрататься на манер древних индейцев, надрезали кожу на руке и выдавили в стакан с водой по

нескольку капель, а потом выпили пополам, он тогда не был космонавтом, просто Вовка — и все. В пятьдесят первом году к нему приехала двоюродная сестра из Минска, Люба, вот тут-то я ее и увидел, Любу, с черными волосами до земли. Леди Годива, сказал про нее всезнайка Чижов, но она была Люба, просто Люба, она уже училась в медицинском, она была прекрасна, но с ней была усатая дуэнья, ее мать, Вовкина тетка. Дуэнья, наверное, происходит от слова «дуэль». Кого вызвать? Чижова? Ни за что! Предать дружбу даже ради любви к Любе. Предательство хуже смерти. Вот оно, это слово. Все пугают им, а не страшно. Кто боится умереть? Никто. Это сладко — умереть от любви к Любе, но от этого не умирают. И никто не умер от этого, умирают от другого. Вот и сейчас — Соловейчик, не беги! А он бежит. Бежит, торопится. А ведь он уже у ворот, хочет быть умнее всех, хочет оставить их с этой стороны, а сам туда, уж не считает ли он себя умнее всех, соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет, считаю до трех, раз поет, два поет, не меняя упора, тяну сильнее, тяну на себя, тяну до упора, три, и вот Соловейчик уже не поет, он подпрыгивает, подпрыгивает так, словно наткнулся на стену, прыгает в последний раз и уже больше не поет, нет, спотыкается, падает, и нет Соловейчика. Нет — и все. И ничего больше нет. Где Люба? Нет Любы. А Вовка где? Тоже нет,— вместо него — космонавт Г., только разве это одно и то же? И Лиды нет. И еще чего-то нет, а чего?

Голос сказал: «Пульса нет. Укол, быстро».

Сомов услышал эти слова, он посочувствовал бедняге без пульса. У него-то пульс был. Не было бы пульса, не было бы ему так хорошо. Так хорошо, как давно уже не бывало. Ему было легко и покойно. Ему казалось, что тело его утратило вес, и он плывет по воздуху, как птица или как листок на воде,— невесомый, легкий и беспечный, словно праведник, наконец-то попавший в рай. Словно праведник или, по крайней мере, словно раскаявшийся грешник.

Но ему-то каяться было не в чем, верно?

И снова с двух сторон, слева и справа, тянулись буи, и мне вдруг показалось, что своей незыблемостью они похожи на указатели, ведущие грешника в ад, а праведника в рай. Но не могло ли так случиться, подумал я тут же, что по несказанному своему замыслу Всевышний поместил и то, и другое в одном месте?

Это вполне на него похоже, подумал я. Вполне.

«Ладога-14» вошла тем временем в Белое озеро. Она вошла в него из Ковжи. А затем, пройдя озером, должна вновь войти в реку, в Шексну. Лоция советовала ориентироваться по верхушкам затопленных церквей. Когда-то у самого входа в Шексну стояла деревня Крохино, которую тоже затопило; верхушка крохинской церкви и помогла найти вход в Шексну.

Шлюз-переборы мы прошли в три часа дня.

Они шли вниз по течению, Рыбинское водохранилище, поглотившее село Крохино вместе с церковью, осталось позади.

«Судовое время семь часов тридцать минут. Команда приглашается на завтрак. Приятного аппетита».

Начался еще один день.

Я посмотрел в иллюминатор и увидел пологий берег с мачтами электропередач. Впереди, среди самых разнообразных дымовых струй вставало нечто, оказавшееся в дальнейшем Череповцом.

В лоции я прочитал следующее указание:

«В качестве приметных пунктов на данном участке можно использовать остатки колокольни церкви бывшего села Любец на 510,7 км».

Лоция не обманула ни разу на всем протяжении. Бывшая колокольня возвышалась над спокойными водами хранилища. Она была похожа на огромный коренной зуб, всеми четырьмя корнями вцепившийся в челюсть. Я попытался рассмотреть, остался на колокольне колокол или нет, но затем отказался от своих попыток. Я думаю, что колокол, скорее всего, исчез задолго до тотального затопления окрестных пространств ввиду непрекращающегося дефицита цветных металлов. А может быть, и дефицита веры.

Кто бы и что ни говорил, в этом была какая-то загадка. В том, как быстро и безвозвратно рухнуло православие в одной из самых православных стран, какой была Россия в начале века. Другого такого же примера я не нашел в истории. Католичество оказалось не в пример более жизнеспособным — феномен, объяснение которому хотелось бы услышать.

Лорд-канцлер М., о котором Чижов должен был некогда написать роман, был, к примеру, ревностным католиком настолько, что вера эта была для него дороже собственной жизни. А ведь речь в его случае шла даже не об отречении, а о чисто теоретических вопросах, над которыми любой человек сегодняшнего дня не стал бы даже задумываться. К примеру — умирать или не умирать за догмат о непогрешимости папы римского. Может быть, и роман о лорде-канцлере, оказавшемся одновременно и предтечей коммунизма и католическим святым, Чижов не написал именно потому, что не мог объяснить самому себе, чем руководствуется человек, выбирающий смерть в качестве альтернативы отказа от религиозных убеждений.

Гражданское мужество в двадцатом веке, похоже, было вещью еще более редкой, чем в шестнадцатом. Так или иначе, Чижов не нашел ключа к этой загадке. Возможно, ему не хватало сообразительности, не исключено, что он был излишне самоуверен там, где речь шла о вопросах веры. Как и все его поколение, он был воспитан в духе воинствующего, с оттенком невежества, атеизма, он твердо знал, ибо ему сказали об этом, что бога нет, и это его вполне устраивало — так же, как, похоже, и остальных. Он даже ощущал нечто вроде жалости к сотням миллионов верующих в разных концах света, которые до сих пор не додумались до такой простой вещи, и ему было совершенно непонятно, какое место в душах этих людей может занимать вера. Бога нет — и этим все было сказано, с наступлением эпохи атеизма это место освобождалось. Конечно, можно было бы задуматься, чем заполнилось освободившееся место, ведь ясно, что оно чем-то заполнилось, но Чижов над этим не задумывался. Да и он ли один.

И все-таки похоже было, что религия не была необходимым элементом человеческой жизни, если другие сотни миллионов человек обходились без этого элемента.

Король Английский, в свое время казнивший своего лорда-канцлера М., был поначалу ревностным католиком и богословом, получившим от самого папы римского титул «Защитника веры». Но как только выяснилось, что папа отказывается расторгнуть брак вышеупомянутого короля и тот не может посему жениться на фрейлине своей жены (ее звали Анна Болейн), король Г. почувствовал решительное отвращение к католицизму. И провозгласил себя духовным вождем английского народа. Что было вполне естественно, считал он, ибо кто распоряжается телами своих подданных, тот распоряжается и их бессмертной душой. Это было очевидно, и вся Англия признала весомость этих доказательств короля Г.

Кроме нескольких упрямцев. Епископа Фишера, например.

Или лорда-канцлера М.

Он отказался признать за королем Англии право на души англичан. На тела — сколько угодно, а на души — нет.

Чижов вполне понимал негодование и без того вспыльчивого короля Г. Подставляя себя на его место, он негодовал бы точно так же. Затем попытался поставить себя на место лорда-канцлера М. и понять, в чем тут был камень преткновения.

Но ничего не понял. Как же он мог писать об этом?

Он увидел здесь простое упорство.

Это полностью совпадало с точкой зрения короля Г.

Лорд-канцлер был одним из умнейших людей своего времени. Кроме того, он был основоположником коммунизма, пусть даже утопического. Неужели он был так глуп, что предпочел расстаться с жизнью, но оставить при себе убеждение, что верховным судьей духовной жизни человека является папа римский, который отличался от английского короля лишь тем, что избирался курией кардиналов, в то время как английский король стал таковым по наследству.

Как бы то ни было, и этого вопроса Чижов решить не смог.

Лорд-канцлер М. остался при своих убеждениях.

Король Г. остался при своих.

Лорд-канцлер М. был отрешен от должности, судим, признан виновным и казнен. Ему отрубили голову.

Король женился на Анне Болейн. Как говорят историки, она была необыкновенно красива, столь же распутна. Левая грудь у нее была заметно больше правой, и на одной ноге у нее было шесть пальцев.

В свое время у нее родилась дочь, бывшая на редкость некрасивой. Много времени спустя она войдет в историю под именем королевы Елизаветы. Она будет править Англией едва ли не пятьдесят лет.

Она будет соперничать с шотландской королевой Марией Стюарт и одержит верх. Марии Стюарт отрубят голову.

Но задолго до этого ревнивый король Г., пожертвовавший для Анны Болейн своим лучшим подданным, обвинит ее в прелюбодеянии, и красивой Анне Болейн тоже отрубят голову.

С тех давних пор Англия станет исповедовать свою собственную религию, не похожую ни на что на свете.

Ни к жизни Чижова, ни к жизни двухсот шестидесяти семи миллионов его соотечественников все эти истории никакого отношения иметь не могли. Вот почему он так и не смог написать роман из жизни Англии в шестнадцатом столетии. Ни он сам, равно как и никто из его сограждан ничего от этого, надо полагать, не потеряли.

Нет ничего интересней — но это понимаешь с годами и почти всегда слишком поздно,— чем жизнь среди людей в огромном неспокойном мире. Нет ничего более прекрасного, чем жизнь во всех ее нескончаемо разнообразных проявлениях, всегда таких простых и всегда таких неожиданных, таких неповторимых. Река несет тебя по жизни мимо домов, мимо березового перелеска, мимо яблоневого сада, мимо кранов, оставляя за кормой старые покосившиеся сараи, чьи-то огороды, полуразрушенную изгородь, громкий собачий лай.

Жизнь — это чайки, которые сидят на воде прямо по курсу, чайки, неотличимые от буйков. Жизнь — это «Ракета», которая разворачивается у левого берега, и это неведомый берег, и это город, который наплывает, наплывает, наплывает своими заводами и фабриками, своими трубами, своей первозданной тишиной. И ты хочешь задержать это в своей памяти, остановить навсегда.

А вокруг опять поля и поля с редкими деревнями, которые встретишь здесь гораздо реже, чем «Ракеты», что проносятся мимо на огромной скорости. Вокруг ни души, лишь песок и сосны, и вода, и волна, и ветер, и белый пароход вдали, и ты, и вселенная, и твои мысли, и необъятный мир, еще скрытый от тебя во времени, и то, что еще ждет тебя сегодня и завтра.

«До завтра»,— сказала ему когда-то девушка по имени Соня, но не одно и не два таких «завтра» пришло и прошло, прежде чем они вновь оказались вместе, оказались далеко, там, где было жарко, где было море и не было никого, кто знал бы их. Да, так оно и случилось однажды в краю, где кривые улочки еще сбегали к синей воде, по которой скользили пароходы, подобные чудовищным железным рыбам, и легкие цветные лодки качались у причалов среди яблочных огрызков и подсолнуховой шелухи, а паверху ютились забегаловки, куда можно было пробраться, лишь зная, и где готовили горячую фасоль и подавали легкое сухое вино, и ресторанчики с визгливыми оркестрами, а вокруг были женщины необъятных размеров, разлегшиеся на прибрежном песке, как наваждение, как гигантские жирные медузы, выброшенные прибоем, и были их неизменно щуплые мужья, маленькие и гордые, и были их перекормленные и разнузданные дети, и были кошелки с едой, и переполненные трамваи, которые везли их на шестнадцатую станцию Большого фонтана сквозь протяжный южный говор, и были пивные бары, утопавшие в глубине подвалов, и были прекрасные дни и бессонные ночи, и небо, затканное закатом, и были объятия, напоминавшие смерть, и была радость, и забытье, и пробуждение к жизни первыми лучами солнца под лай собак и крики разносчика керосина, может быть, последнего на свете. И была горечь, потому, что все было слишком хорошо, чтобы это могло длиться долго, дольше этих немногих, отпущенных им в жизни дней.

Соня плыла по легкой зыби дней и ночей, она плыла безрассудно и легко, она обнимала Чижова все сильней и сильней, пока он не вошел в ее мысли, пока она не стала думать о нем, о том, что же он такое, этот человек, который вошел в ее дни и ночи: что он такое, откуда он пришел в ее жизнь и куда уйдет? Она, как и прежде, была нелюбопытна, ее, как и прежде, интересовала только собственная жизнь, точнее, жизнь ее духа, которая в силу нерасторжимой связанности с этим тонким и невесомым телом так или иначе оставалась в пределах материального бытия. Прежде эта нелюбопытность всегда помогала ей, она помогала легко переносить и быстро забывать случайные объятия случайных спутников ее телесной оболочки, воспоминания о которых исчезали из памяти ее тела одновременно с теплой водой из душа; так почему же она заинтересовалась именно им? Может быть, виною было это священное, но абсолютно ненужное ей зарождение новой жизни в темноте ее тоненького тела, которое заставляло ее, пусть неосознанно для нее самой, задумываться о путях и промыслах господних, направляющих людские судьбы на этом свете.

Ее собственная судьба не давала оснований для оптимизма. Она родилась на полуострове среди северной метели, среди гарнизонной службы, всегда одной и той же службы, которая иногда сменялась другой службой под завывание другого ветра на другом полуострове или на острове, или на материке, ее жизнь проходила в бесчисленных переездах с места на место, из гарнизона в гарнизон, из одного военного городка в другой такой же военный городок, вечно в полуустроенном быту, среди готовых к отправке вещей, среди временных привязанностей, случайных школьных друзей, всегда новых и всегда тех же самых, затем переезд в большой город, где она тоже не имела корней — перекати-поле обстоятельств, блуждающее и гонимое ветром необходимости растение, зацепившееся за случайное препятствие. Рядом был ее отец; он всегда был рядом, решительный и уверенный, но теперь, в отставке, на пенсии, он казался растерянным, он разом лишен был всего, что составляло опору его жизни, ему некем было командовать, распоряжаться, отдавать и получать приказы, он не готов был к штатской жизни, о которой втайне всегда мечтал, не представляя, какова она на самом деле. Все, что происходило, вызывало непонимание, недоумение, неприязнь и,

наконец, зайдя в тупик, переродилось в озлобление: этой жизни он не понимал. Она была неправильная, в корне неправильная, приказы оспаривались, а иногда и не выполнялись, субординация отсутствовала вовсе. Как призвать кого-то к суровой воинской дисциплине? От кого потребовать безусловного подчинения младших старшим, низших высшим? Все было сомнительно, многие понятия заколебались. Оставалась жизнь на пенсии, жизнь в призрачной неподвижности, большие деньги кончились, привычка к большим деньгам осталась, гарнизон сузился до пределов собственной квартиры, собственной семьи. Мужественный дух казармы витал в воздухе, он был прекрасен, но в городе он не годился, в городе им нельзя было дышать, в городе все было по-другому, ориентиры были потеряны, и маленький семейный экипаж затерялся в безграничных просторах гражданской жизни, полной мерцающих и обманчивых огней. Отставной подполковник ушел руководить кадрами одного предприятия, но наткнулся на непонимание и неприятие воинских методов, был недооценен и ушел. Он ушел в глубь народной жизни, в таксопарк, где каждый сам себе был и командиром и командой, его жена, мать Сони, вытерла пыль с лежавшего без употребления более двадцати лет диплома, пошла работать техником в проектный институт, где были люди, говорившие на простом, не военном языке, а Соня, почувствовав, как в груди ее рождаются странные звуки, странные слова а странные образы, забросила ученье, едва дотянула до аттестата и бог весть где нашла себе друзей, непризнанных гениев слова, молодых бунтарей на исходе третьего десятка, провозвестников и жрецов уже накатывавшей и в эти, отдаленные от центров мировой культуры края сексуальной революции; они быстро освободили Соню от невянности а от сомнений, от тех, что в ней были, и от тех, что могли появиться. Самый непризнанный из них, а поэтому и самый великий взял над Соней шефство, он попробовал освободить ее и от остатков того, что еще оставалось, от запретов, которых она, памятуя о школьно-комсомольских годах, придерживалась скорее по инерции, чем по убеждению, но она с несвойственной ей решительностью отвергла даже саму идею группового секса, что было расценено новыми ее друзьями как доказательство невыветриваемого мещанства и отсталости, не подобающих свободному человеку двадцатого века. Теперь существо, с каждым мгновением набиравшее силу внутри нее, могло повторить этот путь. Зачем, для чего, спрашивала она саму себя. И возможен ли иной удел? И каков он, если возможен? Например, такой, как у Чижова? Но что она знала о нем? Он был случайным спутником последних недель ее жизни, человеком из другого мира, появившимся из тумана. Он и вернется в туман — что же он мог ей сказать? Ничего. Или все-таки мог, и тогда стоило попытаться выяснить или хотя бы узнать иную точку зрения на жизнь, если она существует.

— Расскажите мне о себе,— сказала она Чяжову.

Это было неожиданно. Рассказать о себе? Это было невозможно, совершенно невозможно, он так и сказал: «Это невозможно», и так оа думал на самом деле, он был в этом уверен. Рассказать? Но о чем? «О жизни»,— сказала бы, наверное, Соня, но что это означало? О какой жизни? Ведь когда говоришь о ней, пытаешься говорить, то уже в самом начале останавливаешься, ибо не знаешь пути, застреваешь с первого шага и не в силах сдвинуться с места. Где начало жизни, в момент рождения? Но оно происходит через девять месяцев после зачатия, но и это еще не отправная точка жизни, поскольку еще до зачатия происходили многие события, не связанные с ним непосредственно, но так или иначе повлиявшие на твою жизнь, наследственность, как говорит генетика, это длинная, уходящая в дымку времени вереница людей, имеющих к тебе такое же отношение, как и ты к ним, поскольку нв твоя жизнь без них, ни их жизнь без тебя не имеет смысла, пропадая в зыбучих песках истории, как капля воды, попавшая в раскаленную пустыню. История каждого отдельного человека — это история всех людей вообще. Тогда откуда начать — с родителей? С их родителей? С первых проблесков собственной памяти? А может быть, с первого проблеска чувств, с первой любви? Или с первого потрясения, с войны и первой смерти, которую увидел? Где начало и есть ли оно? Нет, рассказать было невозможно, и так он и сказал Соне, но она не согласилась, ведь если это так, сказала она, если начало отыскать невозможно, то безразлично, с чего начинать, поскольку, если любая точка не является началом, то, значит, любая точка и является им.

Что было резонно. Чижов признал это, вынужден был признать. Вспоминать? Тогда это не казалось ему еще бессмыслицей, какой покажется потом, когда он, сидя на высоком табурете яа ходовом мостике, будет рассматривать в бинокль открывающиеся виды, уходящие в прошлое и уносящие туда с собою то разбитую и заброшенную церковь с надломленным крестом, то крошечный пароходик с загадочным названием «Антерес», с трудом выгребавший поперек течения, то речки, названия которых можно было встретить только в речных лоциях.

Вспоминать? У него была хорошая память. Но что он мог вспомнить об отце, например, даже если бы и захотел, даже если бы ему и казалось, что он что-то помнит? Ничего, поскольку его отец исчез через шесть месяцев после рождения сына, и объяснить это исчезновение очень долгое время никто не мог: отец Чижова был рядовым

милиционером, скромным тружеником по охране общественного порядка, в свое время он нес охрану важного государственного учреждения, в котором именно в его дежурство был непонятным образом убит выдающийся государственный деятель, именем которого в настоящее время названы города, улицы, пароходы, театры и многое другое, он пал жертвой заговора, не раскрытого до сих пор, при обстоятельствах, до сих пор не проясненных, и это было весьма неудачно и достаточно прискорбно само по себе, но нисколько не облегчало положения всех остальных. В том числе и постового милиционера Чижова, чьим именем не были названы ни улицы, ни пароходы и чьим уделом была бы окончательная и полная безвестность, не передай ов своего имени сыну, которому кажется, что он хранит в памяти какое-то зыбкое воспоминание и при других обстоятельствах он мог бы избрать отца точкой отсчета своей жизни. Мог бы, но уже не изберет, потому что он ошибался, ибо нельзя тревожить теней, нельзя опираться на то, что бесформенно, зыбко, темно, и Чижов, не начав, распростился с ним, простился со своим отцом, неведомым ему милиционером Чижовым, простился с ним молча, без слов, простился с ним и с воспоминаниями о нем. Но, может быть, он помнит что-нибудь другое?

Он помнит. Это было перед самой войной, перед последней большой войной и после предпоследней, очень маленькой войны, он помнит какие-то острова и какой-то деревянный аккуратный некогда дом, выкрашенный яркой желтой краской, дом со следами поспешного и вынужденного бегства, помнит серо-зеленую воду залива и какого-то мальчишку лет шести с подобранной в кладовке чужого и брошенного дома удочкой. Мальчишка поймал маленькую рыбку, поймал впервые, он счастлив, он выдергивает ее из воды, и вот она уже бьется на песке в предсмертных конвульсиях, бьется, прыгает, извивается, вдыхает смертельный для нее кислород, а мальчик смотрит. Прыжки ее становятся все тяжелее, все короче, пока не замирают, а мальчик, как завороженный, стоит, не в силах пошевелиться, и смотрит на самое отвратительное, но и самое естественное из состояний, на смерть живого существа, по воле его вдруг становящегося мертвым и неживым.

Что он делал на островах и что это были за острова? И как там оказался он, и кто был тот невысокий, худощавый и немногословный капитан со шпалой в петлице, который жил в том же доме? Он ли был отцом девочки, которая родилась вскоре, перед самой большой войной?

Чижов смотрит перед собой широко раскрытыми глазами. Что видит он сейчас, что видится ему? Он видит большую квадратную комнату с большим окном, ту, откуда они уехали в эвакуацию, ту, в которую они спустя три года вернулись, найдя пустые стены и большой таз со столярным клеем (один кусок отрезан или отпилен и на нем следы зубов, но чьих?) на полу; но тогда до отъезда, до возвращения и до клея было еще далеко, был апрель сорок первого года; мать вернулась из больницы, привезя с собой маленький сверток, который пищал, сосал грудь, посапывал и был связан с ним самим какой-то будоражащей тайной. И снова появляется в его воспоминаниях капитан, и снова деревянный дом, и снова остров, но это уже другой дом и другой остров, это Кронштадт, крепость, расположенная на острове, но кроме гарнизона там есть и большие поля, на которых растут васильки, какие-то тонконогие девчонки, совсем ему не интересные — они плетут венки из васильков и все время хихикают, словно знают что-то очень смешное. Молчаливый капитан то появляется, то исчезает, непрерывно идут учения, веселые солдаты батальона, которым командует капитан, бодро идут на учение и бодро поют песню, которую Чижов запомнил. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим»,— бодро пели они. «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет»,— пели они, и это они пели все время на протяжении недели в середине июня, пока длились учения, которые должны были закончиться в субботу,— Чижов запомнил это потому, что на воскресенье они с капитаном собрались на рыбалку. Но Чижову не удалось съездить с ним на рыбалку ни в это воскресенье, ни в одно из сотен воскресений, последовавших потом. Он отчетливо помнил (и ему самому было это удивительно, удивительной была эта отчетливость), что в ночь с субботы на воскресенье что-то висело в воздухе, было очень душно и окна были раскрыты, и какой-то грохот все время доносился до него сквозь сон и мешал спать; открывая глаза, он видел, что и мать не спит, и молчаливый капитан тоже, но потом он снова проваливался в мальчишечье летнее забытье, светлую быстротечную июньскую темноту и видел давно забытую рыбу, прыгающую на серебристом прибрежном песке, ее мучительно открывающийся и закрывающийся рот, словно рыба без слов, задыхаясь и умирая, хотела что-то сказать ему, но, может, не только ему, может, всем, всем людям, таким могучим, что многим, многим из них очень скоро придется лежать вот так же на песке, или на глине, или на камнях, лежать, задыхаясь, беззвучно или с криком открывая рот, открывая и закрывая, лежать, дергаясь, покрываясь предсмертной испариной, и с тоской смотреть на небо, такое равнодушное, на небо, задернутое пологом, который становится все гуще, все плотнее, до тех пор, пока не погаснет свет, не погаснет в глазах, не погаснет навсегда, в последний раз ожидая чего-то, что примирит все живое на земле, после чего все станут добрее или умнее, станут братьями и не надо будет умирать ни для чужой забавы, ни из-за чьей-то ошибки, из-за глупости и злобы; а потом он снова проснулся и увидел, что уже светлеет. Так в его жизнь и вошел тот обычный день, то наступившее наконец долгожданное утро, самое важное утро в жизни сотен миллионов людей за последние сто, а может, тысячу лет, самое первое утро самой страшной из тысяч пережитых человечеством войн, раннее прохладное утро последней войны. Так оно ему запомнилось навсегда, до смерти — и его беспокойный сон, и белесый рассвет, и тоскливое чувство тянущегося времени, и ожидание рыбалки, которое сменилось внезапно непонятной и страшноватой, но вместе с тем и какой-то веселой в своей неожиданности беготней, которую вдруг затеяли военные в своем городке, доставляя массу удовольствия ребятам, которые с молочных зубов знали, что «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней», и на которых поэтому слово «война», прозвучавшее из репродуктора на столбе возле площади, не произвело никакого впечатления, а наоборот, выглядело как обещание и преддверие радостных и интересных событий, внешним выражением которых и явилась беготня. Военные были очень озабочены, они пробегали в разные стороны, придерживая рукой ножны сабель, вызывавших завистливые мальчишеские вздохи. Сабля тоже имела отношение к войне, самое прямое и непосредственное, сабля — это звучало прекрасно. Разве нет? Разве могло быть что-нибудь прекраснее Чапаева на боевом коне с саблей в руке и его верного Петьки за пулеметом на могучей тачанке? «И с налета, с поворота, по цепи врагов густой застрочит из пулемета пулеметчик молодой» — о ком же это было сказано в песне, как не о нем, Веньке Чижове, о нем и его друзьях, что, оседлав длинные прутья и размахивая деревянными саблями, готовы были хоть сию минуту обрушиться на врага.

Это все он помнил ясно: голос из репродуктора и лица, лица взрослых, лицо матери, лицо молчаливого капитана, другие лица, какие-то сборы: они уезжают с острова, собираются уехать из города. Они на вокзале — там несколько составов, товарные вагоны, теплушки, много народа, женщины плачут, много детей. Их провожает молчаливый капитан. Мать держит в руках сверток — это сестра, ей четыре месяца, с собою мать берет маленький чемоданчик, только то, что нужно на первое время, нет смысла тащить с собой что-либо, ведь все знают, что война не продлится долго, враг будет уничтожен на его территории. Капитан потрепал его по голове, поднял, помог влезть в теплушку, поезд тронулся, сначала он полз, потом пошел быстрее, а женщины все утирали слезы. Глупые, война — это так интересно, думал Чижов. Ему все было очень интересно. Если бы не война, разве они когда-нибудь собрались бы в Сталинград к теткам? Замелькали дома, дороги, люди. Разговоры взрослых не запомнились, разве что цифра три, это мать сказала кому-то: через три месяца придется ехать обратно, больше война не продлится. Три месяца — так почему-то запомнилось.

Сталинград был глубоким тылом, веселый зеленый городок. Тетки жили на окраине, в маленьком домике с садом, фруктовые деревья были в плодах, в маленьком огороде наливались арбузы, помидоры, дыни. Какая война, ее здесь нет и не будет, сюда она не дойдет. В маленьком домике было уютно и просторно, потом стало менее уютно и менее просторно, затем стало тесно, виноваты были беженцы, тоже родственники, близкие и дальние, их оказалось у него очень много. Это были его дяди и тетки, некоторым было по двадцать лет, а некоторым и больше; впрочем, мужчины вскоре ушли в армию. Женщины остались, они часто плачут, как и положено слабому полу, они собираются вокруг черной тарелки радио. «Нашими войсками отбит у немцев город Ростов». Какая-то нелепость, все заметались, никто не может понять, как это отбит, разве ов был сдан? Ростов был совсем близко, это какая-то ошибка. Потихоньку все приходит в норму, еще какие-то родственники, уже забыто, какие и откуда, но уже без мужчин, в маленьком домике не повернуться. Чижов нашел себе отличное место — под большим обеденным столом. За этим столом и собираются люди, но с обедами хуже, их нет. Но что-то едят, в доме есть погреб, там теткины запасы, тетка делит их на всех поровну, что-то варится в огромной кастрюле. Из огорода выбрано все до последней тыквы. Появилось новое слово «карточки», промтоварные и продовольственные, появилось новое слово «отоваривать». Появились очереди, стоять в них надо долго. Проходит и один месяц, и другой, и третий, зима. О возвращении больше не говорят. За окном воет ветер. Чижов сидит под столом, с ним сидит Ася, теткина дочь, ей десять лет, она очень интересует Чижова, у нее длинные белокурые волосы и толстые ноги, от нее пахнет парным молоком, она погибнет через год при бомбежке. Когда есть керосин, горят керосиновые лампы, когда нет — свечи. Окна зашторены. В небе гудят самолеты, это налет. «При налете все должны покинуть помещение и укрыться в убежище». Убежище в погребе, но туда никто не спускается, там холодно. Воют сирены, бухают зенитки, Чижов околачивается на улице с мальчишками, подбирая осколки, мальчишки курят, добывая огонь кресалом, сделанным из грубого напильника, Чижов не курит, он завидует мальчишкам. Мать уходит утром, возвращается вечером, этот день выдался удачным, она сумела раздобыть где-то неочищенного постного масла. Все едят хлеб

с постным маслом и солью. Чижов тоже не терял времени даром, у него тоже есть добыча — жмых, здесь он называется макуха, прекрасное угощение, которым он честно делится с Асей.

Ася интересует его все больше и больше.

Затем в памяти провал и сразу весна. Это весна сорок второго года, апрель, может быть, май, очень тепло. Он сидит на заборе, смотрит на улицу, она пуста. Затем появляется моряк, очень интересно, куда идет моряк. Моряк идет, опираясь на костыли, одна нога у него как чужая. Моряк смотрит на дома, он что-то ищет, он подходит ближе, он останавливается возле ворот, он спрашивает, здесь ли живут Чижовы. Чижов кубарем скатывается вниз. К ним приехал моряк, настоящий! Моряк входит в дом, матери нет, он ждет ее, потом она приходит. Чижов аертится во дворе, его туда выставили, он весь как на иголках. Внезапно он слышит короткий вскрик. Он подтягивается на руках, заглядывает в окно, мать сидит за столом, уронив голову на руки, у моряка виноватый вид. Чижову становится страшно, он спрыгивает на землю, аыходит на улицу и бродит, поглядывая под ноги, не наткнется ли на кремень, из которого, если ударить по нему напильником, вылетает сноп искр.

— Еще,— говорит Соня.— Говорите.

Чижов аозвращается в реальный мир, он смотрит на Соню, смотрит с недоумением. Разве он говорил? Он зтого не заметил. Это вышло само собой. Но если рассказывать, то следовало бы рассказать ей одну историю. Это было чуть позднее. После Сталинграда. Как они оттуда выбрались, он не помнит, здесь провал. Наверное, помог моряк, тот, без ноги, ногу ему отняли после ранения, он воевал вместе с молчалиаым капитаном в морской пехоте. Капитана убило в том самом бою, в котором моряк потерял свою ногу; еще раньше в Бобруйске он потерял свою семью, и никого на свете у него не осталось, у него был адрес моей матери, и из госпиталя он приехал в Сталинград, он так и остался в зтой семье. Как они бежали из Сталинграда, Чижов не помнил, кажется, шли пешком, потом ехали на подводе, где-то сели на поезд, приехали на Кубвнь. Почему на Кубань — неизаестно, моряк куда-то исчез. На Кубани было тихо, черт его знает, почему там было тихо, но там было так, словно Кубань находилась на другой планете. Какая-то станица, названия которой Чижоа не запомнил, через станицу теклв речка без назаания, маленькая и мелкая. Какой-то даор, очень богатый, все дворы в станице один богаче другого, забор выше человеческого роста, мощные ворота с глазком, кованая щеколда, во дворе куры, утки, индюки. Беженцев пускали неохотно, взять с них было нечего, да и хозяевам ничего не было нужно, все у них было. Почему их пустили, может, мать разжалобила, может, плакал ребенок у нее на руках? Неизвестно. Он помнит один день, воскресенье. Чижов идет по станице, тащится вслед за матерью. Жарко. Он помнит, какое было небо — синее, как от синьки. Улица, по обе стороны глухие звборы. Куда они шли и зачем? Они идут менять, что там могла выменивать его мать, трудно представить, какие-то последние тряпки, какое-то платье. И селедки, зто он помнит, но откуда она достала селедки, непонятно. Может быть, получила по аттестату или где-нибудь купила. Они идут по улице, где нет никого, ни человека, ни собвки, останавливаются у калитки, стучат. Открывается глазок. Проходит секунда, другая, глазок захлопывается. И снова они бредут пустой пыльной улицей под раскаленным небом, да, зто запомнилось — раскаленное синее небо, раскаленная серая пыль и глухие заборы. Глазкам в калитках нет числа. Открылись, закрылись, открылись, закрылись. Пыль обжигает ноги, улице нет конца, он хочет пить, у него пересохло ао рту. Мать идет к очередной калитке, к очередному глазку, под мышками и на спине у нее расплываются мокрые пятна. Она идет упрямо. На что она надеется, на чудо? Снова открывается глазок, мать гоаорит что-то, я слышу ее голос. Она говорит что-то, говорит настойчиво. Говорит еще и еще. Откуда в ней столько терпения? Происходит чудо, калитка открывается и пропускает их. Во дворе много тени, они стоят в тени. Выходит хозяйка, высокая, статная, на плечах что-то накинуто, яркое такое, она смотрит на них невидящим взглядом, и под зтим взглядом я вижу себя со стороны — жалкого, грязного заморыша. Хозяйка не аидит ни меня, ни мою маму, которая странным, несвойственным ей, каким-то униженным голосом начинает что-то быстро говорить и уже готова развернуть свой сверток, но хозяйку зто не интересует. Она делает отстраняющий жест рукой. Мать, страдальчески поджав губы, пытается сохранить остатки достоинства. Мы пришли менять, нам не нужны подачки. Крепдешиновое платье, соасем новое. Мать снова пытается разаернуть свой сверток. Хозяйка спускается, она величественна, как колонна, она подходит ко мне, она обходит меня кругом и адруг кладет мне руку на голову. Тяжелая рука, я до сих пор помню ее тяжесть и теплоту, потом она уходит в дом, не оглянуашись... Сколько времени проходит после этого, не знаю. В руках матери все тот же сверток с аещами и другой — с селедками, я вижу, как торчит из бумаги рыжая щетинка хвоста. Выходит мужик, он не глядит на нас, но проходя, мотает головой. Мы плетемся за ним, я забыл про жажду, как зачарованный я смотрю на огромную спину в белой холщовой рубахе. Мы подходим к амбару, это целый дом. Там сумрачно и сухо. Внутри — лари, похожие на саркофаги, мужик подходит к одному,

открывает крышку размером с ворота, внутри ларь полон муки. Сколько ее там было — тонна, дае? Мука бела, как снег, белее снега. Сугроб из муки, мучной холм. У матери меняется лицо, она старается не смотреть на ларь, но не может, мне аидно, как у нее дрожат губы. Сколько народа можно накормить таким количеством муки, а ведь зто только один из ларей.

Я брожу по амбару и пропускаю момент, когда мать получает мешочки с мукой. Она получает много больше, чем она рассчитывала получить, так много она никогда еще не приносила. Ей будет трудно нести, но ничего, я помогу ей. Мать что-то говорит мужику, она о чем-то его спрашивает, но мужик едва заметно пожимает необъятными плечами. Мне кажется, мать спрашиаала, кому ей отдать свертки с платьем и селедки, но ответа не получила. Лицо ее станоаится совсем несчастным и каким-то растерянным, мы снова на дворе; мужик запер амбар и пропал, мы получили свою муку, нами никто не интересуется. Мы можем идти, и мы уже напились из колодца, на нас никто не обращает внимания, даже огромный бурый кобель, что лежит в тени конуры, вылизывая пах. Но мы не уходим. Мать вертит в руках свои саертки, лицо у нее затравленное, она оглядывается по сторонам, затем кладет свертки на крыльцо. Я вижу, как ей сразу становится легче. У мешков есть лямки из аеревок, я надеваю тот, что поменьше, на плечи. Все. Мы уходим. Жужжат пчелы, неизвестно что делающие здесь в такую жару, впрочем, может быть, это осы. Уходим, да? Мать берет меня за руку, сжимает. «Спасибо»,— говорит она. Кому она зто говорит? Мы уходим. Топот заставляет меня обернуться. Смешная маленькая девчушка в длинном до пят платье нагоняет нас. Она улыбается мне широким ртом, сует а руку что-то тяжелое, поворачивается, не говоря ни слоаа, и бежит обратно. Калитка выпустила нас, и мы сноаа бредем длинной раскаленной улицей по горячей пыли. Дома я развернул сверток. В нем был огромный кусок сала. Я думаю, он был сантиметров десять толщиной, больше такого сала я никогда не аидал. Оно было светло-розовое. Мать долго не хотела его трогать, она хотела сберечь его на крайний случай, так она говорила, аедь сало не портится. Но она не сберегла его. Весь кусок съела наша соседка. Как и мы, она была из Ленинграда, она попала в зту станицу после блокады, как она туда попала, объяснить не берусь; мне кажется, в голове у нее был какой-то сдаиг. Она никак не могла наесться досыта и ела все подряд. Так она съела все сало, асе два килограмма. Это обнаружилось как раз тогда, когда подошел тот самый крайний случай...

— Не молчите,— сказала Соня.

Он молчит? Разве он молчал, разве не рассказывал этой девушке, лежащей рядом, о том, о чем он не помнил уже, о чем не вспоминал, что навсегда, казалось ему, было погребено, как ненужный хлам, в заброшенных уголках памяти?

Крайний случвй настал очень скоро, гораздо быстрее, чем кто-нибудь думал, он нвзывался «немцы». Все произошло в считанные дни. Сначала немцы были далеко, потом они оказались совсем рядом, это произошло слишком быстро, и никто не был к этому готов. Эвакуироаанные заметались, им надо было сноаа сниматься с места, снова надо было куда-то бежать с детьми и пожитками, они были подобны оторвавшимся от ветвей листьям, любой ветер сметал их и гнал по земле. Местное население было спокойно, это была их земля, это были их дома, сады и колодцы, им было некуда бежать. Немцы? Для них зто было только слово, пока только слоао. Может, обойдется, думали они. Никто не знает, что они думали.

Эвакуироаанные снимались с мест, они были похожи на асполошенных птиц. На птиц, потрепанных бурей. Они-то знали, как это быаает, они-то знали, что не обойдется. Они собирались, собирались в стаи, собирались быстро. Утлые пожитки были уложены. И сноаа а путь, снова в полет, быть может, последний. Дети не плакали, они тоже были готовы, готовы ко всему. И с ними готовый ко всему Чижов, которому тем летом исполнилось девять лет.

Появились самолеты, немецкие самолеты. Они летали низко, пролетали прямо яад домами, яногда можно было различить лица летчиков. Немцы летели к Тихорецкой, они бомбили станцию, они летели и аозвращались. Канонада на горизонте становилась асе слышней. Пора было трогаться а путь, но мать медлила. Она чего-то ждала. Чего? Она ждала моряка на костылях, понял Чижов, но понял зто позднее, когда безногий моряк стал его отчимом. Тогда он этого не мог предположить, да и что можно было тогда предполагать, он просто удивлялся, что они не уезжают; уже уехало много семей, а мать все ждала.

И не напрасно.

Моряк приехал. Неизвестяо, где он был, неизвестно, что он делал, неизвестно, как он их нашел, но он нашел их. И теперь ояи тоже готовы были полететь, но машин не было. Полдня они стояли на дороге, но не поймали ни одной машины. Канонада была слышна отчетлиао. Моряк ругался сквозь зубы. Мать стояла с сестренкой на руках, Чижов и два чемодана стояли возле нее. Прошел еще час, и, может, больше, машин не было. Моряк исчез и появился, вместе с яим появился мужик на телеге. Он согласен был отвезти асех к станции, но ему было жалко лошади. Он поедет и подпряжет вторую,

сказал он, это в двух километрах отсюда, он вернется на двух лошадях, это другое дело, сказал он. Чижову разговоры были не интересны. Он смотрел на лошадь, на ее длинные ресницы, лошадь была прекрасна. От нее пахло хлебом и пылью, как в амбаре. Чижов отдал бы все на свете, чтобы посидеть рядом с возницей, можно ему прокатиться? Он забрался в телегу, возница гикнул, лошадь побежала. Телега затряслась, заскрипела, Чижов был совершенно счастлив, он даже не расслышал, что крикнула ему вслед мать. Возвращаться? Конечно, он вернется. Он думал только о том, как ему попросить кнут, хоть на минутку. Он не будет стегать лошадь, он только посидит рядом с возницей с кнутом в руках.

Лошадь бежала быстро. Чижов сидел спиной к вознице, он сидел, свесив ноги, он все думал, когда попросит... Вот проедут еще немного. В это время телегу тряхнуло. Чижов взлетел в воздух и опустился, больно ударившись тощим задом и тут же взлетел еще раз. У него разом испортилось настроение. Он потирал ушибленный зад, он забыл о кнуте. Телегу тряхнуло еще раз. Чижов тихонько соскользнул на землю и побрел обратно.

Он шел степью. Степь была необъятна. Она была ровной, как стол, непонятно было, почему тряхнуло телегу. Может быть, он зря соскочил? Он потер ушибленный зад — нет, не зря. Степь жила своей жизнью, ей не было никакого дела до Чижова. В выцветшем от жары небе кружила птица. Что это была за птица, и что она видела, кружа в этот день в небе? Он часто думал об этой птице. А думал ли он тогда о чем-нибудь? Этого он не помнил. Он шел долго, все-таки телега успела пробежать достаточно. Вдали показалась станица. Видимость была прекрасная, иначе он мог бы подумать, что ошибся, он шел прямо к тому месту, откуда уехал, но теперь на том месте стояла машина. Машина! Откуда она могла взяться, ведь никаких машин не было. Это было интересно, и он прибавил шагу. Потом он побежал. Машина вырастала на глазах. Потом он услышал голос матери, которая говорила, выговаривала какое-то немыслимо длинное слово. Он бежал уже изо всех сил, ему стало страшно. Он услышал, как мать говорила: нет-нет-нет-нет... Он уже был у машины. Он обогнул ее и увидел мать, которая намертво вцепилась в гимнастерку шофера, тот матерился и пытался оторвать ее от себя. Нет-нет-нет-нет — повторяла мать, как автомат, еще минутку, еще ми...

И тут она увидела Чижова. Она выпустила шофера, она сказала: «Ну, вот»... и отвесила Чижову такую оплеуху, что он потерял представление о дальнейшем. Он пришел в себя в кузове. Полуторку болтало, казалось, она хотела взмыть в воздух, она неслась. Чижов безучастно открыл глаза, голова его моталась. В кузове он увидел моряка, он крепко держался за борта, один глаз у него заплывал. Он поминутно сплевывал кровь. Затем провал в памяти. Затем железнодорожная насыпь, станция. Машина стоит. Рядом несколько товарных вагонов, теплушек, маленький паровоз. Моряка в кузове нет, он стоит у кабины, мужик за рулем запихивает в карман толстые пачки тридцатирублевок. В следующий раз он приходит в себя в темноте. Стук колес. Стук-тук-тук, так-так-так. Тихо. Чей-то стон, но в темноте не видно, они попали в эшелон с ранеными, попали в последнюю секунду, равнозначную жизни. В темноте они уходят от смерти. Материнская рука ложится ему на голову, он не видит ее лица, она что-то говорит ему; проваливаясь в забытье, он слышит: «Спи. Засни. Все хорошо, все уже позади...»

Чижов опять проспал ночную вахту; лоция сказала ему, что именно: гряду Отура и гряду Ошмара, поселок Тутаев и поселок Тульпа, он проспал речки Мазь и Щетка, Ить, Березняк и Нора.

Воздух был сладок, как мед.

Волге не было конца.

На левом берегу бушевал лесной пожар.

Жизнь чего-то хотела от Чижова. Ему нужно было понять, чего именно. Одно он знал точно: это что-то не было связано с литературой.

Он решил добраться до Дербента. В Дербенте они все — Чижов, безногий моряк, мать с сестренкой — прожили до сорок четвертого года, в мае сорок четвертого они все вернулись в Ленинград.

У Чижова еще было время для решений. Немного, но было. Немного времени и немного денег. Как раз достаточно, чтобы решать все без спешки.

«Команда приглашается на обед».

«Команда приглашается на ужин. Приятного аппетита».

Слева Желвата, справа река Елнать. Ширина реки около километра. Высокий правый берег. В селе Юрьевец на правом берегу величественная пятиярусная колокольня. Слева две речки: Моча и Латинка.

Он ни о чем не жалеет. Не исключено, что он ошибся. Не исключено, что во всем виновато уязвленное самолюбие: если бы не оно, он не стал бы заниматься литературой и остался бы строителем — прекрасная профессия. Сейчас он был бы уже профессионалом высокого класса. В литературе он был ничем.

Прошли Горький. Вид на Нижегородский кремль был прекрасен, красивая лестница восьмеркой вписывалась в гору, пятиэтажные дома внизу ничуть не украшали открывающийся вид. Следы трудовой деятельности человека тоже не отличались привлекательностью — груды песка, щебня, снова песок, и краны, краны, краны...

Ниже Горького — село Великий враг. Возле Катовского колена — церковь, наконец-то в хорошем состоянии! Еще долго в бинокль видны были голубые стены, серебристые купола и зеленые крыши...

На вопрос о смысле жизни Гете сказал: «Смысл жизни в том, чтобы жить».

Названия: Телячья воложка...
Собачий приток...

День да ночь — сутки прочь. «Судовое время семь часов тридцать минут. Команда приглашается на завтрак. Приятного аппетита».

На полу каюты Чижов подобрал скомканные страницы, очевидно, выпавшие из старых брюк. Это было письмо шестилетней давности. Письмо из Бухареста.

«Вениамин!
Я получила Ваше письмо несколько времени тому назад, но не успела, а может, не хотела сразу отвечать. Спасибо! Огромное Вам спасибо за это письмо. Я много ждала это письмо, оно наконец дошло до меня.

Но почему? Почему так грустно? Я не хочу, чтобы Вы грустили из-за меня. Не стоит. Поверьте, не стоит. Вениамин! Вы меня не знаете. Совсем не знаете. Видели меня только раз, совсем со мной не говорили. Вы любите кого-то другого, а со мной Вы все выдумали, это Ваша фантазия. Влюбиться? Как это можно? Как можно с человеком, которого Вы совсем не знаете? У Вас хорошее, очень хорошее представление обо мне. Откуда Вы можете знать, что я такая?

И какое значение может иметь моя красота? Это поверхностное. Это не имеет никакой связи с душевным миром человека, правильно? Не имеет никакой связи с умом. Люди либо красивые, либо умные. Откуда Вы знаете, какой я человек? Может быть, я глупая. Хотели бы Вы любить такого человека? Вы — человек образованный, много читали в своей жизни, много видели и слушали, познакомились со многими другими, а я? Вы писатель, Вам не нужен подобный человек.

А может быть, Вы хотели только быть со мной раз и все? Но, может быть, у меня нет никакого таланта в этой области, может, не умею хорошо любить. Правильно?

Вы обо мне ничего не знаете.

Вы умеете только вообразить себе определенные вещи. А если они правильны или нет, это совсем другое дело.

Вы говорите, что Вам скоро будет сорок пять. Ну и что? Это не имеет никакого значения, поверьте. Что нужно мужчине в сорок пять, чтобы его полюбила девушка двадцати лет? Ничего особенного. Почему же Вы говорите, что Вы стар? Как Вы себя чувствуете — стар, что ли? С этим я согласиться никак не могу.

Вениамин! Что-то с Вами происходит. Что? Почему в Вас такое настроение? Я не хочу, чтобы Вы грустили. Не знаю, насколько оптимистично Вы настроены, но всегда нужно искать и найти красивую сторону жизни. Найти красивые моменты, потому что их мало. Надо всегда верить, что завтра будет лучше, чем сегодня. Твердо надо верить, что судьба постоянно готовит нам сюрпризы, хорошие сюрпризы.

Какая у меня жизнь? Разная. Иногда мрачно и неинтересно, а иногда мне хорошо, очень, очень хорошо. Я люблю жить. Люблю читать. Постараюсь в жизни много-много читать. Не успею, боюсь, все сделать, страдаю из-за этого. Еще хожу в кино. Редко. И мечтаю. Часто. О чем? Сама не знаю. Обо всем. И о будущем.

Да, я была в Ленинграде. Почему не искала Вас? Не знаю. Не испугалась, нет. Вениамин, не хочу об этом больше говорить. Не хочу. Все это и позади уже. Зачем каждый раз вспоминать об этом? Вы страдаете, я, может быть, страдаю, зачем это нужно?

Между нами ничего не было. Жаль или нет, не имеет никакого значения.

Может быть, для Вас лучше забыть меня. Лучше не думать обо мне, если из-за этого Вам больно. Просто не знаю, что сказать. Хочу написать Вам длинное, длинное письмо, сказать Вам теплые слова, чтобы Вам было хорошо. Но все-таки лучше, может быть, меня забыть.

Скоро мне исполнится двадцать три года.

Вениамин! Еще раз хочу сказать Вам огромное спасибо за Ваше письмо. Всегда буду ожидать Ваши письма с большой радостью. Желаю Вам всего хорошего. Поздравляю с Рождеством.

Роксана».

Чижов аккуратно сложил письмо. Он уже давно не писал Роксане. Зачем ему нужно было это письмо, он не мог бы сказать. Он давно уже ничего не ожидал от будущего, он давно уже ничего не ожидал ни от себя, ни от других.

Проплывая Чебоксары, Чижов увидел ту самую площадку, которую он со своей группой ровно двадцать лет назад снимал под водозабор. Это произошло утром, вода была гладкой, деревья на берегу стояли, не шелохнувшись, иа воде играли блики. Площадка первого подъема аоды была у самой Волги, площадка второго подъема иа верху обрыаа.

Ничто сделанное не пропадает, подумал Чижов. Ему было приятно думать, что после него останется нечто материальное, что можно увидеть и потрогать. Книги тоже были материальны, но зто было другое. Совсем другое. Совсем, совсем другое.

По всему правому берегу на протяжении нескольких километров укладывались огромные бетонные плиты. Чижову показалось, что нет шпунтового упора, без чего плиты рано или поздно сползут в Волгу, но, может быть, он уже отстал, подумал он, и техника берегоукрепления изменилась? Он подумал, что был хорошим инженером, если за двадцать лет не забыл, как правильно укреплять берега.

Река Большая Кокшага...

Река Малая Кокшага...

Новенькая «Волгонефть» идет навстречу, на палубе приборка, «Ладога-14» отвечает левым бортом.

Надо было оставаться инженером. Теперь уже поздно.

Или не поздно?

Около реки Свияги два ручья — Морквашка и Морквашинка. Свияжский монастырь. И уходит, уходит, уходит.

Как молодость, как жизнь.

А впереди, на низком левом берегу сквозь дымку или, точнее, сквозь дымы проглядывает Казань. Казань — зто история, но зто и белые дома в девять и четырнадцать этажей, старая кирпичная колокольня при последнем издыхании, и новый злеватор, а вдали — стена леса, протока и снова лес, а на фоне леса снова и снова белые дома, между которыми еще много ветхих деревянных построек. И снова лес. Он то отступает, то наступает, на берегу протоки — завалы бревен, плавучие краны, горы песка и щебня, огромная труба в белых и красных кольцах, телевизионная вышка, вонзившаяся в небо, и снова лес, но уже рукотворный, лес труб, высоких и низких, толстых и потоньше, с дымами и без дымов, и вот уже ближе и ближе зтот город, бывший цитаделью еще четыре века назад, и уже не только в бинокль видны и мощные стены, и башни, и кремль; у острова Маркиз, словно стадо китов, жмутся черные буксиры.

Как сообщал «Казанский летописец» (между 1562—1564 гг.), в 1177 году царь Саин Болгарский заложил крепость «на самой украине русской, на сей страны Камы реки, концом прилежаху к Болгарской земле, другим же концом к Вятке и Перме... царь возводит на том месте Казань... и есть град Казань стоит и поныне».

В чем каждый может убедиться.

Главная крепостная башня — Спасская.

Еще Сююмбеки — уступчатая башня.

Спасскую бышню строили постник Яковлев и Иван Ширяй.

Тайницкая башня.

Здесь находилась волжско-камская Болгария. И исчезла.

«В 1438 году лишенный престола Золотоордынный хан Улу-Мухаммед захватывает Казань». Образование Казанского ханства — 1245. Через сто семь лет Казань взята Иваном Грозным.

Сохранились:

Введенская церковь семнадцатого века.

Граненая колокольня.

В самом кремле стены и башни: Спасская с Надвратной церковью Спаса, Наугольные юго-западная и юго-восточная, Преображенская, Безымянная, Воскресенская, Тайницкая, Консисторская и Сююмбеки...

История, подумал Чижов. Кому это нужно? Когда-то он думал, что это нужно всем. Теперь он так не думал. Теперь он был убежден, что зто не нужно никому, на месте старого должно прорасти новое, это естественный процесс, и плакать здесь нечего, разве что процесс замены старого новым идет так медленно.

Сам Чижов, во всяком случае, плакать не собирался...

...и тогда Соня увидела, как он плачет. Увидела слезы на его лице, то были искренние слезы, пусть даже их вызвало опьянение, опьянение собой и своей несостоявшейся славой, своей любовью к самому себе и той любовью, которую к нему питали другие, в том числе и она, Соня; это была первая любовь, это была старая любовь, которая не проходит, не забывается и вечно напоминает о себе, как старая рана в ненастье. И, выплывая из забытья (в чужой квартире, в чужой постели), в которое он явился ей, как

всегда непрошеный и нежданный, бесцеремонный и как всегда требовательный, она попробоаала защититься от него. Защититься от него своей жизнью, к которой он давно уже не имел никакого отношения, уйдя из нее давно, бросив ее давно, нырнув в глубины собственной и единственно интересной ему жизни и только иногда врываясь в ее сны и а ее явь внезапным пояалением, наглым приходом, пьяными сетованиями и пьяными слезами, зная ее слабость, слабость к нему и его стихам, зная ее уязаимое место — на правом запястье, после чего все повторялось так, словно не прекращалось никогда, не прерыаалось ни на день, ни на час; и она, презирая себя и его, презирая себя за податливость, с которой она, словно панельная девка, позволяла ему снова и снова брать себя, а его за то, что он не упускал случая воспользоваться своей властью над ней, над ее душой и телом, заставляя ее делать все, что ему было угодно, везде, где ему захотелось бы продемонстрировать свою власть над ней, необъяснимую и безграничную власть, да, презирая себя и его, она попробоаала все-таки защититься от иего. Другой своей жизнью, своей работой, которая ей нравилась, пусть она была не бог весть какая замечательная работа секретаря-машинистки; жизнью, куда ему не было ходу, куда он не мог проникнуть и растоптать асе, что а ней было, пусть даже его имя Виктор и означало «победитель»; но тут он не мог никого победить. Да, на своей работе она была защищена от него, он был там бессилен, и ей было хорошо сознавать свою защищенность, как сегодня, когда она брела по заснеженному Летнему саду. Шлейф защищенности сопровождал ее, она чувствовала себя а безопасности, она улыбалась. Впервые за много дней ей казалось, что она свободна наконец от него, да, она чувствовала, что осаобождается, она чуаствовала, как что-то... что-то... слоано тот ребенок от него, которому не суждено было родиться, тот ребенок, которого не было, которому не нашлось места а этом мире, сноаа шеаельнулся а ней. Она шла по снегу, по щиколотку в снегу и была, наверное, хороша собой в саоем аетхом пальтишке, иначе с чего бы тот долговязый парень, чуть не выаернув шею, все оглядыаался и оглядывался ей аслед, пока не налетел на скамью; и тут ее разобрал смех, беспричиааый, неудержимый смех от ощущения жизяи, такой прекрасной в зимнем морозном аоздухе. Она смеялась и не могла останоаиться, а потом она подошла к парню, который стоял, потирая колено, и улыбнулась ему. Ей хотелось, чтобы всем было так же хорошо, как ей самой, и она улыбнулась ему, открыто и доверчиво, как брату, и долго они ходили по городу, радуясь случаю, соединиашему их, пока не пришли в эту комнату, большую, теплую и пустую, и она прилегла на тахту, огромную, как футбольное поле, с уютной вмятиной посередине, и под теплой пеленой пледа она мгновеяно уснула. Она уснула, словно умерла, опустилась на дно забвенья, погрузилась в ласковый и теплый мир, словно большая и сильная рыба, и ей было хорошо, как редко бывало, но как должно быть всегда хорошему человеку, и она пичего не желала бы, как ааек остаться в этом теплом и надежном, в этом защищенном мире. Да, она осталась бы в этом мире навсегда, но она не была властна над миром сноа, как не был властен над ним никто из смертных, включая космонаата Г., тоже спавшего в небесной колыбели, и вот в ее сны спачала вораалея Чижоа и те давние уже дни, которые они проаели когда-то вместе (но было ли это?), ведь этого могло не быть, это могло оказаться лишь ее фантазией, которую ей вольно признааать яаью, это могло ей присниться в другой жизни, отличной от этой, прожитой кем-то другим, не ею, а потом яаился тот, другой, самый пераый, который даже ао сне мучил ее, не отпуская, и от которого у нее не было защиты до сегодняшнего дня, до этой самой минуты, до минуты, которая подходила уже давно, до минуты окончательного разрыва и долгожданного освобождения, наступившего, когда с неизбежностью не подлежащего обжалоаанию приговора она увидела местоимение, одну букву, букву «Я», но это была не просто буква, это был ее щит, и она укрылась за ним, это было не просто местоимение, это была она сама, Соня, и все двадцать с небольшим лет ее жизни, и все, что а этой жизни было. Все это воплотилось для нее в этой букве, в этом слове, которое лежало сейчас на весах неведомого судьи, и этим своим «Я» она бросала вызов и своему мучителю, и всему саету, и она не боялась никого и ничего; это ее «Я» заявляло свои права на все оставшиеся ее годы, стояло на страже их, как пограничник у границы, неколебимо и бесстрашно, готовый умереть, но не отступить.

«Я не хочу ни слов твоих, ни слез...»

Эти слова пояаились у нее перед глазами, и ими она стерла все слезы, которые ей довелось увидеть, пролить и вынести из-за него, этими словами она стерла их с черной доски саоей памяти, и их не стало, остался лишь след, влажный след, как на грифельной доске, на которой пишут мелом, одно движение руки, один взмах — и только влажный след, высыхающий на глазах, и черное небытие того, что только что было. Да, было, но чего уже нет, что исчезло, стерто; оно прошло и не аернется, не вернется никогда ни а ее жизнь, ни в жизнь вообще, что было, то прошло, того не вернешь, тому не вернуться, то минуло, кануло, исчезло, испарилось, превратилось в пар, в облачко, в белое облачко, раствориашееся в сухом морозном воздухе в ничто, и есть ничто. Влажный след на черной грифельной доске высох, это и есть ничто, возаращение в изначальное состояние чистоты, свободы и незааисимости, равное началу новой жизни.

Да, свобода. И ощущение легкости, которое должно появиться, потому что легкость может чувствовать только свободный человек, потому что свобода и легкость — это синонимы освобождения, тогда как тяжесть — она от знания и от печали, и она сама, Соня, в момент своего освобождения ощущает эту тяжесть так явственно, как никогда раньше. Но ведь она свободна, теперь и навсегда, говорит она себе, свобода — волшебное слово; но и знание — тоже волшебное слово, и это тоже она, Соня, и знание это тоже оплачено ею, оплачено ее жизнью, оплачено долгими часами размышлений, долгими ночами без сна. Должен ли человек все знать, должен ли пройти через все, что он знает, должен ли он выстрадать все, чем владеет,— и свое знание, и свою свободу, и свою посвященность, являются ли они платой за прожитую жизнь или это дар божий, волшебный подарок, выигрыш в жизненной лотерее, где цена, напечатанная на клочке бумаги, несет лишь номинальную функцию, является лишь первоначальным и условным взносом, подразумеваемым авансом, к которому прилагаются долгие многолетние выплаты, как при покупке в рассрочку, где, не уплатив какую-то часть, теряешь все; да и что такое сама жизнь: изначально ли некий итог, неизвестная тебе сумма, от которой отнимается в течение всей жизни число за числом и сумма за суммой, а результат определяется по остатку, или это бесконечное прибавление, сложение, накопление, где мелкие слагаемые поступков, намерений и свершений к концу сводятся в некий итог, по которому некто, имеющий на это право, выносит окончательный вердикт, не подлежащий ни пересмотру, ни отмене.

«Я не хочу ни слов твоих, ни слез...»

Это черта. Это черта горизонта. Черта итога, сложения ли, вычитания — безразлично, все равно: одно, два, три слагаемых, затем черта и итог; итог неокончательный, промежуточный, поскольку длится жизнь, но пересмотру не подлежащий; предварительная прикидка, настоятельная необходимость остановить текущий момент; так определяется моряк в открытом море, чтобы не потерять курс, не сбиться с пути, понять, где он сейчас: он уже не может ничего изменить и оказаться в другом месте, но он может понять, где это место и как оно соотносится с тем, где он должен был находиться. Отсюда необходимость передышки, необходимость увидеть свою жизнь, ощутить ее как нечто, имеющее в уходящее мгновенье свою ценность, свою сумму, свое значение и свой смысл. Мать, отец, брат, жена брата, ребенок брата, детство, школа, первые шаги, первые чувства, первые мысли, первые желания, первая правда и первая ложь, первые стихи и первый трепет, первая боль и первый восторг, и отвращение, и слезы, и ночи без сна, и опустошение, туман и крик, и равнодушие, и слова — слова, слова, слова, свои и чужие; и дни, отданные себе, и ночи, отданные кому-то,— все это были слагаемые, из которых должна составиться первоначальная, предварительная сумма, величина, смысл и значение которой был ей неведом. Но сумма уже была, она уже набралась, уже существовала, и черта была подведена, и дело было только за методом, который не имел решающего значения, за способом, выбирать который предстояло ей самой и от которого, как от перестановки слагаемых, ничего не менялось; в одном случае итог был суммой, в другом остатком, вот и все.

Она подвела черту.

Я не хочу ни слов твоих, ни слез.
Что было — минуло. А если что осталось,
То лишь глубокая, как снег, усталость,
Которую навряд перебредешь...

Так ли это было? Так ли? Да так. Это и была жизнь, и она была такой, была огромной белой равниной, она простиралась по обе стороны, она была вокруг, белая безмолвная пустыня, безлюдье, наполненное посвистом ветра, поземка лет, которая не оставляла надежд, которой не было ни конца, ни края, где сильное сердце билось сильней, а слабое покрывалось смертельной коркой льда, где все было враждебно одинокому путнику, шаг за шагом бредущему к намеченной, но, возможно, нигде не существующей, а возможно, и недостижимой цели. Шаг за шагом, еще шаг и еще, и каждый шаг — это еще одно слагаемое, влияющее на общий итог, и каждый шаг — это маленький подвиг, смысл которого в преодолении этого пространства, которое, будучи бесконечным, все же имеет свои пределы и, будучи холодным и безмолвным, все же таит в неведомой дали и тепло, и голос, и надежду. И это и есть испытание, и выбор, который всегда с тобой, путь и ответ, который ты всегда можешь выбрать: смириться, отказаться от борьбы, от следующего, и следующего шага за ним; смириться и подвести окончательный итог, лечь на белые простыни холода, завернуться в чистые покрывала смерти, которая прикинется освобождением, и заснуть навсегда в мертвом и равнодушном к жизни неведенье или проснуться, освободиться от страха и снова и снова в поту и грязи, преодолевая пядь за пядью пространство своего отчаяния и холода, идти, ползти вперед, до последнего вздоха прибавляя маленькие слагаемые мужества в общий итог победы, пока у руки еще хватает сил передвинуть костяшку единиц на великих счетах жизни.

Я не хочу ни слов твоих, ни слез,
Что было — минуло. А если что осталось,
То лишь глубокая, как снег, усталость,
Которую навряд перебредешь.
А все бреду. Глухая пустота.
Белым-бело. Лишь треск мороза слышен.
И облачко дыхания у рта —
Как жизнь моя.
И кажется мне лишним.

...И после удаления Сарпедона греки остались с лишним игроком, который, конечно, будет совсем не лишним в эти оставшиеся несколько минут, которые могут оказаться решающими. Смогут ли греки сравнять счет, воспользуются ли они этим преимуществом? Большие электронные часы фирмы «Омега», которые вы видите на ваших экранах, показывают оставшееся до конца встречи время...

«Судовое время четырнадцать часов. Команда приглашается на обед, капитан желает всем приятного аппетита», но Чижов не идет на обед, у него нет аппетита, он не выходит на палубу, он не глядит в бинокль. Куда он бежит и отчего? Он бежит от себя, но разве можно убежать от себя? Ни в Куйбышев, ни в Тольятти, ни в Саратов, ни в Волгоград, ни в Астрахань, ни в Дербент. Но, может быть, можно укрыться в прошлом? Но, может быть, можно спастись в будущем?

Саратов, Волгоград, Астрахань, Дербент... А что дальше?

В тот день ему исполнилось пятьдесят два года. Чувствовал он себя совсем плохо.

Все было бы совсем неплохо, если бы Сомов мог понять, что случилось с его головой, но как раз этого-то он и не мог понять. Перед ним то возникали, то исчезали какие-то куски жизни, то ли его, то ли не его, словно он сидел в просмотровом зале и пьяный механик перепутал части картины или части разных картин; но все было бы ничего, если бы он мог навести в этом сумбуре хоть какой-то порядок.

И он уцепился за это слово, схватил его и не выпускал: порядок, конечно, все дело в порядке, и спасение было в порядке, нужно было только разложить все по порядку, восстановить порядок, которого не было; да, бесспорно: все дело было в том, что не было порядка, и как раз за этим, чтобы отсутствующий порядок навести, он и помчался за город прямо с поезда.

Вспоминать об этом тоже следовало по порядку: он порядочно устал от беспорядочной столичной жизни, весь день накануне он метался, как безумный, хотя сейчас не мог уже сказать, была ли в том необходимость, перед отходом поезда поужинал в вокзальном ресторане, поел безо всякого аппетита, пожевал какое-то мясо, пережаренный картофель, черный от масла, затем ночь в поезде, где почему-то именно зимой портится отопление; холодная ночь на неуютной и жесткой полке, и прямо с утра в институт, к директору: дела были плохи. И тут же прошел к себе, сел на телефон, договорился с районным начальством о приемке, обзвонил тресты, сполоснул лицо под краном, вычистил зубы и тут же вызвал институтский «газик» с брезентовым верхом, но, конечно, «газик» был на ремонте и директорская «Волга» была на ремонте, и он помчался (время уже подпирало) к себе домой, благо что близко, где в теплом гараже стоял его восьмидесятисильный любимец, чистенький и заправленный, садись и поезжай — что он и сделал.

Ну что ж, до этого момента он помнил все как было, голова, стало быть, у него работала исправно, но только голова и как-то отвлеченно, словно это касалось не его, Сомова, а кого-то другого, кого-то совсем постороннего, кто сел в машину и поехал, кто плохо себя чувствовал, но честно исполнил свой долг, который прежде всего, хотя на самом деле прежде всего для него был сын, да и Лиду он еще любил и простил ей все, и не было такой минуты, когда бы он не вспоминал о них; вот и сейчас он вспоминал о них, только ему предстояло еще вспомнить и другое — в какой связи он вспомнил о них, если он их и не забывал? Зачем?

Он ехал домой, в свою пустую квартиру, дорога была плохой, был гололед, это он помнил, и темно было, и что-то говорил приемник: *...филигранную технику, ряд обманных движений, и он уходит налево, уводя, уводя за собою защитников, он спешит,* и Сомов тоже спешил, но голова, которая была словно чужая, словно не его, вдруг задумалась и задала вопрос — а зачем? Зачем он спешил, куда он мчался, мчался сегодня, вчера, всю жизнь, в чем состояла цель его скоростного передвижения во времени и пространстве, будто голове было и впрямь неведомо, для чего и зачем, словно не она сама была всему головой, будто он не работал в головном институте, в котором работали вместе с ним немало головастых мужиков, среди которых он, Сомов, был одним из самых головастых. И тут уже ни к селу ни к городу он вспомнил, как однажды он, Чижов и Филимонов отправились на рыбалку в надежные места, ни черта, конечно, не

поймали, выпили, как полагается, и купили у рыбаков огромного сома, сомяру, короля сомов на полтора пуда, чудо природы с огромной башкой и необъятной пастью; жалко было даже губить такого красавца, но что поделаешь, таков закон природы, сильный пожирает слабого, даже если слабый вовсе не слаб, как не слаб был сомяра, которого они зажарили, саарили, съели, как не слаб был и Сомов, когда... *именем Союза Советских Социалистических Республик* попал в сети правосудия и огреб свое, несмотря на то, что был куда как опытен и головаст, несмотря на былые заслуги и награды, несмотря на безупречный послужной список, когда Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР *приговорила* признать виновным и подвергнуть наказанию: Сомова Анатолия Васильевича по ст. 172 УК РСФСР одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима.

В соответствии со статьей 44 Основ Уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик данный приговор является окончательным, обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит, а посему головастый сом был подвергнут экзекуции, был подвергнут примерному наказанию, он был виновен в том, что был жирен и вкусен, но не сумел при всей своей башковитости уклониться от крючка, выйти сухим из воды или, наоборот, остаться в своей стихии, словом, он был виноват, поскольку попался, и опротестование этого факта было для него делом проблематичным, поскольку он был тут же разделан на куски, зажарен и съеден, а огромная его голова, оказавшаяся все же недостаточно смышленой, чтобы избавить его от такой незадачи, как тройной крючок, с лихвой расплатилась за недостаточную сообразительность, отдав все свои соки отменяой ухе. Это было ниспослано Сомову, надо полагать, в виде напоминания, а может быть, и предупреждения, чтобы он был внимательнее, был осторожнее, чтобы не попадался снова на тот же крючок, не рисковал бы снова попасть в те же сети, ведь он ехал на дело, затрагивающее и сейчас, как тогда, различные стороны Уголовного законодательства, он шел, пусть ради высших целей, на подлог, готовый выдать часть за целое, сдать недостроенный объект за готовый, и не только сдать, но и склонить к этому других, ему бы вспомнить то, что было, ему бы задуматься и отказаться, ему бы поступить принципиально и повернуть обратно, но он не сделал этого. Он слишком устал, чтобы быть осторожным, командировка была тяжелой, в министерстве сменилось руководство, положение на объекте было скверным, и у него не было ни времени, ни желания прислушиваться к голосам, слабо доносившимся изнутри: ведь это, кроме всего, были голоса прошлого, которое было мертво, которое не имело значения, которое потому и называлось прошлым, что прошло. Надо было думать о сегодняшнем дне, о сегодняшних задачах, и он стал думать о них на пути к объекту, и что-то такое забытое, из мифологии, всплыло в голове, что-то о бочках без дна, которые надо было наполнять, или о камне, который какой-то упрямец все вкатывал на самый верх горы, а камень скатывался вниз. Но разве и он не таков? Разве что-нибудь изменилось с тех пор? Это он, Сомов, и сотни таких сомовых упрямо катили наверх свои камни, бросая вызов судьбе, и они его вкатят, он был в этом уверен — только поэтому он и тащился теперь в такую даль, тащился, чтобы сидеть в конуре, обитой картоном, где раскаленная докрасна спираль создавала некое ощущение тепла и уюта.

Но ощущение уюта испарилось, как только он прошелся по объекту; тут ему уже не надо было спирального тепла, он взмок от злости, его бросило в пот от ярости, он готов был ко многому, но не к тому, что застал: окна были не заделаны, проемы не прикрыты хотя бы картоном, главный инженер подрядного треста отсутствовал, прораба не было, ничего не было, ничего, черт бы всех побрал, не было, были какие-то люди, они сидели вокруг раскаленной спирали, но дела не делали и смотрели на него, словно ожидая, что он сейчас вытащит из шляпы слона или чего-то в этом роде.

Он смог только собрать всех вместе, он успел открыть совещание, но рта раскрыть он не успел, потому что со всех сторон и из всех углов на него посыпались требования и жалобы, ворох жалоб, вагон претензий, эшелон требований: бумаги лежат... пусть завод даст материал... а твой Сумочкин, он не мой, а твой, значит, не мой и не твой, почему не решен вопрос с оплатой... и Гераскина нет, где Гераскин? В отпуске Гераскин. Ага, в прошлую планерку тоже говорили, что в отпуске. А привязки где, тоже в отпуске, какое сегодня? Ну, то-то, что двадцать четвертое, а привязок нет. Давали команду Терешкову?

Еще минута, и кинулись бы врукопашную, и Сомов поднял руку, он все же был тут самым главным, и был он, увы, самым старым, и под этой рукой страсти чуть-чуть утихли, и он сказал, что начинает планерку, последнюю перед сдачей, и надо, чтобы все это поняли, и что шуток больше не будет, и что начинает он с шестьдесят пятого треста и ставит вопрос ребром: как дела с настилом кровли четвертого этажа, кто тут от шестьдесят пятого треста, пусть говорит.

И поднялся кругленький и уверенный боровичок, представлявший упомянутый шестьдесят пятый трест, и заговорил, заговорил и разлился соловьем, стал склонять слово «настил» и так и этак, и в воздухе порхало: настил, настила, настилом, о настиле, о настиле говорили еще месяц назад, еще месяц назад они заверяли, что все будет готово в ту же минуту, как только будет готово то, что должно быть готово прежде того, и как настилать настил, когда не завезена крошка, а крошку нельзя завезти, потому что ее некуда подавать, а подавать ее некуда, потому что некуда поставить подъемник, значит, ее надо складировать, верно, а где? На территории и так негде повернуться, значит, надо загружать крошку прямо в подъемник, который можно, в свою очередь, поставить только тогда, когда освободится фронт работ, то есть когда будет закончен торец, который давно уже должен быть закончен, но который не закончен, так что не с настила кровли, может быть, надо было начинать, а с торца...

И, скромно потупившись, он сел.

Почему не закончен торец?

Вопрос был задан, слова произнесены, но ответа не последовало; слова повисли в воздухе и остались висеть; все, кто сидел за столом, но не за круглым и полированным столом международной конференции по разоружению в Женеве, а за грубо оструганным, самодельным столом из трех сколоченных двухдюймовых досок, поставленных на чурбаки, с интересом посмотрели друг на друга, они смотрели без ухмылки, смотрели, словно играли в бридж, в игру, требующую выдержки, расчета, умения выжидать, высчитывать и блефовать, они смотрели друг на друга, словно познакомились только что, во взглядах было нечто невинное, они смотрели друг на друга, а потом стали смотреть на Сомова, ведь это он пришел к ним и затеял с ними эту игру, он водил, он был заводилой, вот пусть и водит. Но Сомов в эти игры не играет, он слишком стар, он слишком стар, он отыграл в эти игры тогда, когда эти молодцы еще сидели на горшочках. За торец отвечает Фролов — вот пусть он и отвечает, если ему есть что ответить; и он берет товарища Фролова за жабры, выводит его на чистую воду и спрашивает голосом, не предвещающим ничего хорошего,— когда закончат торец. Ах, какой интересный поворот! Все смотрят на Фролова, смотрят с любопытством, ведь голос Сомова так грозен, почти свиреп, что же тут должен делать Фролов? Он должен был бы смутиться, оробеть, залиться краской, залепетать оправдания, говоря словами одного из классиков литературы, бедный Фролов должен был бы скукожиться, а попросту говоря, провалиться от стыда прямо в подвал, но ничего подобного не происходит. Никуда Фролов не проваливается, не краснеет и не смущается; встать он, правда, встал, но и то больше для проформы, он решил поддержать игру, понял просто, что его очередь делать ход, подавать реплику, двигать дальше сюжет, и вот голосом, ленивым от сознания бесполезности подобного времяпрепровождения, он сообщает представителю заказчика, этому Сомову, который сам себе кажется таким грозным и которого он, Фролов, на самом-то деле нисколько не боится (потому что таких грозных, а на самом деле едва дышащих от ветхости крикунов сколько хочешь и везде, а толковых молодых инженеров, согласных вариться в этой строительной каше, не сыщешь днем с огнем), поскольку подчинялся он вовсе не этому Сомову, а только своему трестовскому начальству, в частности, отсутствующему Терешкову, и этим своим враскачку ленивым голосом Фролов сообщил то, что и Сомов, а тем более и все, кто сидел сейчас за столом, знали и без того: сообщил, что он лично, Фролов Юрий Евгеньевич, хоть и величина, но все же только инженер, а чтобы закончить торец, добавил он не без ехидности, надо, как это понимают все, поставить угловые блоки, для чего, как это тоже должно быть понятно, нужно что? Правильно. Нужны люди. Которых у него, Фролова, на сегодняшний день нет.

Что-то кольнуло у Сомова внутри, но он уже давно привык к уколам и к спазмам. К наглости он привык тоже. Ко всему он привык. Поэтому он спросил только:

— А заявку на людей вы подавали?

— А заявку на людей мы подавали,— ответил Фролов.

— И когда это было?

— А две недели тому, вот когда.

— Ну и что же?

— А вот и то же. Как видите.

Вот, значит, как! И Сомов уже раскрыл рот, чтобы сказать этому Фролову, чтобы закричать, чтобы крикнуть ему, этому здоровому бугаю, что за то он и деньги получает, чтобы люди были, и что он просто тля и мокрая курица, а не мужик, и что таких бездельников, которые, которые прикрываются бумажками... которые... которых в его время... которых надо гнать поганой метлой, в его, Сомова, время его выгнали бы через неделю, и он открыл, да, открыл уже рот, чтобы поставить этого мальчишку на место, но за мгновенье до того, как он произнес первое слово, он перехватил вдруг насмешливый и ленивый взгляд, в котором было словно даже сожаление, и тут он понял, что он не будет кричать на Фролова, потому что Фролов плевать хотел на его крики, и что Фролов с удовольствием сделает вид, что оскорблен, и подаст на увольнение, а все начнут его отговаривать и утешать, и, поняв это, Сомов только спросил:

— Сколько вам нужно народа?

А Фролов не без той же скрытой и сочувственной насмешки ответил:

— Сколько надо было раньше, столько и сейчас. Шестеро.

И Сомов, еще раз отмахнувшись от спазмы, которая сжала и отпустила его, просто подумал, что после планерки он пойдет к секретарю райкома Митрохину, тот будет дозваниваться и дозвонится так или иначе до Терешкова и накрутит ему хвост, после чего Терешков отматерит своего зама, а тот, нисколько не страшась, разведет руками и скажет, что сейчас перед самым Новым годом шестерых человек он мог бы только родить, и если бы он мог это, то попросту не выходил бы из роддома, и пусть тогда Терешков прямо ему и скажет, с какого объекта снять ему этих шестерых человек, и все это хорошо будет знать и сам Терешков, который специально не положит трубку, чтобы Митрохин слышал его грубый разговор с замом, и сам этот зам будет понимать, что от секретаря райкома так просто не отмахнешься, и он, улыбнувшись одной половиной рта, кивнет Терешкову на телефон и поднимет четыре пальца, что и даст Терешкову возможность ответить Митрохину, что да, конечно, бесспорно, и меры будут приняты, но шестерых никак, хоть убейте на месте, но четверых они отправят на объект к Фролову, да, уже сегодня, так что считайте вопрос решенным. И они не обманут Митрохина и действительно отдадут распоряжение отправить Фролову четверых рабочих, таких-то и таких-то, и, конечно, не их вина, если, но это выяснится много позже, ни один из них до Фролова не доберется: к одному приехал кум из Тьмутаракани, и он еще накануне взял свои законные отгулы до самых праздников, а другие по тем или иным причинам тоже отговорятся — смертью ли близких и далеких родственников или еще чем.

Но это будет потом, а пока Сомов записал в своем блокноте «шесть человек для Фролова» и снова вернулся к кровле, поскольку, есть подъемники или нет, кровлю надо делать, пусть даже не уложены угловые блоки: нет подъемников, надо что-то придумать, и неужели, предположил он, вон их сколько здесь собралось, голова у всех на плечах, неужели они не придумают, что делать? И, конечно, он был прав, и все оживились, а оживившись, придумали, что крошку на этаж вполне можно поднимать банками. Очень даже хорошо, и времени понадобится на все два («нет, в два не уложимся»), ну, значит, три дня...

— А кровля?

Тут, уже повеселев, заверили: как только подготовка будет закончена, приступят к кровле.

— А когда приемка?

В ответ смех. Сомов не понял. Ему объяснили — так она уже сдана.

— Когда сдана? Как сдана?

Еще на той неделе. Вы в командировке были. Все чин чином, по акту, *и тут снова что-то сжалось у него и снова навязчивый голос сказал ему: остановись! Что ты делаешь, Сомов, ты ничему не научился, чем ты занимаешься, что происходит, и где все это происходит, и почему опять и опять то провал в темноту, то яркий свет, как будто он в кино и видит собственную жизнь, а у механика рвется лента. Что он видел, его ли была та жизнь, что промелькнула в плохо подогнанных кусках и частях? Что это показали, это пародия на жизнь, это не всерьез — какие-то кровли, банки, какие-то акты. Разве для этого рождается на свет человек, разве он рождается для обмана и лжи? Нет, он рождается для света, для доблести, для добра и любви, что же произошло с ним, Сомовым, почему так тяжело? Что произошло с ним, что случилось? И кто это так бестактно произносит над ухом одно и то же: тяжело, тяжело, тяжело. Произносит над ухом, произносит в самое ухо, кто-то, кого он не видит и не знает, произносит издалека: «Исключительно тяжелый случай»...*

Случай был действительно тяжелый, но не для него, не для Сомова, он быстро сообразил, как и что делать в том случае, ведь дело шло о детском садике для строящегося комплекса, для садика, которого не было в номенклатуре, но который был нужен, как воздух, и тут сказалось то, что было в детстве, когда Сомов вместе с Чижовым ходили в детский садик на Бармалеевой улице, не исключено, что эти воспоминания согревали Сомова, когда он, поговорив с кем надо, пришел к гениальной идее — выдать детский сад, которого не должно было быть, за временный склад инертных материалов, который должен был быть, и таким образом они обвели вокруг пальца представителей ревизионной службы стройбанка, который иначе и рубля бы не отпустил на такое дело, а когда детский сад был построен, то и представителей стройбанка, и репортеров, и ответственных товарищей из райкома и райисполкома пригласили на открытие этого с иголочки, бог знает откуда, словно с небес свалившегося двухэтажного, сияющего чистотой детского сада с оранжереей и десятиметровым лягушатником, причем сам Сомов с недоумевающим лицом стушевался в задних рядах; и тут всем собравшимся предстояло либо тут же разобрать этот преступно и антизаконно из воздуха появившийся детсад, разобрать по кирпичику и отдать виновника его появления под суд, либо перерезать ленточку и пустить туда детишек. И что же было делать всем этим ответственным и очень занятым людям, что им было делать с Сомовым, главным преступником, который, что ни говори, построил эти хоромы не для себя и даже не для

своих детей, поскольку его собственный ребенок служил в то время на границе, и что им было делать с этим самым Сомовым, как не вкатить ему строгий и очень даже строгий выговор и не принять этот, выросший на ровном месте, как гриб из-под земли, чудо-сад на баланс; а Сомову вместо цветов (которые были вручены детьми представителям стройбанка) к выговору добавили еще и денежный начет, и он, дурачок, ликовал, как маленький, и на банкете обнимал всех подряд уже после двух стопок и, заглядывая в глаза, кричал: «Ну, здорово, а? Видели? Видели, а? Такого даже в Москве не увидишь!», и даже в эту минуту, то проваливаясь, то выплывая из темноты, он не мог забыть той радости, что испытал тогда: больше всего тогда ему хотелось взобраться с ногами на стол и заорать во весь голос: «Виват, ура, наша взяла!» Потому что дело было сделано, а когда дело сделано, и сделано на совесть, то и совесть чиста, потому что в мире существует только одна нетленная ценность — дело, дело прежде всего, не его личное, а наше, общее дело, которое остается надолго после того, как мы исчезнем, и таким вот делом и было то, что все они, так или иначе все вместе, по закону, а может, чуточку вопреки закону сделали.

Вот как он жил, как и для чего, и только для того, чтобы несколько раз в жизни ощутить эту ни с чем не сравнимую радость отдачи, он и ходил по проволоке над бездной, ради этого и больше не ради чего, до старости играл в эти игры, только сейчас, в эту минуту он не мог решить, кем он был — казаком или разбойником; но кем бы он ни оказался в итоге, только для таких вот минут стоило терпеть все невзгоды жизни и сидеть здесь, грея застывшие руки теплом раскаленной спирали, вести те или иные разговоры и портить себе кровь.

Приготовиться к прямому переливанию крови.

Забавно, забавно, подумал он, тяжело, но в то же время и забавно, настолько, что будь у него силы, он улыбнулся бы подобному совпадению: стоит ему подумать о чем-нибудь, ну вот как сейчас, когда он сидит со всеми у стола и слушает, как Анкудинова из шестьдесят пятого треста кричит, что она тут ни при чем, что она лично ни у кого не принимала кровлю, а мужики — все до одного — одинаково на нее поглядывая, облизываются, словно уже прикидывая, как бы им с этой самой, с Анкудиновой, ох, видать, и сладкой бабой того и этого («Я не принимала. Я не приму. И перестаньте пялиться, коблы несчастные, сказала — не подпишу акт, и хоть умрите тут»), да, стоит ему только выключиться из этой игры, из этих разговоров и подумать, произнести какое-нибудь слово, самое простое, о котором здесь и речи не идет, например, «кровь» — и тут же кто-то еще, словно бес, произносит над его ухом такое же слово, да не просто повторит, а еще не раз, да еще с вывертом, как это и было со словом «кровь».

Большая потеря крови.

Ну, не смешно ли? При чем тут это, при чем тут кровь, это же просто слово, не надо придавать этому значения, лучше подобрать к нему рифму, например, «кровь — любовь», или какое-нибудь сравнение, но это не по его, Сомова, части, это по части Чижова, он у нас носитель культуры и любитель сравнений, сочинитель, как он сам себя называет, ему и карты в руки, они сидят и играют в карты, в преферанс, и Сомов, как всегда, проигрывает, а Филимонов, как всегда, в плюсе, а Люда Филимонова не поднимает глаз, но Сомов знает, что, и не поднимая их, она видит все и всех, а может быть, ей стыдно за то, что она и Сомов... который не пишет стихов, хотя он тоже занимается прозой, он занимается прозой жизни, он строит, он строит, он строитель, и его жизнь состоит из прозаических материй, таких, как кровля. Да, никакой крови, только кров и кровля, он кровно связан с кровлей, но не только, он связан с крошкой, с подъемниками для крошки, но их некуда ставить, он связан с угловыми блоками, без них не закончить торец, а тут же стекловата, кто там говорит о таком прозаическом, нисколько не возвышенном предмете, стекловата, стекловата, ты ни в чем не виновата, в Сомове проснулся дремавший производственный лирик, кровь — любовь струилась в его жилах, в груди была стекловата. Кровь — любовь, любовь, лю...

Быстрее, быстрее, быстрее.

Любовь. Кто это, кто это любит его. Люда? Люда, Люда, какое счастье, когда тебя любят, какое несчастье — Люда любит его, но он, Сомов, он любит стекловату, да, только ее. Ох, как жарко, Африка и все, что это с ним, чушь какая-то, бред, ерунда собачья, уснул он, что ли, ну вот, опять кто-то повторяет послушно *«бред»*, кто говорит о потере крови, разве можно потерять кровь, кошелек можно потерять или свободу, но не кровь, хотя, конечно, это большая потеря, в деле не бывает без потерь, жизнь — это перечень потерь, живешь и теряешь, только вот смешно: я теряю, ты теряешь, все мы теряем, да вот никто этого не находит, никто не находит того, что ты, я, вы, мы потеряли, никто не находит любовь, боль, бессонные ночи, все, что мы потеряли, пропадает, пропадает безвозвратно, только этого же не может быть, поскольку противоречит закону сохранения, по которому ничто не исчезает, а просто переходит из одной формы в другую; где же та кровь, которую он потерял, где она, кто ее нашел, что он с нею сделал? Что сделал он, Сомов, со своею жизнью, он растерял ее по частям, почему не вернули ему потери? Но ведь и он таков же, он тоже никому не вернет то, что нашел,

главное, что он нашел выход, он всегда его находил, и погодите, он еще найдет то, что потерял, а потом и то, чего не терял. Он нашел выход, а потом он найдет и вход, он найдет, куда войти и куда выйти, и он вошел и нашел стекловату, и она заменила ему кровь, которую он потерял, и потекла по его жилам и стала подбираться к сердцу.

А тут еще эти штапики, Господи, ты слышишь, штапики, которыми прижимают стекла к раме, ну что за чепуха, штапики, да что же это за наказание и за что: сперва стекловата, теперь эти штапики, они нацелились на него, как копья, они вонзаются в него, как стрелы, словно он — Святой Себастиан и привязан к дереву, а вокруг с арбалетами в руках стоят строители из шестьдесят пятого треста и стреляют в него штапиками, он пронзен насквозь, что за пронзительный свист в ушах, словно из лопнувшей шины выходит воздух, хотя это кровь, она выходит из него по каплям, и он умирает, как Святой Себастиан на картине Босха, он только не может понять, откуда он знает про Святого Себастиана. И кто говорит о смерти? Сам он никогда о ней не говорит, он пережил блокаду, он, Сомов, проживет сто лет и будет жить счастливо, а вот Петька Синицын умер. Откуда же он взялся? Петька, это ты? Помнишь, ты приносил на Бармалееву всякую живность, помнишь, ты принес ужа, живого. Не помнишь? Это потому, что ты умер: смерть — это и есть забвенье, это самое страшное. Неужели не помнишь? Ничего? И про ежика не помнишь? Он так смешно топал: топ-топ-топ, мы его очень любили, и ты, конечно, ты тоже, а потом он вдруг исчез и обнаружился в кладовке, нет, не там, а где метлы, забрался в кладовку и уснул, как жаль, что ты не помнишь, как жаль, что ты умер. Ты умер в блокаду, а я, видишь, нет, живу, не помню уже, я сидел дома, лежал в постели, накрывшись одеялом, да, очень было холодно, а один раз весь день просидел в шкафу, но вот вырос, иногда как-то то лучше живу, то хуже, но в общем нормально, ведь лучше жизни все равно ничего нет, и буду жить долго. Нет, не хочу с тобой. Нет. Зачем ты идешь ко мне? Прощай. Отпусти. Довольно. Довольно, Петька. Я пошел. Хватит. Перестаньте, перестаньте, перестаньте. Я не пойду с вами, оставьте меня. Все. Оставьте. Я живой, а вы нет. Я не играю с вами, я вас не знаю. Петька, кто они? Чижик, где Чижик, где Филимон, где Вовка? Как я устал, ребята, нет, у меня ничего нет. Я ничего не имею. Возьмите все. Возьмите с меня подписку. Я снова пойду в детский сад, я его построил. Нет. Тяжело. Почему? Почему так тяжело? Отпустите меня. Трубы? Нет у меня труб, никаких нет. Мы укладывали трубы втроем, на практике. Филимонов, Чижов, я; ужасно было тяжело. Теперь снова? Это еще что за труба? Она бесконечна. Где выход? Все темнее. Надо идти. Он идет. Надо спешить. Он бежит. Он должен найти выход, и он найдет его. Не может быть, чтобы не было выхода. Не может быть, не может быть, не может быть. К выходу, к свету. Быстрее, еще быстрее. Он идет. Надо бежать. Он бежит. Надо бежать. Он бежит. Надо быстрее. Он бежит. Еще быстрее, еще, еще. Должен быть выход. Он видит свет. Что это за свет? Он далеко. Надо еще быстрее, можно не успеть. Он не успевает. Надо лететь. Он летит. Он несется. Он рассекает воздух. Он подобен лучу. Он луч. Луч света. Он несется со скоростью света. Теперь успеет. Он приближается к выходу. Конечно, он найдет выход, выход всегда есть, всегда найдется выход, надо только не сдаваться. Не сдаваться никогда и никому, надо всегда держать голову высоко и не сдаваться до последнего, выше, еще выше, еще.

Он вырывается к свету.

Как светло. Как спокойно. Ничего, ничего. Все хорошо, все будет хорошо. Он всегда знал, что умеет летать, он уже летал когда-то, потом забыл, теперь вспомнил. Что там внизу? Там какой-то шар, какой-то шарик, весь в голубой дымке, это похоже на макет, это похоже на глобус, все такое маленькое, все меньше и меньше, ну просто игрушка: домики, дороги и огни, огни, огни, все меньше, все меньше, все выше, все выше, с радостью, с легкостью, с легкой душой. Он свободен. Он летит. Голова его поднята, он смело смотрит перед собой, он слышит голоса, они говорят что-то, улетая все дальше и дальше, навстречу нестерпимо яркому, бьющему свету, он слышит их, они говорят ему то, что он знал всегда: *«Не виновен». Он повторяет это остановившимися губами: «Не виновен, не виновен, не...» И кто-то произносит в последний раз: «Все кончено».*

Ну вот. Все кончено. Что это, собственно, значит? Кто сказал это? Что кончено и для кого? Как это может быть? Уверяю вас, читатель, если это шутка, то шутка дурная, неудачная шутка, этого никак не может произойти. Ничего не может кончиться, наоборот, все продолжается и будет продолжаться, все без исключения: ничто и никогда не прекращается за какие-нибудь пятнадцать минут, вот даже заключительный период матча по хоккею все еще идет, еще рвутся вперед греки, счет за две минуты до сирены 6:5 в пользу троянцев: ни о каком конце не может быть и речи. *До конца встречи полторы минуты.* Филимонов, забыв обо всем (нет, не быть ему мэром, не быть, но сейчас и это не важно), подвигает кресло почти вплотную к телевизору, битва захватила его, он вцепился в ручки кресла, такого еще не было, думает он и кричит, обернувшись к приоткрытой двери: «Люда, быстрее иди сюда, здесь такое...», и дверь открывается, и темнота соседней комнаты выпускает Людмилу Викторовну Филимонову,

которая решила для себя что-то важное, вид у нее решительный, решится ли она сказать этому огромному человеку, ее мужу, что она решила за эти минуты, проведенные в темноте, так или иначе, с высоко поднятой головой она подходит к свободному креслу и садится в него, да, она решилась поговорить с Филимоновым начистоту: разве можно сказать здесь, что для нее что-то кончилось? *Пошла последняя минута игры*, но и в ней еще целых шестьдесят секунд, еще все возможно, в Африке, Европе, Австралии, в Северной и Южной Америках, а возможно, и в Антарктиде все сердца бьются в унисон, *последняя, последняя минута*, повторяет охрипший голос комментатора. В своем отсеке, в маленькой механизированной пещере двадцатого века новый пещерный человек века грядущего космонавт Г. видит земные сны. Жизнь продолжается, и нет ей конца, жизнь не знает остановок, и это прекрасно, так было задумано с самого начала, и так это будет длиться до конца, который конца не имеет. Далеко внизу, в россыпи огней лежат страны и континенты, пустыни, моря и города, построенные людьми. одни давно, другие недавно; кое-где строительство не завершено — это ли конец. Нет. И то, что было давно, и то, что было недавно,— это всего лишь начало того необъятного, что грядет, и, *думая об этом, Чижов вдруг увидел начало своего романа. Перед его окном появились толстые прутья в два дюйма толщиной, вмазанные в толщу камеры, где веселым летним утром лежал человек, лежал и спал, много лет тому назад, сто, двести, триста, всегда, сегодня, завтра, сейчас, во все времена лежал человек, которому предстояло умереть — скоро, через несколько часов, а потом, умерев, обрести бессмертие, да, Чижов, который давно уже подвел черту и поставил точку, увидел это: старый человек, уставший жить, но не уставший бороться, лежит на полу. Это конец его жизни, но разве он не бессмертен? Как и любой человек на земле, как и любой честный человек. Вот он лежит на охапке сена, а ведь бывало он спал во дворце; вот он стоит перед входом в вечность, а с утра такой славный денек, ласковое летнее утро, и в тишине слышны слова песенки, которую чистыми детскими голосами поют где-то поблизости. Да, так оно и есть, это поют дети под руководством старой монахини, и даже сквозь сон можно разобрать слова:*

День этот — рабству конец,
Этот день — начало свободы.

Вот что это за слова, вот что поют дети, и человек, лежащий на соломе, узнает эти слова, потому что давно, много лет назад он сам сочинил их для короля, для своего молодого короля Генриха Восьмого, да хранит его Господь, именно эти слова прозвучали тогда на коронации и вот теперь снова звучат, провожая Томаса Мора, бывшего канцлера, приговоренного к смерти, в последний путь. Но разве этому пути есть конец? Разве что-нибудь кончается с нами или без нас? Нет. Все продолжается, а мы уходим, уходим в дальний путь, но вместо нас остаются наши дети, и наши дети, и наши слова, и наша правда, и наша ложь, и наши непреклонные «да» и столь же непреклонные «нет», и наша трусость, и наша отвага, и наши книги, в которых мы, и наши мысли, и наше счастье, и наша беда — все это остается и ничто не кончается, с нами или без нас, а потому и страха нет, мы не боимся. Лемуры? Не надо бояться, нечего бояться, и за час, и за минуту до смерти надо широко раскрытыми глазами смотреть на мир, который продолжается с нами, но также и без нас. Надо только уловить это, пускай даже последнее мгновенье, задержать его, слабыми человеческими руками остановить и увековечить, нанести на бумагу тонкие чернильные линии, которые в конце концов окажутся прочнее двухдюймового железа решеток, сильнее секиры палача и самой смерти, только надо успеть, и вот они ложатся, эти слова, здесь и там, давно и недавно и в эту минуту неведомо где, слова, что останутся, что остановят время и предадут его вечности: не исключено, что это происходит в то самое мгновенье, когда мы заняты своим, таким важным для нас делом, своим трудом и своим отдыхом, поскольку все мы заняты, действительно заняты, на самом деле заняты (остается десять секунд), пусть нам это даже непонятно, как непонятно нам, какое нарушение зафиксировал арбитр, всего десять секунд до конца, до конца всего, греки в нападении... бросок... неудачно... греки покидают зону защиты, они снимают вратаря, они отчаянно идут вперед, передают шайбу, они еще надеются, они атакуют, их ворота пусты, но время истекло...

Ну вот. Теперь и вправду конец, время истекло, матч закончился, битва завершилась, теперь есть время прийти в себя, передохнуть, вернуться к жизни, просто к жизни, вернуться к нормальной жизни, что и было сделано всеми, в том числе и героями этого повествования.

Кроме Сомова.

Сообщение о его смерти было напечатано два дня спустя в местной вечерней газете.

Повествование заканчивается словами, заимствованными Чижовым из рассказа Борхеса «Эмма Цунц»: «Здесь все соответствует действительности, кроме некоторых обстоятельств, времени и одного или двух имен собственных»...

Надежда
ПОЛЯКОВА



◆◆◆

Нет близких, чтобы их не понимать,
При их невзгодах пожимать плечами,
И разводить руками их печали,
И к сердцу близко их не принимать.

А может, принимать, но так, слегка,
Всегда своя рубашка ближе к телу.
Когда-то я такой семьи хотела,
Чтобы дружна была и велика...

Мы все хотим чего-то. Головой
О стенку бьемся. Говорят, судьбою
Мы сами управляем. Ах, какое
Наивное сужденье! Боже мой!

Когда бы так, все было бы ясней,
Никто бы не блуждал во тьме житейской,
И каждый бы гордился дружбой тесной
И неподкупной верностью друзей.

За долгий путь притерся крест к плечам.
Но среди ярких современных новшеств
Не сосчитать печальных одиночеств
С мучительным раздумьем по ночам.

◆◆◆

Волна смывает детские следы,
И камни самоцветами играют.
Родится ли Венера из воды,
Когда моря, как люди, умирают?

Не ползает в камнях проворный краб,
На берегу не пахнет йодом тина.
Что, Посейдон, ты, кажется, ослаб
От запаха и привкуса бензина?

Был древний грек наивен, как дитя.
Наш век не допускает быть наивным.
И гневен Зевс, не золотым летя
Дождем к Данае — стронциевым ливнем.

Мы знать хотим, что будет после нас.
Шальных ракет необратимы пробы.
И на земле все копится запас
И милосердья и безумной злобы.

Сцепленьем сил неизмеримых двух
Опутан мир. И мы скользим по краю
Над пропастью, где смертен даже дух,
Где места нет ни аду и ни раю.

И от приказа краткого: «Пора!»
Порою отделяет нас мгновенье.
Звенит струною ниточка добра,
Натянутая грузом подозренья.

◆◆◆

Смеемся мы над старостью, когда
Легка у нас походка и тверда,
Осанка независимо-горда
И голова от горя не седа.

Еще мы говорим: «Не доживем
До ваших лет!». Нам весело вдвоем,
Мы безголосо песенки поем,
Не зная про далекий водоем,

Где, будто неподвижная слюда,
Под ряской дремлет мертвая вода,
Где от страстей безумных ни следа,
Где ничего не будет никогда.

Не прогремит весенняя гроза,
С листвой засохшей сгорбилась лоза,
Комочком праха стала стрекоза,
Горючим камнем сделалась слеза.

◆◆◆

Он рассказывал долго, сбивался и снова
Начинал все сначала, как будто во мгле
Спотыкаясь, на ощупь, шел в поисках крова
По тяжелой и вязкой, изрытой земле.

Что ему от того, что среди ожиданий
Лишь один неизбежен назначенный срок,
Что вместился рассказ после долгих блужданий
В три коротеньких слова: «Как я одинок!»

Но хотелось раскрыть замутненную душу,
Чтобы кто-то среди сверхстремительных дел
Тормознул на ходу, задержался, послушал,
Тихо за руку взял и в глаза поглядел.

Он рассказывал долго, но люди спешили.
Он затих, размотав своих мыслей клубок,
И как будто глядел вслед летящей машине,
За которой взвился выхлопной завиток.

◆◆◆

Легкая походка,
Легкое дыханье.
Моего погодка
Легкое признанье.

Легкое признанье
Легкой шутки вроде.
В щечку целованье
При честном народе.

Что он мог сказать бы,
Припадая к ручке?
Доживем до свадьбы
Внука или внучки.

Молодые оба,
Молодые оба...
Молодыми оба
Доживем до гроба.

На пределе

Была она так круглолица,
С такими тугими щеками.
Любила весною возиться
С цветами в саду и щенками.

С соседской неслась ребятнею
Купаться, гонялась в пятнашки.
Пятнала их всей пятернею
По ситцевой потной рубашке.

Носила такие одежды,
Какие другие носили.
Над нею порхали надежды,
Как бабочки, в цвете и силе.

Но все подевалось куда-то —
Вихры, и косички, и челки.
Мужчинами стали ребята
И злыми, как ведьмы, девчонки.

В домах своих окна забили
Во имя беспутного тела.
И бабочек пестрые крылья
Сломались, пыльца облетела.

Издохли от старости суки,
Которые были щенками.
Распухшие красные руки
Дрожат на граненом стакане.

Ласкали кого и качали
И чьи обнимали колени?
В бесцветных глазах ни печали,
Ни мысли и ни сожаленья.

Ни отзвука, ни отголоска.
Растаяли в памяти лица.
От капли соленой полоска
На желтой щеке золотится.

Борис
ГОЛЛЕР

ПРИВАЛ КОМЕДИАНТА,
или
ВЕНОК ГРИБОЕДОВУ

Трагедия в пяти картинах с прологом и эпилогом

Моему отцу

Я надеюсь, моя смерть не скажет обо мне ничего такого, чего не сказала бы моя жизнь.
М. Монтень

Я как живу, так и пишу — свободно и свободно.
А. Грибоедов

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Грибоедов Александр Сергеевич — Автор одной Комедии и Драмы (собственной судьбы).

ПЕРСОНАЖИ И ПОСТОЯННЫЕ СОБЕСЕДНИКИ ЕГО

Она (Нина Александровна Грибоедова, урожденная княжна Чавчавадзе) — самое удивительное из видений его...
Чацкий Александр Андреевич — главный персонаж его; он же: Одоевский Александр Иванович, мятежник; Кесперий, посол Древнего Рима в Армянском царстве; Шереметьев Василий, корнет гвардии.
Сашка — слуга Автора и его молочный брат.
Якубович — бывший штабс-капитан гвардии и бывший мятежник, ныне каторжник.
Пушкин Александр Сергеевич, Булгарин Фаддей Венедиктович — сочинители российские.
Хлёстова — старуха из Комедии; она же: Грибоедова Настасья Федоровна, мать Автора.
Фамусов — московский барин; он же: Грибоедов Алексей Федорович, дядя автора.
Софья — барышня; она же: Авдотья Истомина, балерина; Элиза Паскевич (урожденная Грибоедова), жена Главнокомандующего.
Скалозуб; он же: Подвыпивший офицер; член Следственной комиссии; князь Голенищев-Кутузов, генерал-губернатор С.-Петербурга.
Мальцев Иван Сергеевич — советник посольства в Персии, молодой человек.
Мальмберх — врач Русской миссии в Тегеране.
Манучихр-хан — главный евнух шаха и особо доверенное лицо его.
Мирза-Якуб — главный казначей шахского гарема.
Маликов Соломон — армянский юноша, племянник Манучихр-хана.
Дадашев (Дадаш-бек) — переводчик миссии.
Перс — кондитер.
Молодой офицер.
Прочие (со словами и без слов) — персонажи Комедии и Драмы.

В самой глубине сцены возникают порой горы и дымы. На сцене две площадки: Комедии и Драмы. И первая из них, наглядно — сцена Театра, какой она бывает задолго до представления: будничный свет, набросаны в беспорядке предметы реквизита. Сбоку на среднем плане — классический театральный павильон, что мог бы служить декорацией к комедии «Горе от ума» где-то в минувшем веке, во времена павильонов (только двухэтажный).

Дом Фамусова — из грубых деревянных щитов, обитых крашеным холстом. Павильон возведен пока лишь до первого этажа (или полуразобран). Стена второго этажа стоит рядом, прислоненная к чему-то. Отдельные детали обстановки дома ютятся здесь же, на полу, меж павильоном и ближней кулисой.

А другая площадка — столь же откровенно — «сцена Жизни».

Резиденция Русской миссии (посольства) в Тегеране в январе 1829-го. Дом Посланника — последний, начиная от ворот, в череде из трех домов, занятых миссией. Старинное восточное подворье, знававшее на веку и роскошь, и паденье. Убранство на персидский манер. В дверных проемах внутри дома портьеры вместо дверей. На окнах занавески вместо стекол. Тут было, верно, прохладно или просто холодно — все-таки январь, зима. На улице — вилак не выше минус 3-х по Реомюру. В доме чадят мангалы на круглых стальных листах. В парадных комнатах «бохари» — плоские высокие камины.

Впрочем, все это, главным образом, за сценой, «за кадром». На сцене — одна комната, служившая приемной Посланнику. Может, даже только угол комнаты: низкий восточный диван, покрытый ковром, низкий столик перед ним, графленый в шахматную клетку. На столике шахматы — массивные, старинные, в начале действия — оставленные кем-то посреди игры. Комнату замыкает в глубине портьера входа.

Это и есть основное место действия.

Время действия — по главному сюжету его — поздний вечер 29 и утро 30 января 1829 г.

ПРОЛОГ

...Он сидит на диване, за столиком, втянувшись в угол дивана. В домашнем халате, в туфлях на босу ногу. В круглых очках...

И, возможно, не нам с вами, а кому-то другому, кого видит только он — зрителю и тайному собеседнику:

Автор. Вы все зовете меня Автором, а между тем я, именно как Автор, и не создал еще ничего истинно изящного! Так... Начала... Наброски. Много планов. И множество причин — почему они остались без осуществленья? *(На губах его какая-то странная усмешка: грустная и вместе брезгливая. И похоже — над собой.)* И та история, о которой пойдет речь, тоже вряд ли таит в себе что-либо значительное... Хотя... есть в ней, пожалуй, несколько неплохих ходов, и сама ситуация — не скажешь: банальна. Впрочем... *(Помолчал.)* А что касается так называемой знаменитой Комедии... то есть «Горя от ума» — то она вообще привиделась мне во сне. Однажды. Тоже в Персии, в саду... Может, она и была случайность?.. Я спал в киоске, в саду... Надо мной звезды в кулак величиной! Нигде так не светят звезды, как в этой скучной Персии. А сны... они больше не повторяются. Редко повторяются. Я всю жизнь мечтал написать трагедию в духе Шекспира... и с тою же свободою, но... Вот, и этому наброску мне вряд ли удастся придать завершенный вид... *(Помолчал. И с той же усмешкой.)* Театр для одного драматурга?.. А почему бы и нет?.. Театр для одного драматурга!.. *(Еще помолчал.)* А почем вам знать?... А может, его театр для одного себя был невыразимо прекрасней ваших?!

ТЕАТР ДЛЯ ОДНОГО ДРАМАТУРГА

Картина первая

Вошел доктор Мальмберх — широкий, легкий; крупный торс, большие руки, полированный череп Сократа, весь — ощущение надежности и устойчивости.

Мальмберх. Теперь я дам вам пилюлю, и вы уснете! Расскажете после мне — какие вы видели сны!

Автор *(будем называть его так, несмотря на возражения его)*. Благодарю вас! *(Принял пилюлю, запил водой из стопки.)* Постойте! Я хотел спросить у вас... *(Замялся.)* Жена пишет ко мне... что нету еще биений младенца. Она — в сомнении. Вы осматривали ее пред нашим отъездом сюда?

Мальмберх *(легко)*. Не я один — еще доктор Макниль! Мы оба. Мы вам сказали тогда. У нее все в порядке. Она вполне способна родить вам нормального здорового малого. А биений нет — так потому, что их еще не должно быть! Она просто торопится. Как все юные матери!..

Автор. Я и сам так думал, но... Вокруг нее там всякие матушки, тетушки... И эти божьи старушки уверяют ее...

Мальмберх *(хмыкнул)*. Ну, старушки всегда понимают много! Какой разговор! Бросьте! Не слушайте ни гадалок, ни старушек... Поверьте мне! Я уж стольких людей встретил на этом свете и стольких проводил на тот...

Автор. Благодарю. Я отпишу ей!..

Мальмберх *(кивнул)*. Сделайте это!..

Поклонился. Уходит пружинистой походкой, словно вытесняя собой воздух на ходу...

Автор. Неужто и ему остался один рассвет?.. *(Пожал плечами.)* Это — доктор Мальмберх. Наш немец. Ординатор Эриванского гошпита́ля. Весьма достойный персонаж! Он мог себе спокойно сидеть в своем Эриванском гошпита́ле! Но почему-то отправился со мной!..

Снова чуть отдернулась портьера при входе и появился Мальцев — архивный юноша лет двадцати: аккуратен, воспитан, кажется, застенчив до крайности...

Мальцев *(с порога)*. Не спите? Александр Сергеич?.. *(Держит папку для бумаг, по-чиновничьи прижав ее к бедру.)*

Автор *(живо)*. Входите-входите! Не сплю. Только собираюсь!..

Мальцев *(раскрывая перед ним папку)*. Вот-с! Наша нота персиянам, кою вы надиктовали давеча!

Автор. О-о! И по-персидски уже?..

Мальцев *(со скромной гордостью)*. Да. Дадаш-бек тотчас и перевел, а Мирза-Сулеймвн переписал. Своим каллиграфическим почерком. Ежели все в порядке... можно бы, чтоб Хаджатур сразу и отнес...

Автор. Нынче? А который теперь чвс?..

Мальцев. Десятый, верно...

Автор. Нет, поздно! Решат, мы слишком обеспокоены. Не будем торопиться! Завтра успеется. Поутру! *(Листает бумаги.)* А вы сами смотрели?

Мальцев. Нет... Но я ж не знаю по-персидски!

Автор. Ах, да! Все забываю, простите меня! У вас еще есть время поучиться! Это как бы французский язык Востока! В самом деле — прекрасный язык!.. Он ничего не менял?.. В тексте?..

Мальцев. Дадаш-бек?.. Нет. *(Поправился.)* Нет, как будто! Во всяком случае — я просил его ничего не менять.

Автор. Главное, чтоб он сохранил энергические выражения!.. Теперь нужны энергические выражения!.. *(Просматривает текст. Поднял брови.)* «Кебле-элем»?.. Но я не диктовал так: «кебле-элем»!

Мальцев. Что?.. Что-то не так?..

Автор. Да. Опять это обращение к швху — «кебле-элем»! Я говорил уже Дадашеву!.. Я не обращаюсь так к шаху! «Центр мира»! «Средоточие вселенной»!

Мальцев. А как нужно? Александр Сергеич?..

Автор. Просто... «Его величеству шахиншаху». Я успел приучить наших дорогих хозяев, что обращаюсь только так. И не хотел бы, чтоб они переучивались. Еще в данных обстоятельствах!

Мальцев. Дадашев уверял меня, что знает, как пишутся такие бумаги.

Автор. Он действительно знает! И он знает, что делает!..

Мальцев. Он добавил еще — все пишут так! И англичане в том числе.

Автор. Вот англичане могут писать, как им заблагорассудится! Благоволите попросить Дадашева, чтоб зашел ко мне. Завтра поутру.

Мальцев. Теперь придется переписывать?

Автор. Да. Конечно!.. И если Дадшев кого и наказал, так это своего друга Мирзу-Сулеймана. С его каллиграфическим почерком!.. *(Усмехнулся.)* Нет-нет, не забирайте! Я еще посмотрю!

Мальцев. Хорошо! Спокойной ночи, Александр Сергеич?..

Автор. Да. Спокойной! Спокойной... Я хотел вам что-то важное... Ах, да! Прошу, как советника посольства! Объяснять всем, кого встретите, из сотрудников миссии — и повторять нв каждом шагу!.. Я не могу — и ни при каких обстоятельствах допустить выдачи Мирзы-Якуба! *Мы* не можем! И желал бы, чтоб ни у кого не оставалось иллюзий на сей счет.

Мальцев. Почему не можем?.. Александр Сергеич?.. Чтоб я мог и объяснять, как надобно.

Автор *(жестко)*. Потому что посольство, которое выдаст кому-либо подданного своей страны, уронит достоинство собственной страны! Только и всего!

Мальцев. Мне так и говорить?..

Автор. И в тех же словах. По возможности! И, по возможности, — со всем пылом вашей юности!

Мальцев. Я понял, Александр Сергеич! Можете быть надежны...

Уходит.

Автор *(вслед)*. Это Мальцев, советник посольства. Мальцев! Иван Сергеич... Мы с ним тезки по отцу. *(Пожал плечами.)* Персонаж еще неясный для меня! *(Сидит недвижно, глядя в одну точку. Пошевелился.)* И чем не драма?.. Завязка?.. Нет ничего проще! Некто Мирза-Якуб, весьма важное лицо в некой стране... прибли́женный евнух шаха и казначей его гарема является в посольство другой страны... коей он теперь считается бывшим подданным, по трактату о мире! — и просит отправить его домой. В Эривань. Со всем имуществом его... И некий посланник, имярек... *(Та же усмешка.)* ... дает ему прибежище в миссии. И только-то? — спросите вы. *(Вздохнул.)* И только! Но... вы не знаете Персии, ежели решите, что эта завязка глупа! Второй по значению евнух шаха и казначей его гарема! А понять, что такое гарем и что такое евнух в нем — это не под силу европейскому уму!..

Неслышно вошел некто — в пышном халате и в чвлме. Мужчина, без возраста, с расплывшимся телом старой женщины. Поблескивают перстни на пухлых женских пальцах. Склонился по-восточному, преувеличенно низко.

Автор. Садитесь, почтенный Мирза-Якуб!..

Мирза-Якуб. Благодарю!..

Поклонился еще и остался стоять.
Во всем облике его что-то странное: жалкое и, вместе, надменное. Гордыня, которую черпвют в самом унижении своем.

Автор. Вы твердо решили?

Мирза-Якуб. Да. Твердо!..

Пауза.

Я смею надеяться, ваше превосходительство?

Автор. Погодите! *(Раздумывает.)* С имуществом вашим будет непросто. Вообще, все будет непросто!

Мирза-Якуб. Но... пункт Туркманчайского трвктата о размене пленных с обеих сторон...

Автор. Да, знаю-знаю! Я сам озаботился, чтоб существовал этот пункт... и сам составил его в настоящей редакции!

Мирза-Якуб. Ваше превосходительство! Человек моего положения... евнух, то есть, считается бывшим пленным? Если он является таковым?

Автор. Да. Разумеется. Да. Считается!..

Пвуза.

Во всяком случае... я хотел бы знать ваши резоны! Мне надобно знать!

Мирза-Якуб. Я хочу воротиться домой. Только и всего.

Автор. Я понимаю...

Пауза.

Но имущество ваше нвжито непосредственно на службе шаху!.. Это может вызвать...

Мирза-Якуб. Но я нажил его своим трудом. Хотя... то, чем я занимался... вынужден был! — вряд ли считается таковым... с обычной точки зрения... *(Усмехнулся — надменно и жалко.)* Ваше превосходительство! Пусть без имущества!

Пауза.

Вы отказываете?

Автор. Нет. Я сказал. Я думаю!..

Пауза.

Но менять привычки... Привычный способ бытия!..

Мирза-Якуб молчит.

А ежли без имущества... что вас ждет в Эривани? Близких, сколько я знаю, у вас там нет. Не осталось после всех войн. Что вас ждет?

Мирза-Якуб. Камни, ваше превосходительство! Камни!..

Автор. Камни?.. Да. Камни... Камни — это серьезно.

Мирза-Якуб. Я достаточно послужил этому дому. Я хочу вернуться в свой. Человек имеет право вернуться домой!

Пауза.

Автор. И вы давно это надумали?

Мирза-Якуб. Нет. Недавно. А может... я об этом думал всегда!

Автор. А что скажет ваш начальник?.. Высокочтимый Манучихр-хан?

Мирза-Якуб. Не знаю, что он скажет. *(Та же усмешка.)* Не знаю. Были два армянских мальчика. Оба играли на пыльных камнях Эривани. Потом... по восемнадцати лет... оба отправились в поход с русскими... В злосчастный поход Цицианова на Эривань! Оба были взяты в плен персами. С обоими сделали то... что сделали... И... оба стали тем, кто они есть сейчас: Манучихр-хан — главный евнух шаха. Муэтемид-эд-доуле... Особо доверенное лицо его. И Мирза-Якуб — главный казначей! Я не ведаю, что скажет Манучихр-хан!..

Автор. А... его величество шахиншах? Вы служили ему долго.

Мирза-Якуб. Тем более! Собака и та имеет право на старости вернуться в свою конуру... а не остаться умирать под пиршественным столом хозяев... в ожидании подачки. Уже не нужной!

Автор. Хорошо. Я согласен. Только...

Мирза-Якуб *(с той же странной усмешкой)*. И какое еще условие придумано для меня?

Автор *(жестко)*. Вы не поняли! Я хотел сказать... К посланнику не приходят ночью! Тайком, когда все спят... Будто он — не посланник вовсе, а скупщик краденого. Только днем! Открыто! У всех на глазах!

Мирза-Якуб. Благодарю вас! Я приду поутру. *(Тот же низкий поклон.)*

Ушел. Словно растворился беззвучно.

Автор *(мрачно)*. И чем это кончится, я тоже знал, еще три дня тому. Когда Мирза-Якуб явился в посольство.

Пауза.

(Внезапно оживляясь.) Вот-с! И чем не завязка?.. А для любителей быстрых поворотов действа развязка не заставит себя ждать!.. Что ж! План счастли́в, как говорится. План счастли́в! Осталось только развернуть. В соответствии с истиной — страстей и обстоятельств. Что дальше?.. Теперь, верно, Мальцев беседует с Дадашевым. Он же — Дадаш-бек, наш первый толмач. Сиречь, переводчик.

В отдалении от него появляются Дадашев и Мальцев.

Мальцев. Придется переписывать ноту!

Дадашев. Вай! «Кебле-элем» нэ нравытся, конэшно?.. «Кебле-элем»?

Мальцев. Ну, да. «Кебле-элем»! И, признайся, господин посланник говаривал тебе, и не раз — я сам свидетель! — что он не обращается так к шаху: «центр мира», «средоточие вселенной», а пишет просто — «его величеству». И я просил тебя, если помнишь, ничего не прибавлять от себя, когда переводишь документ! И признайся, ты поступаешь не совсем хорошо, когда пользуешься тем, что я не знаю по-персидски.

Дадашев. Вай! Какой плохой этот Дадашев! Глупый Дадашев! Ему всэ говорят, а он ныкак нэ возмет в толк! *(Воздел руки к небу. После — резко.)* Ты лучше скажи, что он думает сэбэ? Твой началник?

Мальцев. А твой? Я попросил бы тебя...

Дадашев *(отмахнулся)*. Да, знаю, знаю! Что он думает сэбэ? Он сэбэ яму роет! Понымаешь? И тэбэ, кстаты! И тэбэ! И мнэ заодно!

Мальцев. Что ты несешь? Какую яму?

Дадашев. Хлубокую! Тры аршин хлубыны! Может, четыре!

Мальцев *(несколько надменно)*. Не понимаю!

Дадашев. А может — в пять аршин! А почем мне знать? Я не могилщик! «Кебле-элем» ему, выдыш, нэ нравытся! Лышный добрый слов шаху! Тут жарэным пахнэт! Паленым! Смэртью пахнэт! Понымаешь?.. А он скупытся на слова! «Кебле-элем»!

Мальцев. А-а... ты про это дело? С Мирзой-Якубом?

Дадашев. Спэрва мы рыщем, как волки... мэсяц! по всэму Тэхерану! Ищем каких-то женщин! Грузынок! Которых когда-то увэли в плэн!

Мальцев. Но мы ж не сами, и не своей волей, а по просьбе родственников!

Дадашев. Родствэнников! Ха! Ты молодец, Мальцев, женщин нэ знаешь. Да женщина, когда стала женщиной,— папу-маму забыла, нэ то, что родствэнныков! А гдэ эты женщины?.. Канэшно, в харемах! Сайты с ума! Харем — святыня для мусульманина!

Мальцев. Скажи, Дадашев, по-твоему, существует Туркманчайский трактат? О мире между Персией и Россией?

Дадашев. Что ты меня морочишь?

Мальцев. Там есть пункт о размене пленных с обеих сторон?

Дадашев. Да. Есть!

Мальцев. Тогда об чем разговор?..

Дадашев. Ну, что ты меня морочишь? Трактат! Трактат отделно, а жизнь — отделно! Трактат! Да эты женщины самы давно забыли, что надо их спасат!.. А-а! *(Махнул рукой.)* Вы всэ думаете по-русски — вот беда!

Мальцев. А как прикажешь думать нам?

Дадашев. Па-парсыдски, друг мой! Па-пэрсыдски! Если вас послалы в Пэрсию! Сперва — женщины... Потом этот евнух! Шахский! Да, панымаешь ли ты, что такое евнух?

Мальцев. Понимаю, верно! *(И улыбнулся мальчишески.)*

Дадашев. Ну, да! Ты думаешь — просто, скапэц! А я тэбэ скажу. Евнух — это почты что жена шаха! Чему смэешься?

Мальцев. Прости! Но ты очень смешно сказал. Мирза-Якуб? Жена?

Дадашев. Это болше, чем жена! Чудак! Это — хранител тайн! Его нэ выпустят живым отсуда! И нас вмэсте с ным!

Мальцев. Ты слишком мрачно смотришь! Александр Сергеич знает, что делает.

Дадашев. Знает! А что он дэлает тогда, твой Александр Сэргеич?

Мальцев. Не говори так! Не смей! Ты не знаешь, кто это! Это — один из умнейших людей у нас на Руси. Писатель! Автор всем известной комедии! Коей зачитывались несколько лет тому! Всё русское общество! «Горе от ума»! Не слыхал такую?

Дадашев. Что — «Горе от ума»? Какой «Горе от ума»? У нэго у самого — «горе от ума»!

Мальцев. Я просил тебя, Дадашев, никогда-никогда не относиться дурно об его превосходительстве! Во всяком случае при мне.

Расходятся.

Автор *(снова один, смеется)*. Вот так, примерно!.. Вот так, примерно!.. Во всяком случае завязка есть! Теперь?.. *(Соображает.)* Покуда посланник спит, и ему снятся сны. Скоро его начнут будить. Скоро явится Вестник. Драма, собственно, начнется в шесть утра. Или около того.

Где-то стук, будто в дверь.

Неужели уже все? А я не успел! *(Прислушивается.)*

Стук повторился.

Да погодите вы! Посланник не принимает! Он спит! Он занят! Он сочиняет.

Но менять привычки... Привычный способ бытия!..

Мирза-Якуб молчит.

А ежли без имущества... что вас ждет в Эривани? Близких, сколько я знаю, у вас там нет. Не осталось после всех войн. Что вас ждет?

Мирза-Якуб. Камни, ваше превосходительство! Камни!..

Автор. Камни?.. Да. Камни... Камни — это серьезно.

Мирза-Якуб. Я достаточно послужил этому дому. Я хочу вернуться в свой. Человек имеет право вернуться домой!

Пауза.

Автор. И вы давно это надумали?

Мирза-Якуб. Нет. Недавно. А может... я об этом думал всегда!

Автор. А что скажет ваш начальник?.. Высокочтимый Манучихр-хан?

Мирза-Якуб. Не знаю, что он скажет. *(Та же усмешка.)* Не знаю. Были два армянских мальчика. Оба играли на пыльных камнях Эривани. Потом... по восемнадцати лет... оба отправились в поход с русскими... В злосчастный поход Цицианова на Эривань! Оба были взяты в плен персами. С обоими сделали то... что сделали... И... оба стали тем, кто они есть сейчас: Манучихр-хан — главный евнух шаха. Муэтемид-эд-доуле... Особо доверенное лицо его. И Мирза-Якуб — главный казначей! Я не ведаю, что скажет Манучихр-хан!..

Автор. А... его величество шахиншах? Вы служили ему долго.

Мирза-Якуб. Тем более! Собака и та имеет право на старости вернуться в свою конуру... а не остаться умирать под пиршественным столом хозяев... в ожидании подачки. Уже не нужной!

Автор. Хорошо. Я согласен. Только...

Мирза-Якуб *(с той же странной усмешкой)*. И какое еще условие придумано для меня?

Автор *(жестко)*. Вы не поняли! Я хотел сказать... К посланнику не приходят ночью! Тайком, когда все спят... Будто он — не посланник вовсе, а скупщик краденого. Только днем! Открыто! У всех на глазах!

Мирза-Якуб. Благодарю вас! Я приду поутру. *(Тот же низкий поклон.)*

Ушел. Словно растворился беззвучно.

Автор *(мрачно)*. И чем это кончится, я тоже знал, еще три дня тому. Когда Мирза-Якуб явился в посольство.

Пауза.

(Внезапно оживляясь.) Вот-с! И чем не завязка?.. А для любителей быстрых поворотов действа развязка не заставит себя ждать!.. Что ж! План счастли́в, как говорится. План счастли́в! Осталось только развернуть. В соответствии с истиной — страстей и обстоятельств. Что дальше?.. Теперь, верно, Мальцев беседует с Дадашевым. Он же — Дадаш-бек, наш первый толмач. Сиречь, переводчик.

В отдалении от него появляются Дадашев и Мальцев.

Мальцев. Придется переписывать ноту!

Дадашев. Вай! «Кебле-элем» нэ нравытся, конэшно?.. «Кебле-элем»?

Мальцев. Ну, да. «Кебле-элем»! И, признайся, господин посланник говаривал тебе, и не раз — я сам свидетель! — что он не обращается так к шаху: «центр мира», «средоточие вселенной», а пишет просто — «его величеству». И я просил тебя, если помнишь, ничего не прибавлять от себя, когда переводишь документ! И признайся, ты поступаешь не совсем хорошо, когда пользуешься тем, что я не знаю по-персидски.

Дадашев. Вай! Какой плохой этот Дадашев! Глупый Дадашев! Ему всэ говорят, а он ныкак нэ возмет в толк! *(Воздел руки к небу. После — резко.)* Ты лучше скажи, что он думает сэбэ? Твой началник?

Мальцев. А твой? Я попросил бы тебя...

Дадашев *(отмахнулся)*. Да, знаю, знаю! Что он думает сэбэ? Он сэбэ яму роет! Понымаешь? И тэбэ, кстаты! И тэбэ! И мнэ заодно!

Мальцев. Что ты несешь? Какую яму?

Дадашев. Хлубокую! Тры аршин хлубыны! Может, четыре!

Мальцев *(несколько надменно)*. Не понимаю!

Дадашев. А может — в пять аршин! А почем мне знать? Я не могилщик! «Кебле-элем» ему, выдыш, нэ нравытся! Лышный добрый слов шаху! Тут жарэным пахнэт! Паленым! Смэртью пахнэт! Понымаешь?.. А он скупытся на слова! «Кебле-элем»!

Мальцев. А-а... ты про это дело? С Мирзой-Якубом?

Дадашев. Спэрва мы рыщем, как волки... мэсяц! по всэму Тэхерану! Ищем какых-то женщин! Грузынок! Которых когда-то увэли в плэн!

Мальцев. Но мы ж не сами, и не своей волей, а по просьбе родственников!

Дадашев. Родствэнников! Ха! Ты молодец, Мальцев, женщин нэ знаешь. Да женщина, когда стала женщиной,— папу-маму забыла, нэ то, что родствэнныков! А гдэ эты женщины?.. Канэшно, в харемах! Сайты с ума! Харем — святыня для мусульманина!

Мальцев. Скажи, Дадашев, по-твоему, существует Туркманчайский трактат? О мире между Персией и Россией?

Дадашев. Что ты меня морочишь?

Мальцев. Там есть пункт о размене пленных с обеих сторон?

Дадашев. Да. Есть!

Мальцев. Тогда об чем разговор?..

Дадашев. Ну, что ты меня морочишь? Трактат! Трактат отдельно, а жизнь — отдельно! Трактат! Да эты женщины самы давно забыли, что надо их спасат!.. А-а! *(Махнул рукой.)* Вы всэ думаете по-русски — вот беда!

Мальцев. А как прикажешь думать нам?

Дадашев. Па-пэрсыдски, друг мой! Па-пэрсыдски! Если вас послалы в Пэрсию! Сперва — женщины... Потом этот евнух! Шахский! Да, панымаешь ли ты, что такое евнух?

Мальцев. Понимаю, верно! *(И улыбнулся мальчишески.)*

Дадашев. Ну, да! Ты думаешь — просто, скапэц! А я тэбэ скажу. Евнух — это почты что жена шаха! Чему смэешься?

Мальцев. Прости! Но ты очень смешно сказал. Мирза-Якуб? Жена?

Дадашев. Это болше, чем жена! Чудак! Это — хранител тайн! Его нэ выпустят живым отсуда! И нас вмэсте с ным!

Мальцев. Ты слишком мрачно смотришь! Александр Сергеич знает, что делает.

Дадашев. Знает! А что он дэлает тогда, твой Александр Сэргеич?

Мальцев. Не говори так! Не смей! Ты не знаешь, кто это! Это — один из умнейших людей у нас на Руси. Писатель! Автор всем известной комедии! Коей зачитывались несколько лет тому! Всё русское общество! «Горе от ума»! Не слыхал такую?

Дадашев. Что — «Горе от ума»? Какой «Горе от ума»? У нэго у самого — «горе от ума»!

Мальцев. Я просил тебя, Дадашев, никогда-никогда не относиться дурно об его превосходительстве! Во всяком случае при мне.

Расходятся.

Автор *(снова один, смеется)*. Вот так, примерно!.. Вот так, примерно!.. Во всяком случае завязка есть! Теперь?.. *(Соображает.)* Покуда посланник спит, и ему снятся сны. Скоро его начнут будить. Скоро явится Вестник. Драма, собственно, начнется в шесть утра. Или около того.

Где-то стук, будто в дверь.

Неужели уже все? А я не успел! *(Прислушивается.)*

Стук повторился.

Да погодите вы! Посланник не принимает! Он спит! Он занят! Он сочиняет.

Пауза. И ие понять уже, сон это или явь. К нему входят персы, много персов. В роскошных халатах и белоснежных чалмах. Они несут на вытянутых руках шубы из разных мехов. И как бы распластывают перед ним свой товар.

Автор *(растерянно)*. Шубы?.. Но я получил уже подарки шаха!.. И полагаются не шубы, а шали — по церемониалу!..

Пауза. Та же игра.

Но я не заказывал! и никаких шуб!..

Пауза. То же.

А-а... вы хотите, чтоб я уехал отсюда?

Пауза. Они начинают пятитьси — тан же, приседая и клапяясь, пока не исчезают вовсе. Меж тем — голоса в глубине сцены:

Первый. К господину посланнику! Срочно! От Манучихр-хана!

Другой *(неуверенно)*. Слышишь, Сашка?.. Наверпое, надобно будить!

Третий *(степенно)*. Кому надо, а кому и не надо!.. *(Помолчав.)* Да нельзя их будить. Им доктор Мальмберх вчерась от спа пилюлю дали.

Теперь воаник павильон Комедии — все так же недостроенный. «Дом Фамусова». Горы и дымы на ааднем плане.

Снуют какие-то люди. Больше в военпом, ио есть и статские, и дамы. Рабочие сцены — верно, солдаты,— воаятся ва декорации, что-то прилаживая и приколачивая. Стук молотков. На пороге павильоиа появилась Молодая дама — явно «из общества», но одетая служанкой.

Дама-служанка *(томным голосом)*. Светает! ах! как скоро ночь минула!

Двое солдат несут стеику второго этажа.

Солдаты *(молодому офицеру)*. Куды ее, ваше благородие?

Молодой офицер. Неси наверх! Это — второй этаж.

Солдаты уносят стенку. Остановились перед павильоном.

Солдаты *(меж собой)*:
— А чегой-то будет?.. не скажешь?
— Та... барская затея! Феатр называется.

После стенку устанавливают яа перекрытни.

Дама-служанка *(тому же офицеру)*. Чацкого не видели?

Молодой офицер. Нет, представьте. *(Стоит, наблюдает за работой.)*

Дама-служанка. Ну, как я вам в этом? *(Повертелась перед ним.)*

Молодой офицер *(любезно и рассеянно)*. Очаровательны! Из вас бы вышла прелестная субретка!

Дама-служанка. А сами даже не взглянули!

Автор в это время стоит на просцениуме в рассеяньи и как бы безучастно наблюдая.

Автор. Это лишь — моя Комедия. Это уже не имеет отношения ко мне. *(Но тут солдат на перекрытии сильно накренил стенку, так, что она чуть не свалилась.)* Ну, что он делает, а? что делает?! Да придерживай ее! А теперь приколачивай снизу! Приколачивай!.. *(После, как бы в извиненье себе.)* Я всё еще достраиваю нечто. Такое — непонятное и мне самому...

Дама-служанка *(офицеру)*. А что это там, вдали?.. Дым какой-то?

Молодой офицер. М-м... Вероятно, дым отечества! Костры солдатские!

Подходят еще участники спектакля...

Барышня *(строгого вида)*. А рояль будет?

Молодой офицер. Ну, что вы! Рояль! В этой забытой богом Эривани даже и путной флейты не сыщешь!

Барышня. А как же тогда... «то флейта слышится... то будто фортепьяно»?

Молодой офицер. Придется обойтись полковым оркестром.

Дама-служанка. Фи! Полковым!

Барышня. Чацкий не попадался вам?

Молодой офицер. Нет. Все спрашивают.

Барышня. И куда он запропастился?

Автор *(улыбнулся грустно)*. Моя Софья!.. Сия роль в моей судьбе, увы, необъяснима для меня!

Софья *(повела плечиком)*. А как же без него?

Молодой офицер. Покуда репетируем только общие сцены. Бал у Фамусова.

Дама-служанка *(разочарованно)*. Бал? И только?

Молодой офицер. Да. Самое начало, где съезд гостей. И там, где Чацкого ославляют сумасшедшим.

Софья *(помолчав, жалобно)*. И рояля нет! И Чацкий куда-то делся!

Кто-то *(из офицеров)*. Ну, может, он в странствии. Не воротился еще!..

Смех.

Автор *(нахмурившись)*. Но я уже не могу вызвать его! Я постарел, он — нет!

Снова стук. Теперь ближе.

Молодой офицер. Ну, кто там расстучался опять? Ведь мы же репетируем!

Свет меркнет. Интермедия голосов:

Голос. Да нельзя их будить! Они, поди, только второй сон видют!

Голос Мальцева *(уже раздраженно)*. А ты почем знаешь, какой?

Голос. А мы про их все знаем! Мы с ими — молочные братья!

Автор *(улыбнувшись)*. Это Сашка! Мой слуга. Очень важное лицо...

Пауза.

Скоро начнут будить! А жаль!..

Еще неразборчивые голоса...
Покааался некто в длинном балахоне... и, когда приблизился, стало видно, что это — одежда каторжника.

Автор *(почти без удивления)*. Якубович?

Якубович. Смотри-ка! Узнал!

Автор. Еще бы! А ты мало переменился!

Якубович. А у нас там хороший климат в Сибири. Здоровый! Никто и не болеет почти. *(Оглядывается весьма бесцеремонно.)* Развиваешь бурную деятельность? На посту посланника?

Автор *(ровным тоном)*. Полномочного министра. Что ты хочешь сказать?

Якубович. Ничего. Автор «Горя от ума»... Посланник тирана! Даже интересно! А представляешь, как это должно видеться там?..

Автор. Где?

Якубович. Там, где я теперь! В царстве мертвых или заживо погребенных.

Автор *(спокойно)*. Представляю.

Якубович *(еще оглядывается)*. Твоя резиденция?

Автор *(усмехнулся едва)*. Привал комедианта! Может, последний. Ну, что дальше?

Якубович. И чем ты занят?

Автор. Вот, думаю. А почему ты не убил меня тогда?

Якубович. Не знаю. Все-таки я отстрелил тебе два пальца. Ты стал отметный!.. И моя точка, так сказать, есть в гениальном произведении. Смеешься? А ведь играть больше не будешь!.. *(Перебрал пальцами правой руки — как по клавиатуре.)* Я не захотел!

Автор. Почему не буду? Играю! *(И пошевелил пальцами левой руки.)*

Только приходится изготовлять специальную аппликатуру. *(И еще пошевелил.)*

Я к у б о в и ч *(помолчав, уныло)*. А зачем мне убивать? Мне и не надо. Я лучше стану поминать тебе. Иногда. Помнишь Ваську Шереметева?.. Веселого Ваську Шереметева?

А в темноте — уже раздраженные г о л о с а:

М а л ь ц е в. Ну, разбудишь или нет? Кому говорят?! Скотина!

С а ш к а. ...Я не скотина, господин Мальцев! Я слуга. И не ваш, а господина посланника!

Д а д а ш е в. ...Ну, тэбэ, как чэловэку говорят! Буды! Тут смэртью пахнет! Понымаешь?

С а ш к а *(меланхолично.)* Ну, уж сразу и смертью!.. *(После паузы.)* А-а... смертью — тогда ладно! От смерти и впрямь придется будить!..

А в т о р *(Якубовичу — быстро, словно боясь не успеть)*. Мне жаль, скажу откровенно. Что ты *там*, я здесь. И нельзя уже ни ненавидеть, ни любить. А следует лишь принимать данность.

Г о л о с С а ш к и *(почти рядом с ним)*. Александр Сергеич! А, Александр Сергеич!

Удар! Это с треском упала на пол плохо закрепленная стенка второго этажа.

А в т о р *(мрачно)*. Опять не достроил! Ладно. В другой раз

Быстро входит С а ш к а.

С а ш к а *(с порога)*. Александр Сергеич!

А в т о р. Чего кричишь? Не видишь? Я разговариваю!

С а ш к а. С кем?

А в т о р. С самим собой!

С а ш к а. А-а... Там пришли от Манучихр-хана. Племянники. Срочно требуют вас. Говорят, толпа сбирается в городе супротив нас.

А в т о р *(усмехнулся)*. И много племянников пришло?

С а ш к а. Нет. Одне-с!

А в т о р. А-а... А то у тебя никогда понять нельзя, где один, где много... И ради этого стоило будить меня в такую рань?..

Сашка терпеливо молчит

Но ты же знаешь: нельзя меня будить так — рывком! У меня потом весь день голова болит! Что я буду делать с такой башкой?.. *(Помотал головой.)*

Пауза.

(И, как бы созерцая себя со стороны,— в зал.) И этак вот... в домашнем халате и в туфлях на босу ногу, заспанный и злой... Александр Сергеич Грибоедов, Посол России в Персии и Полномочный министр вступил в свой последний день!..

Пауза.

(Зло.) Нет! Все вон! Ничего не выходит! Не получается!.. *(Жест, каким рвут бумагу пополам и еще пополам.)*

Сверху к ногам его, осыпая сцену, падает дождь из порванных черновиков.

Картина вторая

А в т о р и С а ш к а *(продолжение)*. Сашка подбирает с полу бумаги, потом стал сметать их, как сор.

С а ш к а. Ненужные? Александр Сергеич?..

А в т о р *(махнув рукой)*. Ненужные!..

Пауза.

(Себе.) Душа моя полна! Так отчего же я нем, как гроб?.. А кажется, чего проще? Развязать язык! Как факир на базаре развязывает свой мешок... И вытащить на свет змея, свернувшегося клубком там, в глубине. Мудрого змия воспоминаний!.. И черпать из них, и черпать... а там... что Бог даст!

Пауза.

(Сашке.) Какая толпа? Что за толпа?

С а ш к а. Так, персияны, должно быть.

А в т о р. Ясно — не французы!

С а ш к а. Там пришли господин Маликов. Племянники Манучихр-хана. Срочно требуют вас. Как бы от него!

А в т о р. Срочно? *(Усмехнулся с издевкой.)*

С а ш к а. Срочно.

А в т о р. Погоди! Маликов — это который Соломон?

С а ш к а. Да. Их зовут Соломон.

А в т о р. Соломон — это хорошо! Соломон, значит, мудрый.

С а ш к а. Приезжие. Из Еривани.

А в т о р. Да, знаю, знаю. Милый юноша. И что мне нового может сказать сей премудрый Соломон? *(Помолчал. Бесстрастно.)* Из наших кто в городе есть?

С а ш к а. Ну, да. Рустам.

А в т о р. А что он там позабыл?

С а ш к а. Ушел за покупками.

А в т о р. Хм! Так, базар, верно, закрыт?

С а ш к а. Ну, просто... прогуляться. Любопытно ему.

А в т о р. И хорошо. Вернется Рустам, и все узнаем, что там делается.

Пауза.

А может... дождаться Рустама и покуда не принимать никого?

С а ш к а. Нельзя-с! Очень требуют!

Пауза.

(Осторожно.) Позвать его? Александр Сергеич?

А в т о р. Кого?

С а ш к а. Да этого... Соломона.

Пауза.

Так позвать?

А в т о р *(усмехнувшись)*. А ты знаешь, кто это?

С а ш к а. Племянники Манучихр-хана. Кому ж еще быть?

А в т о р. Это Вестник, чудак! Вестник! Вот позовешь его — и вся развязка на тебе!

С а ш к а *(ничего не поняв)*. Истьвественно!

Вышел.

А в т о р *(один)*. А что, если так?.. Под утро ему снится сон... и во сне он видит всех, или почти всех, персонажей своей судьбы. Разбросанных по свету. И тех, кого давно нет... И кого никогда не было... только в воображении его... Все это кружится в воображении. Мелькают картины. И после... и благодаря этому сну... он может свободно беседовать со всем светом. И не считаясь ни с какими единствами! М-м... А что скажет Буало?.. *(Решительно.)* К черту Буало! *(И тотчас — в сомнении.)* Впрочем... такое уже где-то было! А? Нет?.. Все уже где-то когда-то было!.. *(Тоскливо.)*

Г о л о с *(женский)*. А кто такой Буало?

Вошла О н а. Бесцеремонно. Во всеоружии и в безоружности своих шестнадцати лет.

А в т о р *(улыбнулся)*. Ты и вправду не знаешь?

О н а. Нет. А кто это?

А в т о р. Прекрасно!

О н а. Не смейся надо мной!

Автор. Я не смеюсь. Как прекрасно быть женатым на женщине, которая не знает, кто такой Буало.

Она. Опять смеешься?

Автор. Нет. Слово чести! *(И свободным тоном.)* Буало?.. Он же — Депрео. Старый классик. Француз. Это он установил три классических единства в драме. Времени, места и действия.

Она. А что это?

Автор. Это значит, драма должна развиваться в одни сутки. По времени. В одном и том же месте. И действие не должно прерываться.

Она. А разве так бывает в жизни?

Автор. Не знаю... По этим правилам ты, например, уже не вписываешься в эту пиесу.

Она. То есть, как так?.. я не вписываюсь?

Автор. Ну, да. Противуречишь сразу двум единствам: времени и места. Я — здесь, в Тегеране... а мы расстались с тобой в Тебризе. И больше месяца тому.

Она. Он ничего не понимает, твой Буало!

Автор *(улыбнулся)*. Может быть... Хотя... было несколько неплохих людей, которые что-то сказали в этом мире и что-то написали... следуя его правилам. Молиер, например. Слыхала такого?

Она. За кого ты принимаешь меня? «Мизантроп», «Дон-Жуан»!..

Автор. Да. И... он умер на сцене. И тогда дали занавес! Это надо суметь! Он был хороший драматург.

Она. Не надо! Я боюсь!..

Автор. Чего ты боишься?

Она. Не надо о смерти!.. Я не рассказывала тебе! Это было давно. Еще в юности... Еще до тебя! Я провела два страшных года. Мне было лет двенадцать... Я вдруг открыла для себя, что я тоже умру. Мне стало так страшно! Днем еще ничего — люди!.. отвлекаешься невольно. А ночью... Лежишь и представляешь себе, лежишь и представляешь... Я тогда ужасно худая была.

Автор. Я помню...

Она *(строго)*. Но ты тогда не мог знать, какая худая на самом деле! В платье не так заметно!.. Казалось... кости и те просвечивали. И я ненавидела себя. Эти тонкие кости, кожу, как бумага... И смертельно завидовала всем другим... Но... Как только я начинала думать, что умру... я начинала все любить в себе. И эти тонкие кости, и кожу, как бумага!..

Автор. Понимаю. Со всеми так бывает. В юности...

Она. Не со всеми! Только со мной!.. *(Подумав немного.)* А почему мне всегда кажется, что все, что происходит,— это только со мной?

Автор. Потому что... тебе только шестнадцать лет!

Она. Пятнадцать. Не прибавляй мне, пожалуйста! Шестнадцати еще нет. Я очень боюсь старости!..

Автор. Ты... и старость? *(Рассмеялся.)*

Она *(опустилась на колени подле, потерлась щекой об его руку)*. Теперь другую. Можно? Ту, что простреленная! *(Рассматривает руку.)* Тебе было очень больно?..

Автор. Да. Нет. Не очень. Не помню уже. Те боли быстро забываются.

Она *(мечтательно)*. Ты еще обещал мне рассказать всю свою жизнь. От самого начала!.. *(Целует его руку.)* Я снюсь тебе? Хоть иногда?

Автор. Нет. Но когда я вижу тебя въяве, мне все кажется, что ты мне приснилась.

Где-то эхо шагов.

Она *(полушепотом)*. А открыть тебе секрет?.. Я и теперь не могу никак привыкнуть к этой мысли. О смерти.

Автор *(прислушался)*. Тише! Сюда идут!..

Она. Ты занят?

Автор. Да. Более или менее. Сочиняю одну драму. После расскажу... *(Прислушиваясь.)* Шаги судьбы! Какой легкий шаг!.. *(И заговорщицки подмигнул ей.)* Надуем ее?

Она *(растерянно)*. Ага. Надуем!

Исчезает.

А перед Автором уже стоит Соломон Маликов — Вестник. Армянский юноша лет восемнадцати.

Автор *(после паузы)*. И что предлагает мне высокочтимый Манучихр-хан?

Маликов. Дядя просит передать... Ваше превосходительство! Если... пока не поздно... пока еще темно, и толпа пред воротами не собралась... перевести Мирзу-Якуба в другое, более безопасное место?..

Автор *(отрывисто)*. В какое... место?

Маликов. В мечеть Шах-Абдул-Азима.

Автор. А чем это лучше для него?.. мечети Имам-Джюме? Где, по вашим словам, и сбирается толпа?

Маликов. Дядя пояснил, что всякая мечеть должна служить защитой мусульманину. Там еще какое-то слово, да я позабыл.

Автор. *Бест!* Убежище.

Маликов. Да. Точно. Именно — бест! Как вы узнали?.. И что в истории было много случаев, когда праведник, обвиненный в чем-то в одной мечети, находил спасенье в другой.

Автор *(больше сам с собой)*. Да... бест... убежище! Всякая мечеть — это бест для мусульманина. Мирза-Якуб, правда, вряд ли является праведником, но...

Маликов. Вы согласны, ваше превосходительство?

Автор молчит, словно застыл.

До дяди дошел слух... что Молла-Месих нынче, во время утренней молитвы в мечети Имам-Джюме... намерен объявить джихад.

Та же пауза.

Священную войну! Против неверных, ваше превосходительство!

Автор *(пошевелился)*. Благодарю вас. Я знаю, что такое джихад. Остается спросить — кто неверный в данном случае?.. Я, должно быть! *(И рассмеялся надменно.)* Но Мирза-Якуб, покуда он здесь, находится под защитой Русской миссии! Самого имени России!

Маликов. Ваше превосходительство! Дядя потому и послал меня, а не кого другого... Он просил предупредить! Ему неизвестно, какие инструкции получит для сегодняшнего дня господин губернатор столицы Зюлли-Султан!

Автор. А-а... Вон как! *(С усмешкой.)* И как только вы запомнили это все? *(Почти без перехода.)* Ваш дядя — варвар! Он — чудовище! Честное слово! Скажите ему от меня! *(Юноша смотрит обалдело.)* И из-за этого стоило будить вас в такую рань? *(Рассмеялся. И Маликов принужденно рассмеялся за ним.)* Впрочем... мой дядя тоже обладал сей злокозненной привычкой — будить меня чуть свет. Что делать?.. Старикам плохо спится. У них думы о жизни. И они будят юношей, у которых нет ровно никаких дум. В этом, если хотите — одно из противуречий бытия.

Маликов. Я должен понять так, что вы против, ваше превосходительство?

Автор. Нет, мой друг. Я думаю.

Пауза — потому что опять увидел Ее: стоит в стороне, смотрит жалобно.

(И под этим взглядом.) Что ж! Я согласен.

Маликов *(обрадованно)*. Правда?

Автор. Да. Пожалуй. В этом есть смысл! *(И как бы убеждая самого себя.)* В конце концов, Мирза-Якуб — мусульманин... и естественно для него... м-м... в столь трудных обстоятельствах вручить защиту свою не слабым людям вроде нас, а непосредственно своему Богу!

Маликов *(обрадованно)*. Это можно сделать тотчас?.. Я мог бы тогда тотчас и проводить его туда!

Автор. Вы?.. *(Поморщился.)* Не делайте лишних шагов! Молодой

человек не должен делать лишних шагов. Его проводят и без вас. *(Усмехнулся мрачно.)* Не завидую тому, кто нынче покажется на этих улицах с таким спутником, как Мирза-Якуб...

Маликов *(по-детски)*. А что может случиться?.. Я — племянник Манучихр-хана!

Автор *(не ответив)*. Теперь остается только спросить его самого. Мирзу-Якуба. Вы не говорили с ним?

Маликов. Нет. Я прямо к вам. Но...

Автор. Уж не обессудьте! Раз вы вмешались в это все... Я — хозяин, он — гость. Если предложенье будет исходить от меня, он может подумать — я прогоняю его. *(Без перехода — крикнул куда-то.)* Сашка! Сашка!

Сашка *(входя)*. Звали?

Автор. Ты же слышал, что звал. Благоволи проводить нашего гостя господина Маликова в комнаты, кои занимает наш гость господин Мирза-Якуб. *(И — Маликову.)* Видите ли, друг мой, имущество Мирзы-Якуба, как выяснилось тут в последние дни, может, и впрямь спорный вопрос. Но жизнь его — *бесспорно*! — принадлежит лишь ему самому! И лишь ему дано решать, кому он склонен вверить ее защиту.

Маликов вышел.

Она *(приблизилась и почти со страхом)*. А если он не согласится?..

Он не ответил, стоит неподвижно. Пауза. Поднял голову — ее нет. А входит Мальмберх своей пружинистой походкой.

Мальмберх *(весело)*. Чуть свет уж на ногах — и я у ваших ног! Не помните, откуда это?

Автор *(помрачнел)*. Помню, к сожалению! Это из моей Комедии. Я настрочил в ней столько каламбуров, что они теперь мешаются мне на каждом шагу!

Мальмберх. Как спали?

Автор. Прекрасно. То есть, ужасно! То есть, спал хорошо, но... Проклятая пилюля!

Мальмберх. Что же в ней плохого?

Автор. Не пойму, что с головой. Разыгралось воображение. Какое-то мрачное пиршество воображения! Голова раскалывается — на прошлое и настоящее. И не всегда понятно, где грань.

Мальмберх *(пожал плечами)*. Так это особая пилюля! По восточному рецепту.

Автор. И что в ней такого особенного?

Мальмберх. Восток есть Восток. Он знает секреты. Некоторые. Как соединить... Прошлое и настоящее. Прошлое и будущее! Нам это не понять. Европа преуспела в одном, Восток — в другом. Каждому свое.

Автор. Извольте объяснить!

Мальмберх. Пожалуй!.. Европейская мысль потратила тысячелетья на то, чтоб постичь одну человеческую жизнь. В ее конкретности. Ограниченности. На коротком отрезке. *(Двумя руками изобразил этот отрезок.)* На Востоке эта отдельная жизнь значит, скажем прямо, куда меньше, чем у нас... И нету этого особенного интереса к ней. Но... больше ее связь — с жизнью всех людей. С общей жизнью. С прошлым, с будущим... С Вечностью, если хотите!

Автор. Забавно! А почему мы с вами прежде не говорили об этом?

Мальмберх. Не знаю. Не привелось!

Автор. Забавно! Надо бы еще вернуться к этому разговору. Может, даже нынче?..

Пауза.

А там, конечно, тоже все уж на ногах?.. Все взволнованы?

Мальмберх. Есть немножко. *(Усмехнулся.)* Но нам как будто угрожают? Какая-то толпа, какие-то страсти?

Автор *(надменно)*. Слухи! Непроверенные!.. Напугать меня хотят! Но я не из пугливых!.. И потом... что за толпа? Какая толпа?.. Пошумят — разойдутся! Я знаю персов. И потом... Полагаю, шах Фетх-Али и губернатор Зюлли-Султан должны быть более обеспокоены этой толпой, чем я, грешный.

Мальмберх. Почему вы так уверены?

Автор. Что? новая война? Когда не оплачены еще долги предыдущей?.. Я не жду от моих партнеров такого забвения самих себя. Во всяком случае я посылаю ноту протеста! *(Усмехнулся.)* Очередная моя нота, где я принимаю угрожающий тон, ибо иного выхода у меня нет!..

Мальмберх. Вы все ж обеспокоены?

Автор. Нет. Не очень. Ну, во-первых... все тихо, как слышите, и никакой толпы нет... Так что, может, все еще — милые восточные штучки — слухи! А во-вторых... Не волнуйтесь! Я, как-никак — драматург... и понимаю толк в концовках!

Мальмберх. Только опасаюсь... Восток еще способен удивить нас!

Автор. Чем... удивить?

Мальмберх. Своей бескорыстностью. Или легкомыслием. Зовите, как хотите. Чем-то, что во вред себе и в несогласии с реальностью в нашем понимании. И что, с их точки зрения — кто знает? — может, и есть другая реальность!

Поклонился и вышел, оставив Автора в мрачном настроении. Возник Мирза-Якуб.

Автор *(ему)*. А мне показалось приемлемым предложенье Манучихр-хана.

Мирза-Якуб. Ваше превосходительство! Не отсылайте меня! Я боюсь!

Автор *(подумал еще)*. Не бойтесь. Я все взвесил. Тут вряд ли есть какой-то подвох. Из мечети вас наверняка не возьмут — это противоречило б шариату. Который сейчас как бы против вас. А вы, наоборот, вступивши в мечеть, тем самым признаете над собой его власть. То есть, того же шариата. Это хитрый ход! Типично восточный. И лишь в наторенном уме Манучихр-хана мог возникнуть такой. Я бы сам не додумался, скажу откровенно. Я пока буду вести переговоры... Долго! Торговаться... А дня через два-три мы извлечем вас оттуда. Из мечети. Может, тайно... И отправим домой. В Эривань. Слово чести! Я не покину вас там!

Мирза-Якуб. Все равно. Я боюсь!.. Я понимаю, это звучит не совсем красиво, может — не совсем благородно... Но, Боже мой! — что благородство в этом мире?.. Я боюсь встречи с теми, кому служил столько лет! И тогда, когда служил, я тоже боялся!

Автор. Почтенный Мирза-Якуб! Страх — не лучший вожатый, каким следует руководствоваться в житейском лабиринте. Я, может, тоже боюсь. И что из того? Бояться людей — значит, баловать их. Я всегда так считал.

Мирза-Якуб. Вы?.. Боитесь?.. *(Надменно. И — быстро, яростно.)* Мне было лишь восемнадцать, когда меня взяли в плен! Меня скрутили по рукам и ногам и подвели к скамье, залитой уже кровью десятков жертв передо мной. Меня швырнули на нее — будто ничего не было. Ни моей единственной жизни. Ни моей бессмертной души... И какой-то мясник в темных перчатках, тоже залитых кровью, приблизился ко мне...

Автор. Хватит. Я это слышал уже!

Но Мирза-Якуб, возможно не услышал его.

Мирза-Якуб *(взялся за голову обеими руками и закричал)*. А-а-а!.. *(Длинно, на одной ноте. Точно это с ним — сейчас.)*

Автор. Успокойтесь! Сейчас же, слышите? Я не собираюсь неволить вас!

Мирза-Якуб *(приходя в себя)*. И тогда... во мне поселился этот страх!.. На всю жизнь. И я пришел к вам, чтоб вы помогли мне избыть его!.. Представьте... на моем месте юношу, которого вы послали ко мне.

Автор *(мрачно)*. Не я послал. Манучихр-хан. И зря, между прочим. Зря он его впутывает в это дело!.. Но это — между нами.

Мирза-Якуб. Манучихр-хан считает, что достаточно защищен в этом мире. *(Та же усмешка.)* И он, и ближние его.

Автор. Вы думаете?.. А как по-вашему, он помнит это все? То, что рассказали мне вы?

Мирза-Якуб. Кто... помнит ли?

Автор. Манучихр-хан! Это с ним ведь тоже было. Вы извините. Но мне надо понять.

Мирза-Якуб. Не знаю. *Мы* с ним ни разу не говорили об этом!..

Автор. А-а...

Мирза-Якуб. У людей... нашего положения не принято об этом говорить.

Пауза.

Автор. А мне показалось приемлемым предложенье Манучихр-хана...

Мирза-Якуб. Это потому, ваше превосходительство... что вас, в жизни вашей, не бросали на эту скамью!

Исчезает неслышно.
Автор еще раздумывает, после опускается на диван. И тогда перед ним за шахматным столиком оказывается другой: тоже в пышном халате и в чалме, как Мирза-Якуб. Но несравнимо более величественный.

Автор *(склонив голову)*. Я слушаю вас, высокочтимый Манучихр-хан.

Манучихр-хан. Сыграем лучше в шахматы.

Автор *(поморщился)*. Зачем?.. Я не хочу шахмат.

Манучихр-хан *(явно изображая кого-то)*. А Манучихр-хан, вы слыхали? — видался вчера с российским посланником. С Грибоедовым!.. И что они делали там?.. Да нет, ничего. Они пили шербет, и они играли в шахматы... *(Усмехнулся.)* Вы еще не привыкли. В Персии все всё знают.

Автор. И *вы* опасаетесь чего-то? Вы, Манучихр-хан? Особо доверенное лицо в этой стране?

Манучихр-хан *(делает неопределенный жест)*. Так, доверие существует, покуда не теряют его... Какой цвет предпочитает наш уважаемый гость?

Автор. Мне все равно!

Манучихр-хан. Тогда берите белые.

Автор. Почему — белые?

Манучихр-хан. Интересно посмотреть, какой вы сделаете первый ход! Собираетесь защищаться или нападать?

Автор. Не знаю. Защищаться, верно.

Манучихр-хан. Тогда тем более белые! Защищаться лучше всего — нападая!

Расставляют фигуры...

Автор *(улыбнулся)*. А я тоже, признаться, не имею права встречаться с вами!

Манучихр-хан. А вам кто мешает?.. Ваш государь далеко.

Автор. Один старый француз. Буало, он же Депрео.

Манучихр-хан. Не слыхал о таком.

Автор. Однако это он установил три классических единства в драме. Времени, места и действия... Нынче какое у нас? Тридцатое? Генваря... По-европейскому. А наш разговор с вами был вчера. То есть, двадцать девятого!.. И не здесь, а в вашем доме.

Манучихр-хан. Не понимаю. А что он может сделать вам, этот француз?

Автор. О-о! Много! Он может доказать мне, что я не драматург! Как дважды два!.. Это куда хуже, чем если вы докажете мне, что я никудышный политик.

Манучихр-хан. Странные вещи вас продолжают занимать! И где он теперь, этот ваш француз?

Автор *(легко)*. Он умер давно! Он жил в семнадцатом веке.

Манучихр-хан. И вы... единственный из людей, известных мне, кто осмелился в присутствии шахиншаха, царя царей, пересидеть лишних десять минут во время аудиенции!.. Вы! — способны бояться какого-то старого француза? Притом — давно мертвого?..

Автор. Ужасно боюсь! Просто дрожу!

Манучихр-хан. Странные люди вы, русские! Это что, национальная черта? Если вас может волновать нечто столь невещественное!

Автор *(легко)*. Ну, знаете! Вить гнезда — это и птички умеют. Кормить птенцов. А всерьез волноваться чем-то, что нельзя потрогать... *(И двинул фигуру.)*

Манучихр-хан. Странно! Никогда не видел, чтоб так начинали. Не с центральной пешки.

Автор *(рассмеялся)*. Что ж... Странный человек! Странные вещи его занимают! Странные делает ходы!.. *(Рассмеялся.)* Попробую! Надеюсь чуть-чуть развязать фигуры на фланге.

Манучихр-хан. Да, но... за счет скованности центральных фигур!..

Автор. Что ж! Все в жизни — за счет чего-то. Обретаем в одном, теряем в другом. Не затрудняйтесь! Я плохо играю в шахматы.

Манучихр-хан задумался, после сделал свой ход...

Манучихр-хан. Хотите правду?.. даже если, возможно, резко отличную от вашей?..

Автор *(ровным тоном)*. Да, хочу. И жду!.. Я слишком пристрастен к собственному мнению, чтоб не относиться с уважением и к любому другому.

Манучихр-хан. Самым неудачным из ваших ходов здесь, в Тегеране... вообще, в Персии... был и останется Мирза-Якуб!.. То, что вы приняли его под защиту. Остальное, пожалуй, вам легко простили б. Или сравнительно легко.

Пауза.

Ваш ход! Ваш ход!.. *(Отодвинулся в тень.)*

Почти тотчас вошел Сашка.

Автор *(ему)*. Не возвращался еще?

Сашка. Кто? Рустам?

Автор. Нет. Этот юноша. Соломон. От Мирзы-Якуба.

Сашка. Нет. Не возвращались.

Автор. И о чем они так долго?..

Пауза.

И Рустам не приходил?

Сашка. Нет. Не приходил.

Пауза.

Автор *(с видом человека, которого посетила забавная мысль)*. Сашка, а Сашка! А пошли с тобой в евнухи к шаху?

Сашка. Не, не хочем. Не пойдем!..

Автор. Почему?.. Чудак! Богатые станем! Перстни, шали!.. Ну, не век же нам с тобой на жалованье прозябать?.. Так его еще и плотют не вовремя!

Сашка. А зачем мне тогда перстни?

Автор. А что мы теряем, в сущности?.. Не так много, не так много. Ежли разобраться... Это все — суета, брат, суета!.. Эх, ты! Суетный ты человек — Сашка!

Сашка. Не. Не могем. Не пойдем! Погодим еще...

Автор. Ну, как хочешь. Как хочешь! Об тебе радею... Хотел из тебя человека сделать!.. *(Усмехнулся мрачно.)* Не твоя вина... и даже не моя! — что человеком в этом мире может стать только евну́х! Как хочешь! Как хочешь!.. Ладно! Ступай! Пошли ко мне сразу этого... Соломона. *(Остается один. Стоит неподвижно. Сам с собой.)* И о чем они — так долго?..

Она *(появляясь)*. Ты не обманываешь?.. Что все это только театр?.. *(Негромко и испуганно.)*

Автор *(нарочито легко)*. Ну, что ты! Ты ж видишь сама. Я держу все бразды... И все развивается согласно плану и моему собственному замыслу! Вот послушай, что я придумал. *(И невольно обнял ее.)*

Она *(мгновенно отвлеклась)*. Совсем худая, да?

Автор. Да нет, собственно...

Она *(вздохнула)*. Нет, я знаю, что ужасно!.. Но я уже вовсе не так худа, как была в двенадцать лет. Уверяю тебя! Вот, потрогай! Здесь и здесь... Правда?.. Если б ты знал, как я завидую пышным женщинам!..

Автор *(с улыбкой)*. Глупенькая! Ну, посуди сама! Ну, чему тебе завидовать? Бог мой!

Она. Не говори! Все они — мои враги! Смертельные! *(Он смеется, но ей не до смеха...)* Но она не любила тебя!

Автор. Кто — она?

Она. Не притворяйся! Ты прекрасно знаешь, о ком речь! Так называемая Софья! Мой главный враг!..

Автор *(с улыбкой)*. Не любила!

Она *(уже со слезами в голосе)*. И никто-никто — до меня — не любил тебя?

Автор. Ну, конечно! Ну, что ты, маленькая моя!.. Ну, конечно! Ну, что ты!.. *(Обнимает ее.)*

Она *(совсем другим тоном)*. А ты не перестанешь любить меня, когда я сделаюсь некрасивая? вся в пятнах?.. И с вот таким животом? *(Комический жест.)* А это будет уже скоро!..

Пауза.
Медленно освещается сцена на другой стороне.
Павильон Комедии — все так же недостроенный. Правда, на перекрытии опять едва приладили стенку второго этажа...
Засуетились люди. Участники спектакля (офицеры, статские, дамы...)

Молодой офицер *(прежний, заторопил)*. Начинаем, господа! Начинаем!.. И где Чацкий, хотел бы я знать?

Барышни на переднем плане репетирует сама с собой:

Барышня. ...сказать вам сон — поймете вы тогда!
Позвольте... видите ль... сначала —
Цветистый луг... и я искала
Траву...
Какую-то, не вспомню наяву...

Она *(Автору)*. Это и есть твоя Софья?..

Автор. Да... *(Виноватым тоном.)* Ну, теперь ты поверила, что все это — только театр?

Она. А почему они все в военном?

Автор *(усмехнулся)*. Не все. Видишь, дамы в статском.

Она еще постояла рядом с Автором, потом сыскала глазами какой-то стул — посреди пустого пространства меж жилищем Посланника и Павильоном Театра, пошла и опустилась на этот стул — с важностью, кутая плечи в легкую, белую накидку. И Автор, как в ложе театра, встал за стулом ее...

Она *(Автору, со слезами на глазах)*. Ты хитрец! Зачем ты скрыл от меня, что разрешили твою комедию на сцену?

Автор. Н-да. Нет. То есть, не совсем! Это всего лишь репетиция, не боле.

Она *(быстро)*. Это когда все повторяют? Множество раз?

Автор. Да...

Она. Обожаю репетиции! Даже больше, чем спектакли!

Автор. Почему?

Она. Ну, когда всё повторяют. Еще и еще...

Автор. А ты была когда-нибудь на репетиции?

Она. Еще бы! Без счета и без числа. Мысленно!.. Ты не думай, мне хорошо и так. Я согласна, чтоб была только репетиция. *(И тотчас деловым тоном.)* А правда, где Чацкий?

Автор. Не знаю. Исчез куда-то. Может понял, что мне теперь не до него.

Она. А как же без него?

Автор. Покуда разыгрывают только общие сцены Комедии Бал у Фамусова!

Меж тем участники спектакли стянулись к центру некоего круга, в котором стоит Молодой офицер.

Молодой офицер *(зачитывает всем по какой-то тетради)*. «В перспективе открывается ряд освещенных комнат... Слуги суетятся... один из них — главный...» *(Поднял голову.)* Кто у нас — слуга?

Юнкер *(игрушечный — в мундирчике, вытянулся, как во фрунт)*. Я! *(Декламирует.)*

Эй, Филька, Фомка — ну, ловчей!..
Столы для карт, мел, щеток и свечей!
Скажите барышне скорее, Лизавета —
Наталья Дмитревна! и с мужем!.. и к крыльцу
Еще подъехала карета!

Входящие гости поднимаются по ступеням и заполняют вестибюль дома Фамусова и часть пространства сцены.

Молодой офицер. Князь Тугоуховский и княгиня с шестью дочерьми!

Кто-то *(из участников — насмешливо)*. Пока есть только три княжны.

Молодой офицер. Пусть три! Начали!

Молодая дама *(всплеснув руками, театрально)*.
Князь Петр Ильич! Княгиня! боже мой!..
Княжна Зизи! Мими!..

Восклицания, шум встречи.

Графиня-внучка *(входя, капризно)*.
Ах, гранд-маман! ну, кто так рано приезжает!..
Мы первые!..

Автор *(Ей, вполголоса)*. В сущности... я ввожу тебя в старую Москву, где мы не были с тобой. Которой, может, давно и нет такой!.. но...

Юнкер-лакей *(очень громко)*. Еще подъехала карета!

Через площадку бала, рассеянно кивая всем, шествует величественная Пожилая дама. Поискав глазами кого-то, решительным шагом направилась прямо... к Автору. И он, как-то слишком поспешно, шагнул навстречу ей.

Пожилая дама *(властно)*. И кого мне прикажешь играть в этой твоей пиесе? Старуху Хлестову?

Автор *(склонился к ручке)*. Да... Ежли вы не против!

Пожилая дама. Что ж! Старуху так старуху! И подумать только — еще несколько лет тому вы должны были б валяться у меня в ногах, чтоб я согласилась сыграть вашу юную Софью! Подумать только!.. *(И столь же решительно двинулась обратно к гостям. Софье, нарочито громко.)*

Легко ли в шестьдесят пять лет
Тащиться мне к тебе, племянница? Мученье!
Час битый ехала с Покровки! силы нет!..
Ночь — светопреставленье!..

Она *(несколько с испугом, Автору)*. А кто это?

Автор. Хлестова — ты ж слышала! *(Чуть помолчав.)* Это — старуха Хлестова. И это... Настасья Федоровна, моя матушка. Вам еще предстоит встретиться с ней. И я, честно говоря, опасаюсь этой встречи. *(Улыбнулся.)* Но... Она теперь в Новинском, под Москвой... И слава Богу, что в Новинском! И что не надобно ничего объяснять!

Вертлявый человечек возник среди гостей — кругленький, лысый, в статском. Кланяется на все стороны. Держит под рукой какую-то папку. Может, текст пьесы...

Один из гостей *(другому)*.
При нем остерегись! Переносить горазд!
И в карты не садись — продаст!..

А кругленький подошел к Софье:

Кругленький. На завтрашний спектакль имеете билет?

Софья. Нет.

Он взял ее под руку, отвел в сторонку и что-то зашептал. Появился Офицер в летах — и восторженно, на публику:

Офицер.
Ждем князя Петра Ильича —
А князь уж здесь! А я забился там, в портретной!

Автор (Ей). Это Фамусов. И это мой дядя.

Фамусов (оглядываясь).
Где Скалозуб Сергей Сергеич? А?..
Нет, кажется, что нет! Он человек заметный!..

Она (Автору). Твой дядя?

Автор. Да. Он, как лев, дрался при Суворове, а после... лет тридцать пресмыкался во всех передних. Любимый мотив поучений его был: «А вот я, брат!..» *(Усмехнулся печально.)* Понимаешь?.. это — старая Москва! Трудно объяснить. Мы, может, однажды... еще явимся туда...

А кругленький, лысый, с папкой — подошел к Автору.

Автор *(ему, почему-то тоскливо)*. И ты здесь?

Кругленький. А где мне еще быть?.. Сам начертал, если помнишь, при отъезде... «Оставляю мое „Горе" Фаддею...» *(Раскрыл папку, показывает.)* Вот, тут написано! «Оставляю мое „Горе" Фаддею»... То-то, брат! Не вырубишь топором. Так что теперь, почитай, это как бы и моя пьеса!

Автор *(легко)*. Согласен! Пусть твоя.

Фаддей. Чудак ты! Чудак!.. Ежели б я, к примеру, сочинил такую пиесу...

Автор. И что бы ты сделал?

Фаддей. Я бы носом рыл землю — от Петербурга и до Персии! Но пробил бы на сцену! Неужто ты надеешься создать что-нибудь повыше ее?

Автор. М-гу. Надеюсь.

Фаддей. Но концовку все равно придется менять. Попомни мое слово!

Исчез в толпе гостей.

Она *(Автору, когда он вернулся к ней)*. А кто это?

Автор. Еще один сочинитель российский.

Фамусов *(торжественно)*. Сергей Сергеич Скалозуб!

Входит высокий военный.

Хлестова.
Творец мой! Оглушил! Звончее всяких труб!..

Фамусов.
Сергей Сергеич! Запоздали!
А мы вас ждали! ждали! ждали!..

Хлестова *(Софье)*.
Ведь полоумный твой отец!
Дался ему трех сажен удалец!..

Княгиня с князем и дочерьми и прежней Молодой дамой:

Княгиня *(заметив человека, который, стоя где-то сбоку, разглядывал все и всех,— с интересом и вместе с рассеянностью)*.
С-с!.. Кто это в углу, вошли мы, поклонился?..

Молодая дама повела плечом в неведеньи. А тот, о ком шла речь, поблуждав немного без толку и без цели, набрел глазами на Автора и направился к нему.

Автор *(ему)*. Вот на! Я и не знал, что вы посещаете балы!.. Пушкин на бале у Фамусова! Каково?..

Пушкин. А я теперь — жених. Собираюсь жениться! Ищу невесту в Москве. Говорят, их всех, невест, вывозят из Москвы! *(Рассмеялся легко.)* Что вы написали в своей комедии? Все невесты Москвы, как две капли, похожи на вашу Софью!

Автор *(помрачнел)*. Так вышло. Случайно, должно быть...

Пушкин. Почему случайно?

Автор. Просто больше не выходит. Не получается.

Пушкин. Бросьте! Так не бывает.

Автор. Бывает, верно! ежли это есть!.. Вообще, эта комедия привиделась мне во сне. Может, она и была случайность?..

Пауза.

Пушкин *(помолчав)*. Готовите что-нибудь новое?

Автор. Да. Нет... Так... Одни планы, наброски!.. *(Чуть помолчал.)* Сочиняю одну драму. Из собственной жизни. Но... Боюсь, и ей судьба — остаться только планом.

Пушкин. Что ж... Хороший план — уже сам по себе выигранная кампания. *(Постоял еще, огляделся.)* Ладно. Пойду. Там, кажется, затеваются танцы. А я, как-никак, московский жених!..

Уходит.
На площадке Комедии выстраивается военный оркестр. И музыканты пробуют инструменты...

Она *(Автору, в недоумении)*. Пушкин?.. А он тут при чем?

Автор *(легко)*. Ну, как же!.. Он москвич, как и я. И теперь, по-моему, как раз в Москве...

Она *(резко поворотилась к нему и с испугом)*. Так это твой сон или твой театр?

Автор *(неопределенно)*. Ну, знаешь... Поскольку мой театр тоже нечто из области сновидений...

Грохнула музыка. И публика двинулась в круг, разбиваясь на пары. И Автор — громко, пытаясь перекрыть этот гул:

Понимаешь, это — старая Москва! Ее, может, и нет такой давно... Она, может, и не нужна никому — такая. Но... Там блуждал когда-то мальчик... который был я... которого все знали, и он знал всех... который что-то обещал собой... что-то исполнил, а что-то не исполнил...

Юнкер-лакей *(появляясь)*. ...еще подъехала карета!.. *(И понижая тон, в растерянности.)* С фельдъегерем! Господин Якубович! Из Сибири!

Танец продлился еще. Но вот через толпу танцующих двинулся Якубович в своем арестантском халате.
Нема сцена. И музыка смолкла. Свет стал меркнуть. Лишь заметно в полутьме поспешное движение гостей к выходу.

Она *(Автору)*. Как?! Уже все?.. *(Ладонью по лицу — в непонимании.)* А Якубович зачем?

Автор. Так... Разыгралось воображение! А представляешь, что бы это было... ежли б вдруг, на столичном бале... появился человек оттуда, из сибирских рудников?

Гости, быстро покидая бал, минуют просцениум.

Графиня-внучка *(увидев Автора, пожаловалась)*.
Ну, Фамусов! Умел гостей назвать!
Какие-то уроды с того света!

Скрывается.

Она *(Автору)*. Ничего не понимаю!

Автор *(позабыв про нее)*. И о чем они так долго?..

Пауза.

(Повернувшись резко.) Карету госпожи посланницы!

Она. Ты отсылаешь меня?

Автор *(быстро)*. Да! Прости! Ты ж слышала?.. «Ночь — светопреставленье!».. С Покровки ехать час! Ухабы, призраки... А на пути в Новинское и вовсе не горят фонари. И ты будешь без меня на темной дороге. Вдруг лошади понесут?..

Она. Ты меня обманываешь!

Автор *(страстно)*. Да нет же, нет! Уверяю тебя!

Она. Как все стали беречь меня! До противного!

Автор *(улыбнулся)*. Берегут не тебя, а то, что в тебе. Прости. Людям это свойственно — относиться с уваженьем к человеку дважды... При рождении его и в час смерти. Вот только в промежутке у них что-то не получается...

Она. Я никуда не поеду!

Автор. Пойми! Мне будет легче справиться со всем этим... ежли никто не будет знать, что ты здесь, со мной.

Она. Правда? Я согласна... Но тебе ничего не грозит?..

Автор. *(Как можно убедительней.)* Нет! Нет!

Она. Вот, потрогай!.. *(И положила его руку себе на живот, жалобно.)* Не бьется еще...

Автор *(чуть поспешно)*. Я говорил с Мальмберхом. У тебя все в порядке. Ты просто торопишься!..

Она. Но ты позовешь меня снова?

Автор. Да, да... Конечно. Разумеется!

Она *(зевнув)*. Я и вправду устала. Я стала быстро уставать. Это все от того?

Автор. Да.

Она. Почему-то все время хочется спать. Спокойной ночи, любимый!

Автор. Спокойной ночи! Не бойся! Я сочиню для тебя счастливый конец!

Она *(зевая по-детски)*. Да? Ты уж что-нибудь придумай...

Он обнял ее, поцеловал... и выпустил из рук. Пауза.

Автор *(один)*. И о чем они так долго?..

И тогда — почти ворвался в его мысли Соломон Маликов, племянник Манучихр-хана, Вестник...

Маликов *(с порога)*. Он отказывается! Наотрез!

Автор *(спокойно)*. Да? Ну, этого следовало ожидать.

Маликов. Почему?

Пауза.

Автор. И что он сказал?

Маликов. Что уйдет только в том случае, если вы сами прогоните его.

Автор. Вот, видите, друг мой! *(Помолчал.)* А что еще? Вы ведь, как будто, там долго были?

Маликов. Да... Он говорил все очень быстро, очень взволнованно... Даже не все можно было разобрать! Он сказал — я помню,— что готов умереть... но только подданным Российской державы... и в границах ее... даже если только здесь! *(Жестом очертил круг у себя под ногами.)*

Автор *(усмехнулся)*. Хороша граница! Одни ворота, и те без запора! Сами могли видеть!.. Три двора и три дома без окон, без дверей,— одни занавески... Два десятка казаков, и почти без патронов. Но это он прав! Граница есть граница. Смотрите! Молодец! И я б, пожалуй, сразу так не выразил.

Маликов. А что мне передать дяде?.. Манучихр-хану?

Автор. То, что слышали. От меня и от господина Мирзы-Якуба. *(Помолчал.)* Скажите, я благодарен ему. Во всяком случае, он исполнил свой долг, как дай Бог всем нам! *(Еще помолчал.)* Передайте так же... Это лично моя просьба... если только в его власти... В теченье нынешнего дня не подпускать вас более к воротам Русской миссии!

Маликов. Почему?.. Ваше превосходительство?..

Автор не ответил. Пауза.

Автор *(уже иным, светским тоном)*. Вы давно в Тегеране?

Маликов. Месяца два...

Автор. А как долго намереваетесь пробыть?

Маликов. Не знаю еще... Это зависит не от меня. Я приехал сюда с бабкой моей. Матерью Манучихр-хана. Она много лет не видала сына. А мне надлежит после сопроводить ее домой.

Автор. А-а... *(Усмехнулся.)* Так вот зачем среди прочего был нужен этот злополучный Туркманчайский мир? Чтобы могущественный Манучихр-хан смог, наконец, свидеться с родной матерью... Забавно! Ступайте, друг мой. Я вас больше не удерживаю.

Маликов. И все?.. И я больше ничего не могу сделать для вас? Моя роль окончена в этой истории?

Автор *(улыбнулся)*. Хм... Вы милый юноша. Я рад буду встретиться с вами как-нибудь потом. В Эривани... или в любом другом, любезном сердцу месте. Кончится ж это когда-нибудь! *(Уже совсем легко.)* А пока... Идите и доспите спокойно. Если вам удастся...

Маликов, поклонившись, уходит.

(Ему вслед, зло.) Беда с этими армянскими юношами! И все-то они лезут! И куда ни пóпадя! И куда ни спросясь!..

Пауза. Он один. По другую сторону от него полутемный просцениум минуют последние гости несостоявшегося бала. И Фамусов со свечой вышел их проводить. Иные задерживаются подле Автора, словно прощаясь. Старуха Хлестова, она же матушка Настасья Федоровна, остановилась перед ним:

Хлестова *(с вызовом, а может и с материнской жалостью к нему)*. Только помните, мой сын! Мое имение в Троицком — оказалось пуф! просто пуф!.. *(Изобразила.)* Сперва я покупаю его и трачу последние деньги, рассчитывая на что-то. Потом... эта распря с крестьянами, и... я вынуждена продать за бесценок, дабы не потерять все! И теперь лишь от состояния ваших дел и вашей карьеры зависит благополучие вашей матери.

Автор *(с улыбкой)*. Я даже не могу умереть? По случаю? Волей судеб?

Хлестова *(жестко)*. Нет. Не можете! Это было б несправедливо! Я даже сказала б так: это была б последняя ваша несправедливость по отношению к вашей бедной семье. А эти ваши выдумки... *(Передернула плечами.)*

Уходит величественно.
Потом Фаддей возник перед ним с папкой под мышкой.

Фаддей. А концовку все равно надо менять! И эта твоя новая сцена с Якубовичем... Что это? Прости, это уже безвкусно. Просто безвкусно. Даже с чисто художественной точки зрения. Я тебе как писатель, как Фаддей Булгарин говорю!..

Уходит.
Пушкин в дорожном плаще вдруг остановился и воротился.

Пушкин. Я хотел сказать еще... Ежли б Дант сочинил один лишь план своего «Ада»,— и то это было б уже гениальное творение!

Автор *(усмехнулся)*. Может быть... Но чтоб это стало всем ясно — Данту следовало сперва написать свой «Ад»!

Пушкин кивнул и вышел. Пауза. Появился Фамусов со свечой в руке. По-хозяйски осветил пустой просцениум, Автора.

Фамусов. Вот, то-то! Все вы гордецы!..
Спросили бы, как делали отцы!
Учились бы, на старших глядя!
Мы, например... или покойник-дядя...

Скрывается.
Пусто. Никого... Лишь этот одинокий стул и словно поникшая, без людей, декорация. На стуле — забытая легкая накидка.

Автор. Может... накидка — это слишком банально? Или скажут — сантимент?.. *(Пожал плечами.)* Ничего не могу поделать с собой! Сумасшедшая нежность! Сумасшедшая нежность!..

Пауза. Сильный шум.

(Поднял голову.) Что там? Где это так шумят?

Сашка *(вошел и — меланхолически)*. А толпа явилась под наши ворота!

Картина третья

Время чуть двинулось. На часах основного действвя теперь около 9 утра 30 января 1829-го... Автор теперь в сюртуке, а не в домашнем халате. Подтянут, элегантен, несколько сух. Вероятно, он успел побриться.
Автор беседует с Мальцевым под крики толпы.

Автор. И что они требуют от нас?
Мальцев *(виноватым тоном)*. Выдачи Мирзы-Якуба.
Автор. Только и всего? *(И усмехнулся надменно.)*
Мальцев *(принял всерьез)*. Нет... Еще тех двух женщин — грузинок. Чтобы вернуть их в гаремы.

Пауза. Крвки.

Что делать? Александр Сергеич?..
Автор *(даже как-то весело)*. Все! Кроме того, что делать не надлежит!
Мальцев. А что же?.. не надлежит?..
Автор. Поступаться принципами, мой милый! Поступаться принципами! *(Без перехода.)* Рустам не появлялся?
Мальцев. Нет. Не появлялся. Я сам в волненьи уже!
Автор. Ну... такой богатырь — что с ним станет? Они боятся его, как огня. Вся эта базарная толпа. *(Та же надменная усмешка.)* А этот Маликов, племянник Манучихр-хана! Какой милый юноша! Вы видались с ним?
Мальцев. Да. Во всяком случае весьма благородного виду.
Автор. И подумать... что этот злосчастный Мирза-Якуб был когда-то таким, как он! Вы это можете представить себе?
Мальцев. Нет, Александр Сергеич!.. Если честно...
Автор *(нахмурился)*. Ну, почему же? Такой же молодой человек. Как вы — молодой человек!..
Мальцев. Опять кричат!
Автор *(спокойно)*. Кстати... Дадашев здесь?
Мальцев. Да. А он вам нужен еще?
Автор. Конечно! Я не вижу поводов ничего отменять.

Пауза, в которую Мальцев против воли продолжает прислушиваться к крикам.

Автор *(жестко)*. Иван Сергеич! Персидские сарбазы стоят в карауле на воротах посольства?
Мальцев. Стоят...
Автор. Так пусть себе персидский караул и справляется с персидской толпой. Нам-то что за дело?!
Мальцев *(виновато улыбнулся)*. Ежли б мы уехали отсюда три дни тому! И ничего бы не стряслось!
Автор. Оставьте! Может... Мы с вами поймем когда-нибудь... что эту историю с Мирзой-Якубом наслал нам Господь! И не токмо за грехи... Но дабы мы сознали в ней самих себя!

Пауза. Мальцев уходит неслышно.
Автор один. И призраки его мысли вновь обступили его. Сперва он играет в шахматы — со старым Манучихр-ханом...

Автор. Но почему все уперлось именно в него, в Мирзу-Якуба?
Манучихр-хан. Потому что он евнух! Шаха!
Автор *(чуть помолчал, словно набрав воздуху в легкие)*. Высокочтимый Манучихр-хан... мы с вами подписывали Туркманчайский трактат о мире?.. Между Персией и Россией?.. Вы со своей стороны, с персидской. Я со своей.
Манучихр-хан. Да. Подписывали!
Автор. Там есть пункт о размене пленных с обеих сторон?
Манучихр-хан. Да. Есть.
Автор. Видите ли, мой высокий друг!.. Я сам озаботился, чтоб существовал этот пункт... и сам составил его в настоящей редакции. А... мы все в долгу перед тем, что написано нами!
Манучихр-хан. Да. Но... У каждой страны свои нравы, обычаи...

И кроме Туркманчайского трактата, как вам известно, существует еще шариат. Свод законов ислама. И когда люди позабудут — и наш трактат, и войну меж Персией и Россией... и, конечно, нас с вами! — шариат всё будет существовать!.. *(Помолчав.)* Мы надеялись на разум. На разумный подход... Ибо никакой трактат не способен предусмотреть всех случаев.

Пауза. Играют.

Автор. Какие тяжелые фигуры! Чувствуешь тяжесть в руке!
Манучихр-хан. А это индийские шахматы. Старинные. Это вообще старинная игра. Ее придумали некогда как аналогию нашему грустному миру... А вы, европейцы, превратили ее в безделку.
Автор *(с усмешкой)*. Бедная Европа! И сколько на ней вин! И еще одна!..
Манучихр-хан. Они потому такие тяжелые, чтоб ощущалась тяжесть каждого хода.

Отодвинулся в тень. Пауза.

Пушкин *(появляясь)*. Все-таки... удивительная у вас эта тема: два евнуха! Я б за нее дорого дал. Это самое интересное в вашей драме! Два человека одной судьбы, и один служит тому, что некогда растоптало его — и преданно служит! А другой взбунтовался. Взбунтовавшийся раб!.. Я б только оставил их двоих. Манучихр-хана и того, другого. И пусть бы сшиблись меж собой!.. Как Моцарт и Сальери.
Автор. При чем тут Моцарт и Сальери?
Пушкин. А вы не слышали?.. Говорят, что Сальери отравил Моцарта. Есть слух. Вполне определенный. Не верите?
Автор *(улыбнулся)*. Не верю. Если честно.
Пушкин. А я верю. Тот, кто мог из зависти освистать «Дон-Жуана», мог отравить и его творца. Представляете, что это? Освистать «Дон-Жуана»?!
Автор. Но это все-таки, согласитесь, разные вещи. Освистать или убить.
Пушкин *(жестко)*. Нет. По мне это одно.
Автор *(улыбнулся)*. Вы слишком большое значение придаете искусству в этом мире!
Пушкин *(чуть иронически)*. А вы?..
Автор. А я все думаю... Помнит ли он, Манучихр-хан, что случилось с ним тогда, в его восемнадцать лет? Забыл или делает вид?.. Но не может же быть, чтоб я за него помнил об этом, а он об этом забыл!..

Пауза. Крики толпы. Входит Дадашев. Впрочем, он, верно, вошел несколько ранее и покуда стоял чуть поодаль, явно в растерянности, наблюдая, как его превосходительство разговаривает сам с собой.

Дадашев. Вай! Я думал, вы забылы написать обычное обращение к шаху. Я просто вставыл слово!..
Автор. Вы прекрасно понимали, что я не забыл. Просто вы позволили себя то, что позволяли при прежних посольствах. Пользуясь тем, что никто, кроме вас, не знал по-персидски. Или плохо знали.
Дадашев *(с гордостью)*. Да. Я знаю па-персыдски! И нэ толко язык!
Автор. Что еще вы знаете?
Дадашев. Что это за народ, ваше прэвосходытелство!
Автор. Народ как народ. Как все народы. Состоящий из умных и глупцов. Из воров и праведников. Из предрассудков низких и высот духа!..
Дадашев. Да, поймы ты!.. Алэксандр Сэргеич! Тут Восток! Тут тэбэ нэ Запад, панымаешь?
Автор. Я не припомню, Дадашев, чтоб мы с вами пили на «ты».
Дадашев *(вскипая)*. Да, какая разница! «Ты», «вы»!.. Ваше прэвосходытелство! Толпа под воротами! Молла-Мэсых объявил джихад! Священную войну!.. Мырза-Якуб — второе лицо в эрдэрунэ шахском! Его нэ выпустят живым отсуда!
Автор. То уж моя забота, Дадашев! Моя!.. *(Помолчал. И с силой.)* Сколько раз я слышал это!.. Запад не Восток! Восток не Запад! Солнце не

Луна! Луна — не другие светила!.. Я не собираюсь исповедывать — и ни при каких обстоятельствах! — иные законы... нежли те, что внушены мне моей природой или Богом... или воспитаньем моим!

Д а д а ш е в. Мое дело — сторона! Мое дело — прэдупрэдить! Слышите?..

Крики толпы.

А в т о р *(насмешливо)*. Боитесь?

Д а д а ш е в. Что — боитесь?.. *(Встал в позу.)* Дадашев — из Грузыи! Дадашев нычего нэ боится!

А в т о р. Тогда о чем речь?.. *(Вручил ему папку с нотой.)* Вернется Рустам... узнаем, что там делается, и тотчас пошлем Хаджатура с нотой. Я тут всё переправил. Еще резче. Так что...

Д а д а ш е в. *(упавшим голосом)*. Отдать Мирзе-Сулейману? Пэрэписать?

А в т о р. Каллиграфическим почерком? Нет, не надо. Обойдутся и моим. Корявым. В данных обстоятельствах! Не хочу их баловать. Даже почерком!

Дадашев в растерянности уходит. Пауза.

Б у л г а р и н *(появляясь)*. Я рад, скажу откровенно, что ты занялся, наконец, пиесой из собственной жизни! Я доволен тобой. Теперь нужны писатели самой жизни. *(Все так же с папкой под мышкой.)*

А в т о р. А что это, не можешь сказать — писатель самой жизни?

Б у л г а р и н. Только не разноси, пожалуйста, эту мысль. Я сам намерен тиснуть ее в печати. Но учти, не все твои воспоминания годятся в дело!

А в т о р. Например?

Б у л г а р и н. Сам знаешь!.. То, что ты *привлекался* после декабря и даже сидел в остроге.

А в т о р. Всего лишь на гауптвахте Главного Штаба.

Б у л г а р и н. Это вон! Всё вон!

А в т о р. А про дуэль Завадовского с Шереметевым?

Б у л г а р и н. Можно. Но не нужно!.. Сама дуэль еще куда ни шло... Но там вмешан Якубович... А он теперь, после декабрьских дел, выражаясь повашему, дипломатицки — персона нон грата! Вообще, любое упоминание об четырнадцатом декабря...

А в т о р. И откуда ты всё знаешь, что нельзя, что можно? *(Помолчал. Уныло.)* А про петербургское наводнение?.. можно?..

Б у л г а р и н. Да. Только осторожно! Без страстей господних.

А в т о р. Постой! Но ты ж сам, по-моему, расписывал на все корки в своей «Северной пчеле» все ужасы этого наводнения?

Б у л г а р и н. Так это когда было! Наводнение было при одном царе — а теперь у нас другой! Было при Александре Павловиче, а теперь Николай Павлович.

А в т о р. А при этом разве не бывает наводнений?

Б у л г а р и н. Не знаю. Пока не было!

Исчезает.

И возник снова П у ш к и н. Как будто что-то запамятовал — сказать или спросить.

П у ш к и н. А правда, что вы под пистолетом Якубовича держали кулек с вишнями и забрасывали их в рот, выплевывая косточки?..

А в т о р. Молод был. Глуп. Он и отстрелил мне два пальца. И правильно сделал!.. *(Пошевелил пальцами левой руки.)* Чтоб не шутил со смертью.

П у ш к и н. ...и что он сказал вам будто?.. «Тебя убьют в другой раз, когда у тебя будет боле оснований дорожить жизнью»?.. Что-то в этом роде?

А в т о р *(пожал плечами)*. Все всё знают!

П у ш к и н. Меня ужасно привлекает этот сюжет!

Исчезает.

И снова старый мудрый М а н у ч и х р-х а н играет с ним в шахматы.

М а н у ч и х р-х а н. Вы наивный человек, мой уважаемый друг! Я б даже сказал — наивный европейский ум. Вы ввязались в эту распрю из-за Мирзы-Якуба, почитая его несчастным существом, заслуживающим жалости и лучшей участи. Но здесь, в Персии, вовсе не считают так!

А в т о р *(ровным тоном)*. А что же здесь считают?

М а н у ч и х р-х а н. Напротив! Его возвысили. Вознесли! Оказали доверие, какое не оказывается простым смертным! А он как раз явил в ответ черную неблагодарность!

А в т о р. Может быть... А вы сами как считаете? Вы, высокочтимый Манучихр-хан?.. *(Не дождался ответа. Вздохнул.)* Ваш ход!

М а н у ч и х р-х а н. Да-да... *(Сделал свой ход.)* Во всяком случае... ему, Мирзе-Якубу то есть, дано было зреть владык земных, на земле равных богам, в те минуты, когда и они — всего лишь смертные люди. М-м... и вы хотите, чтоб теперь его — вообще кого-то! — с этим званьем выпустили отсюда?

А в т о р. Всего лишь домой. В Эривань. Доживать свой век!

Пауза.

Значит, речь просто о том, что некто Мирза-Якуб знает слишком много?.. *(Усмехнулся)*. Но сия мысль не составляет уж привилегии одного Востока! Это, я бы сказал, нечто среднечеловеческое!..

Играют. Пауза... Появился Я к у б о в и ч в своем арестантском халате. Подходит неслышно, словно нарочно чуть замедленным, чуть шаркающим шагом самой Судьбы...

А в т о р *(мрачно)*. Ты? Ты что-то стал появляться слишком часто.

Я к у б о в и ч. Еще бы! Твои обстоятельства будто не слишком хороши!

А в т о р *(меланхолически)*. Да. Не похвастаешься.

Я к у б о в и ч. А мне еще надобно договорить с тобой.

А в т о р. О чем?

Я к у б о в и ч *(усмехнулся недобро)*. О жизни, о смерти! О любви...

А в т о р. М-гу. Самое время! *(Чуть помолчав.)* Это была шутка, я говорил тебе не раз! Просто шутка. Может, глупая. Которая кончилась плачевно. И не более того!

Я к у б о в и ч. Странно, знаешь?.. Многажды видел, как умирают люди. И сам убивал, и сам умирал. И стоял перед Верховным уголовным судом как несостоявшийся цареубийца!.. *(Усмехнулся с надменностью.)* А всё никак не могу позабыть... его! И как он вертится на снегу волчком. Будто ему прострелили душу!

А в т о р. Ему и впрямь прострелили душу! Она разлюбила его...

Я к у б о в и ч. Пытаешься утишить совесть? Прости! Но ты ж не можешь умереть, не вспомнив, как всё это было?

...А М а н у ч и х р-х а н продолжил за шахматным столом:

М а н у ч и х р-х а н. В конце концов, сознайтесь: страсти, любовь — это всё прекрасно, кто спорит, но разве менее прекрасно в один прекрасный момент избавиться от всех страстей? Возвыситься над ними. И в этом, на миг хотя бы, приблизиться к Богу. *(Сложил ладони молитвенно.)* Да простит мне Аллах сие тщеславное и дерзкое помышление! Увидеть жизнь со стороны... Лишь сострадая ей. Но не удивляясь.

А в т о р. О-о!.. Знакомая мысль! Я сам пробавлялся ею несколько времени. В молодости. Перегоревши в страстях, и... *(Не договорил.)* Я даже заплатил за нее жизнью. И, к сожаленью, не своей... Но... я видел тут на дни вашего племянника...

М а н у ч и х р-х а н *(быстро)*. Он понравился вам?

А в т о р. Да. Весьма милый юноша. Благородный. И есть в нем что-то такое хрупкое, трогательное, что не часто встретишь в нашем мире.

М а н у ч и х р-х а н *(с явным удовольствием)*. В этом юноше течет благородная кровь! Мы — очень известная в Армении семья! А это сын моей сестры. И он мне вместо сына. У меня ведь нету своих детей.

А в т о р *(помолчав)*. А вы смогли бы эту мысль — о счастье... об удалении от страстей внушить ему? В его восемнадцать лет? Или... Мирзе-Якубу — тогда, в его восемнадцать?.. *(Двинул фигуру.)* Шах!

М а н у ч и х р-х а н. Что?

А в т о р. Вам шах, высокочтимый Манучихр-хан. Мы ж, по-моему, играем в шахматы.

Манучихр-хан. Простите. Когда я слышу слово «шах», и даже в игре... *(Провел рукой по лицу.)*

Молча продолжают игру...

Пушкин *(появляясь)*. Плюньте на Буало! Нам, русским, не подходит Буало. Я давно это понял.

Автор. Почему вы так уверены?

Пушкин. У нас слишком большая страна! Слишком пространная!.. Вот вы с Якубовичем, к примеру,— это целая драма! А между вами тысячи верст!..

Скрывается.
И возникла Софья из Комедии. И сказала ему...

Софья. Не знаю... Я, должно быть, не смогу сыграть эту роль.

Автор. Почему не сможете?

Софья *(помолчав)*. И что вы придумали для меня с этим Чацким?.. Я понимаю, он уехал. Я могла позабыть. Полюбить другого. Но почему именно Молчалин?

Автор *(чуть насмешливо)*. Ну, хотите — Скалозуб!

Софья. Не моего романа! И всё? И больше никого? *(Он молчит.)* А разве женщина неспособна воспарить? Устремиться к чему-то высшему, необыкновенному?..

Автор *(жестко)*. Способна. Ненадолго!

Софья. И вы убеждены, что знаете женщин?.. *(Подумав.)* По-моему, эту роль писал человек, который не верил в любовь.

Автор. Может быть. Что ж... Давайте прорепетируем еще. Попробуем! Вы — Авдотья Истомина. Балерина.

Софья. Да-да. С какого места?..

Затемнение. Потом свет и взрыв аплодисментов. Сцена театра. Где павильон Комедии — лишь часть декорации. И всё остальное — тоже декорация.
В светящемся кругу танцует девушка в розовом, в балетной тунике и балетных туфельках. Вся — прозрачность и легкость. Фея, нимфа, смутная грёза... И весь бал Фамусова — восхищенная толпа зрителей.
Танец кончился. Крики «браво» и плески. Идолопоклонство театра.
Девушка с цветами в руках идет сквозь покоренную ею толпу.
В стороне стоит какой-то юноша в мундире корнета кавалергардов и весьма мрачно взирает на общее помешательство.

Якубович *(подошел к Автору)*. А помнишь, как он всегда глядел на нее? Даже страшно делалось, ей-богу!

Автор *(сухо)*. Не помню... Я считал это ребячеством. Излишней роскошью. Помещать свою душу в кого-то другого?.. Кто в любую минуту может отделиться от тебя!

Якубович. А теперь ты как считаешь? *(Усмехнулся — скорей грустно, чем зло.)* А глаза у него были серые, светлые... Не выцветшие еще, как нынче у нас с тобой... *(И чуть подтолкнул Автора.)* Ступай! Твой выход.

Автор *(плечом отвел этот толчок)*. Только не корчи из себя, пожалуйста, демона. Я так устал от этого доморощенного российского демонизма! *(Но шагнул навстречу девушке.)*

Софья *(ему)*. Ой, ты!.. *(И ткнулась головкой ему в плечо. Потом спросила отстраненно, как актриса Автора.)* С этого места?

Автор. Да, с этого.

Софья *(вновь склонила головку)*. Спаси меня отсюда. Увези. Я так устала!

Автор *(участливо)*. Опять поссорились? С Шереметевым?

Софья. Да. Он мне надоел!

Автор. Что так?

Софья. Я устала от него! Я не могу всё время носить горячий кувшин на голове!

Автор. Почему кувшин? Почему горячий?..

Пауза

Поедем к нам?.. Отужинаем вместе! И ты все расскажешь мне. *(И, поворотившись к Якубовичу.)* Мне было интересно. Не боле... Все были влюблены в нее. Пожалуй, кроме меня. И мой приятель Завадовский ничуть не больше других. Я и позабыл про него! *(И — ей.)* Поедем?..

Софья. Нет, я не могу. Он следит за каждым моим шагом!

Автор. Шереметев?.. А мы ничего не скажем ему!

Софья. А если он узнает? Нечаянно?

Автор. Откуда?

Софья. Понятия не имею. Он может убить кого-нибудь. Меня или себя!..

Автор. Глупости! *(И вновь — Якубовичу.)* И я ж не виноват, что мы с Завадовским жили тогда на одной квартире!

Софья. Нет. Я не могу. Я боюсь!..

Автор *(очень легко)*. Чего? Это ж проще простого. Ты выходишь из театра. И садишься в карету. Одна. Где-нибудь у Гостиного двора ты быстро пересаживаешься в другую карету, в которой жду я. И мы едем к нам ужинать. Вот и всё! Кого-кого, а влюбленного легче всего обмануть. Знаю по себе, сам сто раз обманывался! *(И Якубовичу — с болью.)* Понимаю! Я шутил с Богом! Я словно испытывал Его!.. Но... я был молод тогда! И мрачные сны жизни еще не посещали меня. *(Кричит куда-то.)* Карету мне! Карету!

Быстро уходит. И Софья, постояв секунду, уходит за ним.
Звуки вальса. Сбоку от павильона выкачен на сцену рояль. За ним сидит Автор. А Истомина (Софья) танцует с молодым человеком, должно быть, с Завадовским.
В стороне, на просцениуме, по разным сторонам, в демонических позах — Якубович и мрачный корнет, верно, Шереметов.
А толпа фамусовского бала застыла в ожидании забавной развязки...

Автор *(под звуки вальса)*. Танцуйте! Танцуйте!.. Я только аккомпанирую!.. Одна любовь кончается, начинается другая!.. И слава Богу! Это — не моя любовь! Не моя начинается, и кончается — не моя!.. *(Резко оборвал игру и — Якубовичу.)* Понимаешь, я думал... Я избрал свою точку! Я только наблюдаю! Любопытствую жизни. Удивляюсь ей без состраданья. Или сострадаю без удивленья!..

Вновь пауза — музыки и танца.

Софья *(вдруг вспомнила про него и подошла)*. Ты не скучаешь?

Автор. Нет. Отнюдь! Мне даже интересно. Я теперь в новой роли. Исповедника. Я больше сам не грешу, но исповедую жизнь. В грехах!.. *(Продолжает играть.)*

Софья. В каких грехах?..

Автор. А это уж нельзя! Это уж — тайна исповеди!.. *(Играет.)*

Софья. Осуждаешь меня?.. За Василия?.. *(Он не ответил.)* Я устала от него! Женщина хочет любить сама! А не быть понуждаема к любви... Даже только тем, что ее слишком любят!..

Ушла танцевать.
Меж тем в толпе поклонников ее...

Один *(вбегая)*. Господа! Я знаю, куда она делась!

Второй. Известно куда! Она села одна в карету у театра. И отправилась — верно, домой.

Первый *(выдержав паузу, с таинственным видом)*. Да-с! Она села в карету. И, в самом деле, одна! Но по дороге, у Гостиного двора...

Шереметев сжал кулаки и сверкнул очами. Но потом эта решимость сменилась чем-то растерянным и жалким. Постоял и двинулся к Якубовичу...

Шереметев. Что делать?.. Вразуми!

Якубович. Драться!.. *(Убежденно.)* Да. Дуэль! Один выход! Дуэль.

Шереметев. *(Неуверенно.)* Ты думаешь?

Пауза... Вальс продолжает звучать. Но Якубович и Автор уже возятся с пистолетами и отмеряют шаги, размечая барьеры.

Автор *(Якубовичу)*. Прошу запомнить! Кто первый сказал слово «дуэль»?

Якубович *(кротко)*. Я! Но это ты пересадил ее в свою карету.

Автор *(подавая пистолет Завадовскому)*. Я был уверен... Что любви нет! Не существует на этом свете. Не знаю, как на *том!.. (Якубовичу? Завадовскому? себе?)*

Якубович *(подавая пистолет Шереметеву)*. Целься ниже, Вася. Всегда нужно брать чуть ниже точки прицела. Не то... пуля уйдет за молоком.

Шереметев *(беря пистолет)*. И всё равно! Она для меня — святая!

Якубович усмехнулся презрительно и махнул рукой.
Противники двинулись навстречу друг другу.
Долгая пауза. Выстрел! И Шереметев пал как подкошенный. И стал кататься по земле, схватившись за живот руками.

Софья *(бросаясь к нему)*. Неправда! Неправда!

Но его уже заслонила от нее толпа персонажей Великой Комедии, именуемой Жизнь... Какой-то офицер с лицом Скалозуба вышел из толпы.

Скалозуб *(склонившись к умирающему)*. Что, Вася?.. Репка?.. *(Пьян — но в пределах приличий.)*

Автор *(вскричал)*. Да оставь его, слышишь!.. Отойди ты от него!

Якубович *(стоя рядом с ним, негромко)*. Гляди! Гляди! Это всё твоя работа!

Автор. Иди ты к черту!

Якубович. Теперь я буду стреляться с тобой!

Автор пожал плечами.

Софья *(Истомина, в стороне, рыдая на чьем-то плече)*. Ежли бы можно было что-то вернуть! Ежли б можно было вернуть!..

Якубович *(как бы подхватывая эту истерику — Автору)*. Гляди, гляди! Это — твое ристалище!.. Игрище! Терзалище! Твоя римская арена! Где на христиан спускают диких зверей!..

Автор *(спокойно)*. Нет. Это всего лишь мой крест. Голгофа. Видишь — следы от гвоздей?.. *(И пошевелил в воздухе простреленной левой рукой.)*

Из-за спин, опоздав к развязке, осторожно проталкивается Фамусов.

Фамусов. Ай-яй-яй!.. Ай-яй-яй!.. *(Помолчал.)* Впрочем... Он вел такую жизнь, что должен был кончить плохо! *(Остановился над телом, скрестив руки на животе. Торжественно.)*

Ох, род людской! Пришло в забвенье,
Что всякий сам туда же должен лезть,
В тот ларчик, где ни стать, ни сесть!..
Но память по себе намерен кто оставить —
Житьем похвальным — вот, пример!.. *(Исчерпывающий жест.)*

Сцена пустеет. И только Якубович остается над телом.

Скалозуб *(подошел к Автору)*. Обиделся на меня?.. Я ж ничего такого... Я только хотел спросить: каково оно пахнет? Всем ведь придется умирать когда-нибудь! *(И побрел по сцене нетвердой походкой пьяного.)*

Якубович *(над телом Шереметева)*. Это то, из чего родятся великие комедии?

Автор *(спокойно и устало)*. Что правда — то правда!

Пауза. Все исчезло. Он один на сцене.

Сашка *(вбегая)*. Рустам растерзан толпой на улице! *(Автор молчит.)* Александр Сергеич!

Автор. Что?

Сашка. А то, что Рустама растерзала толпа! Вот что!

Автор. Я слышу.

Сашка. Его бросили к ногам персидских сарбаз!.. Ну, а они втащили к нам! Беда! И как его только подняли! Такой богатырь!..

Автор. Так он здесь, в миссии?

Сашка. Да... Вы зашли бы к нему. Он сейчас помирать будет.

Автор *(машинально)*. Рустам растерзан толпой на улице!.. Сейчас! Иду, иду! *(Быстро двинулся по сцене, Сашка за ним.)*

Сашка *(на ходу)*. Ну и туча там народу перед воротами!

Автор *(остановился и — сам с собой)*. Рустам растерзан толпой на улице! *(Поморщился.)* Проклятая профессия!.. Слышишь смертную весть — и то... не можешь не думать о совершенстве фразы! Проклятая профессия!..

Удар! Сильный грохот. Это рухнула снова на пол стенка второго этажа. Удары — еще и еще...

Сашка. Что это, Александр Сергеич?..

Автор *(спокойно)*. Ничего. Это камни, брат! Камни!

Картина четвертая

Время еще сдвинулось. Сейчас в осажденной Русской миссии в Тегеране — 11-й час утра. И колесики уже начинают отстукивать минуты катастрофы.
Автор теперь не в сюртуке, а в своем официальном платье — во фраке с белоснежной манишкой (костюм, который он некогда столь порицал). Беседует с Дадашевым.

Дадашев. Рустам умырает!

Автор. Я знаю. Я только что от него. *(Усмехнулся грустно.)* А помните, как он шел по базару, едва поводя плечом?.. И вся эта толпа базарная отшатывалась либо отхлынывала от него!

Дадашев. За то с ным и расправылысь! Так я думаю!

Автор. Наверное... *(Пожал плечами.)* Растерзать такого сильного и роскошного зверя!..

Пауза.

(Ровным тоном.) Что с нотой? Отнесли уже?

Дадашев. Нэт! Александр Сэргеич! Хаджатуру нэ пройты! Все обложено!

Автор. То есть как не отнесли?.. Они должны получить эту ноту! Я в ней все назвал своими именами, как, каюсь, не называл прежде... и даже в последние дни! Я пишу: «Ежели будет причинен малейший ущерб Русской миссии...»

Дадашев. Хаджатуру нэ пробраться! Кругом толпа!

Автор. Не верю. Значит, плохо искали!

Дадашев. Мы искали хорошо. Всё равно нэ пройти!

Автор. Попробуйте еще! Должны быть какие-то дворы... задворки, проулки... Хотя бы через двор нашего мехмандаря! Не может быть, чтоб нас так уж обложили! Как зверя!..

Дадашев. Через двор мехмандаря?

Автор. Да, что вас удивляет? Вообще позади миссии много дворов!..

Сильный удар. Они невольно примолкли.

Дадашев. Развлэкаются!..

Пауза.

(Весь подобрался, выпрямился. И решился.) Александр Сергеич! Это так нэ пройдет — само собой! Надо бросыть им кость!

Автор. Что?.. Не понял.

Дадашев. Кость, я говорю,— как бросают голодным псам!

Автор. Какую кость? Что за кость?

Дадашев. Болшую. Жирную! Мырау-Якуба!

Автор *(теперь уже нарочито и надменно)*. Не понимаю!

Дадашев. Надо им выдат Мырзу-Якуба! Иного выхода нэт!

Автор. Да вы что?.. С ума сошли! Да как вы смеете?

Дадашев. Смэю, ваше прэвосходытелство! Смэю!.. Нэ толко вы стоите тут, под камнами! Мы тоже стоим!

Автор *(надменно)*. Кто это — мы?

Дадашев. Миссия! Посолство! *(Чуть помолчал.)* Протывно, канэшно! Кто спорыт? Протывно!.. Уступать! Но иного выхода нэт.

Автор *(помолчав)*. Я хотел бы знать, Дадашев... что в поведении моем, в моей жизни... в сказанном или написанном мной... дало вам повод предлагать мне сделать такое?

Дадашев. Какой повод? Ныкакого повода! Камны лэтят — вот и весь повод.

Автор. А ежели затем они потребуют выдать вас?..

Дадашев. Зачем? Я не евнух шаха.

Автор. А ежли — Мальцева?..

Дадашев. А что — Мальцев?

Автор. А Мирзу-Сулеймана?.. *(Помолчал. Ровным голосом.)* Ну, вот что, Дадашев! Миссия и впрямь в трудном положении. Я позволить не могу, чтоб тут мутили воду. Можете сдать дела и убираться отсюда.

Дадашев. Куда, ваше прэвосходытелство?

Автор. Куда хотите. На все четыре стороны.

Дадашев. Я рад бы убраться, да нэкуда! Кругом толпа!..

Автор *(срываясь)*. Вон отсюда!

Дадашев быстро вышел. Пауза. Осторожно заглянул Мальмберх.

Мальмберх. Что такое? Что здесь стряслось?..

Автор *(пожал плечами и так же осторожно)*. Рустам?..

Мальмберх. Нет, жив еще. Но странно, что жив. Ему отбили все внутренности.

Автор. Бедный Рустам! Не думал, что он станет первой жертвою этого дня. Может, единственной?..

Пауза. Удары.

Мальмберх. Ну-с... Вы... надумали что-нибудь?..

Автор *(усмехнулся грустно)*. И вы? Про Мирзу-Якуба?..

Мальмберх. Нет. Я вообще про все!.. *(Неопределенный жест.)*

Автор. О, да. Конечно. Надумал! Я жду!.. *(С усмешкой над собой.)* У человека, терпение коего столь очевидно искушают, остается один выход. Ждать! Хотя... в отличие от у́тра... Я знаю теперь, что это еще не конец. Даже и не начало конца.

Мальмберх *(усмехнулся)*. А что это — по-вашему?.. Конец начала?

Автор *(не ответил)*. ...Растерзать зверя и окутаться его шкурою!..

Мальмберх. О чем вы?

Автор. Не знаю. Я все время разговариваю сам с собой.

Мальмберх *(понял его мысль)*. Боитесь сойти с ума? Не удастся! У вас слишком сильная конституция духа!.. *(Помолчал.)* А что касается Мирзы-Якуба... опасаюсь, с этим всем вы останетесь в одиночестве в этом дне.

Вышел неслышно.
И теперь люди так и будут входить к нему и уходить от него — неслышно, как мысли.
Поодаль от него Дадашев и Мальцев.

Мальцев. Что стряслось? Вы поссорились?

Дадашев. Нэ говоры! Он прогнал мэня! Прэдставляешь? Куда мэня тэперь можно прогнать? А?.. *(И хлопнул Мальцева по плечу весьма весело. Тот едва устоял.)* Он — сумасшедший, по-моему.

Мальцев. Брось! Как ты смеешь? Он расстроен, верно.

Дадашев. А я тэбэ говорю — сумасшедший! Он все время разговаривает вслух сам с собой! Нэ заметил?

Мальцев *(растерянно)*. Нет...

Удары и крики... Автор увидел Пушкина и — ему:

Автор. А как вам Мальцев?.. Как персонаж, то есть?

Пушкин. Не знаю... Пока в нем несколько характеров. Либо нет ни одного!.. А может, так надо? А может, это и есть новый человек из нового поколения?

Автор. Он скромен, прилежен... Я взял его в миссию по рекомендации нашего с вами общего друга Всеволожского.

Пушкин *(улыбнулся)*. При мне служащие чужие очень редки! Всё больше сестрины, свояченицы детки...

Автор *(помрачнев)*. Вот именно! Вот именно! А с тех пор, как я стал мужем грузинки и породнился сразу тем самым с половиной Грузии... почти весь штат моей миссии... *(Махнул рукой.)*

Пушкин *(с откровенным любопытством к нему)*. А трудно это, должно быть,— создать сразу великую комедию? Чтоб она, так вот, на ваших глазах... изошла на слова, пословицы и протчая. И все бы их повторяли — так, будто вы тут ни при чем?

Автор. Не говорите! Все равно что без конца выслушивать надгробное слово самому себе.

Пауза. Крики.

Хорошо, что я не взял вас с собой!.. Вместо Мальцева. А вы просились!

Исчез Пушкин. Автор один...
К нему вновь входят персы — много персов.
Несут шубы на вытянутых руках. Молчаливое шествие. Словно парад растерзанных зверей...

Автор *(с усмешкой)*. Искушаете?.. Ну-ну! *(Тронул один из мехов.)* Примерить, что ли? Так, одну... Для интересу! *(Набросил шубу на плечи.)* Хороша! Не скажешь! Только плечи оттягивает! К земле гнет! С непривычки, верно. Может, с отвычки?.. *(Скинул. Набросил другую.)* А что? Или в самом деле... Сесть в сани, набросить на плечи и... лети! По бесконечной русской равнине! Куда, зачем?.. А не все ль равно? На тройке с бубенчиками! Лишь зовет колокольчик под дугой! Да метет в лицо — снежный дым отечества!.. *(Усмехнулся мрачно.)* Нет, и эта тяжела. Отвык в южных краях. И как только люди полгода — полжизни носят такое?..

Пауза.

(Тоскливо.) Тройка — это хорошо! Только *с чем* сесть в тройку?..

Удар! Все скрылось.
...сел за шахматный столик. И напротив него оказался вновь старый мудрый Манучихр-хан. Особо доверенное лицо в этом странном мире...

Автор *(сделав свой ход)*. А что все говорят про эти лишних десять минут у шаха? Это было так заметно?

Манучихр-хан. Еще бы! Об этом без умолку говорил весь двор! Так без умолку — как болтают лишь при персидском дворе! *(Усмехнулся едва.)* Вы уже обратили вниманье на эту особенность? Полагаю, и при дворах других государей... Во всяком случае мне известно — английский посланник немедля сделал об этом представление собственному правительству!

Автор. Хм!.. А я и не подумал! У нас с шахом был дельный, серьезный разговор... Мне некогда было.

Манучихр-хан. Боюсь, все решили, это — политический маневр. Чтоб дать понять Персии, что она побеждена.

Автор. Фу, глупость! Мне было не до того. Мои туфли жали. И мне ужасно хотелось пить!.. Я вам тоже могу сказать... что вас всех здесь волнуют удивительные вещи...

Манучихр-хан. Каждому свое, мой друг. Каждому свое! *(Пауза игры.)* Вы можете потерять эту фигуру! Вы так продвинули ее, как будто, по меньшей мере, ферзь стоит за ней. Но ферзя вы лишились уже!.. Там, в Туркманчае, признаю́сь, вы показались мне политиком куда более реальным...

Автор. Это угроза?

Манучихр-хан. Нет. Что вы! Предостережение. И самое дружеское!.. Что теперь стоит за вами? — хотел бы я знать!..

Автор. Но... безопасность посольств и неприкосновенность их территорий гарантируется, по-моему? Испокон веку?.. Со времен персидского царя Кира. Или Дария. Не припомню уже. Прошу извинить мне слабую память.

Там кто-то из них был весьма оскорблен в древности тем, что греки убили его послов.

Манучихр-хан. Да, конечно. Гарантируется. Но только... Теперь ясно и ребенку — и в Персии это ясно всем,— что сорок тысяч войска графа Эриванского... им нынче не до нас! Они слишком заняты. В войне с Турцией.

Автор *(усмехнулся)*. Увязли, хотите сказать? Увязли. Что делать?..

Манучихр-хан. И все здесь понимают, к сожаленью, и на всякий случай держат в уме, что генерал Паскевич — граф Эриванский — при всем своем желании не сможет явиться сюда. Хоть он и ваш двоюродный брат.

Автор. Всего лишь муж двоюродной сестры.

Манучихр-хан. Простите. Верно, наши данные не совсем точны. Муж двоюродной сестры? Его войско чересчур связано в горах Кавказа армией сераскира турецкого!.. А ваш государь... *(Замялся, примолк.)*

Автор. И что же — наш государь?

Манучихр-хан. М-м... должен будет поневоле внять опасению, что... в какой-нибудь не самый благоприятный для России момент армия Персии соединится в горах Кавказа с сераскиром турецким... Ваш ход! Ваш ход!

Молча продолжают игру. Удары!

Булгарин *(появляясь)*. Все это хорошо. Но концовку все равно придется менять.

Автор. Какую концовку?

Булгарин. Да эту! *(Небрежно ткнул пальцем в папку под мышкой.)* Иначе не пройдет комедия на сцену!

Пауза.

Ну, великая комедия! Ну, гениальная. Ну, кто спорит?.. Но, признайся: концовочку сговнял?

Автор. Иди ты к черту! *(Помолчав.)* А ты думаешь, это так просто — изменить концовку?

Булгарин. Еще бы! Росчерком пера! Хочешь, поучу?

Автор *(насмешливо)*. Давай!

Булгарин *(торжественно, выждав паузу)*. Чацкий не уходит никуда. Он остается с Софьей! Только и всего!

Автор. Да ну?..

Булгарин. Не смейся!.. Я тут думал надысь, и мне пришло в голову... Он должен простить ее и все забыть! Зачем оставлять публику в мрачности? И потом — неопределенность... Все неопределенно. У нас не любят неопределенности. И куда уходит Чацкий, позвольте спросить? Может, на Сенатскую площадь?..

Автор. Не уходит — уезжает! «Карету мне, карету!» Там все написано.

Булгарин. А куда? Не скажешь?

Автор *(меланхолически)*. На Сандвичевы острова!

Булгарин. Почему на Сандвичевы?

Автор. Потому что! На Сандвичевых островах ничего не происходит. И там нет Сенатской площади.

Булгарин. Ну, не хочешь — как хочешь!

Автор. Да что ты пристал ко мне?.. Мне уже не исправить конец. Я отстал от Чацкого. Или устал. Нет его во мне! У меня теперь другая драма, понимаешь?..

Булгарин *(упавшим голосом)*. А какая?..

И тогда показался человек — среднего роста, неопределенного возраста в тоге и в сандалиях, как носили в Древнем Риме. Приблизился, но не подошел. Поклонился легко и с достоинством. И — Автору:

Человек. Ты зря вызвал меня! Я еще не могу ответить тебе, почему я так защищаю этот Рим далеко за его пределами, хоть он давно уж не тот... и давно не сто́ит — чтоб так защищать его.

И так же, с поклоном, удалился.

Булгарин. А кто это?

Автор *(легко)*. Ты не знаешь его. Его никто не знает и вряд ли узнает! Это римлянин Касперий. Посол императорского Рима на Востоке.

Булгарин. Опять твои фантазмы?

Автор *(поморщился)*. Надо говорить не «фантазмы», а «фантазии»... или «фантомы», на худой конец.

Булгарин. И откуда ты все знаешь, как надо говорить?.. *(Вздохнул.)* Так это и есть твоя новая трагедия? Какую ты, втайне ото всех, строчишь теперь в твоей персиянской тиши?..

Сильный удар! Исчез Булгарин.

Автор *(ему след)*. Только и всего?.. Так просто! Обресть вечное блаженство! Одним росчерком пера! Изменить концовку?..

Пауза. Удары... И перед Автором возник другой: Мирза-Якуб. Загнанный в угол человек...

Мирза-Якуб. ...и тогда я вырыл глубокий погреб в моей душе. В нем было сыро, темно. И лед там не таял!.. И я положил мою ненависть на лед. Я иногда, ночами, когда никто не видел, спускался к ней туда, в подземелье, со свечой... Чтоб только взглянуть, жива ли она там. Не испарилась? Не иссякла ль?.. Хотя порой уже и плохо представлял себе, зачем я храню ее. И тут я повстречал вас! Впервые! На аудиенции у шахиншаха. Царя царей. Средоточия вселенной.

Автор *(усмехнулся)*. И увидели во мне, наконец, орудие для своей ненависти?

Мирза-Якуб. Нет! Вы не дослушали! *(С силой.)* Выслушайте меня! Хоть кто-нибудь ведь должен это услышать!

Автор. Я слушаю, слушаю! Таков мой удел. Я должен выслушать всех и попытаться понять... И даже тех, кто сейчас бушует там, за воротами, и швыряет камни.

Удар! И стоит перед ним уже вполне реальный Мальцев Иван Сергеич. И что-то спрашивает его, понять бы — что?..

Автор. Благоволите повторить!

Мальцев *(несколько озадаченный его рассеянностью)* Я сказал: урядник казаков спрашивает, что им делать.

Автор. А что им делать? Ничего. При всех условиях не стрелять!

Мальцев. Но их искушают на то!

Автор. Ничем не могу помочь! Меня тоже искушают! Нашим первыми ни в какую огня не открывать! Покуда здесь стоят персидские сарбазы...

Мальцев *(упавшим голосом)*. А они могут уйти?

Автор. Спросите что-нибудь попроще, милейший Иван Сергеич! *(Улыбнулся.)* Не тревожьтесь так, друг мой! Это не всемирный потоп. Только наводнение!..

Мальцев *(робко и с затаенной надеждой)*. Только наводнение.

Автор. Да. А в наводнение единственный способ — ждать, пока схлынет волна. Иного выхода нет... Говорю вам по собственному опыту! Как человек, переживший сам все ужасы петербургского наводнения.

Мальцев уходит. Удары.

Манучихр-хан *(за шахматным столиком)*. Хорошо! Я скажу! Не хотел говорить... это, как-никак, мой старый товарищ. Но... *(Помолчал.)* Люди нашего положения — это трудные люди!.. Во многом особые. И не одни вершины духа свойственны им. *(Усмехнулся едва.)* Многие из них корыстны, мстительны... Склонны мстить человечеству за свой удел. Хотя... Это крайность, конечно! Изыск природы!.. *(Помолчал.)* Но... как начальник евнухов шаха, могу вам сказать: Мирза-Якуб, коего взяли вы под защиту,— не лучший из нас! И более того... самый корыстный, себялюбивый, завистливый... Лизоблюд и доносчик. Раб номер один в толпе других рабов!

Автор *(чуть дрогнув)*. Благодарю за откровенность! Отвечу вам тем

же. К решению, кое я должен принять в данных обстоятельствах... личные качества Мирзы-Якуба не имеют никакого отношения.

Манучихр-хан *(растерянно)*. А что же... имеет отношение?..

Пауза... Удар!
Появился Булгарин со своей папкой.

Автор *(глухо)*. Фаддей! Давно хотел спросить тебя... Правду говорят, это ты предал Кюхельбекера?

Булгарин. При чем тут я? Я был в Петербурге, а его взяли в Варшаве. И это всем известно.

Автор. Да, но будто ты описал его приметы в полиции... И с такой верностью натуре и самой жизни... *(Усмехнулся едва.)* Что его по этим приметам твоим узнали аж в Варшаве, куда он успел добежать...

Булгарин *(помолчав)*. Я испугался тогда. Просто испугался...

Автор *(помолчав)*. А знаешь, что ты сделал?.. Ты убил Чацкого!

Булгарин. Одного из Чацких!..

Пауза.

Автор *(мрачно)*. Ну, да! Старая погудка. Еще древние знали ее... Когда разгуливаются стихии... нужно их задобрить. Принести жертву Маммоне!

Фаддей постоял, потом ушел куда-то, возвращается... В руках его средних размеров, старый, плотно набитый портфель.

Что это?.. Что за портфель ты мне принес?..

Булгарин. А ты открой, открой!.. *(Дает ему портфель.)*

Автор *(взял машинально и несколько брезгливо)*. А что это?..

...портфель слишком пыльный.

Булгарин *(скромно и с гордостью)*. Портфель Рылеева! Со всем архивом его!

Автор. А как он попал к тебе?

Булгарин. В тот вечер!.. декабря четырнадцатого. Я зашел на квартиру к нему. Уже после всего. Он ждал ареста. И он вручил мне портфель!.. Видишь, храню!

Автор. Надеешься откупиться?.. Портфельчиком?

Булгарин. Надеюсь! И почему только портфельчиком?.. У меня и окромя кое-что есть!.. Чтоб бросить на весы. Ежли придет черед!.. А там — что перетянет! Что перетянет!..

Автор. А что у тебя еще?

Булгарин. Так... Некая комедия! «Горе от ума»! Не слыхал такую?..

Пауза.

(Вдруг зло.) Мужество! Мужество! Все — о мужестве! Ну, почему писателю обязательно нужно мужество?.. Разве вам недостаточно, что у него есть талант?.. Мужество! Что это за беспременный гарнир к изысканному блюду?!

С достоинством удалился — с портфелем и папкой.
Удары...

Сашка *(вбегая)*. А чего это деется, Александр Сергеич? Чего это деется?

Автор. Что надо, то и делается!

Сашка. Еще бы!.. Как же это? Ить мы посланники, как-никак!..

Автор. Ну нет у меня для тебя другой страны пребывания! Какой-нибудь тихой, европейской... Где не швыряются камнями в посольство! Нету!

Сашка. Ить я, между прочим, все-таки в ответе за вас!

Автор. О-о! Это что-то новенькое!

Сашка. А как же-с! Случится что — мадам с меня голову снимут!

Автор. Какая мадам? Что за мадам?

Сашка. Известно какая! У нас теперь одна мадам. Ваша жена.

Автор. Вот ее, пожалуйста, оставь в покое! Ладно?

Сашка. А еще матушка ваша, Настасья Федоровна! Больно строгие дамы!.. Шкуру спустят, ежли не уберегу!

Автор. Слушай! Ты мне надоел!

Сашка. И сестрица ваша Мария Сергеевна!

Автор *(рассмеялся)*. Бедный Сашка! И сколько это шкур с тебя будут спускать?

Сашка. А сколько надо — столько и спустют!.. Александр Сергеич! Христом Богом прошу! Хотите, на коленки встану?.. *(Становится на колени.)*

Автор. Что с тобой? Что на тебя нашло? Встань сейчас же!

Сашка *(на коленях)*. Отпустите его!.. Пусть катится! Христом Богом прошу!

Автор. Кого — его?

Сашка. Да, евнýха этого! Мирзу-Якуба!

Автор. Ему некуда идти, Сашка. Некуда!.. Ему смерть за воротами.

Сашка. То уж не наша забота! Каждому свое! Служил им столько лет — пусть к им и идет! Это все из-за него!..

Автор. Не из-за него, Сашка! Не из-за него.

Сашка *(поднимаясь с колен)*. А из-за кого же тогда?

Автор. Из-за меня! *(Усмехнулся мрачно.)* И ты искушаешь? *(Срываясь.)* Ты что себе волю взял мне советы давать?! Только оттого, что камни летят?

И Сашку будто смыло. Удары — один за другим.

Начинается не на шутку! Начинается не на шутку!

Пауза.
В стороне — Дадашев и Мальцев.

Дадашев. Ну, пойды ты к нему!.. Скажи! Я нэ могу! Он вэдь слушает тэбя! Нельзя ж так болше тэрпеть!

Мальцев *(помолчав)*. Дадашев! Он никого не слушает. Кроме самого себя.

Пауза... Автор рассеянно глядит на них. И...

Мирза-Якуб *(продолжает свою исповедь ему)*. ...и тут я увидел вас. Вы сидели перед шахиншахом лишних десять минут во время аудиенции. Но дело было не в том, не в этих лишних минутах... То могла быть случайность. Незнание персидского этикета. Хотя я готов был молить своего Бога и всех богов — лишь бы это продлилось!.. Вы сидели — как сейчас вижу — чуть откинувшись... чуть отставив ногу... В кольце врагов, в сущности! Война ведь только что кончилась!.. Не в этом дело! Перед царем царей, центром мира и средоточием вселенной сидел смертный человек. Простите — невысокого роста, в очках, нескладный... Но с таким достоинством!.. И мне стало страшно, что я прожил жизнь... видел много на веку... Был паломником к святым местам... Но нигде не встречал такого достоинства! И вдруг — точно молния полыхнула мне в глаза! Я разом понял все! Что за сила стоит за вами!

Автор *(усмехнулся)*. И какая сила?

Мирза-Якуб. Ваша огромная и прекрасная страна! Что была за плечами у вас... Готовая в любой момент встать на вашу защиту.

Автор *(рассмеялся)*. О-о! Вы — смешной человек, Мирза-Якуб!.. А по-вашему, ежели человек представляет маленькую страну... или вовсе никого, кроме самого себя, он не должен держаться с достоинством? Впрочем... что-то есть в этой вашей мысли... что-то есть! Страна?.. Да, страна! Наверное!.. Огромная и прекрасная? Да. Возможно. Хотя... Не увлекайтесь! И в этой стране происходит много такого, чему не следует быть. Не должно. Но... достоинство есть. Что правда — то правда! Во всяком случае... Мы пытаемся сохранить достоинство.

Мирза-Якуб. ...и когда я впервые вступил под ворота вашей миссии, теперь подданным России... Я не был уже слабый армянин, которого каждый мог унизить, бросить наземь, сделать рабом! Я как бы родился заново! Человек *оттуда!..*

Автор. Что ж!.. Если есть какой-то смысл в этой бессмыслице, именуемой Жизнь...

Удар. И предстала ему матушка Настасья Федоровна.

Настасья Федоровна *(тоном старухи Хлёстовой из Комедии)*. И что вы ответили ему?

Автор *(рассеянно)*. Кому?..

Настасья Федоровна. Ну, этому, который не женщина, не мужчина!

Автор. Ничего. Я принял его под защиту и дал ему убежище в миссии. Ибо... Если есть какой-то смысл в нашей жизни на земле...

Настасья Федоровна *(перебила)*. Вы удивительный человек, мой сын! Вас всегда, простите, как жука в болото тянет. Еще когда вас провезли через всю Москву арестованным по тому безумному делу четырнадцатого декабря...

Автор. Но все оказалось ошибкой. Недоразумением.

Настасья Федоровна. Ну, взвесьте всю вашу жизнь! Безумство на безумстве!.. Кончая этой вашей скоропалительной женитьбой! И то, как я теперь полагаю, это еще не конец!

Автор. При чем тут моя женитьба?

Настасья Федоровна. Как? Жениться где-то там, на расстоянии! И не спросясь у матери! Не получив благословенья... Вдобавок на девице, хотя и знатной и даже княжне, но не нашего круга и роду-племени... И... вижу издалека — с запутанными материальными делами семейства.

Автор *(спокойно)*. Что ж! И у нашего семейства тоже весьма запутанные материальные дела.

Настасья Федоровна. Но вы могли их поправить своей женитьбой! И теперь-то, когда вы стали посланником... Полномочным министром — удачный брак...

Автор. Маман, у меня очень удачный брак!

Настасья Федоровна. Еще бы! Вижу издалека... все эти восточные пряности! Туземные манеры!..

Автор *(вежливо)*. Вы познакомитесь еще с моей женой! Это сущий ангел, уверяю вас! Сущий ангел! Не сомневаюсь, она понравится вам.

Настасья Федоровна. Когда у вас были такие невесты! С баккарой! С сервизами из севрского фарфора!

Автор *(поморщился)*. С баккара, маман. Слово «баккара» не склоняется.

Настасья Федоровна. Хочу и буду склонять!.. В вас влюблена была даже Элиза, дочка вашего дяди. И поскольку дядя, невесть за что, тоже любил вас, вы получали Элизу и за ней имение Хмелиту. Это не наши деревеньки!.. Притом Хмелита для вас — не просто имение. Родовое гнездо! Вы выросли там. Как ваш Чацкий в доме вашего Фамусова. Но что вам до всего — и даже до родового гнезда?!..

Автор. Что делать? Так вышло! Так, верно, угодно судьбе...

Настасья Федоровна. Ну, бедняжка Элиза, конечно, утешилась. И составила неплохую партию! Генерал Паскевич! Ваш главнокомандующий!

Автор. Граф! Паскевич-Эриванский.

Настасья Федоровна. Что вам нынче вздумалось поправлять меня?

Автор *(скромно)*. Я просто напомнить хотел! Он получил титул графа Эриванского за последнюю кампанию с персами.

Настасья Федоровна. А как, бывало, вечерами вы играли на музыке! Ты садился за фортепьяно, Элиза бралась за флейту. И получался такой прелестный дуэт!..

Автор. Трио, маман! Вы забыли. Трио!.. Еще Машенька, сестра, играла на арфе.

Сильный удар. Еще и еще... Мальцев пересек пространство сцены и вновь очутился перед посланником.

Мальцев *(почему-то не глядя ему в глаза)*. Урядник казаков спрашивает снова. Не пугнуть ли их огнем?.. Казаки в беспокойстве!..

Автор *(очень ровно)*. Мы ведь, по-моему, говорили с вами уже по этому поводу?

Мальцев. Да. Но казаки... Урядник опасается — ему не удастся удержать их. Они не могут так стоять.

Автор. Потерпят! Я отдам под суд каждого, кто откроет огонь без приказу!

Мальцев. А когда будет такой приказ?

Автор. Если кто-нибудь из тех войдет в ворота миссии. Не ране. Казаки должны понять... Здесь им не война. И они лишь охрана миссии Российской!..

Мальцев ушел понурый. Пауза.

Булгарин *(возник — и прилипчиво)*. Послушай, там есть такое место... Когда Софья как бы просит прощения у него — у Чацкого. Вот тебе и самый момент повернуть финал!

Автор *(срываясь)*. Да оставьте меня в покое с вашим Чацким!.. Да нет его во мне! Я потерял его!..

Булгарин *(кротко)*. Где? Может, поищешь?..

Автор *(зло)*. В петербургском наводнении!.. Я плыл к нему и не доплыл!.. Его голова еще несколько раз мелькнула на волнах и пропала! Я потерял его! Или в волнах, или в самом себе!.. Что вам надо от меня? Может... я и не заслуживаю видеть его. *(Исчерпывающий жест.)*

Булгарин *(после паузы)*. Ну, не хочешь,— я сам, а?..

Автор. Что?

Булгарин. Исправлю без тебя!.. Ты лишь позволь, позволь!..

Автор. Валяй! Я слишком ценю собственную свободу, чтобы стеснять ее в ком-нибудь другом. А стихи ты тоже сам напишешь?..

Пауза.

(Мрачно и зло.) А хорошенькую комедию я написал, не правда ли?.. Одного Чацкого повесили. Другой застрелился сам. Третьего выдал родной дядя, к которому он прибежал скрыться. Четвертого взяли в Варшаве и согласно приметам, подробно описанным собратом по перу!.. Што-с?.. И после этого вы хотите, чтоб я сочинил для вас еще что-нибудь?..

Удар. Исчез Булгарин.
Дадашев и Мальцев.

Дадашев. А я тэбе говорю — он сошел с ума! Попомны мое слово! Он всо врэмя говорит сам с собой!.. Нормальный человэк нэ будэт разговарывать сам с собой!

Мальцев *(помолчав)*. Мне тоже показалось... он не в своей тарелке.

А перед Автором осветился стол, словно парящий в пустом пространстве меж последним прибежищем Посланника и павильоном Театра, воздвигнутым Комедиографом. Высокий шандал о шести свечах, и некто за столом, с лицом Скалозуба и в генеральском мундире.
А он, Автор, стоит навытяжку перед этим столом...

Скалозуб *(листая какие-то бумаги)*. У нас к вам, собственно, один вопрос... О чем ваша комедия «Горе от ума»?..

Автор. Неужто и у престола Господа я должен буду отвечать на этот вопрос?..

Скалозуб. Кратенько! В двух словах!..

Автор *(растерянно)*. Ну... так просто не сказать. Ежли б это было так просто, незачем бы и разоряться на пьесу о двести страниц!

Скалозуб. Я понимаю. Но многие наши молодые люди, проникшись ее мыслями... да еще одетыми прелестью поэзии! Исполнившись от вас неоправданных надежд...

Автор *(жестко)*. Не от меня! От моего героя!..

Скалозуб. Но они-то устремились на путь, который обрывался бездною! Гибельный путь!..

Автор. Я не помышлял ни о чем подобном! И... Я ж писал все-таки комедию, не политический трактат! Она задумывалась в Персии, году в двадцатом...

Скалозуб *(поджав губы)*. Тоже в Персии, значит?

Автор. Да. В Персии. Но ничего это не значит! Вообще это все привиделось мне во сне. В Тебризе, в саду... Один из тех снов, что снятся нам на чужбине о родине нашей.

Скалозуб. М-м... и что же нам приснилось?

Автор. Мне явился некий молодой человек... который дерзает оставаться самим собой. Вне общих мнений и страстей. И пред лицом обыденности. Который сталкивается с обыденностью... Вот всё! И что из этого вышло!

Скалозуб. А что должно было выйти, по-вашему?

Автор. Комедия! «Горе от ума»!

Скалозуб *(хихикнул)*. А что из этого и выйти могло?.. Окромя Сенатской площади? Или Тегерану?

Автор *(зло)*. Уберите ваш шандал! Он слепит мне глаза! Что за дурацкая манера слепить глаза?.. И потом... Все это уже было однажды! До чего ж мы неталантливы, Бог ты мой! Не умеем изобрести ни Ада, ни Рая... чтоб это как-нибудь не походило на грешную землю!..

Скалозуб. Вы однажды уже увлекли других на гибельный путь.

Автор. Подите прочь! Вы — выдумка! Я вас придумал! У престола Бога не может быть ни Дибичей, ни Чернышевых!

Удары... Потух шандал о шести свечах. А державный стол сузился до размеров шахматного столика, за которым сидит старый Манучихр-хан. И длится шахматная партия — на пороге Жизни и Смерти...

Манучихр-хан. Последнее... мой уважаемый друг! Мы в Персии мало знаем о вашей стране. Но все ж кое-что знаем. Когда ваш государь всходил на престол, несколько лет тому, произошел страшный бунт на площади в столице. Было много убитых... Множество людей пошло под арест. Пятеро были повешены... И среди этих всех были ваши товарищи!.. И вы сами, сколько нам известно, долго содержались под стражей по этому делу. Как это сочетается?.. С вашим собственным преданным служением — слишком преданным даже! — режиму, который вряд ли был более милосерд к своим врагам... нежели власть персидская к какому-нибудь Мирзе-Якубу?.. Извините, что спрашиваю так резко и прямо! Иначе мы никак не дойдем до смысла вещей.

Автор слушает молча и вдруг начинает смеяться — тихо и грустно. И Манучихр-хан взирает на него удивленно — уж слишком неуместен этот смех.

Автор. Вы наивный человек, высокочтимый Манучихр-хан! Верну вам ваши слова. Вы наивны. Страна!.. это ж — не царь, не шах, не богдыхан... не Цезарь, не Наполеон!

Манучихр-хан. А что это... позвольте спросить?

Автор. Дух! Ценности, какие она защищает каждым из своих сынов! И пока я здесь стою, на этом пятачке земли...

Манучихр-хан. Ах, этот пятачок ваш так мал: три дома, три двора, с узкими переходами. Одни ворота и те без запора.

Автор. Все равно... Но пока я здесь стою — тут будут соблюдаться законы России! Какими они существуют для меня.

Манучихр-хан. Благодарю вас! Я все понял.

Автор. Что вы поняли?

Манучихр-хан *(помолчав)*. Две вещи! Во-первых... Вы несчастный человек, господин посланник!

Автор. Почему?

Манучихр-хан. Потому что одиноки!.. И пребудете один! Вы не встретите понимания даже в тех, кто рядом с вами. Простите! Ибо вы защищаете ценности, какие существуют в одной вашей голове.

Автор *(усмехнулся)*. А во-вторых?

Манучихр-хан. А во-вторых... вы проиграли эту партию! Смотрите! Вам мат, уважаемый господин посланник!

Автор. Да. Сдаюсь!.. *(Комически поднял руки)*. Сдаюсь! Благодарю вас за урок! В этой игре...

Манучихр-хан. Ну, что вы! Какой урок? И ежли б он еще пошел на пользу... *(Поднялся.)* Вы тоже хотели спросить меня о чем-то. Но не решились. У вас на языке все время вертелся вопрос. Я чувствовал его...

Автор. Какой же... вопрос?

Манучихр-хан *(жестко)*. Помню ли я, что сделали со мной тогда, в мои восемнадцать лет?.. *(И выждал паузу явного смятения Автора.)* Нет, не помню! Я слишком хотел забыть! Я понял: мне не отпустят другую жизнь. И остается принять эту... какая есть. Я и Мирзе-Якубу все годы советовал... Но он не внял мне.

Автор. А мне как раз... эта история его внушает некую надежду. Вам не кажется?.. На человека. На человечество! С человеком многое сотворить можно... Но не все, выходит! Не все! Не все!..

Манучихр-хан *(отвесил глубокий поклон)*. Прощайте! Я буду рад встретиться с вами завтра... и в столь же спокойных обстоятельствах, как ныне.

Уходит величественно. Но не сделал он и нескольких шагов по сцене... Какой-то Перс повалился ему в ноги, обнимая его ноги и плача:

Перс. Высокочтимый! Высокочтимый!

Манучихр-хан. Да что с тобой?

Перс. Ваш племянник! Ваш племянник!.. *(Плачет.)*

Манучихр-хан. Да говори, что с ним?.. *(Срываясь.)* Говори! Говори! Говори!..

...к Дадашеву подбегает Мальцев. На нем лица нет...

Мальцев. Ты слышал?.. Маликов убит!

Дадашев. Племянник Манучихр-хана?..

Мальцев *(чуть не плача)*. Он взял с собой нескольких слуг своего дяди и на коне помчался к Русской миссии. Его стащили с коня, приняв за кого-то из нас... И били, били! Значит, и всем нам крышка?..

Дадашев. Я ж сказал тебе, что он сумасшедший! *(Быстро пошел по сцене.)*

Автор несколько секунд глядит на них в рассеянности, потом на Манучихр-хана, на плачущего слугу у его ног...

Автор *(отворачивается)*. Ну, вот и все! Мой Вестник!

Дадашев *(столкнулся с Мальмберхом и — резко, ему)*. Что с его превосходительством?

Мальмберх. А что такое?

Дадашев. По-моему, он безумен! Он разговаривает сам с собой!

Мальмберх. Он размышляет! Оставьте его в покое.

Дадашев. Мы бы оставылы! Да камны лэтят!

Сильный удар... который выводит, наконец, из оцепенения Манучихр-хана.

Манучихр-хан *(идет по сцене)*. Как же так?.. Как же так?.. Как же так?.. *(И с этим вопросом покидает сцену.)*

Мальцев *(подошел к Сашке)*. Сашка, а Сашка! Что с Александром Сергеичем?

Сашка. А чего с ими?

Мальцев. Не знаю... Он как будто не в себе! Говорит сам с собой.

Сашка *(спокойно)*. А они завсегда разговаривают сами с собой!.. Умные люди ежели! С кем-то ж надо говорить? А умных мало!..

Еще удары намней...
Автор слышит или не слышит это все?..
Громкие голоса и шум. Весь «бал Фамусова» на сцене. И военный оркестр на переднем плане пробует инструменты.

Фамусов *(подошел к Автору и — наставительно)*.

Вот, то-то! все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы!..
Учились бы, на старших глядя...
Мы, например... или покойник-дядя!..
Максим Петрович! он не то на серебре —
На золоте едал! сто человек к услугам...
Весь в орденах, езжал-то вечно цугом...
Век при дворе — да при каком дворе!
Когда же надо подслужиться —
И он сгибался вперегиб!..

Гул голосов. Общее оживление.

Кто-то *(из актеров, занятых в репетиции,— Молодому офицеру)*. А что теперь?

Молодой офицер. Конец акта!.. Общий вальс, и... Чацкий остается один!.. И этот вальс как бы обтекает его! Тут написано *(зачитывает)*: «все в вальсе кружатся с величайшим усердием»... Где Чацкий, хотел бы я знать? Но кто-то ж должен оставаться один?..

Автор *(помолчав, твердо)*. Я за него!.. *(И входит в центр круга, где толпа персонажей Комедии смешалась с персонажами его собственной Драмы. Всем.)* Неужто... обязательно надо растерзать зверя и окутаться его шкурою? Чтоб вдохнуть роскошный студеный воздух отечества?

Мальцев *(растерянно)*. Он почему-то все время говорил сам с собой!..

Дадашев. Я сразу понял, что он безумен!.. Мыссия, побываемая камиямы,— и в руках базумца! Хорошенькое дело!

Хлестова *(она же Настасья Федоровна)*. Я считала всегда, что он карбонари! Хоть он и мой сын!..

Софья. Я рада была, что избавилась, наконец, от этого безумного!..

Молодой офицер. Прошу вас, господа! Без отсебятины, без отсебятины! По тексту! По тексту!..

Персонажи — то ли Комедии, то ли его собственной Драмы — теперь обходят его, чуть не со страхом. И — один за другим:

— Ах, боже мой! Он карбонари!..
— Он вольность хочет проповедать!..
— Да он властей не признает!..
Фамусов. Строжайше запретил бы этим господам
На выстрел подъезжать к столицам!..
Софья. Он не в своем уме!..
Кто-то *(из гостей)*. Ужли с ума сошел?..
Софья. Не то, чтобы совсем!..
Гость. Однако есть приметы?..
Софья. Мне кажется!..
Гость. Как можно! в эти леты?..
Все. — Ты слышал?..
— Что?..
— Об Чацком!
— Что такое?
— С ума сошел!
— Пустое!
— Не я сказал — другие говорят!..
— Ты знаешь ли об Чацком?..
— Ну?..
— С ума сошел!..
— А, знаю, помню, слышал!..
Как мне не знать? Примерный случай вышел:
Его в безумные упрятал дядя-плут!..
Схватили, в желтый дом, и на цепь посадили!..
— Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут!..
— Так, с цепи, стало быть, спустили!..

Автор стоит в центре этого всего — спокойно, скрестив руки на груди, с брезгливой усмешкой... Общий вальс обтекает его. Потом... Удар! Сильный грохот!.. Это — верно, в последний раз — падает на пол злополучная стенка второго этажа! Персонажи Комедии быстро покидают сцену... К Автору бежит Мальцев со всех ног, крича на ходу:

Мальцев. Персидские сарбазы покинули ворота посольства! *(И уже рядом с Автором — тихо, испуганно.)* Что ж это будет? Александр Сергеич?..

Автор *(помедлив)*. Благоволите... Ко мне казацкого урядника!

Мальцев. Слушаюсь! *(И от испуга щелкнул каблуками по-военному. Вновь бежит через сцену.)* Казацкого урядника... к его превосходительству! Казацкого урядника к его превосходительству!

Автор *(помолчал, поднял голову)*. Кажется, я нынче напишу свой «Ад»!..

Опустевший павильон Комедии занимают русские солдаты с ружьями.

Картина Пятая

По действию остается какой-то час до гибели Русского посольства в Тегеране 30 января 1829... Удары камней теперь следуют один за другим. Им ответствует слабый треск выстрелов маленького казацкого отряда. Невообразимый шум многотысячной толпы постепенно надвигается на людей, как вышедшее из берегов море... Его превосходительство беседует с казацким Урядником.

Урядник *(вытянувшись)*. Приказывайте! Вашескобродь!

Автор *(улыбнулся слабо)*. А чего приказывать? Сам не знаю, братец. Сам не знаю. Я человек статский! *(Помедлил.)* Не пускать бы их сюда!..

Урядник. Да, это как есть! Само собой! Патронов только мало.

Автор *(пожал плечами)*. На нет — суда нет!.. Может, еще выкрутимся! Или пришлют подмогу персы... *(Вдруг резко.)* А что это за земля, а?.. *(И ткнул пальцем себе под ноги.)*

Урядник *(вытянулся)*. Персидская, вашескобродь! Как есть — персидская!..

Автор. Да ты не тянись, не тянись! Я ж просто так... Для разговору. *(И еще подумал.)* Только... Это ж просто люди так решили. Поделили меж собой. И одну часть назвали русской, а другую — персидской. Как думаешь?

Урядник. Так-то оно так!.. *(Не понимая и в ожидании дальнейшего.)*

Автор. Тогда... вот тебе и приказ! На сегодняшний день... и пока мы здесь стоим! Эту землю под ногами считать Россией!

Урядник *(обрадованно — от простоты)*. Понял, вашескобродь! Защищать, как Россию. Понял!

Автор. Молодец! Ступай! Счастливо тебе!..

Урядник уходит. Пауза. Удары.
Появился Булгарин.

Автор *(глухо)*. Фаддей! Давай посчитаемся!.. У меня долги тебе...

Булгарин. Чегой-то ты?.. Ни с того ни с сего?

Автор. Я уже не могу изменить концовку! Все уплывает из рук. Если б кто-нибудь понимал, как мало концовки зависят от нас...

Булгарин. А от кого они зависят тогда?

Автор *(очень серьезно)*. От обстоятельств. У меня остается семья. Жена ждет ребенка! Так что... Я оставил тебе, уезжая, эту комедию. Ежли она увидит свет — во что я мало верю, признаться! — доходы с нее!..

Булгарин. Само собой.

Автор. Я оставил тебе еще три тыщи шестьсот червонцев. Из тех четырех тысяч, что пожаловал мне государь за Туркманчайский мир. Теперь — мои долги тебе!..

Булгарин *(пожал плечами)*. А у меня все записано!.. *(Достал записную книжку.)* Три тыщи рублев, стал-быть, триста червонцев ты взял у меня, когда путался с этой балеринкой. Актрисенкой. Катей Телешовой. Которую все принимали за твою Софью!

Автор. Ты не можешь выбирать выражения?

Булгарин. Могу. Когда тратил на нее все деньги! Было? И две тыщи сверх — после наводненья... когда ты без просыху пил у Демута в ресторации!.. Оттого, видишь ли, что тебе не понравился успех твоей комедии в читающей публике!..

Автор. Ну, да. Он был странен мне! Я считал, что не создал еще ничего истинно-изящного для такого успеха.

Булгарин. Ну, там — создал, не создал — а две тыщи ушло!

Автор. Меня смутил этот успех. Зачем? Когда все только начиналось! Я мечтал тогда о театре в высшем значеньи! А комедия... Это было только так! Набросок! Первый подмалевок...

Булгарин *(пожал плечами)*. И еще тыщи полторы или больше, когда ты сидел под арестом в Главном штабе. И я, как мог, сносился с тобой!.. И подкуплял, кого мог. Припоминаешь?

Автор. Припоминаю.

Булгарин. Ну и... пятьсот рублев ты взял у меня заплатить каретнику Иоахиму. Чтоб он переделал твою бричку в карету. И сдалась тебе эта карета!..

Автор. Я собирался жить, должно быть. И мне надоели извозчики.

Булгарин. Но учти, твоя карета так и стоит пока во дворе у Иоахима! Я не забирал. У меня места нет.

Автор. Пусть стоит!.. Итого — семь тыщ?

Булгарин. Остальное — по мелочи...

Автор. Мелочи переживешь!

Булгарин. Переживу.

Автор. Остальное отдашь, если что случится! И не матушке моей, а моей жене!

Булгарин. Это все?

Автор. Да. Нет... Ты мне не объяснил еще, что такое писатель самой жизни...

Удары. Исчез Булгарин.

Мальцев *(подходит)*. Ваше превосходительство!.. *(Вид у него странный: растерянный и, вместе,— решительный.)*

Автор *(усмехнулся)*. Что так официально?

Мальцев *(после паузы, захлебываясь в словах)*. Александр Сергеич! Вы знаете... я шел за вами, не разбирая дороги... И даже в эти, в последние дни... когда мне казалось, что чутье обстановки несколько изменило вам, нам и... мы тычемся, как слепые щенки... В чужом пиру похмелье... в чужой монастырь со своим уставом... в чужом огороде собственные плоды... Я, как мог, споспешествовал вам... вряд ли и вы, в свой черед, могли сетовать... что, вняв просьбам обо мне наших общих друзей...

Автор *(перебил)*. Не мог! Не мог! Короче, милейший Иван Сергеич! Время долгих слов прошло! Вы — про Мирзу-Якуба?

Мальцев. Да. Существует мнение...

Автор *(жестко)*. Чье? Дадашева? Мирзы-Сулеймана?

Мальцев *(с усилием)*. И мое!

Автор. А-а... *(Помолчал.)* Ну, что ж. Могу вас понять.

Мальцев *(чуть не плача)*. А я не понимаю, Александр Сергеич! Здесь сорок человек миссии! Включая казаков!

Автор *(ровным голосом)*. Тридцать девять — включая нас с вами! И один уже убит, хотя и еще жив. Рустам. И погиб господин Маликов, племянник Манучихр-хана. Что еще?

Мальцев. Не понимаю! За что?.. За злосчастного Мирзу-Якуба? В сущности, чужого всем?.. и про которого вы сами говорили давеча, что он вам как бы неприятен?

Автор. Вы — чудак, друг мой. Ужели существуют весы, на которых можно взвесить человеческое? Приятное, неприятное... Одну жизнь и другую? Одну жизнь и несколько жизней?.. Вы видели такие весы? Я не видел.

Мальцев. Но мы все погибнем здесь!

Автор *(жестко)*. Теперь не исключаю и такой возможности.

Пауза. Долгая...

Мальцев. Александр Сергеич! Извините меня! Но... У вас у самого в Тебризе жена! И Нине Александровне только шестнадцать лет! И они ждут ребенка!..

Автор. Благодарю за напоминание! *(Усмехнулся.)* Тем более! Я слишком ценю собственную жизнь, чтобы платить за нее чьей-нибудь другой.

Мальцев *(уже в совершенном смятении)*. Да, да... наверное! Вы и в самом деле можете так думать!.. Вам сорок лет. Вы пожили свое! Вы почти старик! Но те, кто идет за вами... Я, к примеру! Мне только двадцать один! И я у матушки единственный сын!

Автор *(схватил его за плечи и сильно встряхнул)*. Да очнитесь, мальчик! Да разве можно так бояться смерти... чтобы ради нее дать принизить собственную жизнь?!

Мальцев постоял еще и пошел прочь от него.

Автор *(ему вслед — кричит)*. Но я не Одиссей! Я не скармливаю моих спутников волнам лишь для того, чтоб самому благополучно проплыть меж Сциллой и Харибдой! И не ждите от меня сих гомерических добродетелей!

Мальцев *(идет один через сцену)*. Бежать! Бежать! От этого сумасшедшего, который всех понимает и потому всех погубит! Бежать, бежать!.. Но куда? О, Господи?.. Бежать, бежать, бежать!.. *(Увидел Дадашева. Схватил его за грудки.)* Он безумец! Безумец! Безумец! *(Сам с безумными глазами.)*

Пауза. Удары.

Пушкин *(появляясь)*. Так не хотите взять меня с собой?

Автор. В Персию? Нет. Я сам туда еду не без опаски.

Пушкин. А чего вы опасаетесь?.. Теперь, когда подписан мир?.. *(Повисло в воздухе.)* Но вы ж посланник, по-моему?..

Автор *(мрачно)*. Полномочный министр! Сие павлинное звание мое — дабы смущать одних лакеев да станционных смотрителей!

Пушкин *(пытаясь утешить его)*. Все-таки вы должны гордиться! Вы — единственный поэт России, в честь которого били пушки Петропавловки!

Автор *(сухо)*. Не в честь меня, а в честь Туркманчайского мира! В честь поэтов, я думаю, еще долго не будут бить пушки.

Пушкин *(после паузы, со всей щедростью)*. Я придумал! Вы возвращаетесь из Персии, и мы отправляемся путешествовать с вами!

Автор *(уныло)*. Куда?

Пушкин. Не знаю. По Европе, должно быть. Вы ж там никогда не были. И я тоже...

Автор *(усмехнулся мрачно)*. Ну, да. Грибоедов и Пушкин, два незнатных русских путешественника...

Пушкин. Это почему это незнатных? Ваш род с какого века поминается в летописях?

Автор. Не помню толком. С шестнадцатого. Может, с семнадцатого. Недавно совсем!

Пушкин. Вот видите! С шестнадцатого века! И я — шестисотлетний дворянин!

Автор. Ах, оставьте! Не надоело вам еще таскать за собой этот багаж?... Шестьсот лет?

Пушкин *(очень серьезно)*. Не говорите! Человек должен ощущать свое место в пространстве и во времени!

Автор. Зачем?.. *(Усмехнулся едва.)* Кстати, о предках!.. Пращур мой, некто Михайло Грибоедов, служивый человек... грамотку имел, после Смутного времени от царя Михаила Федоровича. Постойте!.. *(Вспоминает.)* «...За то, что во трудное и во прискорбное время противу врагов наших стоял крепко... голод, и наготу, и нужду всякую осадную терпел... а на воровскую прелесть и смуту не покусился!»

Пушкин. Нет, но каков язык, а?.. Каков язык! Где они брали этот язык? Наши предки?..

Автор. Бог их знает!

Пушкин. «На воровскую прелесть и смуту не покусился»... *(Покачал головой.)* Печальная страна! Но какой язык!

Автор *(с грустной усмешкой)*. «В начале было Слово»... а что потом? А потом ничего не было!

Пушкин *(улыбнулся)*. Зачем уж так уж,— ничего? Вначале было Слово... А потом — «Слово и Дело»!

Рассмеялись оба

Пушкин *(весело)*. Так едем?

Автор. Куда?

Пушкин. Куда хотите! Изберите сами!

Автор. Мне все равно.

Пушкин. Тогда сначала — Неаполь! Неаполитанский залив. Хочу увидеть закат. Мне сказывали — я слышал от многих — что там необыкновенные краски! И море светится, как жилище Бога!.. Тьфу, пропасть! Живешь по слухам.

Автор *(вовлекаясь невольно)*. Мы отправляемся морем?

Пушкин. Да...

Автор. Тогда в Неаполе мы и сойдем с корабля! Этого, слава Богу, никто не минет!

Пушкин *(живо)*. А потом в Венецию? К самому карнавалу?..

Автор. Экий вы крюк дали! Через весь полуостров!

Пушкин. А что прежде?

Автор. М-м... Рим, должно быть. Все дороги ведут в Рим.

Пушкин *(быстро)*. Согласен! Тогда сперва — Везувий! Развалины Помпеи!

Автор. Извольте! Интересно, что останется от нашего с вами бытия? И какому взору, волнуемому развалинами, оно предстанет некогда?.. *(Помолчав, иронически.)* Ну, теперь уж можно, наконец, отправиться в Рим? Я, признаться, подустал от развалин.

Пушкин *(после паузы)*. А Венеция — скоро?

Удар! Скрывается...

Автор *(почти без перехода)*. Чего тебе? *(Потому, что узрел Сашку.)*

Сашка *(испуганно)*. Что с вами?.. Александр Сергеич?..

Автор *(рассмеялся)*. Ничего. Горе от ума, брат! Горе от ума!.. Знаешь, что такое — горе от ума?

Сашка *(уже своим обычным тоном)*. Вестимо! Это всякий знает. Комедь! Какую вы сочиняли, когда у вас горло болело.

Автор. Чего врешь? Когда это у меня горло болело?

Сашка. Тогда-с! В имении Степана Никитича. У Бегичевых. Вы можете и не помнить. Вы писали себе... А я вам, как раз, всё шалфею заваривал!

Автор. Может, брат... может!.. Какие у нас с тобой памяти разные! *(Улыбнулся.)* А я понял, где я встречал тебя еще — кроме этой жизни!

Сашка. Где-с?.. *(На всякий случай — настороженно.)*

Автор. У Мольера! Знаешь такого?

Сашка. Еще бы! А хто с его пыль стирал? В коричневом переплете. С кожаным обрезом.

Автор. Точно! В коричневом. С кожаным обрезом.

Сашка *(помолчав)*. А все же обидно как-то вы сказали давеча!..

Автор. И ты с обидами?

Сашка. Выходит... ездил с вами, ездил, мытарился весь век!.. А теперь вот, перед смертью... и нету у меня никаких правов?!

Уходит.

Автор *(один, после паузы)*. А как легко она писалась, моя Комедия! Будто сам Бог диктовал ее мне! Эта легкость осталась теперь — как память! В руке! не в голове! *(Поглядел на свою правую руку.)* Мне просто показалось — этот молодой человек, который повинен в одном: он *мыслит*! — должен остаться в одиночестве! Ему изменит любовь, уйдет друг... Его, может статься, сочтут безумцем. И даже прежде близкие люди!.. Но я вовсе не готовился в прорицатели! И роль Кассандры не привлекала меня. И это ж, в конце концов, был только Театр! Комедия! Изящная словесность!.. А вдруг все обернулось... Картечью на площади. Виселицей. Друзьями в кандалах... И сам государь, громкогласно, всех мятежников Сенатской назвал безумцами!.. Для меня самого все кончилось как бы благополучно. Но... Я больше не мог писать! Вернее, не мог смеяться! Мир больше не был смешон! Он сделался страшен или жалок!.. Кто-то потерял голову в этой истории... Я потерял безделицу! Только Смех! Но что может быть печальней комедианта, который разучился смешить и смеяться?! Оставалось все бросить... свести счеты с собой или бежать. Куда?.. Ах, не все ли равно? В пустыню... где пред лицом судеб воздвигнуть собственную цитадель духа!..

Быстро вошел Мальмберх.

Мальмберх. Они ворвались в первый двор! Наши казаки отступили к переходу!..

Автор. А-а... *(Помолчав.)* А Мирза-Якуб?..

Мальмберх. Мы видели издали, как его выволокли из дому и потащили по земле!.. Но, как будто, уже мертвого.

Автор. А-а... *(Помолчав.)* Что ж!.. Повод убит... Осталось теперь только причину!

Удары! Приближаясь...

Сашка *(входя)*. К вам там какой-то перс!

Автор. Перс? Ко мне?

Непонятно как, но вокруг посланника оказались в сей момент и прочие сотрудники побиваемой камнями миссии Российской...

Перс *(поклонился, и все поклонились)*. Простите, господа, мое вторжение. И, может, в неподходящий момент... Но... Я кондитер, здешний кондитер!

Дадашев *(негромко)*. А нам сейчас только нэ хватает кондитерской! Правда?.. *(Кому-то рядом.)*

Перс. Я ваш сосед! Вы, верно, не замечали меня... Но мой двор как раз примыкает к вашему! Есть там даже дыра в заборе. И — уж извините мне мое любопытство! — я многих из вас как бы и знаю уже... хотя... не имел чести быть знакомым, а вы, должно быть, и не обращали на меня вниманья.

Дадашев. Он что, прышел познакомыться? Нашел, наконэц, врэмя и мэсто!

Перс. Я правоверный мусульманин, и... я хочу вам сказать — я не приемлю того, что происходит!.. Более того, мне это отвратительно! И я прошу дать мне возможность... В общем, мой двор рядом. Всех, к сожалению, я принять не могу. Но двоих или троих... Окажите мне честь! *(Низкий поклон.)*

Невольная пауза.

Автор. А вы не боитесь, друг мой?

Перс *(стал в позу)*. А чего мне бояться? Я правоверный мусульманин!

Автор. Да, но... в такие минуты, как теперь... гибнут всегда самые правоверные. Неважно, с какой стороны!..

Перс. Аллах да сохранит меня и да осенит меня дух Пророка Его! Но мудрые учат нас... Есть множество способов спасти свою жизнь. Гораздо больше, чем кажется. Но надо при этом спросить себя: кого я в себе спасаю?.. Вот вопрос, который преследует нас, грешных, в этом печальном мире!

Мальмберх *(резко вмешиваясь)*. Тогда... спасите посланника!

Перс. Я готов! С радостью!.. *(Кланяется.)*

Мальмберх *(резко повернулся к Автору)*. Вам, может, удастся пройти во дворец к шаху!.. Одно ваше появление, и... они одумаются! Они пришлют помощь! Вы один можете остановить все это.

Автор *(ровным голосом)*. Может быть. Исключено! Я не оставлю миссию в такой момент! Ступайте вы вместо меня! Я вам доверяю. Мой предшественник, посол Мазарович, кстати, тоже был врачом.

Мальмберх. Нет. Я, как врач, не могу покинуть... поле боя!

Автор. А-а... Вот, видите? *(И отвернулся от него.)* Дадашев! Ступайте! Вы хотели уйти. *(Тот же ровный тон.)*

Дадашев. Па-чему Дадашев? Вэчно Дадашев!.. *(Встал в позу и с гордостью.)* Дадашев остается со всеми!

Автор. Мирза-Сулейман! *(Тот покачал головой. Обводит взглядом всех.)* Вы!.. Вы!.. Вы!.. *(Те же жесты.)* Сашка!

Сашка. Ну что вы!

...случайно не заметил только Мальцева: почти с самого начала разговора Мальцев стал как-то странно пятиться ва задний план. Так что в конце оказался и совсем — за спинами.

Мальцев *(одними губами)*. Как я позабыл! Есть же двор кондитера! Там дыра в заборе! Простите, господа! Простите! Я понимаю — это не совсем хорошо. Может, даже дурно. Простите. Понимаю... Но... Вы все старше меня! А я и не жил еще! Мне только двадцать один! И я у матушки единственный сын!.. Простите! Прощайте! Прощайте!.. *(Скрывается незаметно.)*

Перс *(обвел глазами всех, в растерянности)*. Что? Никто не хочет?

Автор *(после паузы, поклонился ему)*. Благодарю вас, друг мой!.. После вашей встречи... если Бог мне судил! — я нынче покину эту страну без вражды и с надеждой. Ибо всякая страна держится своими праведниками.

Поклоны с двух сторон. И перс покидает их.

А где Мальцев? Никто не видел?

Дадашев. Ай! Ваше прэвосходытелство! Хотел из мэня бэглэца слэлать! Чтоб меня всэ прэзиралы! Ваше прэвосходытелство!.. *(И качает головой.)* А правда? Гдэ Малцев?.. Толко что был здесь!

Пауза. Все расходятся.

Якубович *(появляясь)*. Пойдем!.. *(И поманил его пальцем.)*

Автор. Погоди немного! Мне надобно еще досмотреть финал!..

Стоят, молчат.

А почему ты не убил меня тогда?..

Якубович *(усмехнулся грустно)*. Потому что я трус! Ты не понял?

Автор. Ты?.. Знаменитый Якубович? Легенда Кавказа?

Якубович. Ну, легенды, знаешь!.. *(Усмехнулся, поморщился.)* На самом деле я должен был вечно доказывать себе собственную храбрость! *(Помолчал.)* На самом деле... мне трудно было всегда убить человека! Чего-то недоставало во мне: то ли ненависти к человеку, то ли любви к человечеству...

Уходит.
Удар — очень сильный. Стемнело... Звуки флейты.

Автор. Кто здесь?.. Это ты, Софья?.. *(Приблизился.)*

Софья *(с флейтой у закрытого фортепьяно)*. Почему Софья?.. Вы забылись, сударь! Я не из ваших актрис! Я Элиза, ваша кузина! *(Спохватываясь.)* Что вы делаете здесь в такой час?.. Это семейный дом!

Автор. Я хотел только сказать тебе...

Софья *(не слыша)*. Я любила вас! Это правда! Но вы уехали. И перестали писать ко мне...

Он подходит, молча, и опускается на колени перед ней.

Ты сошел с ума! Нас могут увидеть!.. Здесь? В такой час?! *(Меняя тон.)* Очнитесь, сударь! Я замужем! Мой муж — граф Паскевич, ваш главнокомандующий!..

Автор. Именно потому! Спаси, помоги, выручи несчастного Сашу Одоевского! Он тоже твой двоюродный брат!..

Софья *(поняв все)*. Мой муж не все может! Хоть он и Паскевич!

Автор. Не все, но многое! И в чем откажут мне, не откажут ему. Не следует пренебрегать возможностью спасти хоть одного несчастного. Ежли есть какой-то смысл в этой грустной комедии, чье имя — Жизнь...

Софья. Опять высокие слова? Я так устала от всех высоких слов! Я хочу просто жить!.. *(Почти без перехода, гладя его голову.)* И ради этого ты пришел сюда в такой час?.. Я узнаю тебя! Ты всегда был безумен! За это я и любила тебя! А помнишь, как мы вечерами сбирались у фортепьяно?.. Какой был дуэт! «То флейта слышится, то будто фортепьяно!..» Прекрасно! *(Сквозь слезы.)*

Он поднимается с колен.

Ты уходишь? Так скоро?.. Погоди! Еще немного! Погоди!

Автор. Мне некогда.

Софья. Постой! И никакая я не Софья, слышишь?.. Я Элиза! Твоя кузина! Мы выросли вместе!..

Автор *(уже издали)*. Да. Ты была Элиза, моя кузина. И еще Дуся Истомина, балерина. И Катя Телешова, тоже балерина. И еще кто-то, и еще... Я забыл. У тебя была тысяча лиц. И одно лицо моей Софьи! И ты всегда была моей Софьей! Обычной женщиной, которую я тщился понять... и не смог.

Удар! И еще чуть стемнело...

Почему я почти уже и не различаю тебя?..

Софья *(на другом краю сцены)*. Потому что ты уехал! Как всегда уезжал! На Кавказ или куда-нибудь!.. И там повстречал эту восточную девочку. И она затмила тебе весь свет! Еще бы! Она ведь пока и не изменила никому. Не плакала по ночам от сожалений — так, что румяна текут со щек! И она еще не ведает самой себя!..

Шум близкого боя. Удары... Надвигающийся гул.

Сашка *(вбегая)*. Они ворвались во второй двор! Урядник просит передать — патроны кончились!

Но тут кто-то подобрался сзади и прикрыл ему — Автору — ладонями глаза...

Автор *(делая вид, что не узнал)*. А кто это? Сашка?.. *(За спиной молчат.)* Мальцев?.. Может, Дадашев?.. *(С иронией.)* Доктор Мальмберх?.. А-а... это, наверно, ты, Чацкий? Ты вернулся?

Она *(не выдержала и рассмеялась)*. Ты что, и вправду не узнал? *(Отняла руки.)*

Автор. Ну, конечно! Серьезно!

Она. А почему ты так долго не звал меня?

Автор. Не объяснить. Тут были такие обстоятельства! Но я все делаю, клянусь, чтобы быстрей завершить все и воротиться к тебе в Тебриз. Я почти уже заканчиваю!

Она. Да, правда? Знаешь, сколько тебя не было? *(Что-то сосчитала на пальцах.)* Месяц и двадцать один день!

Автор. Да?.. А я думал, меньше! Как быстро время!

Она. Кому — как, кому — как!.. *(Чуть обиженно.)*

Автор. А ты тут что-нибудь делала без меня? *(Перебрал пальцами в воздухе.)* Играла хотя бы?.. Не забудьте, сударыня, что вы все еще моя ученица! Хоть вы и жена... *(усмехнулся)* Посланника и Полномочного министра! Но... Я задал вам урок!

Она *(протягивая ему пальцы)*. Учитель! Наказывайте! Я не выучила.

Автор *(целуя ее пальцы)*. А почему — можно спросить?

Она. Можно! Я была занята. У меня много дела.

Автор. И чем же ты так занята, маленькая моя?

Она. Как же! Я жду тебя! Я все представляю себе, что будет, когда ты вернешься. Что будет, как будет... *(Мечтательно.)* Потом... я прислушиваюсь к нему! *(Взялась за живот.)* У меня много дел.

Автор *(вдруг нахмурился)*. Это ужасно, знаешь?.. Я все слушаю тебя... и все пытаюсь уловить хоть одну фальшивую ноту! Я даже хочу уловить ее! И не могу!

Она. А зачем тебе фальшивые?

Автор. Тогда это будет похоже на жизнь. А так... Ты слишком такая, как должна быть. Но именно этого и не бывает в жизни. Не бывает!

Она. Твой опыт?..

Автор. Да. Если хочешь... Мой опыт.

Она. Ненавижу!.. *(И губы ее сузились — по-детски, но зло.)*

Автор. Что?

Она. Ненавижу! Весь ваш опыт! И почему вы должны навязывать его всем?!

Автор. Кто это — вы?

Она. Вы — умные, взрослые! А чего он стоит? И много вы видели с ним счастья? И почему я не могу прожить *мою*! — единственную и ни на что не похожую жизнь?! И так, как только я́ понимаю ее!

Автор. Прости! Но... Помнишь, я сказал тебе тогда? Я так долго жил, никому не отворяя души своей. Держа ее при себе... И когда я просыпался средь ночи... Я был спокоен. Что хотя бы она — при мне. Какая ни есть! Но вдруг ты являешься... и в один прекрасный миг я понимаю со всей ясностью: как только увидят тебя рядом со мной, все сразу и поймут, где скрыта моя душа! И тогда... что тогда?..

Она *(перебила)*. А я — твоя душа?

Автор *(улыбнулся)*. Да. Отлетевшая!..

Она. А душа бессмертна, правда? Как хорошо! И я бессмертна! И ты!.. Никогда не умрем, да?..

Автор. Не знаю...

Но она уже закружилась по сцене, по комнате, по земле — под какую-то ей одной слышимую мелодию:

Она. Никогда не умрем! Будем жить вечно! Вечно!..

Автор *(в зал)*. Простите ее! Ей только шестнадцатый год!..

Удар! Потом еще и еще...

Мальмберх *(быстро входит)*. Урядник сказал: он надеется отстоять второй переход в этот двор! Там есть узкое место, но... Если не ударят сзади. Или сверху.

Автор. Как так — сверху?..

Мальмберх. По крышам, по крышам!

Автор. А-а... *(Помолчал)*. Нет. Еще пятнадцать минут не пришлют подмоги персы — и все! Здесь будет больше мертвых тел, чем у Шекспира. *(И вдруг рассмеялся — без всякой связи.)*

Мальмберх. Чему вы?

Автор. Вот я и написал, кажется, свою трагедию — в духе Шекспира! *(Чуть помолчал.)* А знаете, что это: «трагедия» в древнегреческом? Это — «песни козлов»! Песни козлов!..

Мальмберх. Почему — козлов?

Автор. Козлов отпущения, вероятно. Жертвенных животных. Но это мое собственное толкованье. Я на нем не настаиваю.

Пауза. В которую они оба прислушиваются к звукам оттуда...

А мы начали было утром о чем-то интересном. Мы собирались воротиться!

Мальмберх *(с усмешкой)*. О Вечности.

Автор. Да, о Вечности! Самое время! Быть может... и эта толпа, что грозит каждый миг ворваться сюда... тоже как-то связана с Вечностью? Посланник Вечности?

Мальмберх. Может статься.

Автор *(поморщился)*. Ужасно шумная только у нас с вами Вечность! Шумят ужасно!

Надвигающиеся звуки боя и гул.

Мальмберх. Что ж!.. Пора и честь знать! *(Сделал движение к выходу.)*

Автор. Куда вы?

Мальмберх. Надо посражаться пойти. Там осталось мало людей.

Автор. Останьтесь! Вы еще нужны миссии как врач.

Мальмберх. Бросьте! Слышите?.. *(Вздохнул.)* Вы прекрасно знаете. Мои услуги врача здесь больше не понадобятся. Прощайте!..

Автор *(помолчав)*. Простите, если что... Я... *(Не договорил. И вдруг — быстро и яростно, словно боясь не успеть.)* Если останетесь живы... Скажите всем!.. Ну, тем, кому это как-то понадобится!.. Он вовсе не был безумен! Не пал жертвой безрассудства иль неосторожности! Он знал, на что шел!.. Он сам сочинил эту Драму от первой и до последней строки,— ну только разве что последнюю точку в ней поставил не он!.. Увлекся? Быть может! Но... он впервые в жизни ощутил невероятную возможность — перед лицом всего мира открыто отстаивать то, во что верил! И заплатил за эту веру всеми и собой! Вот, всё!.. Считайте его чудовищем! Но не безумцем!

Мальмберх *(помолчав, улыбнулся)*. Прощайте! Я не жалею, все-таки, что отправился с вами.

Движение обняться. Рукопожатие. И Мальмберх шагнул туда... А он, Автор, смог еще договорить с Пушкиным:

Автор *(насмешливо)*. Ну, а из Милана... мы садимся в экипаж и прямо в Париж?..

Пушкин *(вдруг надулся)*. Нет-с! Увольте! В Париж я не ездок!

Автор. Это отчего ж? Но вы сами говорили недавно, что хотите в Париж?

Пушкин. Хотел! Слишком долго! А теперь, пожалуй, уже и не хочу. Боюсь. Он окажется не таким... Потом... У меня там много воспоминаний. Сплошные воспоминания!

Автор. Воспоминания? Но вы ж там никогда не были?..

Пушкин *(вздохнул и серьезно)*. Да. Не был. А Паскаль? Абеляр? Андре Шенье?.. Гильотина? Наполеон после Ватерлоо?.. Нет! Сей рай не для меня! Я бродил бы, как по кладбищу! А этого хватает с меня и в Петербурге.

Помолчали.

Автор *(легко)*. Все это хорошо! — Париж, Венеция... Но сперва мне надобно ненадолго заглянуть в Тегеран!

Пушкин. Мне чуть ближе! На дачу друзей!.. На Каменный остров, Черная речка.

Автор. Ваше счастье!

Пушкин. Сочиняете что-нибудь новое?

Автор *(неопределенно)*. Да так...

И тогда появился тот самый человек. В тоге и в сандалиях. Поклонился с достоинством и чуть надменно:

Касперий *(Автору)*. Что ж. Я уже могу ответить тебе. Я защищаю этот Рим далёко за его пределами. И я буду защищать его. Хоть он давно уже не тот, что прежде!.. Потому что... Я отстаиваю вовсе не Рим, какой он есть теперь. Но свое понятие о Риме!..

И с поклоном удалился.

Пушкин. А кто это?

Автор. Так... Некто Касперий. Посол Рима в Армянском царстве... Мой последний персонаж.

Пушкин. Почему последний?..

Автор *(не ответив, весело)*. И что должен делать такой Касперий в самовластном государстве? Властям подозрителен и себе в бремя, ибо иного века гражданин!.. *(Помолчал.)* А я вам не досказал тогда. Не успел. Умные мысли приходят на лестнице!.. Сальери, может, в самом деле убил Моцарта. Но только в самом себе!

Пушкин. А как?.. Каким орудием, позвольте спросить?

Автор *(усмехнулся)*. Излишним размышлением. Вроде, как я!

Улыбаются и прощаются. Двинулись в разные стороны.

Карету мне! Карету! *(На одном краю сцены.)*

Голос извозчика. Куда прикажете?

Автор. В Тегеран, голубчик! Поезжай! В Тегеран!..

Голос извозчика. А где это, барин?

А в т о р *(махнув рукой)*. А все равно где! В Тегеран!

П у ш к и н *(на другом краю сцены, легко)*. Эй! На Черную речку! На Черную речку!..

Скрывается.

Шум отъехавших экипажей мешается с диким в совсем близким уже ревом толпы... Удары один за другим.

С а ш к а *(влетел)*. Доктора убили! Доктора!..

А в т о р *(почти спокойно)*. Слышу, Сашка! Слышу!..

С а ш к а. Хм!.. Такое дело!.. *(Покачал головой.)* У него была только сабля, но ему отрубили кисть! Во!.. *(Показал на свою правую руку.)* Представляете себе? И тогда он обмотал эту руку занавеской, а саблю перекинул в левую. И снова прыгну́л туда. Силен был мужик!..

А в т о р *(вскинул голову и с гордостью)*. Это был наш немец! Ординатор Эриванского гошпита́ля!..

Пауза.

Мне мой мундир с орденом Льва и Солнца!.. И принеси наши дуэльные пистолеты!

Сашка быстро вышел.

Появился Б у л г а р и н, стал в позу и с важностью.

Б у л г а р и н. Да-с! А мы вам говорим: хватит фантазмов! Мы устали читать об рыцарских временах, которых вы, если вправду, не видели и никогда не увидите! Явите нам нас самих! Наше серенькое российское существованьице. Стремленье выбиться в люди. Подняться со ступеньки на ступеньку. Наши будни. Наши маленькие праздники...

Удары и сильный шум.

Д а д а ш е в *(входя)*. Они уже здесь, во дворе!

А в т о р. Я чувствую! Шуму слишком много! Дадашев! Побудьте при мне. Мы должны еще написать кое-что...

Дадашев пожал плечами. Остался. А он еще повернулся к Булгарину.

А разве эти будни и маленькие праздники, Фаддей Венедиктович... Это серенькое российское существованьице, как вы изволили выразиться, не таит в себе ничего? Никаких общих смыслов?.. И не стоит за ним? Ни Гамлета? Ни Дон-Кишота?..

Сашка вносит мундир и помогает облачиться ему.

Ну, что? Признайся — надоел я тебе? В целую жизнь?..

С а ш к а. Да нет, не беда! Можно бы и еще потерпеть!.. *(Покачал головой.)* Мне молодую мадам жалко! И зачем вы только женились?..

А в т о р *(усмехнулся)*. Ну, это ты, брат, не того! Все-таки, женился не ты, а я!

С а ш к а *(тоскливо)*. А зачем? А разве плохо нам было ездить вдвоем?..

А в т о р. На, возьми!.. *(Отдает ему пистолеты.)* Целься ниже! Всегда надо брать чуть ниже точки прицела.

С а ш к а. А вам?.. *(Протянул пистолет.)*

А в т о р. Нет. Я — Посланник. Я не имею права стрелять!.. Ступай!

Обнимает Сашку, и Сашка обнимает его. Потом уходит. С двумя пистолетами, неся их дулами книзу. Автор молча глядит ему вслед... Пауза. В зал:

И ежли вы спросите... Что он делал в эти последние свои часы?.. Он вел бесконечный разговор с самим собой! Это значит... со многими людьми, поселенными в нас! В сущности, это был — диалог с Временем!

Пауза.

Дадашев! Есть чем писать?.. *(Начинает диктовать.)* Сего... генваря тридцатого дня, лета одна тыща восемьсот двадцать девятого... Посольство России в Персии подверглось... *(Спокойным, почти ледяным тоном дипломата.)*

Д а д а ш е в. Может, Российской империи?.. Ваше превосходительство?

А в т о р *(срываясь)*. Опять поправляете меня?! Писать! *(И — яростно.)* Брошенные Богом и людьми, в блуждалище чужих неправд... посольство России во главе с посланником Грибоедовым...

Сильный удар!

Кончено! Не успеть!

Свет померк, в темноте вошел Ю н к е р - Л а к е й из Комедии...

Ю н к е р - Л а к е й. К вам Александр Андреич Чацкий!

А в т о р. А почему не Сашка с докладом?.. А-а... *(И вспомнил.)*

Пауза. Входит Ч а ц к и й... У него лицо Васьки Шереметева. И еще Касперия, римлянина из древнего Рима...

А в т о р *(обнимая его)*. Я уж думал... ты и не хочешь видеть меня!

Ч а ц к и й. Нет, я видел тебя! Даже слишком часто!.. И даже во сне несколько раз!

А в т о р. Жаль, мало свету!.. А ты не изменился как будто!

Сели за шахматный столик, визави...

Ч а ц к и й. Ты играешь в шахматы?

А в т о р. Да. Немного. Тебя удивляет?

Ч а ц к и й. Нет. Почему? Я и сам там тоже приохотился играть.

А в т о р. Эту партию я проиграл!.. Я сделал несколько неплохих ходов, и, кажется, вовремя рокировался в сторону. Но пешки были на исходе! *(Разглядывает его.)* Я гляжу на тебя, и мнится... я возвращаюсь к самому себе. Из долгих странствий... В нашу квартирку на Почтамтской. Мне и среди ночи чудилось иногда, что открывается дверь... И ты входишь. С бала! Гремишь саблей, шпорами... Хоть и стараешься вовсю — не шуметь! Ты не жалеешь ни о чем?

Ч а ц к и й *(с усмешкой)*. О чем я должен жалеть?.. О бале?

А в т о р. О шпорах! *(Улыбнулся тоже.)* О твоем безумном порыве... и о том, что все так кончилось!

Ч а ц к и й *(легко)*. Нет. Совсем! Ты ж не знаешь, как все было... Мы стояли несколько часов на маленьком пятачке земли — на площади пред Сенатом. И... как сказал один из нас,— мы дышали свободою! Целых несколько часов! И эти несколько часов... на этом пятачке земли существовала наша собственная Россия! За это стоит пострадать!

А в т о р *(задумчиво)*. Не знаю. Может быть! Пятачок земли?.. Да, знакомо! У меня тут тоже был пятачок земли... Но после... у вас на этом пятачке начались бы сложности. Ноев ковчег. Семь пар чистых, семь пар нечистых... Не так?

Ч а ц к и й *(пожал плечами)*. Не все ль равно? Это было прекрасно!..

А в т о р. Наверное! Хотя... Вы собирались лечить человечество... а предложили способ старый, как мир! Мы об этом говорили когда-то. Ты забыл!

Ч а ц к и й. Какой способ?

А в т о р. Оружие!.. Но оружием нельзя спасти этот мир!

Ч а ц к и й. А что, по-твоему, может спасти его?

А в т о р. Мир спасет любовь!

Ч а ц к и й. Ты все так же наивен!

А в т о р. Возможно! Но... Я тут много думал последние дни. У меня было время подумать! И я осознал, кажется! Та Россия, которую мы вечно ищем *вовне*... на какую вечно сетуем, что она не такая, как нам хочется... Та подлинная Россия — в нас самих!

Удар! Он оглянулся невольно и увидел, как двое казаков вносят мертвое тело и аккуратно кладут на землю... Несколько секунд смотрит в некоем отупении. Потом срывается с места...

Они убили Сашку! Они убили моего брата!..

Рыдает... Он стоит на коленях, весь скрючившись над телом мертвого Сашки... Потом выпрямляется, все оставаясь на коленях. И — в зал:

Две просьбы! *(С силой.)* Первое! Помогите, спасите, выручите несчастного Сашу Одоевского! Вспомните, кто вам дал способы для ваших заслуг?.. Тот, для которого избавление одного несчастного от гибели гораздо важней грома побед, штурмов и всей нашей человеческой тревоги! А иначе... провались все ваши отличия, слава и гром побед! У престола Бога нет ни Дибичей, ни Чернышевых!..

Пауза.

И второе — о ней!.. Вы знаете, она молода! Молодости свойственны заблуждения!.. Это — мой грех! Незачем было тащить ее в эту жизнь — раз все так быстро кончилось! Помогите ей!.. Сыщите ей друзей! Будьте сами ей друзьями! Сумейте простить всегда... ее молодость, глупость, ее ошибки!.. Прощайте ее! Любите ее!..

И он поднялся с колен — уже тем Посланником Вечности, который отрешился от земных дел... На сцене полный свет! И весь бал Фамусова, застывший в ожидании развязки. Но земное и прекрасное в последний миг еще позвало Автора.

Она *(возникла на его пути и радостно)*. Я так и знала! Что ты в конце концов приведешь меня в Театр. Дают твою Комедию, не правда ли?.. Вот, послушай! *(И положила его руку себе на живот.)*

Автор *(сквозь дикий шум)*. Да, тише! Тише... Да уберите звук, черт побери!

И тогда вдруг сошла удивительная тишина на несколько мгновений... И он, и мы вместе с ним, услышали удесятеренной громкости единственный в мире звук: топот маленького нерожденного существа, что просится в этот мир скорбей! И Автор — с просветленным лицом:

Автор. Благодарю тебя, о Боже, что благословил меня тишиной!

Пауза. Удары! Вот и Ее нет рядом с ним. Он стоит несколько секунд, словно в оцепенении, как свойственно человеку у последней черты...

Персонажи Комедии *(один другому)*. Опять новая сцена?

Молодой офицер *(как бы в извиненье)*. Да это набросок! Черновик! Кажется, последний...

Персонажи:

— Наш автор сошел с ума! Он, вроде, решился переписать всю пиесу?..

— Куда хуже! Он вознамерился, будто, переписать собственную жизнь!..

— А что это? Можно понять? Пушки бьют!..

Молодой офицер. Тут неясность в самом деле! Пушки бьют, а непонятно, к чему и где!

Персонажи:

— Почему непонятно? Вполне понятно! Это — петербургское наводнение! Слышите — шум волн? Пушки бьют с Петропавловки по поводу наводнения...

— Да нет же! Слава Богу! Это не наводнение!.. Это всего лишь — Сенатская площадь!

Удары и шум...

— Да нет же, господа! Все разъяснилось! Действительно, бьют пушки с Петропавловки! Но это салют! Двести один залп! Посланник Грибоедов везет в столицу Туркманчайский мир!..

Громы победного салюта, будто камни бьют в стены...

Автор *(громогласно)*. Все назад! Им нужен только я!..

И вся толпа невольно попятилась.

Кто-то *(из толпы)*. Это и есть посланник Грибоедов?.. Этот маленький, в очках?..

Скалозуб *(подходя)*. Ну, вы довольны встречей?.. Государь приказал,— а уж мы старались!.. *(Взял Автора под руку и ведет вдоль сцены.)* Ну-с... теперь мы можем быть спокойны! Наши дела персидские в надежных

руках!.. Не то пришлось бы посылать сорок тысяч войска графа! А они ведь заняты войной с Турцией. А?.. *(И уже совсем освоившись и перейдя на «ты».)* Ты не сердись на меня, что я воспретил твою комедию в театральной школе... Сам понимаешь! Надо мной ведь тоже кое-кто есть! *(Жест в потолок.)* Но... призна́юсь тебе, я велел писарям моим сделать список с нее. Специально для меня. И я его храню в отдельном шкафу! Я ведь знаю, что тебя после смерти твоей будут ставить всюду! *(Смеется.)*

Автор *(улыбнулся)*. Но это еще надо умереть... Сподобиться!

Скалозуб *(болтая на ходу)*.

Мне нравится при этой смете...
Искусно как коснулись вы
Предубеждения Москвы
К любимцам, к гвардии, к гвардейским, к гвардионцам!
Их золоту, шитью дивятся, будто солнцам!
А в Первой армии когда отстали? в чем?..
Всё так прилажено, и тальи всё так узки...
    И офицеров вам начтем,
Что даже говорят иные по-французски!

И так вот, под руку, болтая, они обходят сцену.

Государь ждет вас! *(Широкий жест на публику и громовый голос.)* Дорогу Российскому Посланнику!..

Аплодисменты всех присутствующих. И весь бал Фамусова, невольно подхватывая:

— Дорогу Российскому Посланнику!

— Дорогу Российскому Посланнику!

Под эти клики Автор, все ускоряя шаг, подходит к павильону Комедии.

Булгарин *(вырастая перед ним)*. Я только должен упредить... Все, что ты придумал здесь, в Персии,— все это совершенно, абсолютно непроходимо!

Автор *(с улыбкой)*. Что ж!.. Я всю жизнь работал для театра, который был в одной моей голове!

С этими словами он вступил под своды Павильона и изнутри подошел к той самой двери, ведущей наружу, на крыльцо, в зал... Несколько мгновений он стоит перед этой дверью и после пинком ноги отворяет ее...

Мы увидели на миг в просвете двери — его, со скрещенными на груди руками; потом страшный грохот, и — темнота... Лишь смутно угадываются в темноте обломки Павильона.

ЭПИЛОГ

Некоторое время сцена в темноте. Потом освещается медленно: сперва просцениум, за ним декоративные развалины Театра. Где-то звучит вальс, едва различимый. Вышел Фамусов в домашнем халате. За ним — Лакей с разодранным локтем.

Лакей. Там к вам от каретника пришли. Спрашивают!

Фамусов. При чем тут каретник? Я не заказывал никаких карет!

Лакей *(нагловато)*. Ну там — заказывали, не заказывали — а спрашивают!.. *(Добавил.)* Говорят, ее некуда девать, кроме нас!

Двое здоровенных мужиков вносят на сцену карету без колес и ставят на пол перед Фамусовым.

Один из мужиков. Хозяин просит передать, она давно уж на дворе, без дела. И только место занимает.

Фамусов *(разглядывая)*. А-а!.. Его карета? А почему без колес?.. И куда ее девать теперь?.. *(Пожал плечами. Ушел.)*

Появился Пушкин в дорожном плаще и в шляпе...

Пушкин *(протянул)*. М-м!.. Карета Комедии Российской!.. *(Помолчал. Снял шляпу и стал рассказывать.)* Говорят, его тело еще три дня было игралищем тегеранской черни. Его таскали по Тегерану, крича: «Дорогу Российскому Посланнику!» Я слышал еще... ну, это уж из десятых рук, конечно!.. Когда там, в осажденной миссии, оставалась уже одна, последняя дверь... ее вдруг пинком ноги отворили изнутри. И на пороге, перед осаждающими, вырос сам

господин Посланник. То есть наш Автор! В полном парадном мундире Полномочного министра и с орденом Льва и Солнца на груди. Это высший орден в Персии! И спросил ледяным тоном: «Что, собственно, вам угодно?»... И это было так неожиданно... так невероятно среди общей резни... что осаждающие невольно попятились и, вроде, устыдились... И все бы, может, еще кончилось хорошо... но в это время другие лица из толпы, что успели уже залезть на крышу, разобрали крышу и сбросили камень ему на голову!

Пауза.

Камнем в голову? Да, камнем! Что ж!.. Для поэта еще не самая плохая смерть! Главное — быстрая!.. *(Еще помолчал. Тоскливо.)* О, русская Талья — муза Комедии! И почему ты так грустна? О, русская Талья, русская Талья! И не наскучило тебе играть Мельпомену?..

Уходит.

Возник Чацкий невесть откуда — из ближней кулисы. Постоял перед каретой. Усмехнулся. Поставил ногу на ступеньку.

Давно забытый — непередаваемый жест — прощанья: с залом? с миром, который покидает?.. Исчез в карете. И уезжает в карете без колес!

Потом вышла Она — вся в черном. Такая же юная, как была,— и только старше на целую жизнь. И — в зал:

Она. Мой ребенок не мог жить! Я знала об этом. Он явился в мир слишком рано!.. Он прожил на земле всего один час. Но за этот час я успела окрестить его. Александром! В честь его несчастного отца!.. *(И пока она говорит, ее голос обретает силу и власть: того, другого — ушедшего. Помолчав, с вызовом.)* И вовсе неправда, что он так и не увидел своей Комедии на сцене! Увидел! Когда Двадцатая пехотная дивизия взяла Эривань... Офицеры и их жены устроили спектакль в одном из брошенных эриванских дворцов, в саду... Сыграли «Горе от ума». Любительски, конечно! И на этом, единственном, представлении — присутствовал сам Автор!

Вальс все громче... И за ее спиной, возможно, уже за прозрачным занавесом, «все кружатся в вальсе с величайшим усердием» — весь «Бал Фамусова», затопляя собой развалины Театра своего Автора.

Звучит Вальс Грибоедова...
И на этом кончается собственная Драма Российского
Посланника в Персии и Полномочного министра,
который, кроме этой Драмы,—
был еще Автором «Горя от ума».

Конец

Александр ПЛАХОВ

◆◆◆

Скажи спасибо, что до тридцати
Не окривел, не охромел, не спятил,
И что анкета у тебя без пятен,—
А все, дружок, могло произойти.

Скажи спасибо, радуйся, чудак,
Что ты родился, что идет зарплата,
Что ты прописан, что учтен, кем надо,
Что дом твой — не чертог, но —
не чердак!
Будь счастлив тем, что тот и этот свет
Не в прах, не вдрызг пока что
разбазарен,
Что человек шагает, как хозяин...
Но ты за ним уже не хочешь вслед.

1978

◆◆◆

Соври, мой друг, я подовру,
И разговор вполне удастся —
Нам не впервой соревноваться
В уменьи поддержать игру.

Мы начинаем лгать с ленцой,
С негодованьем, еле-еле,
Но, слава богу, поумнели
И врем с торжественным лицом.

А вдруг с нас кто-нибудь сдерет
Ороговевшие личины?
По чьим заученным починам
Тогда нам пятиться вперед?

1971

◆◆◆

Весь, как скрижаль, событьями усеян;
кален огнем фугасов и фузей...
Я человека знал. Он был музеем.
И продавал билеты в тот музей.

В нем имена светились и темнели.
Хрипели кони. Дыбился Сиваш.
В нем — кожанки, и френчи, и шинели.
В нем...
Продавал билеты. Сам — в себя ж.
Святыня, вера, он вознесся храмом,
теснил эпоху, золотом слепил.
Надраивал табличку «...под охраной...»
и продавал, и продавал себя.

От года к году набавлял все круче —
о, эти цены, цены наповал!
Я человека знал... Не знал бы лучше!
Он продавал... Он нами торговал.

1970

◆◆◆

...из толпы разноликой,
из нее, что друг другом насквозь проросла,—
я из них, я возник, как толика их крика,
я из суммы, из гущи, из масс, из числа.

Поталдычьте и вы, от кого, из кого я,
с кем, куда и кому я — до смерти, по гроб.
Поталдычьте... Лишь дали б идти — без конвоя.
Без конвоя какое движенье могло б!..

Не кричите! Услышу и так. Лишь бы — внятно.
Лишь бы — правду. И лишь — без фанфар и чтецов.
И пускай кто-то смеет идти на попятный,—
может, раньше придет тот, кто к «массе» лицом?

Мы течем по такому железному руслу —
ночь и та не собьет, худшая из ночей.

Отчего ж нам все чаще так тошно, так грустно,
словно в очереди, где не знают — за чем.

Может, нам, наконец, обернуться друг к другу
и друг друга друг другу доверить сполна?
Как вглядеться, когда мы — не кругом, а цугом?
Чья спина предо мной? Чье лицо — как спина?

Может, хватит в затылки передних вперяться
и не верить иным, кто, подпрыгнув, узнал:
позади, впереди из оваций, реляций —
кляп, затычка, запруда и остров из нар.

Может, каждому — видеть, и слышать, и думать?
Может, стены не строить под стук кистеня?
Может, «чохом», «числом», «скопом», «массами» — дурость?
Я — из вас, я — из масс. Но и вы — из меня...

Атеистические стихи

Бог — это я. Меня ищи!
В меня уверуй! Верь,
Что стану факелом в ночи,
Приду в часы потерь.

Бог — это ты. К тебе стремлю
Тоску своих молитв!

Ты вырвешь ржавую стрелу,
Когда нутро болит.

Бог — это бог, бог — это мы,
Земной, надземный свет...
К нам кто-то шлет мольбы из тьмы,
А нас все нет и нет.

Борис ОРЛОВ

◆◆◆

Кипрей опалил пепелище.
Затоплен кувшинками пруд.
Смысл жизни деревья не ищут,
А просто растут и растут.

Природа не терпит сомненья.
Ее назначение — жить.

Она не терзает растенья
Вопросами: «Быть или не быть?»

Заботы, заботы, заботы...
В них наша вина и беда.
Забыли, что частью природы
Мы были и будем всегда.

◆◆◆

Литые волны хмурого залива
Штурмуют скалы, как морской десант.
Мои друзья не говорят красиво —
Привычнее для них слова команд.

Их согревают флотские шинели
В стерильный холод и в озонный дождь.

На плечи росомахами метели
Бросаются из карликовых рощ.

Они словам не верят — верит фактам.
Им непривычны выходные дни.
И что такое — ядерный реактор,
Своею кровью чувствуют они.

Инвалид

Рассыплет молнии гроза —
И волны заблестит.
Он столько видел, что глаза
На небо не глядят.

Идет безмолвно на причал
И палочкой стучит.
Он столько на войне кричал,
Что до сих пор молчит.

Анатолий КРАСНОВ

◆◆◆

Ах, как елочки стынут.
Ночь и площадь пустынны.

Разгораются звезды, раздвигается даль,
Годы бьют, словно пули, свинцово.
Тусклый камень-базальт, как морозная
сталь,
Скользок он, как наветное слово.

Разве совесть убита, а истина спит?..
Дует ветер то с норда, то с веста...
И прожектором вспыхнувший лунный
софит
Луч направил на лобное место.

И схватилась за горло родная земля:
«Сколько ж пролили крови, злодеи...»
Уберите
их бюсты-конвой
от Кремля,
Из-за спины Мавзолея.

◆◆◆

Алькоголь,
вражда,
наветы,
Конвоирующий взвод...
О, российские поэты,
Как вам в жизни не везет!

Пал один у речки Черной,
А другой —
под Машуком,
Третий,
смолкший, обреченный,
В пыточной
прикрыт мешком.

Кто там бал преступный правил,
Кто создал кровавый БРИЗ?..
И летит Васильев Павел
Легкой ласточкою вниз.

От державного каприза
Не уйдешь ни в лес, ни в дол,—
Бьют в Корнилова Бориса,
Как в трипольский комсомол.

И могилы, словно штампы
На синеющем снегу...
Тонкий профиль Мандельштама
На последнем берегу...

Дней и лет жестоких мета,
Вечной памяти рубцы...
О, российские поэты,
Мученики, храбрецы.

◆◆◆

Да разве точкою над «и»
Луна над Колымою?..
Иного праха не найти
Ни летом, ни зимою.

Когда начнут копать совки
Песок дремучей Леты,
Из бездны выйдут Соловки,
Как черные рассветы.

Ничто не спрятано нигде,
Вплоть до последних стартов,—
Взлетят, кто пал в Караганде,
Кто пал, попав в Саратов.

Очистит времени волна
Во славу чести правых
Все золотые имена
От всех имен кровавых.

На свете нет вины ничьей,
И нет, не с краю хата
И всесоюзных палачей,
И лейтенанта Хвата.

◆◆◆

Кто не наказан высшей
Мерой,
попал сюда.
Сторожевые вышки
И ледяная звезда.

В небе огромном, чистом,
Там, в своей вышине,
Светит она коммунистам
И рядовой шпане.

Как водки стакан выпить,
Как выпить вина глоток,
Каждому дали эпитет,
Каждому дали срок.

Мелькнула звезда падучая,
Погасла, как искра в золе...
А проволока колючая
Своя,
на своей земле.

Вечная мерзлота

Что́ Библии трагический сюжет,
Что́ мамонты в природном саркофаге?
Над снежной тундрой миллионы лет
Полярной ночи траурные флаги.
Что́ Иисус, распятый на кресте,
Что́ наши обличительные строфы?
Здесь сотни тысяч в вечной мерзлоте,
Как жертвы небывалой катастрофы.

Роберт КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Конвейер

Основным методом НКВД, с помощью которого можно было сломить осужденного и получить нужные показания, был так называемый «конвейер» — непрерывный допрос, продолжавшийся часами и днями, который вели сменные бригады следователей. Как многие другие явления сталинского периода, этот изобретательный метод обладал тем преимуществом, что его нелегко было осудить, сославшись на какой-либо определенный принцип. Ясно, что он сводился, по прошествии известного времени, к недопустимому давлению на человека и затем перерастал в настоящую физическую пытку. Но когда? На это нельзя дать точного ответа.

Уже после двенадцати часов допроса жертве становилось не по себе. Через день — мучительно трудно. Через два или три дня наступало физическое отравление от усталости. Это было так же мучительно, как любая пытка. Говорят, что некоторые заключенные могли выдержать пытки, такие случаи известны, но почти никто не слышал, чтобы не сработал «конвейер», если он длился достаточно долго. В среднем за неделю можно было сломить почти каждого. Евгения Гинзбург пишет в книге «Крутой маршрут», что провела семь дней без сна и пищи, причем последний день — стоя, после чего потеряла сознание. За этим последовал пятидневный допрос более мягкого типа, во время которого ей позволяли отдохнуть три часа в камере, но заснуть не давали.

Крестинский ясно сказал в заявлении на процессе, что его первый допрос продолжался неделю, хотя этот момент както прошел мимо наблюдателей. А что касается маршала Блюхера, «здоровье этого мужественного человека было подорвано непрерывно продолжавшимся допросом»[1]. Он умер менее чем через три недели после ареста, а сам допрос, очевидно, продолжался еще меньше.

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—11.

В этом методе нет ничего нового. Его применяли еще к колдуньям в Шотландии. Философ Кампанелла, который в XVI веке устоял перед всеми пытками во время допросов, не выдержал бессонницы. Начинаются галлюцинации. Кажется, что вокруг, жужжа, летают мухи. Дым застилает глаза и так далее.

По свидетельству Ф. Бека и В. Година, были допросы, продолжавшиеся без перерыва 11 дней, причем четыре последних дня подследственный должен был стоять. Заключенные, которые даже не дотягивали до 11 дней, падали в обморок каждые двадцать минут. Их обливали водой или били по лицу, чтобы привести в чувство. Рассказывают, что одному доктору в Бутырках пришлось простоять без сна, с очень небольшими перерывами, целую неделю. После этого пытка прекратилась: было якобы выпущено постановление о том, чтобы ограничить длительность этого приема одной неделей. Другой бывший узник тюрем НКВД, Александр Вайсберг, сообщает, что просидеть 14 часов на табуретке более мучительно, чем стоять у стены: в паху появляется опухоль, боль становится невыносимой. У стены можно по крайней мере перемещать вес с одной ноги на другую. Особенно тяжко Вайсбергу пришлось, когда в системе «конвейера» он обнаружил «техническое усовершенствование»: из табуретки вынули сиденье, так что сидеть стало еще невыносимее.

Мы находим очень мало сообщений о заключенных, которые смогли противостоять «конвейеру». Один из них — 55-летний анархист Эйзенберг, который, как только его назвали контрреволюционером, вообще отказался отвечать на вопросы. Избиения не дали никаких результатов, и после этого он выдержал на «конвейере» 31 день (!), побив все рекорды. Медицинское обследование показало, что он был человеком очень крепкого здоровья и что нечувствительность к боли была аномалией его организма. Впоследствии, как полагают, он попал в сумасшедший дом.

Сам А. Вайсберг выдержал только семь дней, да и то с небольшим перерывом, и покаялся. Затем, отдохнув день, отказался от своих показаний. Допрос начался снова. На этот раз он сдался на четвертый день, но сказал следователям, что откажется от всех показаний, как только придет к себе. Третий этап на «конвейере» закончился на пятый день, но Вайсберг не сознался больше ни в чем, хотя к этому времени в руках у следователей уже было два «документа».

[1] В. Душенькин. От солдата до маршала. М., 1964, с. 223 (изд. третье. В первых изданиях эта фраза опущена).

Значит, в системе «конвейера» был дефект. Хотя он срабатывал безотказно почти всегда и на это уходило всего 2—3 дня, он не обладал существенным преимуществом перед пытками (часто сочеталось и то, и другое), потому что от показаний, данных на «конвейере», потом отказывались.

Долгий цикл

Система допроса, которая сломила многих заключенных до такой степени, что они повторяли свои показания на публичном процессе, функционировала несколько по-другому. Она была рассчитана на более постепенное, но более полное подавление воли к сопротивлению. При обработке интеллигентов и политических деятелей на это уходило много времени, иногда (с перерывами) до двух с половиной лет. Однако полагают, что в среднем процесс продолжался около 4 или 5 месяцев.

В течение всего этого периода заключенному не давали отоспаться; его держали в камере, где было слишком жарко или (что случалось чаще) слишком холодно. Питание было недостаточным, но всегда аппетитно приготовленным. Испанский генерал коммунист Эль Кампесино рассказывает в книге «Слушайте, товарищи», что дважды в день получал по 100 г черного хлеба и немного супа — «вкусного и великолепно приготовленного». В результате началась цинга, но так, очевидно, и было задумано.

Физическое истощение увеличивает подверженность психическим расстройствам — это хорошо известное явление, которое часто наблюдалось во время последней мировой войны, например, у моряков в спасательных шлюпках, подолгу находившихся в открытом море. Даже люди огромной выдержки, способные перенести любую ситуацию, часто теряли после этого самообладание. Обычно допрос проходил по ночам, когда заключенный еще не оправился ото сна; часто его будили всего лишь через 15 минут после того, как он засыпал. Ярко освещенная комната, куда его приводили для допросов, сбивала с толку. Постоянный упор делался на то, что заключенный абсолютно бессилен что-либо сделать. Часто казалось, что следователи могут продолжать допрос бесконечно. Борьба казалась обреченной на поражение. Постоянное повторение стереотипных вопросов также приводило к смятению и изнеможению, заключенный путался в словах, пытаясь что-то припомнить, и в интерпретации фактов. Он ни на секунду не мог побыть наедине.

Переживший это в 1945 году поляк Стыпулковский рассказывает в книге «Приглашение в Москву»: «...Холод, голод, яркий свет и главное — бессонница. Сам по себе холод не так ужасен. Но когда жертва уже ослабела от голода и бессонницы, то постоянно дрожит при температуре 6 или 7 градусов выше нуля. Ночью у меня было только одно одеяло... Через две или три недели я был в полубессознательном состоянии. После 50—60 допросов, плюс холод, голод и почти полное отсутствие сна, человек становится автоматом — глаза воспалены, ноги распухли, руки дрожат. В этом состоянии он нередко сам начинает думать, что виновен».

Стыпулковский подсчитал, что большинство людей, сидевших вместе с ним, достигло этого состояния между сороковым и семидесятым допросом.

Соображения международного характера заставили судить вождей польского подполья, не дожидаясь, пока Стыпулковский (единственный из обвиняемых) будет готов к признаниям. За исключением появившейся в 1956 году в Будапеште краткой статьи Пала Юстуса, одного из обвиняемых по делу Райка, свидетельства людей, полностью признавшихся во всем, что от них требовали, появились только в последнее время. Это свидетельства Артура Лондона и еще более показательные — Eугена Лебля, осужденных к пожизненному заключению по делу Сланского в Чехословакии в 1952 году.

Лебль рассказывает о пытках, которым подвергались другие подследственные, о побоях, о раздавливании половых органов, о содержании в ледяной воде, о заворачивании головы в мокрую парусину, сжимающуюся при высыхании и причиняющую невыносимую боль. Но (в противоположность Лондону) его не пытали, и он подтверждает, что пытка не годится как метод подготовки к показательному процессу, в ходе которой необходимо сломить самый костяк личности. Он рассказывает, что его заставляли стоять на ногах по восемнадцать часов в сутки, причем шестнадцать из них шел допрос. В течение шести часов отдыха он мог спать, но тюремщик должен был каждые десять минут стучать в дверь, заставляя его вскакивать, становиться в положение «смирно» и рапортовать: «Подследственный четырнадцать семьдесят три рапортует: в камере один подследственный, все в полном порядке». Это значит, что его «будили раз тридцать—сорок в ночь». Если он не поднимался на стук, тюремщик будил его толчком ноги. После двух или трех недель такой обработки его ноги опухли и малейшее прикосновение к любой точке тела вызывало боль; даже мытье превратилось в пытку. Он утверждает, что самую страшную боль он чувствовал в ногах, когда ложился. Шесть или семь раз его водили, как ему давали понять, на расстрел: это сначала не пугало его, но следовавшая затем реакция была ужасна.

Как и многие другие обвиняемые сталинских процессов в Восточной Европе, он убежден, что ему давали наркотики. Если это так, то это позднейшее изобретение; в рассказах об обработке подследственных в ОГПУ—НКВД довоенного периода наркотики не упоминаются. (Лебль отмечает, между прочим, что врач был даже беспощаднее следователя.) В конце концов он почувствовал, что больше не в силах отказаться от признания. После того, как он сделал это, ему разрешили читать книги, стали кормить досыта и дали выспаться, но он потерял (как он пишет) свое прежнее «я»: «Я был, как казалось, совершенно нормальным человеком, но я больше не был человеком».

Советские психологи и физиологи неизменно повторяют, что их труды базируются на учении Павлова. «Ассоциативный стимул» Павлова, при котором внешний раздражитель вызывает автоматическую реакцию, соответствует тому, как поступали с заключенными: людей низводили до состояния, когда спасение ассоциировалось только с одной ответной реакцией — принятием того, что им говорили. Для достижения этого необходимо добиться существенной деградации человеческой личности. Реакции животного — по крайней мере, в ситуациях, которые ему знакомы (а только в таких животное и может ориентироваться),— в принципе безусловна и неразборчива. Более высокое положение человека как раз и состоит в его способности различать и делать выбор. Другими словами, если говорить о человеке, то безусловной реакции на внешний раздражитель можно ожидать только от психопата. Но человек, низведенный до данного состояния,— еще не животное. Ему нужно, чтобы мотивировка поступков хотя бы внешне казалась разумной. Что касается коммунистов, то у них обоснование было всегда наготове — принцип партийности.

Существовали, однако, и другие формы давления.

Заложники

Нет никаких сомнений в том, что угрозы семье — иными словами, использование заложников — были одним из самых сильнодействующих средств сталинского террора. Семьи видных партийных и государственных деятелей, от которых хотели добиться показаний, находились в руках НКВД — судя по всему, это было общей практикой.

У Бухарина, Рыкова и Крестинского были дети, которых они очень любили. У некоторых других, кого судили отдельно, например у Карахана, детей не было. Несколько осужденных в своем заключительном слове упоминали о детях — например, Каменев и Розенгольц.

Инженерам, которые были арестованы еще в 1930 году, угрожали расправиться с женами и детьми. Указом от 7 апреля 1935 года наказания для взрослого населения распространились и на детей с двенадцати лет. Указ превратился в страшную угрозу для оппозиционеров, у которых были дети. Если Сталин мог открыто провозгласить такую зверскую меру, то он не остановился бы перед тем, чтобы тайно предать смерти детей осужденных, когда считал нужным. В этом подсудимые могли не сомневаться. Бывший сотрудник НКВД Орлов вспоминает, что, по приказу Ежова, копия этого указа должна была обязательно лежать на столе следователя. Чтобы усилить страх за семью, иногда прибегали к такому приему: во время допроса на столе следователя лежали личные вещи членов семьи.

Использование родственников в качестве заложников, заключение их в тюрьму или даже уничтожение было новым явлением в истории России. При царе революционеры могли об этом не беспокоиться. Поистине, Сталин не признавал границ ни в чем.

Выдвигались догадки о том, что в показательных процессах было нечто специфически русское. Много, например, говорилось о привычке к самобичеванию в стиле Достоевского. Бухарин отрицал, что «славянская душа» имеет какое-либо отношение к данным на суде показаниям. Сам он был более интеллектуальным и более западным человеком, чем многие другие из большевистских вождей. Во всяком случае, ссылки на национальную психологию выглядят весьма туманно и сами по себе неубедительны. Но неудивительно, что, столкнувшись с невероятным феноменом этих показаний, люди в то время пытались дать им и невероятное объяснение.

Конечно, русская культура имеет свои особенности, накладывающие отпечаток на всех тех, кто воспитан в условиях этой культуры. До *некоторой* степени мы должны учитывать традицию самопожертвования (хотя в русской традиции много примеров самого дерзкого и открытого неповиновения власти — например, Никита Пустосвят, пытавшийся плюнуть в лицо царю). Четверо из пяти арестованных членов Политбюро, которые не появились на публичном процессе,— Рудзутак, Эйхе, Косиор и Чубарь — были нерусскими. Все без исключения грузины тоже осуждены при закрытых дверях. Один из них — Алеша Сванидзе, которого обещали выпустить, если он попросит прощения. Но Сванидзе отказался.

Другой мощной движущей силой был инстинкт самосохранения. Связанный с этим парадокс привел в замешательство наблюдателей на Западе и некоторых смущает еще и сейчас. Создавалось впечатление, что, сознавшись в преступлениях, наказуемых смертной казнью, пройдя через долгую и часто унизительную следственно-судебную процедуру, осужденные активно стремились к смертному приговору! Некоторые из них сами заявляли, что заслужили его. На самом деле все было наоборот. Отказ признать себя виновным был самым верным способом пойти на расстрел. В этом случае осужденный вообще не попадал на открытое судебное заседание, а, наиболее вероятно, погибал во время предварительного следствия, или его, как Рудзутака, расстреливали после 20-минутного закрытого суда.

Сталинские показательные процессы имели такую логику, какой не встретишь больше нигде. Чтобы избежать смерти, осужденный должен был признать все, дать своим действиям наихудшее толкование. Это был его единственный шанс. Но даже полное признание своей вины могло спасти жизнь только в редких случаях. Иногда, правда, оно жизнь и спасало — на некоторое время, как в случае Радека, Сокольникова и Раковского. Более того, на процессе в августе 1936 года осужденным была обещана жизнь, и у них были достаточные основания надеяться, что обещание будет исполнено. Очевидно, то же обещание было дано Пятакову и другим на втором процессе. Тогда оно уже не было столь эффективным, но оставалось единственной надеждой. Внешне Пятаков был в несколько особом положении. Ведь Зиновьев и Каменев долго сопротивлялись руководству Сталина и давно уже были исключены из партийной элиты. Пятаков же сослужил Сталину огромную службу, и диктатор сам назначил его членом последнего Центрального Комитета. Кроме того, Пятаков находился под сильной защитой Орджоникидзе. А человеку всегда свойственно надеяться.

Партия и старая оппозиции были полностью опозорены и уже не могли оправиться. Даже такой человек, как Сокольников, вероятно, полагал, что его слова уже не могут повлиять на исход дела. Единственное, о чем он думал, это — как спасти свою семью. Тем большее восхищение вызывает личное мужество таких людей, как Угланов и Преображенский. Они настаивали на правде и, несмотря на давление со всех сторон, «умерли молча».

Осужденный находился под таким колоссальным нажимом, что число людей, которые не сдались (или если сдались, то их все же не рискнули выпустить в суд), вызывает изумление. Отказавшиеся признать свою вину были людьми особой породы. Вот как Кестлер описывает своего друга Вайсберга:

«Что давало ему силы выстоять, когда другие уже сдались? Особое сочетание тех черт характера, какие необходимы, чтобы выжить в данной ситуации. Огромная выносливость, физическая и духовная — свойство „ваньки-встаньки“,— позволяющая быстро восстанавливать физические и духовные силы. Исключительное присутствие духа... Это тип человека несколько „толстокожего“, добродушного и лишенного чувствительности, человека открытого и не склонного к самоанализу — в книге Вайсберга нет размышлений, нет и следа религиозного или мистического опыта, который неизбежно становится частью одиночного заключения. Безответственный оптимизм и самодовольное благодушие в жутких ситуациях. Установка „со мной этого не может случиться“, которая представляет собою самый надежный источник мужества. Неистощимое чувство юмора и, наконец, неутомимость и напористость в споре, способность продолжать его часы, дни, недели. ...У следователей (как, подчас, и у его друзей) просто ум заходил за разум».

Сходные черты характера и темперамента можно наблюдать и у других осужденных, которые не признавали своей вины. В 1938 году в Первоуральске начальник местного отделения НКВД Паршин допрашивал главного инженера строительства Новотрубного завода, который до этого находился в тюрьме 13 месяцев. Он был похож на «скелет, покрытый лохмотьями, синяками и кровью». Его обвинили в том, что он покрывает печи деревянными крышами, которые могут легко загореться. Инженер настаивал на том, что крыши должны делаться из железа, но правительственный указ, подписанный Орджоникидзе, предписывал делать их из дерева из-за нехватки железа. На все другие вопросы он упорно отвечал то же самое. В работах исследователей и в воспоминаниях бывших заключенных можно найти несколько аналогичных случаев, но все они трактуются как случаи исключительные. Критик Иванов-Разумник говорит, что за все годы, проведенные им в тюрьмах Москвы и Ленинграда, лишь 12 человек из тысячи с лишним, сидевших с ним в разное время в одной камере, отказались признать свою вину.

Важно отметить, что оппозиционеры, которые отреклись от бухаринского взгляда на партийную дисциплину в начале 30-х годов, не появились в суде. Сталину, очевидно, хотелось увидеть на скамье подсудимых Рютина, но он не смог этого добиться. То же самое можно сказать об Угланове, Сырцове, Смирнове и других, которые пытались организовать сопротивление, в то время как правые лидеры призывали к терпению. Очевидно, одной из причин было отсутствие у этих людей «партийного фетишизма», который испытывали Бухарин, Зиновьев и многие другие осужденные, выступившие с публичными признаниями. Мы очень мало знаем о том, как вели себя под

арестом такие оппозиционеры-коммунисты. Но ясно, что многих не удалось окончательно сломить ни убеждением, ни применением силы (хотя во время допроса многие, конечно, сознавались).

Большинство источников указывает на то, что для публичных показательных процессов было отобрано несколько сот кандидатов, но только человек 70 предстали на суде. Из тех, кого на процессе Зиновьева упомянули как «соучастников», 16 человек появились в суде, трое покончили с собой, а семерых судили позже. Но сорок три остальных вообще не были допущены до суда и, таким образом, не сделали публичных признаний. Среди них были такие видные деятели, как Угланов — до того кандидат в члены Политбюро и секретарь Центрального Комитета,— а также представители авангарда старых большевиков Шляпников и Смилга [1].

Материалы предварительного следствия, зачитанные на процессе Зиновьева, якобы представляли собой 38 отдельных папок (по одному досье на каждого заключенного). Но перед судом предстали только 16 человек. Полагают, что двадцать два остальных были осуждены тайно (хотя некоторые, в частности Гавен и Слепков, вероятно, находились в «резерве»).

На процессе Пятакова досье были пронумерованы от одного до тридцати шести, но девятнадцать номеров из этого списка отсутствовали. Главные обвиняемые шли под первыми номерами: Пятаков — папка 1, Радек — папка 5, Сокольников — 8, Дробнис — 13. Номера папок Серебрякова и Муралова неизвестны. Но если даже включить в список их имена, нескольких папок все же недостает. Можно предположить, что эти папки существовали и относились к высокопоставленным обвиняемым, которых, однако, не удалось «подготовить» к открытому процессу.

Многие советские издания, посвященные периоду революции, вскользь упоминают в биографических справках о некоторых членах оппозиции. Эта информация стала доступна совсем недавно (в хрущевский период), и она очень скудна. Следует обратить внимание на то, что в изданиях этих против некоторых фамилий стоит слово «осужден», указывающее на тайные процессы, о существовании которых до сих пор ничего не было известно. Среди этих людей — Угланов, чье имя фигурировало на всех трех процессах. Он был исключен из партии в 1936 году, «осужден» и умер в 1940-м. Смилга тоже «осужден», умер в 1938-м. Сосновский, Сапронов, Шацкин и Преображенский «осуждены» и умерли в 1937 году. В. М. Смирнов исключен из партии и «осужден» в 1936-м, умер в 1937 году. Сафаров (которого в 1940 году еще видели на Воркуте) «осужден» — умер в 1942 году. Все эти ведущие оппозиционеры были открыто заклеймены, но не допущены до публичного процесса. Напрашивается естественный вывод: этим людям не доверяли и потому не рискнули выпустить их на суд.

Есть и другие, помимо вышеуказанных, о которых не сказано, что они были «осуждены», но дата их смерти дается впервые. Среди них Медведев (главный помощник Шляпникова по «рабочей оппозиции») — 1937-й; Рязанов — 1938-й; Сырцов — 1938-й; Василий Шмидт — исключен из партии за правый уклон в 1937 году, умер в 1940 году; А. П. Смирнов — 1938-й.

Признание вины

Естественно, возникает не только вопрос, почему осужденные признавали свою вину, но и другой вопрос, главный: почему обвинение добивалось этого?

На открытых процессах, как указал со скамьи подсудимых Радек, никаких доказательств не было. Судебный процесс, на котором нет доказательств против осужденных и к тому же сами осужденные отвергают обвинения, выглядел бы весьма неубедительным по любым критериям. Если подсудимый невиновен и подлинные доказательства отсутствуют, то его надо заставить сознаться. В данных обстоятельствах это логично; трудно представить человека виновным, если он сам этого не признает.

Подобный процесс легче инсценировать, когда есть уверенность, что никто из особо «трудных» подсудимых не нарушит сценария и не станет нести отсебятины. Применение этого метода вообще и особенно на публичном процессе Зиновьева и других вполне можно понять. Сталин хотел не просто ликвидировать своих старых противников, но уничтожить их морально и политически. Объявить о тайной экзекуции Зиновьева было бы гораздо труднее. Так же трудно было бы публично осудить его без доказательств, по обвинениям, которые осужденный мог бы яростно и эффективно опровергнуть.

Признание вины, пусть и весьма неубедительное, может произвести впечатление даже на скептиков. Закрадываются сомнения по принципу «нет дыма без огня» и так далее. Обвиняемый, который смиренно кается и признает правоту своих противников, уже в некоторой степени политически дискредитирован — пусть

[1] Точно так же (как официально сообщалось в 1968 году) целый ряд видных обвиняемых по делу Сланского в Праге не был выведен в зал суда, потому что «они не хотели вести себя, как следует в суде»: из 50 или 60 имевшихся налицо партийных руководителей суд воспользовался только четырнадцатью.

даже его признание не вызывает доверия. Дискредитировать его, дав возможность публично обороняться, гораздо труднее. Даже если признание не вызывает доверия, оно выливается в яркую демонстрацию власти государства над своими противниками.

Все тоталитарные идеологии склоняются к тому, что подсудимый должен сознаться, хотя бы под нажимом: это повышает дисциплину и дает остальным членам партии назидательный пример. (Были случаи, когда осужденным, которые не давали в суде должных показаний, признания приписывались посмертно — так сказать, для порядка. Это произошло, например, с болгарином Костовым в 1949 году.)

Таковы рациональные объяснения. Но ведь принцип признания обвиняемого применялся во всех случаях, даже по отношению к обычным жертвам, с которыми расправились тайно. Главные усилия громадной полицейской организации были направлены по всей стране на получение этих признаний. Мы читаем, например, о применении системы «конвейера» с участием сменных бригад следователей в случаях, не имевших существенного значения. О них даже не сообщалось. Все это выглядит не просто как дикая жестокость, но как безумие, как исступленное желание соблюсти никому не нужную формальность. Обвиняемых можно было бы спокойно расстрелять или осудить и без всего этого вздора.

Но странно искаженный легализм оставался в силе до конца. Тысячи, миллионы людей можно было сослать просто по подозрению. И вместе с тем сто тысяч работников тайной полиции и других официальных лиц тратили месяцы на допросы и охрану заключенных, которые в это время даже не работали на государство. В тюрьмах говорили, что это объясняется в первую очередь лицемерным желанием «сохранить фасад». Говорили также, что, не будь этих так называемых признаний, гораздо труднее было бы изыскивать новые обвинения.

Ясно и то, что данная система, требующая показаний только одного типа, легче поддавалась унификации. Стереотипный допрос можно было без труда распространить вниз по инстанциям. Использовать более тщательные методы фабрикации материалов было бы сложнее. Когда показания касались конкретных вещественных доказательств, следователи часто попадали впросак. Члены украинской группы социалистов-революционеров сознались — по требованию неопытного следователя,— что у них был тайный склад оружия. Первый «заговорщик» признался, что передал склад другому человеку. Второй, под пытками, сказал, что передал его кому-то третьему. Образовалась цепь из одиннадцати человек, пока, наконец, после обсуждения в камере не было решено, что последний обвиняемый должен сослаться на какого-то человека, который уже умер. Обвиняемый мог вспомнить только своего бывшего учителя географии, совершенно аполитичного человека, который незадолго до этого умер; он опасался, что следователь не поверит этой версии. Товарищи пытались убедить его, говоря, что единственное желание следователя — это разделаться со складом оружия. Признание состоялось, и следователь был так доволен, что распорядился как следует накормить заключенного и дать ему табаку.

Поскольку на публичных процессах был установлен принцип признания обвиняемого, отход от этого принципа в более мелких делах мог рассматриваться в практике НКВД как косвенное неодобрение процесса. Принцип провозглашал, что признание — «королева доказательств». Те, кому удавалось его достичь, считались оперативными, хорошими работниками. А срок жизни неудачливых сотрудников НКВД был невысоким...

Во всем этом проглядывает решимость вообще уничтожить понятие правды, навязать всем принятие официальной лжи. Даже если совершенно отвлечься от рациональных мотивов «выколачивания» признаний, можно почувствовать чуть ли не мистическое тяготение именно к этому методу. Дзержинский еще в 1918 году заметил, говоря о врагах советского правительства: «Если преступнику предъявить доказательства, он сознается почти всегда. А какой аргумент может иметь больший вес, чем признание самого преступника?» [1].

Вышинский был ведущим теоретиком этой системы. На одном этом признании, по мнению Вышинского, мог основываться судебный приговор. Он рекомендовал прокурорам и следователям добиваться того, чтобы осужденный писал показания своим почерком, так как этим создается видимость «добровольности». Вышинский утверждал: «лучше иметь полупризнание, написанное собственноручно обвиняемым, чем полное признание, записанное следователем», создавая «видимость добровольной дачи этих показаний [2]» [3].

[1] «Новая жизнь», 8 июня 1918 г.

[2] Один бывший заключенный рассказывает: несколько дней его запугивали и избивали, принуждая подписать показания, которых он не читал. Следователь проявлял особую ярость по поводу «упрямства» своего подследственного. В конце концов человек потерял способность говорить и двигать руками, после чего следователь вложил перо в его пальцы и таким образом учинил подпись.

[3] Н. В. Ж о г и н. Об извращениях Вышинского в теории советского права и практике.— «Советское государство и право», 1965, № 3, с. 29.

Стало быть, члены свиты Сталина сознавали в какой-то степени, что признаниям обвиняемых поверить трудно. Получить их было всегда желательно, ибо можно не сомневаться в том, что в основном идея принадлежала самому Сталину. Вышинский не стал бы соваться со своими взглядами в дело, которое непосредственно касалось Сталина. Не такой он был человек.

В результате такой идейной установки тысячи и тысячи людей обрекались на духовные и физические муки, длившиеся недели и месяцы.

Глава шестая

У ПОСЛЕДНЕГО БАРЬЕРА

Единство цели превратилось у него в двойственность поступков.
Карл Маркс об Иване III

Осенние маневры

Процесс «троцкистско-зиновьевского центра» и особенно казни после этого процесса глубоко потрясли «офицерский корпус партии», тот слой, который, по словам Бориса Николаевского, «еще недавно считал себя имеющим монопольное в стране право заниматься политикой». Все, что произошло — суд, расстрелы,— было организовано без ведома партийных кадров, без консультации с ними. Мертвых не воскресить, и опаснейший прецедент был, таким образом, успешно установлен.

Между тем уже шли приготовления ко второму процессу. 17 апреля 1936 года был арестован Н. И. Муралов, бывший генеральный инспектор Красной Армии. В прошлом он работал в Западной Сибири. 5 и 6 августа 1936 года были схвачены двое бывших троцкистов, работавших в том же районе, М. С. Богуславский и Ю. Н. Дробнис. Оба были видными старыми революционерами, хотя и не из крупнейших.

Дробнис был в молодости сапожником. Активной революционной деятельностью занимался с 15 лет, шесть лет провел в царской тюрьме, был трижды приговорен к смерти. В последний раз из этих трех, когда его, раненого, взяли в плен белые во время гражданской войны и должны были расстрелять, Дробнису удалось бежать благодаря чистой случайности. В дальнейшем он дошел в партии до поста секретаря ЦК на Украине.

Муралов, человек богатырского сложения, происходил из бедной трудовой семьи. В 1899 году он стал участником рабочих кружков, а в 1905-м членом партии. Во время гражданской войны Муралов отличился исключительными подвигами.

Богуславский тоже был ветераном — и большевистского подполья, и гражданской войны.

По-видимому, тогда же, в начале августа, были арестованы и два гораздо более крупных работника — Сокольников и Серебряков. Вскоре начались их допросы. Первым, уже в августе, стал давать показания Сокольников, хотя в то время его показания еще были неопределенными. А 21 августа, на процессе Зиновьева — Каменева и других, Вышинский заявил, что дальнейшее расследование начато в отношении Бухарина, Рыкова, Пятакова, Радека и Угланова. «Расследовать» должны были и дело Томского, однако он предпочел избежать этого, покончив самоубийством.

К 27 августа, через два дня после казни всех осужденных на процессе Зиновьева — Каменева, большинство членов Политбюро вернулось в Москву из отпусков. В Москве собрались Калинин, Ворошилов, Чубарь, Каганович, Орджоникидзе, Андреев, Косиор и Постышев. В последний день августа вернулся из отпуска и Молотов. Не было лишь Микояна и... самого Сталина, который продолжал отдыхать в Сочи, где намеревался пробыть еще несколько недель. Однако Ежов, безотлучно находившийся в Москве, несомненно, был в постоянном контакте с ним.

В течение следующей недели партийное руководство обсуждало дела новых обвиняемых. Наблюдалось, по-видимому, отвращение к происшедшему, потому что дальнейшим репрессиям партийные руководители воспротивились. Ставить под вопрос виновность Зиновьева и Каменева или сам ход только что закончившегося процесса было теперь невозможно, ибо Зиновьев, Каменев и другие, после их публичных признаний, выглядели подлинными предателями. Но с Бухариным и Рыковым дело обстояло иначе. Помимо всего прочего, они были настолько популярны в стране и в партии, насколько Зиновьев и Каменев никогда не были. Очевидно также, что на всех сильно подействовало самоубийство Томского.

10 сентября 1936 года, в маленькой заметке на второй странице, «Правда» оповестила, что следствие по обвинению Рыкова и Бухарина прекращено за отсутствием каких-либо свидетельств об их преступной деятельности. Как предполагает Николаевский, это отступление было сделано под давлением некоторых членов Политбюро.

Политически это внезапное снятие вины с Бухарина и Рыкова понятно и объяснимо. С юридической же точки зрения

оно совершенно фантастично. Ведь обвиняемые на только что закончившемся процессе «троцкистско-зиновьевского центра» были приговорены к смерти на основании собственных показаний, данных ими против самих себя.

Их показания против Рыкова и Бухарина были совершенно того же рода — ни более, ни менее достоверными. Можно было полагать, что уже одно это покажет западным наблюдателям всю беспочвенность процесса. (Замечательно еще и то, что, хотя дела Рыкова и Бухарина были прекращены, ничего подобного не было сделано в отношении к покончившему самоубийством Томскому. В Советском Союзе существовал закон о наказании за доведение кого-либо до самоубийства моральными или физическими преследованиями. И этот закон в данном случае не был применен.)

Вряд ли можно полагать, что большинство членов Политбюро было теперь против террора. Ворошилов, Каганович и, возможно, Андреев были к тому времени уже соучастниками. Молотов тоже должен был извлечь урок из недавней полосы сталинского к нему нерасположения. Во всяком случае к 21 сентября эта полоса в отношении Молотова явно закончилась, ибо в сценарии следующего процесса он фигурировал уже в качестве жертвы будто бы готовившихся убийств.

Возвращение Молотова в число фаворитов трудно объяснить чем-либо иным, кроме его полного перехода на сторону Сталина в сентябрьских дискуссиях о терроре.

Тем не менее оппозиция была сильна, и Сталин отступил в вопросе двух бывших «правых» — Бухарина и Рыкова. Надо заметить, что Сталин и сам до того еще не принял окончательного решения их арестовать. Сталин, возможно, хотел провести лишь предварительную рекогносцировку, хотел поставить вопрос о Бухарине на повестку дня, действуя в своем обычном изворотливом стиле. Речь, стало быть, не шла о решительном голосовании в верховном партийном органе. И в отсутствие Сталина его престиж, таким образом, не был прямо затронут.

Однако, хотя Сталин и получил всю необходимую поддержку в Политбюро, последующие события показали, что в Центральном Комитете дело обстояло иначе.

Мы не знаем, собирался ли Центральный Комитет в то время. А. Авторханов (Уралов), в то время студент института Красной Профессуры, а затем партийный работник, дает косвенные свидетельства о пленуме ЦК, продолжавшемся четыре дня в начале сентября 1936 года. На четвертый день пленума, если верить Авторханову, обсуждался вопрос Бухарина. Ежов выступил с предложением судить Бухарина и других, причем сказал, что это предложение было в основном уже принято Политбюро. Бухарин будто бы выступил в свою защиту.

Эти свидетельства о неопубликованном пленуме, приводимые Авторхановым, много раз ставились под сомнение специалистами по истории КПСС, поскольку на этот пленум нет никаких официальных ссылок [1]. Сомневающиеся полагают, что Авторханов относит к 1936 году то сопротивление отдельных членов Политбюро, которое, как известно, было оказано Сталину в феврале 1937 года. С другой стороны, в «Деле Бухарина» есть ссылка на «один из осенних пленумов Центрального Комитета партии» [2], причем из контекста явствует, что эти пленумы должны были состояться после марта 1936-го, но до февраля 1937 года. Ссылка на «пленумы» во множественном числе дает намек на еще один возможный пленум, в ноябре 1936 года, о котором несколько ниже.

Есть и еще одно соображение. Хотя Бухарин и Рыков и были оправданы, Пятаков и Сокольников (а также Радек, Серебряков и Угланов) оправданы не были. На XX съезде партии в 1956 году Хрущев сказал, что «большинство членов ЦК и кандидатов, избранных на XVII съезде и арестованных в 1937—1938 годах, были вышвырнуты из партии в результате незаконного и грубого злоупотребления положениями партийного устава, так как вопрос об исключении никогда не рассматривался Пленумом ЦК».

Здесь содержится намек, что аресты Пятакова и Сокольникова, единственных из членов и кандидатов ЦК, арестованных, насколько известно, в 1936 году — были узаконены, хотя бы и задним числом. Похоже, что в условиях, существовавших осенью 1936 года, Сталин еще не мог исключить из партии членов ЦК без пленума,— действительно, он не решался на это в отношении Бухарина и Рыкова, кандидатов в члены ЦК, даже через полгода, в феврале 1937-го. Это ведь было совсем другое, чем следствие против лю-

---

[1] ...В 1935 году состоялись четыре официально объявленных пленума ЦК, а в 1937 году — три, в то время как в 1936 году был объявлен только один пленум, прошедший с 1 по 4 июня. Стоит заметить также, что среди сопротивлявшихся Авторханов не называет Орджоникидзе, а это дает дополнительное основание полагать, что столкновения внутри Политбюро произошли либо в ноябре, когда Орджоникидзе болел, либо на февральско-мартовском пленуме 1937 года.

[2] Судебный отчет по делу антисоветского «Право-троцкистского блока», рассмотренному Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР 2 — 13 марта, 1938 г., по обвинению Бухарина Н. И., Рыкова А. И., Ягоды Г. Г. и 18-ти др. Москва, 1938, с. 117. В дальнейшем цитируется как «Дело Бухарина» (предыдущие ссылки на этот источник опущены.— *Ред.*).

дей вроде Каменева и Зиновьева, уже сидевших в тюрьме, уже давно исключенных из партии. Во всяком случае, тогда это еще казалось другим.

Но, на каком бы уровне ни состоялись дискуссия и компромисс, Сталин все равно кое-что выиграл. У него в руках были материалы для продолжения террора. Он имел, кроме того, подходящий набор для следующего процесса: Серебрякова с Сокольниковым, а теперь и Радека, арестованного 22 сентября, и Пятакова, которого схватили, по-видимому, около того же времени. К моменту их ареста Сокольников, как уже упомянуто, начал давать показания. Но провал первой попытки с Бухариным и Рыковым, хоть эта попытка и не была рассчитана на немедленный полный успех, очевидно, терзал Сталина. Было ясно, что он собирался расправиться с сопротивлением в Политбюро и в Центральном Комитете и что для этого потребуется новое мощное усилие, новая кампания. В своем черноморском уединении Сталин обдумывал следующий ход. А советская пресса занята была совсем другими темами: демократией, триумфом советской авиации, обильным урожаем, массовой поддержкой борьбы испанских республиканцев.

Подобно генералу, который переносит направление главного удара в зависимости от силы оказываемого сопротивления, Сталин переключил свою атаку на Ягоду.

Временная реабилитация Бухарина и Рыкова была объявлена без единого их допроса. Тем не менее вряд ли можно сомневаться, что политическое решение об их реабилитации сопровождалось, по крайней мере формально, рапортом НКВД о сомнительности выдвинутых против них обвинений. Если так, то неясно, в какой последовательности это все произошло: то ли Ягода, по согласию с умеренными членами Политбюро, дал оправдательный документ на двух подозреваемых, и этот документ был затем использован для политического решения, то ли политическое решение было принято раньше, а Ягода затем выполнил все необходимые формальности.

Отношение Ягоды к событиям того времени остается до сих пор несколько загадочным. Ясно лишь то, что он участвовал в подготовке процесса 1936 года с самого начала — хотя, возможно, исключался из состава наиболее важных совещаний, непосредственно предшествовавших процессу. Б. И. Николаевский утверждает, якобы Ягода «настаивал на постановке вопроса о процессе перед Политбюро». Очень возможно, что он сам был обманут заверениями Сталина, будто Зиновьев и Каменев не будут расстреляны. В дальнейшем Ягоду обвиняли в том, что он «прикрывал» И. Н. Смирнова — но обвинение это имело свое побуждение и причину, поскольку оно было предъявлено, чтобы объяснить неудовлетворительное поведение Смирнова на суде в 1936 году.

Возможно, тем не менее, что Ягода както пытался смягчить судьбу участников оппозиции. Как видно из стенограммы процесса, Ягоду в дальнейшем обвиняли также и в том, что он «дал указание, чтобы Угланов держался, не выходя из таких рамок, в своих показаниях». Есть также сообщения о том, что внутри самого НКВД было некоторое сопротивление террору, что следователи ставили вопросы в такой форме, чтобы предостеречь и даже защитить обвиняемых. Но наиболее вероятно, что сопротивление Ягоды террору выявилось после расстрела участников первого процесса. И это сопротивление могло выявиться в дискуссиях о судьбе Бухарина и Рыкова.

Можно быть уверенным, что Ежов (сменивший Ягоду на посту наркома внутренних дел) энергично противился оправданию Рыкова и Бухарина. С этим решением он согласился крайне неохотно. Он считал реабилитацию Бухарина и Рыкова временной, жалел о ней и откровенно заявлял, что «сумеет исправить» эту ошибку; вместе с Аграновым он почти тотчас же начал обвинять Ягоду в слабости.

Сталин никогда не шел напролом, если ощущал сильное сопротивление. Сколько раз он внешне покорно принимал поражения в двадцатые годы, в ходе внутрипартийной борьбы! Сколько раз делал вид, что уступает,— и продолжал маневры, направленные на подрыв оппозиции. Вот и теперь Бухарин и Рыков были на время оставлены в покое. Первый продолжал оставаться главным редактором «Известий», и оба все еще были кандидатами в члены ЦК.

Было ясно, что многие партийные руководители надеялись: с предстоящим делом Пятакова террор, достигнув своего апогея, пойдет на убыль. Но Сталин не так-то просто отказывался от достижения своих целей. Если он не мог собрать достаточно голосов в высших партийных органах, то использовал другие методы. И он продолжал свою линию чем-то вроде переворота, усилившего террор до самых устрашающих пределов. Он добился назначения Ежова народным комиссаром внутренних дел.

25 сентября Сталин и Жданов послали из Сочи следующую телеграмму Кагановичу, Молотову «и другим членам Политбюро»: «Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы тов. Ежов был бы назначен на пост Народного комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя явно неспособным разоблачить троцкистско-зиновьевский блок. ОГПУ отстает на четыре года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД».

Упоминание об «отставании на четыре года» было знаменательно и зловеще. Прошло четыре года — почти день в день — с тех пор, как сентябрьский пленум 1932 года провалил попытку казнить Рютина.

Никто, конечно, не допускал и на секунду, что удаление Ягоды объяснялось лишь его «неспособностью». В партии немедленно заметили, что «снятие Ягоды из НКВД указывает на то, что тут не только недовольство его недостаточно активной работой в НКВД. Очевидно, здесь политическое недоверие ему, Ягоде...»[1].

Ежов и до того времени много занимался делами Наркомвнудела. Так что теперешнее назначение его наркомом внутренних дел не давало оснований членам Политбюро для каких-либо конкретных возражений, даже если бы Орджоникидзе, Чубарь или Косиор хотели бы возражать. Хотя тон, каким было предложено это назначение, и его намерения были очевидны, представлялось весьма трудным оспаривать такую, в общем, практическую меру.

На следующий день Молотов выполнил инструкцию. Перестановка была использована для того, чтобы вывести Рыкова из состава правительства. На следующий день газеты объявили о его освобождении от должности без обычного добавления о переводе на другую работу; на пост наркома связи, освободившийся со снятием Рыкова, назначили Ягоду; а Ежов возглавил НКВД.

29 сентября и 21 октября 1936 года ЦК распространил по партийным организациям один за другим два циркуляра. Они, с одной стороны, требовали прекратить необоснованные исключения из партии, а с другой стороны, намекали на необходимость проводить больше «обоснованных» исключений. За этими циркулярами последовали статьи в газетах, критикующие ряд местных руководителей за те или иные ошибки, связанные с исключениями из партии.

30 сентября 1936 года Ягода сдал дела Ежову. В тот же день заместителем наркома внутренних дел был назначен М. Берман, а второй бывший заместитель Ягоды Прокофьев переведен на должность заместителя наркома водного транспорта. 17 октября еще более зловещий персонаж, толстоликий Фриновский, был также назначен заместителем наркома внутренних дел. Ни Берман, ни Фриновский не служили до того в самом центральном аппарате НКВД. Первый возглавлял лагерную администрацию — ГУЛАГ, в то время как второй командовал пограничными войсками.

[1] «Дело Бухарина», с. 254.

Других перемещений в руководстве НКВД пока что сделано не было. В аппарате этого наркомата некоторое время оставался даже личный помощник Ягоды Буланов. Сохранили свои посты Молчанов и другие начальники отделов, хотя Ежов привел с собой собственных ставленников из аппарата ЦК, которые должны были до определенного времени «помогать» прежним начальникам и понемногу выживать их.

После этого все силы были вновь брошены на подготовку процесса.

Предварительный сценарий этого процесса объявлял Пятакова и его соучастников просто запасным центром, который хотя и был создан, но не действовал активно. Таким путем делу был придан менее серьезный вид, чем предыдущему. Дело выглядело таким, по которому не ожидались смертные приговоры. Без сомнения, именно таким методом Сталин добился согласия партийного руководства на доведение дела Пятакова до конца. Можно было надеяться, что этот конец будет более или менее мягким завершением волны преследований.

Но после того, как НКВД несколько недель держался этой линии, все внезапно изменилось. На очередном совещании следователей Молчанов в присутствии Ежова объявил, что следствие должно теперь проводиться в новом направлении. От обвиняемых нужно добиваться признаний, что они готовились к захвату власти и с этой целью действовали вместе с немецкими фашистами.[1]

С тех пор, как Карл Радек принес покаяние в своей оппозиционной деятельности еще в двадцатые годы, Сталин не мог на него пожаловаться. Радек предавал оппозицию при каждом удобном случае и превозносил Сталина в небывалых выражениях. Он был единственным человеком, который действительно сжег за собой все мосты после выхода из оппозиции; и тем не менее его никогда не принимали всерьез как политика, и не ставился даже вопрос о наделении его какой-либо партийной властью.

И поэтому до сих пор не ясно, какие причины побудили Сталина привлечь именно Радека к выдуманному заговору Пятакова. Возможно, дело просто в том, что, пока не было возможности арестовать «правых», то есть Бухарина, Рыкова и других высокопоставленных руководителей, список звучных имен для очередного процесса казался Сталину недостаточным. А Радек был по крайней мере весьма известным человеком.

Есть сведения, что Сталин беседовал с будущим обвиняемым Сокольниковым

[1] A. Orlov, p. 180.

и обещал сохранить ему жизнь. Не совсем ясно, почему Сокольников поверил этому обещанию. По всей вероятности, разговор состоялся до казни Зиновьева и других участников первого процесса. Но дело выглядит так, что Сокольников даже после их казни был убежден в том, что обещание останется в силе. Впрочем, особого выбора у Сокольникова не было. Его семья состояла из молодой жены и сына от предыдущего брака, которому едва перевалило за двадцать.

Немедленно после ареста Радека ему дали очную ставку с Сокольниковым. Вначале это ни к чему не привело. Тогда Кедров и его подручные применили к Радеку следственный «конвейер». Первое время он упрямо сопротивлялся и этому.

Причины того, почему Сталин обрек на смерть Пятакова, ясно выявляют ход мыслей самого Сталина. В свое время Пятаков действительно принадлежал к оппозиции и был в ней видным человеком. Но он оставил оппозицию в 1928 году и с тех пор работал вполне лояльно. Троцкисты считали его дезертиром. Сын Троцкого, Седов, случайно встретивший Пятакова в Берлине на Унтер-ден-Линден, бросил ему в лицо публичное оскорбление. Пятакову не нравилось сталинское руководство, но он его честно принял. И в случае Пятакова не стоял вопрос о каком-либо его желании овладеть верховным руководством, как можно было думать о Зиновьеве, или Каменеве, или Бухарине.

Деятельность Пятакова была исключительно ценной для сталинского правительства. По уму и энергии он не знал соперников во всем руководстве и свои недюжинные усилия полностью направлял на выполнение сталинских планов индустриализации.

Что же можно было выдвинуть против Пятакова?

Он был лоялен к сталинскому руководству, но принял бы и любое другое, если бы Сталина свергли; иными словами, Пятаков поддерживал Сталина с оговорками. Он был одним из главных критиков Сталина в двадцатые годы. Тогда он ясно давал понять, что жалеет о возвышении Сталина. Кроме того, каковы бы ни были намерения Пятакова, он обладал всеми качествами руководителя. Ленин назвал его в числе шести наиболее выдающихся работников партии (всех их, кроме себя самого, Сталин уничтожил). В планах «левых коммунистов», относящихся к 1918 году, Пятаков даже фигурировал как возможный глава правительства вместо Ленина.

Орджоникидзе, как народный комиссар тяжелой промышленности, полностью зависел от талантов Пятакова и был достаточно благороден, чтобы это открыто признавать. Пятаков был мозгом и главной движущей силой пятилетки, он создавал промышленую базу наперекор всем трудностям, возникавшим из самой сталинской системы. Пятаков работал, невзирая на потерю ценных специалистов в результате нелепых политических преследований, невзирая на невыполнимость пропагандных цифр роста, вопреки подозрительности и неумению администраторов.

28 октября 1936 года было торжественно отмечено пятидесятилетие Орджоникидзе. Его превозносили в печати и на собраниях. «Правда» и «Известия» публиковали сердечные поздравления от правительственных органов, от групп товарищей из всех отраслей хозяйства. Наиболее теплые приветствия были адресованы наркому руководителями тяжелой промышленности. Среди них отсутствовало одно имя — имя только что арестованного Пятакова.

Есть сообщение, что после ареста Пятакова, но еще до того, как об этом аресте было официально объявлено, один директор научно-исследовательского института, знавший об аресте, поспешил с нападками на Пятакова в присутствии Орджоникидзе. Орджоникидзе прервал его, сказав: «Легко нападать на человека, которого здесь нет и который поэтому не может защититься. Подождите, пока Юрий Леонидович вернется».

Орджоникидзе всячески старался спасти Пятакова. Он дружески посетил его в тюрьме и обещал сделать все возможное, чтобы помочь.

Главными заложниками Сталина против Пятакова были его жена и ребенок, в то время десяти лет от роду. Пятаков практически разошелся с женой, но они оставались в хороших отношениях. Жену быстро сломили, и она согласилась показывать против Пятакова для того, чтобы спасти ребенка. Другим заложником был ближайший друг и секретарь Пятакова Москалев, у которого тоже была жена и маленькая дочь. Он, понятно, о них думал, но все же согласился давать показания против Пятакова только после того, как настоял на встрече с Аграновым и сказал Агранову, что будет давать показания исключительно в порядке партийной дисциплины.

«Вредители» в Сибири

Одна тема, уже вполне укоренившаяся в советской мифологии, не была затронута на процессе Зиновьева. Тема о вредительстве. Было бы трудно действительно обвинить людей, которые либо сидели по тюрьмам, либо были отрезаны от крупной работы, во вредительских актах: ведь убийство может организовать любой, а вредительство должно вестись работниками промышленности, инженерами и, во всяком случае, людьми, имеющими до-

ступ к соответствующему оборудованию.

Теперь же процесс готовился над людьми, почти сплошь занимавшими до ареста посты народных комиссаров, заместителей народных комиссаров, руководителей промышленных комплексов, инженеров и так далее. И чтобы продемонстрировать непрерывность традиций, их особо тщательно связывали с вредителями прошлых периодов.

Понятие вредительства как оружия в политической борьбе вообще нелепо. Само слово содержит намек на действие какого-то деревенского мужика или вообще малограмотную личность, портящую машину. Единственное исключение в сторону реальности мы находим в действиях подпольных групп сопротивления на оккупированных территориях во время войн, где вредительство принимается большинством населения с полной симпатией. В этих обстоятельствах, с одной стороны, вредительство становится возможным в относительно широких масштабах; а с другой стороны, оно является — или, по крайней мере, выглядит — подлинным вкладом в поражение врага. Однако в мирное время маленький, узкий заговор не может достичь какого-либо политического результата путем вредительства. В любом случае заговорщики, действующие с целью смены политического руководства средствами террора, вряд ли станут распылять свои силы или подвергаться дополнительному риску разоблачения ради местных или ничего не решающих действий такого типа. Ни одна реальная конспиративная группа в прошлом никогда этого не делала. Но нелогичность обвинений никогда не была соображением, способным остановить Сталина; и на протяжении последующих лет вредительство стало поводом к массовому террору на всех уровнях.

Официальное определение вредительства было теперь расширено, и наказания за него установлены более жестокие. «29 ноября 1936 года Вышинский распорядился в месячный срок истребовать и изучить все уголовные дела о крупных пожарах, авариях, выпуске недоброкачественной продукции с целью выявления контрреволюционной вредительской подоплеки этих дел и привлечения виновных к более строгой ответственности» [1].

Более чем в трех тысячах километрах от Москвы, в Кузбассе — новом промышленном районе в бассейне реки Оби,— работал ряд восстановленных троцкистов. Они занимали посты, соответствующие их анкетам и условиям восстановления. В Кузбассе возводились огромные заводы — трудом рабочих, в значительной части ссыльных, живших в такой страшной нищете, какая не снилась ни одной промышленной революции прошлого века на капиталистическом Западе. В то же время, работая под невероятным давлением, под постоянным требованием результатов любой ценой, местное руководство было вынуждено сквозь пальцы смотреть на технику безопасности. Тяжелые катастрофы происходили постоянно.

23 сентября 1936 года на шахте «Центральная» в Кемерово произошел взрыв. Директор шахты Носков и несколько его подчиненных были немедленно арестованы. А 30 сентября был арестован начальник Носкова Норкин, который с 1932 года возглавлял строительство кемеровского промышленного комбината. Для НКВД это была наиболее удобная нить, поскольку Норкин был в постоянном контакте с Дробнисом, а через него с Мураловым. Так было «раскрыто» целое «троцкистское гнездо» в Западной Сибири, действовавшее якобы, помимо всего прочего, под руководством заместителя народного комиссара тяжелой промышленности Пятакова. Чтобы еще облегчить свою задачу, НКВД приказал своему представителю в кемеровском промышленном районе Шестову принять на себя роль провокатора [2].

Таким путем стало возможным привить широкой публике мысль о широко распространенном вредительстве еще до того, как Пятаков и остальные были выведены на суд. С 19 до 22 ноября 1936 года в Новосибирске происходил большой судебный процесс, где Военная Коллегия Верховного Суда под председательством Ульриха предъявила обвинения в организации катастроф на шахтах и предприятиях Новосибирска и Кемерово директору шахты «Центральная» Носкову и восьми другим специалистам, в том числе немецкому инженеру Штиглингу. Дополнительно было выдвинуто еще и такое обвинение: вредители-де пытались убить Молотова. Через Дробниса и Шестова (которые фигурировали в качестве «свидетелей») обвиняемым приписали связь с Мураловым и Пятаковым.

Любопытно, что на этом процессе не только прозвучали показания, но даже были предъявлены документы о том, что обвиняемые якобы имели антисоветскую подпольную типографию. Типография, по-видимому, действительно существовала. В подвале, где, как было объявлено, она действовала, следы типографии можно было отыскать даже три года спустя. Однако вся история с типографией была от начала до конца сфабрикована НКВД. Подвал был оборудован соответствующим образом руками заключенных, работав-

[1] Н. В. Жогин в «Советском государстве и праве» № 3, 1965, с. 24. («Об извращениях Вышинского в теории советского права и практике»).

[2] A. Orlov, p. 182.

ших под охраной и ожидавших казни. Что касается тысяч листовок, будто бы распространявшихся обвиняемыми, то было ясно, что никакого распространения не было; ведь любой человек, захваченный с такой листовкой в руках, был бы немедленно арестован, а в Кемерово никто никогда не слышал о подобных арестах. В известной книге Кравченко приводятся слова одного жителя Кемерово по этому поводу: «Выходит, заговорщики печатали листовки только для того, чтобы самим читать их на сон грядущий».

Из всех обвиняемых к смерти не был приговорен только немецкий инженер Штиглинг. Много позже в гестаповской тюрьме в Люблине он заявил, что его тогдашние показания в Кемерово были сплошь фальшивыми, и дал понять, что НКВД исторг у него эти показания, шантажируя Штиглинга некоторыми эпизодами из его частной жизни.

В 1939 году на тот пост в Кемерово, который в свое время занимал Норкин, был назначен В. Кравченко. В его книге «Я выбрал свободу» вскрывается подоплека новосибирского процесса. Несостоятельность обвинений видна хотя бы в том, что, хотя «вредители» были расстреляны, катастрофы продолжались. Кравченко замечает, что если бы инженеры действительно хотели причинить ущерб, то они могли взорвать любое предприятие целиком, разнести его на мелкие кусочки. Более того, в архивах сохранилось немало отчетов казненных руководителей, в свое время посланных ими в Главное управление угольной промышленности Наркомтяжпрома с предупреждениями о невыносимых условиях на предприятиях, условиях, которые не могли не вести к катастрофам.

Катастрофа на шахте «Центральная» была не единственным случаем, где «бдительные» следователи вскрыли вредительство. 29 октября в Кемерово прибыла комиссия специалистов для расследования причин двух взрывов и других катастроф, имевших место в феврале, марте и апреле 1936 года на различных предприятиях треста по строительству кемеровского комбината. Подобная же группа начала работать над серией пожаров в шахтах близлежащего Прокопьевска — шестьдесят таких пожаров было зарегистрировано до конца 1935 года [1]. Эксперты обнаружили в этом вредительство. Представленные ими материалы были вполне достаточными, чтобы обвинить западно-сибирских специалистов. *

Хотя эта западно-сибирская группа обеспечила не меньше семи участников будущего процесса Пятакова, где всего подсудимых было семнадцать, НКВД подготовил еще две группы «вредителей». Одну якобы возглавлял Ратайчак — начальник Главного управления химической промышленности в наркомате Пятакова. Его имя впервые назвал директор горловского комбината азотных удобрений Пушин, арестованный 22 октября 1936 года в связи со взрывом на комбинате, имевшим место 11 ноября 1935 года. Пушин немедленно дал все нужные НКВД показания, в том числе на своего руководителя Ратайчака [1]. Эта группа «вредителей» была еще пополнена провокатором НКВД Граше, который работал в иностранном отделе Главхимпрома у Ратайчака; тем самым была «установлена связь» с японской разведкой и другими зловещими зарубежными силами.

Третья и последняя группа «вредителей» была еще более важной — она, якобы, выводила из строя железные дороги. В качестве руководителей группы фигурировали трое: заместитель наркома путей сообщения, старый большевик и изменивший взгляды троцкист Яков Лившиц, заместитель начальника службы движения НКПС Князев, ранее работавший начальником Южно-Уральской дороги, и заместитель начальника службы движения Пермской дороги Турок.

Князев стал давать показания в середине декабря, то есть позже, чем все другие главные обвиняемые, и, видимо, вся железнодорожная тема была внесена в обвинение позднее других. Железнодорожные вопросы касались, в частности, Серебрякова, поскольку он возглавлял этот наркомат в двадцатые годы; с ним имел связь и Богуславский, которого сделали ответственным за повреждения железнодорожных путей в Западной Сибири.

Обвинение во вредительстве было весьма серьезным. Но, по иронии судьбы, именно такое обвинение было легко преподнести Центральному Комитету под знаком возможного милосердия. Дело в том, что главный «вредитель» на так называемом процессе «промпартии» профессор Л. Рамзин был не только амнистирован через два года после приговора и покаяния, но был восстановлен в должности, вернул себе расположение правительства и даже получил орден.

Сам процесс в январе 1937 года включал, как отражение этого, один любопытный эпизод. На процессе упоминался инженер Бояршинов, в свое время осужденный в связи с шахтинским процессом, а затем освобожденный и восстановленный. Утверждалось, что Бояршинов стал «честным советским инженером» и что заговорщики убили его, так как он разоблачал применявшиеся ими неправильные методы работы.

Сталин вновь появился в Москве после отдыха 4 ноября 1936 года, на приеме в честь монгольской делегации. С ним было несколько членов Политбюро, включая Микояна и, конечно, Ежова. А на параде 7 ноября все члены Политбюро, как водится, стояли на трибуне Мавзолея.

---

[1] «Дело Пятакова», с. 537/ —.

Лозунги к тогдашней XIX годовщине октябрьской революции содержали яростные нападки на троцкистско-зиновьевских агентов. Однако в этих лозунгах не было ничего относительно правых уклонистов, что, по-видимому, указывало на еще неполную определенность положения.

Однако сразу затем Сталин сделал первый выпад уже не против бывшего участника оппозиции, как бывало раньше, а против своего верного соратника. Это, вероятно, было началом перехода от уничтожения остатков оппозиции к повальному террору в рядах партийного руководства. Свой выпад Сталин сделал против Павла Постышева, второго секретаря ЦК компартии Украины и кандидата в члены Политбюро.

Постышев работал в Киеве с 1923 года. В 1924 году он стал секретарем киевского горкома партии, с 1926-го по 1930 год состоял членом Политбюро ЦК компартии Украины, а затем получил перевод в Москву и стал секретарем ЦК. В январе 1933 года Постышева вновь послали на Украину для укрепления партийного аппарата в тогдашней трудной борьбе против крестьянства и украинского национализма. Хотя Косиор и его группа тогда не были смещены, Постышев получил столько же власти и авторитета, сколько имел его теоретически вышестоящий руководитель. В дополнение к должности второго секретаря ЦК КП Украины Постышев был еще назначен первым секретарем киевского обкома партии.

В течение всего последующего периода вошло в обычай подчеркивать особое старшинство Постышева на Украине. Скажем, когда направлялись какие-либо поздравления советскому правительству или Центральному Комитету ВКП(б) или даже украинскому правительству,— во всех таких случаях документы направлялись одному высокому адресату. Но когда дело касалось Центрального Комитета компартии Украины, то ставились имена обоих — Косиора и Постышева.

Например, 6 января 1937 года в «Правде» был опубликован рапорт наркомата местной промышленности УССР. В Москву, в Центральный Комитет, этот рапорт пошел на имя одного Сталина, а в ЦК КП Украины он был адресован обоим — Косиору и Постышеву. Все это было немного позже осуждено как культ личности, сложившийся в результате попустительства со стороны Постышева и его окружения; «враги, нащупав слабую струнку руководителей, всячески ее использовали» [1].

Постышев был несколько моложе окружавших его вождей и несколько приятнее выглядел. У него было овальное лицо с высокой, зачесанной назад шевелюрой и аккуратно подстриженными усиками. Он был, разумеется, безупречным сталинцем, но лично честным и сравнительно популярным. У него была репутация справедливого человека (в пределах системы, конечно). Как говорят, он в свое время был среди тех, кто сопротивлялся расстрелу Рютина, но искупил этот грех последующей работой в Киеве. Если бы такой человек попал в оппозицию к Сталину, то он представлял бы собой, подобно Кирову, реальную угрозу.

Будучи противником террора, Постышев по-своему толковал циркуляры Центрального Комитета об исключениях из партии. Он исключал провокаторов и клеветников, оставляя в партии их жертвы. Так, он исключил из киевской партийной организации доносчицу Николаенко, которая причиняла людям тяжелые неприятности в течение целого года [1]. Совершенно ясно, что это исключение полностью противоречило духу террора и особенно решениям Центрального Комитета от 29 сентября и 21 октября 1936 года. Возможно даже, что решения эти были направлены против Постышева. По мере того, как развивалась ежовщина, именно доносы подобных типов давали НКВД возможность хватать руководителей партийных организаций... Несколько позже утверждалось, что в Киеве троцкисты сумели проникнуть на руководящие должности. Таким образом, поведение Постышева было довольно ясно обозначено как направленное против системы — еще до того, как на него обрушился удар. В ноябре 1936 года, в поисках повода, Сталин поднял дело провокаторши Николаенко. ЦК ВКП(б) рассмотрел апелляцию Николаенко против исключения из партии и выразил ей доверие [2].

Где-то около этого времени и мог состояться один из необъявленных пленумов ЦК, если такие пленумы вообще имели место. Во всяком случае, 23 ноября 1936 года в Москве находились все члены Политбюро, включая периферийных. Вместе со «знатными людьми», съехавшимися со всей страны, они участвовали в утверждении новой конституции.

---

[1] «Правда». 1937, 30 мая.

[1] «В «Очерках по истории Коммунистической партии Украины» (2-е изд., Киев, 1964, с. 466) «некая Николаенко» названа «одной из злостных клеветниц». См. также: Г. Марягин. Постышев. М., 1965, с. 294.

[2] См. Сталин. Полн. собр. соч., т. 14. Станфорд, 1967, с. 240—241. (Собр. сочинений Сталина, издававшееся в СССР, было приостановлено на 13-м томе, обрывающемся статьей в «Правде» от 1 февраля 1934 года. Дополнительные тома 14—16 изданы Гуверовским институтом в Станфорде, Калифорния.)

Выше в этой главе мы ссылались на утверждение Авторханова, что на этом пленуме не участвовал Орджоникидзе. Теперь мы знаем, уже из советского источника, что в начале ноября у Орджоникидзе был приступ грудной жабы, и это придает дополнительный вес рассказу Авторханова. К тому же, в своих показаниях на процессе над Бухариным и другими, подсудимый Иванов сослался на некий пленум ЦК, имевший место в декабре или ноябре 1936 года.

Есть доводы в пользу того, что пленум так или иначе должен был быть созван по формальным основаниям. Ведь после предыдущего пленума, состоявшегося в июне 1936 года, прошло так называемое «всенародное обсуждение» проекта новой конституции. В ходе обсуждения были предложены различные поправки, и многие из них были приняты и включены в окончательный текст, утвержденный в ноябре съездом Советов. Логически рассуждая, можно предположить, что этот окончательный текст должен был быть предварительно утвержден пленумом ЦК. Однако, конечно, такой довод не вполне убедителен.

Принятие новой конституции прошло в обстановке торжественных речей, оваций и широкой пропагандной кампании в прессе. Кульминационным пунктом всего этого была речь Сталина 25 ноября. В этой речи Сталин обстоятельно разбирал вопрос о гарантиях демократии, о свободе личности и о подчинении всей деятельности государства воле народа.

Состоялся в то время пленум или не состоялся, но Политбюро заседало наверняка. Поскольку большинство обвиняемых еще не признало, позиция Сталина могла быть до известной степени уязвимой. С другой стороны, известно, что в первую неделю декабря стали давать показания те из обвиняемых, кто до той поры держался крепко. Это может рассматриваться как признак некоего соглашения на верхах относительно будущего процесса,— возможно, вопреки отдельным руководителям. Похоже, во всяком случае, что Орджоникидзе получил от Сталина обещание не трогать заложников по делу Пятакова и сохранить жизнь ему самому. Затем Орджоникидзе навестил Пятакова в тюрьме и, по-видимому, уговорил его принять полное участие в процессе, так как ничего больше сделать было нельзя. И Пятаков сдался. К 4 декабря он начал давать показания. В тот же день дал свое первое свидетельство и Радек. Он решил сдаться на том же условии, что и Сокольников,— под личную гарантию Сталина. Некоторое время Сталин отказывался его принимать, но в конце концов, как говорят, самолично посетил Лубянскую тюрьму и имел долгий разговор с Карлом Радеком в присутствии Ежова. После этого Радек стал лучшим помощником следствия и даже участвовал в переработке плана, а лучше сказать — сценария процесса. Сдался и Муралов — он держался твердо, но под влиянием Радека стал «признаваться» на другой же день. В это самое время стал давать показания и Норкин. К январю в следственное дело легли сотни страниц показаний, полученных от всех будущих подсудимых.

Но еще до того, 20 декабря 1936 года, Сталин дал торжественный обед для узкого круга руководителей НКВД в связи с годовщиной основания органов безопасности. Присутствовали Ежов, Фриновский, Паукер и другие. Вскоре о том, что произошло на обеде, стало известно многим сотрудникам НКВД. Когда все основательно напились, Паукер на потеху Сталину стал изображать, как вел себя Зиновьев, когда его тащили на казнь. Два офицера НКВД исполняли роль надзирателей, а Паукер играл Зиновьева. Он упирался, повисал на руках у офицеров, стонал и гримасничал, затем упал на колени и, хватая офицеров за сапоги, выкрикивал: «Ради Бога, товарищи, позовите Иосифа Виссарионовича!».

Сталин громко хохотал, и Паукер повторил представление. На этот раз Сталин смеялся еще сильнее. Тогда Паукер ввел новый элемент, изображая, как Зиновьев в последний момент поднял руки и обратился с молитвой к еврейскому Богу: «Услышь, Израиль, наш Бог есть Бог единый!». Тут Сталин совершенно задохнулся от смеха и дал знак Паукеру прекратить представление.[1]

Сталин имел все основания быть довольным. Ведь органы безопасности почти закончили подготовку второго судебного спектакля. И он отдал приказ действовать в направлении, которое было блокировано прошлой осенью. А именно вовлечь в «заговор» Бухарина и Рыкова.

16 января 1937 года имя Бухарина как главного редактора в последний раз появилось в «Известиях». Примерно в это же время Радеку было велено назвать в показаниях Бухарина как соучастника, и после некоторого колебания он это сделал. Теперь стало возможно провести в жизнь план наступления на «правых». В самый первый день процесса над Пятаковым и другими, 23 января, была упомянута группа «заговорщиков» во главе с Бухариным, Рыковым и Томским. К тому времени Сталин был уже полностью готов подавить любое сопротивление своих более умеренных сторонников.

Вмешательству в область полномочий Постышева, начавшемуся в связи с делом Николаенко, был придан формальный характер в датированной 13 января 1937 года (но не опубликованной) резолюции ЦК ВКП(б), осудившей неудовлетворительную работу киевской партийной организации и ошибки украинского ЦК в целом.

[1] A. Orlov, p. 250.

О характере обвинений, выдвинутых против Постышева, можно судить по резолюции, принятой на февральско-мартовском пленуме 1937 года, в которой говорится о «фактах вопиющей запущенности партийно-политической работы в Азово-Черноморском крайкоме, Киевском обкоме и ЦК КП(б)У» (см. «КПСС в резолюциях», 7-е изд., т. 2, стр. 835) и «примерах неправильного руководства, вскрытых в Киевском обкоме и Азово-Черноморском крае...» (там же, стр. 836). Те же обвинения были повторены в мае 1937 года на XIII съезде КП(б)У.

Постышев выразил свое несогласие с резолюцией 13 января. После этого в Киев был немедленно послан Каганович, чтобы выправить положение. Как секретарь ЦК ВКП(б) он срочно созвал пленум киевского обкома партии. 16 января 1937 года Каганович добился снятия Постышева с поста первого секретаря киевского обкома, причем было сказано, что обязанности Постышева как второго секретаря ЦК КП(б)У были слишком многообразны, чтобы совмещать эту работу с должностью секретаря партийной организации в Киеве. Объяснение было явно лживым: действительно, когда в 1938 году первым секретарем ЦК украинской компартии стал Хрущев, он возглавлял и киевскую партийную организацию без всяких видимых трудностей.

Этот эпизод с Постышевым был не более, чем типичным первым шагом Сталина против намеченной жертвы. А тем временем заканчивались последние приготовления к очередному показательному процессу — над Пятаковым и другими.

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

[1]) Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра издан Народным Комиссариатом Юстиции в 1937 г. в двух вариантах — сокращенном (составленном по публикациям в «Правде» и «Известиях») — на русском языке, и в «полном стенографическом» — на английском языке («Report of the Court Proceedinds in the Case of Anti-Soviet Trotsky Centre», Moscow, 1937). Здесь и в дальнейшем (предыдущие ссылки опущены) Р. Конквест ссылается на то и другое как на «Дело Пятакова», приводя цитаты по русскоязычному изданию, за исключением пропущенных в нем мест, которые цитируются по англоязычному изданию в обратном переводе. Ссылка при этом дается на оба издания, с указанием сначала страниц англоязычного, затем русскоязычного изд. Здесь: с. 257/105.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

А. АНСЕЛЬМ

ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД, ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК?

...Это было в самом конце 51-го года, когда шпиономания, густо замешанная на антисемитизме (слово это применительно к происходившему в конце 40-х — начале 50-х годов до сих пор стыдливо замалчивается), достигла чудовищных размеров. Шло обычное комсомольское собрание студенческой группы, что-то бубнил комсорг, кто-то спал, кто-то играл в крестики-нолики... Словом, ничто не предвещало необыкновенного развития событий. И тут встал один из студентов и сказал: «Я хочу сделать чрезвычайное сообщение. Мной раскрыта диверсионная антисоветская группа. В нее входят... (дальше следовал список студентов человек из пяти, присутствовавших на собрании). Члены этой группы систематически преклоняются перед заграницей, занимаются подрывной деятельностью... Мне пока не удалось выяснить, каким образом они осуществляют связь с заграницей»...

Вначале трудно было добиться от разоблачителя, в чем именно состояла диверсионная деятельность раскрытой им антисоветской группировки, но, в конце концов, обвинения сконцентрировались вокруг двух фактов. Первое. Члены преступной группы систематически списывали друг у друга (да и не только друг у друга, раз даже пытались списать у разоблачителя!) конспекты по марксизму-ленинизму. Второе. Во время студенческой вечеринки один из членов подпольной группировки снял с патефона пластинку, ранее поставленную разоблачителем, с хором Пятницкого, и поставил *джазовую музыку, записанную на костях.* (Для вас, не знающих быта 50-х годов, поясню: «на костях» — значит на использованной рентгеновской пленке, которая употреблялась для записи всякой неофициальной музыки. Получались такие гибкие, сероватые пластиночки-диски, разглядывая которые на свет, можно было увидеть рентгеновский снимок, на котором, естественно, отчетливее всего проступали кости. Отсюда и термин — «на костях».)

...Пытаюсь себе представить современного читателя этих воспоминаний. Не поверит? Но ведь было, было! Смешно? Нам не было смешно... Помню секундное колебание представителя парткома, присутствовавшего на нашем комсомольском собрании, видно было, как боялся он просчитаться... Но все же решил, видимо, что обвинения уж слишком... И стал играть на понижение.

На следующий день разоблачитель не пришел на занятия. А еще через день мы узнали, что он попал в сумасшедший дом, у него была обнаружена ярко выраженная мания преследования.

...Включаю телевизор: по экрану мечутся пятна светомузыки, и какое-то патлатое существо среднего рода что-то выкрикивает — по-русски? по-английски? не разберешь — под аккомпанемент электрогитары. Ловлю себя на странном приступе нежности к волосатому исполнителю... Свобода! Какое это счастье, что сегодняшнему молодому человеку не понять зловещего смысла, заключенного в выражениях «низкопоклонство перед Западом», «космополит безродный». А ведь от этих идеологических штампов один шаг привел к «проискам международного сионизма» и в финале к «убийцам в белых халатах» — несчастным невинно арестованным врачам-евреям.

Вот такое отношение к западному миру воспитывалось у нас годами. Что только не запрещалось, что не подвергалось гонению! И джаз, и рок-н-ролл, и джинсы, и кибернетика, и широкие брюки, и узкие брюки, и генетика, и твист, и длинные волосы, и... вообще, «низкопоклонство перед Западом». И вот выросло целое поколение молодых людей, которые не верят ни одному слову казенной пропаганды и убеждены, что западный мир — рай земной, земля обетованная.

Когда я этой зимой был в Соединенных Штатах, меня попросили выступить перед школьниками последнего, выпускного класса, рассказать о жизни в Советском Союзе и ответить на вопросы. Одна девушка спросила меня: «Где бы вы хотели жить?» — «В Ленинграде».— «Но ведь вы сами сказали, что жизнь в Советском Союзе беднее, чем в Соединенных Штатах, и что вам там многое не нравится...» — «Конечно. Но это — моя Родина, и я не могу жить без нее. Там каждый камень — воспоминание детства, юности... К тому же Ленинград — самый прекрасный город в мире, а мне по-

счастливилось видеть много замечательных городов: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Женеву, Прагу, Рим».

...И нам, и им, как воздух, нужна правда друг о друге...

Моя судьба сложилась таким образом, что я побывал в полдюжине основных стран Европы и в Соединенных Штатах Америки, жил где по месяцу, где — по два, а в Англии даже три месяца. Много это или мало? По сравнению с большинством моих соотечественников — много, по сравнению с некоторыми из них — мало. И все же мне кажется, что мне, возможно, удалось повидать и почувствовать кое-что, что нечасто удается повидать и почувствовать моим согражданам, даже за более длительное время жизни за границей. Объясняется это тем, что советские люди, попадая за границу, оказываются обычно крайне изолированными от повседневной жизни страны, в которую они попали. Я помню, как был поражен, когда сотрудник советского посольства в Лондоне спросил меня: «Неужели вы бываете у них дома?»

Моя жизнь за границей протекала совсем иначе. Во-первых, сообщество физиков-теоретиков (моя профессия — теоретическая физика) носит ярко выраженный интернациональный характер. В Лондоне и в Женеве, в Чикаго и в Париже я неизменно попадал в круг хорошо знакомых людей, многие из которых — мои близкие друзья. Дружба чаще всего начиналась у нас, в Советском Союзе, а затем продолжалась на Западе. Во-вторых, во всех случаях без исключения я ездил за границу по приглашению какого-нибудь европейского или американского физического института, что и определяло мой статус на Западе наравне с любым другим физиком, приглашенным из любой другой страны. Это давало мне возможность вести некоторое время жизнь, не так уж отличающуюся от жизни, скажем, американского (французского, английского...) ученого, приехавшего поработать в другую страну...

— Ну что? Ну, как там? — первый вопрос, когда возвращаешься домой. В течение многих лет я пытался найти ответ, в котором сразу бы сказал о самом главном, о том, что поражает больше всего. Думаю, без объяснений понятно, как это непросто. Многоликая, сложная, противоречивая чужая жизнь... Попробуй, выдели в ней что-то самое поражающее, что-то такое, что сразу покрывало хотя бы существенную часть бесчисленных наблюдений. И все же я решусь на два небольших обобщения. Первое связано с чисто внешним впечатлением. Красочность. Поразительная красочность западных городов, да, впрочем, и не только городов — провинция почти не уступает городам. Первое восприятие западного мира — как цветовой удар. И — увы! — когда пересекаешь границу в обратном направлении, ощущение такое, будто вдруг после цветного фильма пошла черно-белая лента. Второе — фантастическая, по нашим меркам, *удобность* жизни. Но здесь нужны конкретные примеры.

...Я еду из Цюриха в Женеву. Одна из промежуточных станций — Берн, столица Швейцарии. По слухам, дошедшим до меня, и впоследствии вполне подтвердившимся, один из красивейших городов мира. Естественно, мне хочется посмотреть Берн. Так как к вечеру я должен быть в Женеве, у меня в запасе два-три часа. Спрашиваю проводника, могу ли я сойти на пару часов в Берне, а потом сесть на более поздний поезд. Он удивлен: почему нет? Выхожу на перрон. Ни немецкого, ни французского (официальные языки Швейцарии) я практически не знаю. Смотрю по сторонам и вижу знакомую табличку с изображением чемодана, указывающую, куда идти в камеру хранения. Беру тележку — а они разбросаны по всему вокзалу, и даже в радиусе метров сто за его пределами таким образом, что в пределах видимости всегда имеется свободная тележка. Тележки удобные, любой, самый тяжелый багаж становится не в тягость.

Камеры хранения автоматические, весьма похожие на наши, но... Полно свободных мест, и рядом автоматы, разменивающие любые деньги на нужные монеты. Все. Избавился от багажа. Вся процедура заняла минуты.

Снова гляжу по сторонам и нахожу табличку с международным знаком — «information», информация. Следую указаниям этой таблички и вхожу в полупустой зал, где мне приветливо улыбается дюжина девушек, каждая из которых говорит не только на нужном мне английском, но более или менее на всех основных европейских языках. Мне выдается, совершенно бесплатно, несколько основных вариантов плана Берна: наиболее подробный, с обозначением практически всех улиц, другой — с туристскими достопримечательностями и так далее. Если я хочу еще более подробный план, карты окрестностей и тому подобное, пожалуйста,— за грошовую цену.

Не могу удержаться от отступления. Планы наших городов, издаваемые в Советском Союзе,— это не просто посмешище для всего света. Это — национальный позор. У меня нет слов, чтобы сравнить наши карты и зарубежные. Лучший план Ленинграда, который я имею, прожив в этом городе пятьдесят лет,— это напечатанный в Венгрии план, подаренный мне американским физиком, посещавшим Ленинград с кратковременным визитом. Даже этот план — просто курьез, с точки

зрения любого западного человека, но он много лучше наших отечественных планов.

Почему? Почему у нас нет мало-мальски приличных карт? Ответ, который еще недавно даже помыслить было нельзя произнести вслух, прост. Секретность! Паранойя секретности уже привела в свое время к тому, что строевые советские офицеры во время войны облегченно вздыхали, заполучив в качестве трофея немецкие карты наших местностей. А теперь? Может быть, кто-то предполагает, что Пентагон не имеет приличного плана Ленинграда, при наличии спутников и фотоаппаратуры, разрешающая способность которой позволяет читать номера автомашин? Может быть, все-таки причина не в этом? Может быть, причина в том, что, разреши завтра печатанье этих карт,— и огромный штат людей, занимающихся запретом этого печатанья, потеряет власть? А то и вовсе окажется без работы?

Но вернусь к швейцарским впечатлениям. Итак, я получаю карты, и прелестная обслуживающая меня девушка узнает, что у меня имеется всего три часа на осмотр Берна. Она быстро набрасывает на моем плане рекомендованный маршрут, который включает все основные достопримечательности — от здания федерального парламента до «медвежьей ямы». (Город Берн назван так в честь медведя. Bern — старинное наименование медведя. Городу дал имя какой-то правитель, который решил назвать его именем первого убитого в тот день на охоте зверя. В память об этом в Берне имеется большая круглая яма, в которой живут настоящие медведи, неизменно привлекающие интерес ребятишек и туристов.)

В заключение я получаю от девушки ослепительную улыбку и традиционное 'Thank you!'

О, это 'Thank you'! Вас благодарят всюду: в магазине, в ресторане, в авиабилетной кассе, по телефону, по которому вы узнаете код для переговоров с другой страной. Конечно, корни этого 'Thank you' имеют чисто коммерческий характер — как не сказать спасибо человеку, который купил у вас что-то. Хочется ему понравиться, может быть, он в другой раз купит еще что-нибудь. А как быть с девушкой в 'information' в Берне? Хотя, конечно, тоже... Вы не обратитесь, он не обратится, они не обратятся за информацией, глядишь, получается, ее работа и не нужна... А если работа не нужна, то долгое время просуществовать на Западе она не сможет. Получается, девушка обязана вам своей работой! Ясно, ей есть за что сказать вам спасибо... Это все правда, подоплека здесь коммерческая, но оборачивается все, в конечном счете, вежливостью и, как следствие, высокой эффективностью. К тому же, вежливая манера поведения становится привычкой, второй натурой. Не думаю, чтобы обслуживавшая меня в Берне девушка все время помнила о том, что получает свое жалованье благодаря мне... А у нас? Сколько уже писалось об этом! Но вот маленькая деталь.

...Когда на Московском вокзале в Ленинграде произносят по радио объявления по-английски, они неизменно заканчиваются 'Thank you'. 'Train number one, Red Arrow... thank you...' А потом по-русски, то же самое, но никаких «спасибо» в конце.

«Но это же просто не в духе языка,— возразил мне мой друг,— нельзя же буквально переводить!» — «Вот именно, что не в духе... А почему?» — «Ну, все равно, ты выбрал неудачный пример,— не соглашался мой собеседник,— при нашем глобальном хамстве мог бы найти пример поярче. Подумаешь, не говорят „спасибо" в конце объявления по радио. А зачем, действительно, здесь „спасибо"?»

Я не знаю точно, зачем после объявления говорить «спасибо». Но зачем мы, в конце концов, вообще говорим «спасибо»? Даже когда, скажем, встаем из-за стола? Какую особую утилитарную нагрузку несет «спасибо» в этом случае? Да никакой... Просто «спасибо» фиксирует некий уровень расположения, доброжелательности, что ли, к тому, кому оно адресовано. Поэтому мне кажется, не надо недооценивать этого 'thank you' в конце английских объявлений. Когда же объявление адресовано русскому пассажиру — что ж! — сойдет и так! Нет ли здесь бессознательного самоуничижения, может быть, вот этого самого «преклонения перед заграницей»?

Вообще, надо сказать, вопрос о «преклонении перед заграницей» имеет удивительнейшие аспекты. Например, годами одновременно с запретом на все западное прекрасно существовала (и существует!) традиция пускать иностранцев повсюду без очереди. И совсем не только туда, где это вопрос получения твердой валюты. Один мой знакомый американский физик, несколько раз посетивший Советский Союз и подразобравшийся в наших нравах, поучал меня перед входом в ресторан, где стояла порядочная очередь: 'Let you start this usual crap about the famoust American professor!' («Начинайте обычную ерунду о знаменитом американском профессоре!»). По опыту он знал, что простейший, если не единственный, способ проникнуть в переполненный ресторан — сослаться на американского гостя...

Оно, конечно, с одной стороны, традиционное русское гостеприимство... Но только ли оно?

Но закончу воспоминания о моем посещении Берна. Погуляв по Берну часа два, я проголодался. Я был уже вблизи вокзала и, помню, минутное колебание — что выбрать? Один из бесчисленных маленьких ресторанчиков на вокзальной площади? Или одну из бесчисленных стоек в здании вокзала и в крытых галереях около вокзала, где продавалось все — от сосисок с горчицей и пивом (кока-колой, сухим вином, апельсиновым соком, минеральной водой) до шоколадных тортов, копченой рыбы, свежей спаржи и — чего там еще бывает? Или, наконец, просто ограничиться понатыканными всюду автоматами и получить в обмен на монетку плитку швейцарского шоколада с орехами?

...Никогда не был в Харькове. Где только не побывал в Советском Союзе, а вот в Харькове — не пришлось. Лет двадцать подряд, да и сейчас частенько, проезжаю Харьков поездом по дороге на Кавказ. А что, если проделать такую же штуку, как с Берном, с Харьковым? Вот, правда, у нас нельзя сойти с поезда... Но ведь можно взять билет до Адлера, а плацкарту до Харькова... Правда, непонятно, что потом делать-то с этой плацкартой? Простоишь, пожалуй, компостируя билет, как раз все то время, что отвел для осмотра Харькова... Но, допустим, все-таки рискнуть... Ведь, в конце концов, я свободно владею русским, да в крайнем случае и по-украински... Но куда деть багаж? Где поесть? Наконец, просто, куда пойти? Нет, конечно, есть, есть камеры хранения и рестораны... Но все же... Нет! Не вылезу я в Харькове по дороге на Кавказ!

...Или вот еще из швейцарского опыта. Приехал в Женеву, собирался позвонить знакомому, проживающему здесь, да вот беда — забыл дома телефон. Прохожу мимо телефонной будки и вдруг замечаю, что внутри вместо столика какой-то наборный куб. Присматриваюсь: куб набран из отдельных томов, каждый том — телефонный справочник одного из кантонов. Что же это получается? *Каждая телефонная будка содержит практически все телефоны Швейцарии!* Вхожу в будку. Мой знакомый живет в Женеве, ну, конечно, том женевского кантона имеет корешок, выкрашенный в заметный красный цвет — ведь он же чаще используется! Все тома нанизаны на общий железный стержень. Поворачиваю нужный мне том вокруг своей оси, он удобно ложится, как на столик, на остальные тома. Через 30 секунд нужный телефон найден.

...Скажите, какого года телефонным справочником вы пользуетесь? Я лично — никаким. Последние лет двадцать не мог достать никакого. Зато у меня есть справочник 1976 года некоторых телефонных номеров некоторых учреждений Ленинграда. Это когда номера еще были шестизначными, а первая цифра обозначалась буквой. Но это не страшно: если расшифровать букву, потом добавить спереди недостающую цифру, и если номер не изменился...

...В Женеве любой абонент получает новый телефонный справочник бесплатно от телефонной компании каждый новый год. Кстати, и местные газеты тоже присылаются вам бесплатно. Зато — мы самая печатающая страна в мире. Мне кажется, чтобы понять этот парадокс, достаточно подойти к любому киоску «Союзпечати» и начать читать названия всех изданий подряд. Только ничего не пропуская. Эксперимент не такой тривиальный, как может показаться на первый взгляд, потому что обычно мы просто не замечаем девяноста процентов этой, с позволения сказать, полиграфической макулатуры. Вот и получается, что ни на Булгакова, ни на телефонный справочник бумаги не хватает.

В телефонном справочнике ничего «антисоветского» при всем желании найти невозможно. И вряд ли телефоны большинства наших сограждан представляют собой важную государственную тайну. Я думаю, объяснение в том, что за каждой единицей упомянутой макулатуры стоит весьма и весьма влиятельное лицо... Не обязательно сам автор, может быть, его родственник или даже просто хорошо относящийся к автору важный начальник.

Но вернемся опять в Швейцарию. Я купил фотоаппарат японской фирмы «Минольта». Фотограф я — никакой, поэтому покупал фотоаппарат, как говорится, «на дурака». Он все делает сам: выбирает выдержку, наводит на фокус, если света мало, дает вспышку. Но вот пленка отснята. Что дальше? С каждой утренней почтой я получаю пустые конверты всевозможных женевских фотоателье. Просто так. На всякий случай. Беру первый попавшийся, кладу в него кассету, ставлю на конвертике крестик в определенную графу, означающий, что фотографии мне нужны в одном экземпляре. Заполняю свой адрес и бросаю в почтовый ящик. Марки не надо, фирма платит.

Через несколько дней получаю толстый конверт, в который вложены негативы, готовые фотографии, новые пустые конверты, *где мой обратный адрес уже впечатан* (а как же! я ведь уже клиент!), и, наконец, маленькое извещение, в котором говорится, что фирма надеется, что я не забуду заплатить столько-то франков в любое почтовое отделение.

Все это происходит за несколько дней до моего возвращения в Советский Союз, и я размышляю: а что, если я уеду, не заплатив? И понимаю: а ничего! Фирма

понесет убытки в размере нескольких франков, от которых, несомненно, не обанкротится. Не станут они разыскивать меня из-за этих несчастных нескольких франков. Но ведь в чем штука: даже зная это, я заплатил! И это, конечно, тоже учитывается. Честных людей на свете все-таки больше, чем мелких жуликов.

...Возвращаясь в СССР из Парижа, я прибыл на вокзал за 1,5 часа до отхода поезда с огромным багажом. Меня провожал очень пожилой человек, и я заранее тревожился — как провести эти полтора часа? Такой багаж сдавать в камеру хранения — целая морока.

Беру традиционную тележку, двигаюсь в сторону кафе. Войти в кафе с таким грузом невозможно, просто в дверь не пройдет, но... конечно, кто-то подумал об этом! Перед кафе стоят столики, за ними сидят люди, и около каждого столика тележка, нагруженная не хуже моей... Примерно половина столиков свободна, садимся, заказываем чай и кока-колу и проводим 1,5 часа за приятной беседой.

...Моя любимая «Минольта», уже упоминавшаяся выше, упала на пол и сломалась перед самой поездкой в Калифорнию, где я собирался активно заниматься фотографированием. Что делать? «В первую очередь найти поблизости представительство „Минольты“»,— объясняет мне моя знакомая. Она минуту изучает телефонный справочник и находит нужный телефон и адрес. О, радость! В Чикаго ехать не нужно, представительство расположено недалеко от того места, где мы находимся. Через полчаса мы уже в отделении «Минольты», где улыбающаяся (как всегда!) девушка объясняет мне, что у меня разбилась система перемотки, предлагает оставить аппарат и зайти через несколько дней. «Но я уезжаю в Калифорнию»,— жалобно начинаю я. «Тогда подождите минут десять». Через 10 минут мне выносят исправленный аппарат, в котором заменена система перемотки. «Сколько я вам должен?» — «Ничего» — улыбка. «Но у меня нет гарантии»...— «Неважно. Нам приятно. Спасибо». По-видимому, для статистики мне дали заполнить анкету на несколько строк, куда я вписал место покупки фотоаппарата, а девушка записала вид починки. Так и не понимаю, почему с меня не взяли ни копейки (точнее говоря, ни цента).

Но, пожалуй, довольно примеров. Их можно множить бесконечно. Любопытно, что несмотря на очевидную разницу между, скажем, Финляндией и Соединенными Штатами система сервиса в разных странах отличается очень незначительно. Это производит такое сильное впечатление, что порой весь западный мир представляется чем-то единым.

Я неоднократно слышал высказывание, что Америка крайне непохожа на Европу. «Вот увидите»,— говорили мне. Увидел. Те же улыбающиеся продавцы, те же всегда работающие электросушилки, бумажные полотенца и душистое мыло в туалетах, то же отсутствие очередей...

Что же нам делать? Не можем же мы бесконечно констатировать — «Запад есть Запад, Восток есть Восток», неплохо бы что-нибудь предпринять! Разумеется, я не претендую на то, что знаю рецепт. По правде говоря, я думаю, его не знает сейчас никто. Но кое-что, казалось бы, можно попробовать сделать. Мне представляется очень важным провозглашенный в последнее время принцип, что качество для нас важнее, чем количество. Для того, чтобы осуществить этот лозунг на деле, абсолютно необходим некий запас для маневрирования. Это, конечно, относится, в первую очередь, к производству, но я хочу поговорить об этом в связи со сферой обслуживания. Посмотрите, как это реализуется на Западе...

...Меня поселили километрах в трех от главного здания института, в сельской местности под Чикаго. Как добираться до института и обратно? Первое время своей машины у меня не было. (Вскоре мне ее дали, и вопрос был решен радикально.) Для того, чтобы попасть в институт, я должен был набрать по телефону внутренний институтский номер и вызвать «такси» — одну из специальных машин, предназначенных для перевозки людей внутри огромной территории Фермиевской Национальной Лаборатории. Когда я в первый день моего визита испробовал этот способ, такси пришло за мной минут через пять, и тут же, у самого моего дома, у него спустила шина. Весело улыбаясь, шофер немедленно связался по радио с диспетчером, и еще через пять минут около моего дома стояли уже три машины: вторая, пришедшая за мной, и третья — техпомощь, пришедшая за первой, у которой спустила шина. Почему-то они не стали менять эту шину на месте, вместо этого машина техпомощи приподняла домкратом переднюю часть пострадавшей машины и увезла ее в неизвестном мне направлении. А я, практически без задержки, отправился в Институт.

...Уходя в 9 часов вечера из здания Института в Хельсинки, я, по неосторожности, сломал пластмассовую задвижку в туалете. Когда в 9 часов утра на следующий день я пришел на работу, она была починена... «Институт начинается с туалета»,— сказал один мудрец. Не могу в этой связи не вспомнить посещение нашего института голландским физиком, которого после семинара мне пришлось вести в соседний корпус, расположенный метрах в двухстах от нашего,— в нашем корпусе туалеты на обоих этажах не работали.

Конечно, для того, чтобы жить таким образом, нужен изрядный запас прочности, так сказать, маневренный запас. Надо, наконец, понять, что если треть мест в кафе свободна — это не трагедия, а норма. А то ведь доходит до курьезов: по телевизору на днях показали начальника в Пензе, который не решается запустить автоматическую линию по расфасовке мороженого только потому, что для того, чтобы расфасовать все мороженое в Пензе, линия должна будет работать всего два часа в день! В результате мороженое доставляется в торговые точки нерасфасованным, и люди выстаивают длиннейшие очереди за порцией мороженого...

И, конечно же, все это требует гибкости и инициативы. Вот, например, как, ну, скажем, в Финляндии... В Хельсинки пришел пароход и привез прекрасный, сладкий, без косточек, греческий виноград. Все магазины города заполнились этими душистыми ягодами. Проходит 2—3 дня, и ягоды становятся чуть повядшими... Мгновенно цена на виноград падает до отметки чисто символической.

Это надо сопроводить следующим пояснением. В Финляндии, как и во всем Западном мире, фрукты отбираются самим покупателем прямо из огромных лотков, выставленных в магазине самообслуживания. Если какая-нибудь груша или даже виноградинка покажется вам несвежей, вы просто не положите ее себе в пакет. Наполнив пакет из тончайшей, но необыкновенно прочной, полупрозрачной бумаги, вы сами кладете его на стоящие тут же весы и нажимаете клавишу с изображением отобранного вами фрукта. Автомат выплевывает вам клейкую бумажку, на которой обозначены вес и цена вашей покупки. Вы приклеиваете чек к мешку и расплачиваетесь при выходе из магазина. Легко понять, что при такой системе плохие фрукты не попадут к вам на стол... К слову сказать, фрукты в Финляндии не хуже, чем во Франции или в Калифорнии. Государство считает, что в столь северной стране вопрос фруктов — это вопрос национального здоровья, и всячески содействует их ввозу в страну, доплачивая фирмам, занимающимся импортом.

С удовольствием покупая за бесценок отличный виноград, я думал: что было бы, если бы для того, чтобы понизить цену на виноград, это понижение надо было бы согласовать с каким-нибудь там Госкомценом? Сколько бы это заняло времени и что осталось бы от прекрасного винограда?

И опять... разве это касается одной Финляндии?.. Прекрасная вещь к завтраку — йогурт. Почему в Советском Союзе не выпускают йогуртов? Йогурт — это нечто вроде кефира с фруктовой или ягодной начинкой, расфасованного в баночки, вроде тех, что у нас используются для плавленого сыра. Когда я жил в Женеве, то в течение месяца ни разу не повторил сорт йогурта и привез домой, на память, тридцать наклеек с изображением тридцати разных фруктов. В штатах я сдался — тут, кажется, за всю жизнь не перепробуешь всех сортов йогурта.

Так вот, через пару дней после выпуска, когда йогурт считается уже не совсем свежим, цена на него существенно падает... Нарочно покупал «свежий» и «несвежий» йогурты — никакой разницы не заметил.

Ясно, что проблемы вроде этой должны решаться людьми прямо на месте, без всяких согласований. Чего мы боимся, когда лишаем инициативы людей на местах? Об одном часто говорится: давая кому-то инициативу, мы отбираем у кого-то власть. Но есть и вторая причина, о которой стоит упомянуть. Чудовищная боязнь злоупотреблений. Вся наша торговая система представляет собой отчаянную попытку противостоять злоупотреблениям, попросту — воровству. Как можно разрешить директору магазина снижать цену по собственному желанию — ясно, он будет покупать хороший товар себе и своим знакомым по сниженной цене! Или даже продавать по полной, а утверждать, что продал по сниженной... И так далее. Наша жесточайшая система контроля, казалось бы, должна в корне пресекать подобные явления.

Ну, и как? Если раньше все знали, да молчали, что система эта абсолютно неэффективна, и воровство и злоупотребления в сфере торговли имеют прямо-таки космический характер, то теперь это стало общим местом: достаточно вспомнить о крупных процессах директоров магазинов и работников торговли, отчеты о которых публиковались в печати.

Мне кажется, проблема неэффективности и обюрокраченности нашей системы контроля является одной из самых насущных проблем перестройки. Поскольку я пишу эти заметки в духе «мы» и «они», и в отношении «мы» мне нечего сказать существенно неизвестного читателю, перейду опять к «ним».

...Основным местом моей работы в Соединенных Штатах была Фермиевская Национальная Лаборатория, расположенная в штате Иллинойс под Чикаго. Я получил ряд приглашений из разных университетов, как на восточном, так и на западном побережьях, с предложением посетить эти университеты и выступить там с докладом о своей работе. Система подобных приглашений на Западе несколько отличается от нашей: расходы по поездке берет на себя приглашающая сторона (у нас, как известно, «командировочные» выплачиваются учреждением, в котором ты работаешь). Я уже хорошо был знаком с этой системой по прошлым визитам

в Европу, но здесь возникло следующее затруднение. Авиабилет из Чикаго, скажем, в Нью-Йорк (или, тем более, в Сан-Франциско) и обратно довольно дорого стоит — несколько сот долларов. Даже богатому университету не хочется платить такую большую сумму, чтобы заполучить докладчика всего на часовой семинар. Что происходит? Несколько университетов договариваются друг с другом и делят поровну проездные, а заодно и все прочие расходы по твоему, допустим, недельному пребыванию на Восточном или Западном побережье. По два-три дня в каждом университете. Так мне удалось объездить все Восточное побережье и всю Калифорнию.

Представляете себе, легко ли было бы организовать такое разделение расходов между несколькими учреждениями у нас? Сколько времени заняло бы согласование?

В Штатах это происходило следующим образом. Профессор Колумбийского Университета (даже не глава департамента) позвонил коллеге в Массачусетский Технологический Институт, затем другому коллеге в Университет Ратгерса в Нью-Джерси, узнал об их принципиальном желании видеть меня и немедленно получил их согласие оплатить свою треть расходов. После этого он позвонил мне и договорился о точных датах моего посещения этих институтов. Ни одной бумаги!

Дальше я сообщил об этих приглашениях у себя, в Фермиевской Лаборатории, и Лаборатория немедленно взяла мне круговой билет, предложив вернуть за него деньги после того, как я получу эти деньги с приглашающих университетов. Что я и сделал. Когда же сходным образом я путешествовал в Калифорнию, то в Стэнфордском ускорительном центре мне сказали, что им проще позже перевести деньги за билет прямо на счет Фермиевской Лаборатории. Я сообщил об этом секретарше (именно секретарше, а не директору или главе отдела, в котором я находился) — и дело было сделано. По-прежнему без единой бумаги.

Когда я — сознаюсь, после некоторого шока — попытался объективно оценить происшедшее, я понял, что все это абсолютно логично и даже тривиально. Ну, в самом деле, можно ли представить себе, например, что, жертвуя своей репутацией, я обману Фермиевскую лабораторию на несколько сот долларов? Значит, секретарша была твердо уверена, что я говорю правду, и деньги на счет Фермиевской лаборатории в конце концов действительно поступят. А раз была уверена, то уже могла не идти к директору выяснять что-либо дополнительно, ибо предполагается, что в таком случае она может взять ответственность на себя. К директору ей следует идти, когда какой-то вопрос ей неясен.

Все это бесконечно варьируется, и в самом обилии вариантов проявляется гибкость системы. В Англии, например, я просто говорил, сколько истратил денег на билет и гостиницу... И, честное слово, назвать неправильную цифру казалось столь же нелепым, как украсть сто рублей у знакомого. В конце концов, доверяют же знакомые и оставляют одного в комнате, где я могу стащить серебряную ложку. Почему же мне не доверяет мой родной институт, в котором я работаю больше тридцати лет?

Интересно, что именно отсутствие доверия порождает желание обмануть. Вам никогда не приходилось встречать на Московском вокзале в Ленинграде (или, симметрично, на Ленинградском вокзале в Москве) людей, выходящих к утреннему поезду, пытающихся заполучить ненужный вам использованный билет? Это все командированные, либо вообще не ездившие в командировку, либо съездившие более дешевым образом, которым нужен билет для отчета. Мне кажется, что именно благодаря всем этим бесконечным отчетам, подписям, печатям и так далее возникает ощущение, что воровать у государства — не грех, надо просто уметь предъявить чужой билет, липовую квитанцию и так далее.

К сожалению, видимо, все это прочно укоренилось в психологии многих наших граждан. Любопытную историю рассказали мне в Америке. Если вы летите в Соединенных Штатах и заявляете, что у вас пропал багаж, вам, практически без проверки, немедленно возвращают его стоимость. То, что при получении багажа никакой проверки фактически не происходит, убедился я сам: хотя мне выписывали какую-то символическую квитанцию, ее никогда не спрашивали (и не отбирали) при получении багажа. Авиакомпания склонна поскорее заплатить вам за пропавший багаж любую сумму, чтобы избежать опасной для ее репутации огласки.

Поняв это, наши предприимчивые эмигранты стали летать и объявлять, что у них пропали большие ценности. Некоторое время это проходило, но, в конце концов, они, конечно, были пойманы и понесли весьма суровое наказание... Можно, конечно, утешаться тем, что это были уже не советские граждане, да и в прошлом, очевидно, не лучшие граждане нашей страны. Но все же...

Вообще кажущееся полное отсутствие контроля на Западе (на самом деле, я думаю, простая и эффективная система контроля) производит поначалу на советского человека ошеломляющее впечатление. Потом к этому как-то привыкаешь. А сперва... Во время одного из моих первых визитов в Англию я отправлял из Лондона домой посылку с собственными

вещами. Почтовый служащий взял у меня посылку, бросил ее на кучу других посылок и рассеянно стал заниматься чем-то посторонним. Я терпеливо ждал квитанции, пока заметивший, что я не ухожу, служащий спросил меня, чего я жду. Я промямлил что-то насчет квитанции, что его крайне изумило. «Вы же сдаете вашу посылку в государственное учреждение»,— недоумевал он.

Посылка не представляла для меня особой ценности, но вот через несколько дней я купил дорогой магнитофон, и продавец, знавший, что я вывожу его за границу, объяснил мне, что я могу недоплатить определенную сумму налога, если согласен получить его прямо в аэропорту, за таможенным барьером. Получив с меня весьма приличную сумму денег, он сказал, что магнитофон доставят мне в аэропорт, и снова не выдал никакой квитанции. Сознаюсь, тут я немного понервничал...

Чем сложнее система контроля, тем обычно она глупее и неэффективнее. Могу привести довольно выразительный пример из собственного опыта. Более десяти лет я преподаю по совместительству в Ленинградском Университете. По-видимому, в целях возвести непреодолимую преграду злоупотреблениям, меня аккуратно увольняют каждое первое июля и снова зачисляют осенью. Процедура зачисления происходит следующим образом. Получив соответствующее разрешение Министерства высшего образования, Университет посылает запрос в мой институт с просьбой разрешить мне совместительство в Университете. Думаете, директор моего института может дать мне такое разрешение? Ничуть. Из института посылается бумага в Академию Наук с просьбой разрешить институту разрешить мне совместительство в Университете. Думаете, бумага идет в Отделение Ядерной Физики, где меня еще, худо-бедно, знают? Никоим образом! Разве можно доверить столь ответственное решение Отделению Ядерной Физики, призванному, между прочим, руководить всей ядерной физикой в стране? Бумага отправляется в Президиум Академии Наук, откуда приходит разрешение на разрешение, подписанное вице-президентом АН СССР! Спасибо, что бумага не отправлялась в Совет Министров или ЦК КПСС! В течение ряда лет разрешение мне подписывалось биологом Овчинниковым, который, я уверен, не только никогда не подозревал о моем существовании, но и не стал о нем подозревать, подписав все эти бумаги [1].

Помимо очевидной нелепости всей процедуры, помимо всей бумажной волокиты, связанной с этой процедурой, все это имеет еще один, довольно неприятный для совместителей аспект. Бумаги не успевают обернуться к началу сентября и, хотя лекции, конечно же, все мы начинаем 1-го сентября, зачисляют нас и начинают платить зарплату то с середины октября, то даже с ноября... Кстати сказать, как только вы едете в командировку, с вас немедленно вычитают соответствующие дни, хотя случая не бывает, чтобы сколько-нибудь добросовестный лектор не перенес свою лекцию на другой день.

Говоря о системе контроля, надо иметь в виду еще следующее обстоятельство. Всякий контроль должен быть оптимизирован, то есть установлен на том уровне, когда расходы на него (как материальные, так и моральные) не превосходят выигрыша от контроля. Это очень хорошо понимают на Западе. Наверное, в каких-то случаях благодаря тому, что столь большое число финансовых операций совершается просто по телефону, имеют место злоупотребления. Но потери от этих злоупотреблений много меньше, чем были бы затраты на обюрокрачивание всех этих операций. Поэтому некоторые потери принимаются как должное. Эта нехитрая идея почему-то с огромным трудом воспринимается многими нашими руководителями. Иногда мне кажется, что она просто не в духе национальной традиции: России всегда был свойствен некий максимализм — ни один жулик не должен уйти от ответственности, ни одно зерно не должно пропасть, ни один сигнал не должен остаться незамеченным... И устанавливается фантастическая, жесточайшая система контроля, под сенью которой прекрасно расцветает жульничество, пропадает чуть не половина урожая, а что касается сигналов...

Вот любопытная деталь. «Литературная газета» долго обсуждала проблему анонимных писем. Поднимался, в частности, такой вопрос. Можно, в принципе, представить себе ситуацию, при которой, скажем, в каком-то учреждении создалась обстановка, когда единственный выход из положения для сотрудников этого учреждения — анонимный «сигнал». Просто никакой другой мыслимой возможности не существует! Если категорически объявить анонимные послания вне закона, подобные случаи останутся без внимания, и делу будет нанесен определенный ущерб. Дальше следуют неуклюжие попытки доказать, что всегда имеется возможность для честного человека бороться открыто, что мы должны создать обстановку... и так далее. Но это неправда. Иногда нет возможности бороться открыто, и где-то не удается создать обстановку. Вместо того, чтобы доказывать недоказуе-

[1] Этот очерк писался полтора года тому назад. Сейчас правила несколько изменились. Но снова право дать мне разрешение на совместительство имеется у Ленинградского Научного Центра АН СССР, где меня никто не знает, а не у моего родного института!

мое, надо трезво подумать, какова в целом польза и каков урон от реагирования на анонимные письма. Баланс, мне кажется, абсолютно очевиден: вспомните о бесчисленных комиссиях, проверках и так далее, создающих нервозную обстановку, отрывающих людей от работы, наконец, подумайте, просто о чисто моральном аспекте проблемы — какое огромное воспитательное значение имело бы непримиримо брезгливое отношение к анонимкам! На фоне этого огромного выигрыша надо с холодной головой смириться с тем, что обязательно будут случаи, когда полный отказ от реагирования на анонимное письмо принесет определенный ущерб. Забавно, что эта совершенно очевидная мысль даже не упоминалась в «Литературной газете»

Меня вообще очень интересует проблема оптимизации там, где обычно она не обсуждается, вроде приведенного примера с анонимными письмами. Возможно, что раньше общество могло существовать, выдвигая некие идеальные требования: никаких потерь, абсолютное равенство, стопроцентная честность... Сложная современная жизнь требует нового подхода: потери должны быть минимизированы, абсолютное равенство заменяется идеей максимальной социальной справедливости и так далее.

Все это имеет любопытную аналогию в области естественных наук: в физике существует знаменитый принцип неопределенности, расширенный Нильсом Бором до философского принципа дополнительности. Несколько вульгаризируя содержание этого принципа, можно сказать, что он состоит в том, что любые усилия, направленные на управление каким-либо процессом или даже просто на его изучение, неизбежно вносят определенный хаос в каком-то «дополнительном» отношении. (Пусть простят меня друзья физики за эту формулировку, но я стараюсь приблизиться к моей теме.) Переход к современному обществу от, скажем, общества XIX века напоминает мне переход к квантовой физике от классической, где принцип неопределенности не играл роли...

...Не бойтесь... Видимо, это очень страшно — перестать бояться. Но сколько теряем мы в этом страхе! Мы обсуждаем миллиарды, которые надо вложить в физику высоких энергий, чтобы не отстать от Запада... Да, теперь уже именно миллиарды: новый суперускоритель, ассигнования на который уже подписаны Рейганом, стоит несколько млрд. долларов. При таком масштабе неудивительно, что вопрос о развитии физики высоких энергий в СССР специально рассматривался на Политбюро...

Все это замечательно, но я утверждаю на основании моей профессиональной информированности, что любые финансовые вложения в этой области будут бесполезны, если одновременно в коридорах научно-исследовательских институтов не появятся ксерокопировальные машины, доступ к которым будет совершенно свободным, поездки за границу сотрудников института не будут определяться директором института, и публикация работ за границей не будет радикально упрощена (что приведет к увеличению взаимных контактов). Это много дешевле, чем строить гигантские ускорители, но страшнее. Да, вполне вероятно, что эти копировальные машины будут время от времени использоваться для получения экземпляра какого-нибудь антисоветского романа, изданного на Западе. Ну и что? Наша официальная печать полна сейчас таких материалов, которые дома-то держать было страшно два года назад. И как-то незаметно, чтобы публикация этих материалов нанесла сокрушительный удар по социалистической системе. Так неужели наше государство не выдержит нескольких лишних экземпляров «Доктора Живаго», который и так, по-видимому, скоро будет издан в СССР, или — избави бог! — каких-нибудь произведений Солженицына? [1]

Да, при свободном выезде ученых за границу будут, вероятно, случаи, когда кто-то не вернется на Родину. Ну, и что из этого? Эти случаи бывали и раньше: один из сотрудников моего собственного института остался в Америке, и никакой глобальной катастрофы не произошло.

Неужели неясно, что все эти «потери» — просто пустяк по сравнению с колоссальным выигрышем, который может быть здесь получен? Это тоже — из серии задач по оптимизации, где на самом деле ответ очевиден...

В отношении организации научных исследований за границей невозможно не упомянуть еще об одном. Компьютеризация. Важность компьютерного обеспечения, несомненно, уже осознана в нашей стране, поэтому агитировать сейчас за нее не имеет особого смысла. И все-таки, некоторыми личными впечатлениями, вывезенными с Запада, мне хочется поделиться. Сейчас существует мировая компьютерная сеть, в которую входит колоссальное число различных научных учреждений из многих стран мира. Не могу забыть, как мне демонстрировали, как работает эта сеть: для начала была включена команда, по которой на экране телевизора стал разворачиваться список институтов, пользовавшихся в это время сетью. На первом месте стоял университет какого-то города Берега Слоновой Кости... Неужели мой родной Ленинградский Институт Ядерной Физики Академии Наук СССР хуже университета с Берега Слоновой Кости?

[1] Оставляю это, написанное летом 1987 года, как свидетельство прогресса за прошедшие полтора года!

Многие молодые физики-теоретики Фермиевской Национальной Лаборатории, приходя на работу, садятся не за лист бумаги, а за компьютер. И иногда вовсе не для того, чтобы выполнить какие-то числовые расчеты. Теоретик, работавший в соседней комнате, каждое утро вызывал советского (!) коллегу, находившегося в это время в Копенгагене, и они начинали обмениваться информацией. Происходило это таким образом: они посылали друг другу компьютерные послания, набирая их на пишущей машинке, сопряженной с компьютером. Самое важное здесь то, что такие послания практически ничего не стоят по сравнению с обычным телеграфом или телефонным разговором, поскольку автоматически кодируются на компьютерный язык, после чего оказывается, что объем пересылаемой машинной информации очень невелик. Переговариваясь таким образом изо дня в день, они делали совместную работу совершенно так же, как два теоретика, стоящие с мелом у доски...

В другой раз мне было наглядно продемонстрировано, сколь эффективно может быть использован компьютер для хранения и получения справочной информации. «Хотите посмотреть свои работы за последние 10 лет?» — невинно спросил меня теоретик Станфордского Ускорительного Центра в Калифорнии. Он набрал соответствующую команду, мою фамилию (все это на собственном терминале, не выходя из своего офиса), и на экране поплыл список всех моих работ, опубликованных во всех изданиях, поступающих в библиотеку Центра. Поскольку в эту библиотеку поступают абсолютно все издания, имеющие хоть какое-нибудь отношение к нашей области, фактически это был полный список моих работ... Чудеса, однако, на этом не кончились. «Хотите знать все ссылки на какую-нибудь из своих работ?» — спросил он меня. Я выбрал одну из работ, и на экране появился список статей, в которых упоминалась моя работа... Оставалось только снять шляпу перед глубиной заложенной в машину информации. Мой приятель, однако, не унимался. «Теперь я вам покажу,— сказал он,— все работы, выполненные в теоретическом отделе Ленинградского Института Ядерной Физики за последние 10 лет. Начнем с гистограммы числа работ». На экране появилась кривая, отражающая продуктивность родного теоретического отдела по годам... «А теперь полный список,— сказал он.— Пожалуй, я дам машине команду отпечатать его вам на память в 3-х экземплярах».

Будучи заведующим этим самым теоретическим отделом, я каждый год пишу отчет о работе отдела, куда — довольно приблизительно — вношу данные о числе выполненных в отделе за год работ. Глядя на экран телевизора, я с некоторым ужасом осознавал, что проклятая машина имеет более точную (в утешение заметим, правда, весьма формальную) информацию о моем собственном теоретическом отделе!

История с компьютерной сетью, в которую не входит Советский Союз, лишний раз напомнила об одном весьма печальном обстоятельстве: годы патологического ужаса перед всем иностранным не пропали даром: наша страна оказалась исключенной из очень многих аспектов мировой культурной жизни. Развитие техники, в первую очередь связи и транспортных средств, привело к фантастической интеграции западного мира, включая, кстати сказать, не очень-то западную, ни в смысле географического положения, ни в смысле традиций, Страну Восходящего Солнца.

Приведу одну историю, показывающую, насколько тесны сейчас контакты между различными странами. Перед моей поездкой в Штаты меня попросили близкие друзья достать некое лекарство для их больного ребенка. Лекарство это — довольно редкое и отнюдь не нейтральное: в некоторых странах (например, в Англии) оно даже запрещено как имеющее побочные эффекты. Тем не менее ребенок моих друзей уже раз прошел, и весьма успешно, курс лечения этим препаратом, да и вообще обсуждение медицинской стороны вопроса явно не входило в мою компетенцию, поскольку ребенка лечат очень опытные врачи. Все мои попытки достать лекарство в Соединенных Штатах оказались безуспешными: не то оно здесь просто не производится, не то, подобно Англии и ряду других стран, даже запрещено. В это время один из моих коллег улетел в Женеву — в Европейский Центр Ядерных Исследований. Год тому назад, находясь в этом самом Центре в Женеве, я легко достал лекарство в обычной городской аптеке, поэтому я попросил моего коллегу привезти мне лекарство и даже дал ему на всякий случай адрес аптеки.

О дальнейшем течении событий я узнавал из компьютерных посланий, которые посылал мне мой знакомый из Европейского Центра Ядерных Исследований. В первом послании он информировал меня, что в Женеве этого лекарства нет, но ему обещали выписать его из Берна. В следующем телексе он сообщил, что в Берне лекарства тоже нет, но теперь ему обещали в течение 2—3 дней выписать его из Японии. За несколько дней, что мой знакомый провел в Женеве, лекарство успело прилететь из Японии, затем полетело из Женевы в Чикаго и, наконец,

благополучно перелетело из Чикаго в Советский Союз. Добавим к этому, что у меня не было рецепта; однако подробного рассказа о том, для чего нужно это лекарство, с непременным упоминанием, что лечение происходит под наблюдением опытного врача,— было достаточно. Срабатывал тот же антибюрократический принцип: по существу, мой рассказ не вызывал никаких сомнений (для какой другой цели стал бы я искать редкое лекарство?), а коль скоро суть дела представлялась ясной, никакие дополнительные формально-бюрократические подтверждения были не нужны... Приходя на работу в Фермиевскую Лабораторию и читая каждое утро компьютерные отчеты моего приятеля, я физически ощущал, каким маленьким и единым стал наш земной шар...

«Запад есть Запад, Восток есть Восток»... Или вот еще: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить»... Неужели нас устраивает это в качестве утешения за все невзгоды нашей повседневной жизни: засилие бюрократизма, отсутствие элементарного сервиса, оторванность страны от остального мира? Да, изолированность России — старая историческая традиция... Еще в конце XVI века польские паны, торгуясь с русскими послами, приехавшими на сейм уговаривать поляков присоединиться к России, спрашивали: «Что это за вольность, что нашим людям к вам ездить вольно, а вашим людям к нам ездить только с доклада государю? Но если государь ваш не позволит никому ездить, то и ездить не станут?» На что московские послы отвечали: «У вас, в ваших государствах, людям вольность ездить во все государства, а в Московском государстве того в обычае не живет, что без государева повеления ездить по своей воле, и вперед тому быть непригоже, о том вам много говорить не надобно».

Вы только вдумайтесь: свободно ездить за границу «не живет в обычае» еще в XVI веке! Но сегодня на дворе не конец XVI, а конец XX века, и продолжать жить дальше по традициям XVI века — невозможно. И каждому псевдопатриоту России, призывающему «не преклоняться перед Западом», пора бы, наконец, понять, что, отказываясь от самого широкого общения с этим самым пресловутым Западом, мы обделяем в первую очередь самих себя и рискуем попасть в положение второразрядной страны... Потому что истинно великая держава не может сейчас пребывать в изоляции от остального мира не только в политическом или военном плане, но и в отношении самых разнообразных гуманитарных, научных и, непременно, личных контактов, без которых ни одна страна не может занять достойного положения в мировом сообществе.

Что же касается уроков, которые мы без высокомерия и страха обязаны извлечь для себя из опыта зарубежной жизни, то проблема здесь, конечно, не столько в том, чтобы фиксировать огрехи нашей действительности, сколько в том, чтобы найти рецепты их исправления. Это и есть одна из самых существенных, если не самая существенная часть сегодняшнего процесса перестройки. Не могу удержаться от искушения в заключение этих заметок добавить пару своих предложений к тому многому, что уже предложено, потому что масштабы процесса обновления нашего общества таковы, что подразумевают участие каждого небезразличного к судьбе своей Родины человека.

Инициатива и гибкость, основанные на доверии,— вот, пожалуй, названия наиболее поражающих и так нам недостающих ценностей западного образа жизни. Что сделать, чтобы эти столь необходимые элементы общественного существования стали нормой нашей жизни? Как поломать существующую традицию? Конечно, главный рецепт известен: личная заинтересованность каждого члена общества в результатах своего труда,— об этом уже столько писалось и говорилось, что я не буду останавливаться сейчас на этом, безусловно, самом важном аспекте проблемы. Но вот в качестве дополнения, я, питая глубокое недоверие к любым административным способам решения вопросов, рискну все же высказаться в пользу еще одного «запретительного» закона: закона, запрещающего запрещать. Мне кажется, что в нашем обществе существует удивительная традиция, согласно которой редко кто несет ответственность за принятое решение что-либо запретить, но может ответить по всей строгости за решение что-либо разрешить.

А между тем должно было бы быть как раз наоборот! Потому что — я уверен — никакие излишние либеральные разрешения не могут нанести сейчас такой ущерб делу перестройки, как запрещения. Мы постоянно читаем в газетах о трудностях, которые, например, испытывают граждане, желающие заняться индивидуальной трудовой деятельностью. Упоминаются какие-то чиновники, которые мешают открыть новый кооператив ресторан, мастерскую по обслуживанию населения... Что происходит в дальнейшем с этими чиновниками? Насколько я понимаю — ничего, или почти ничего. А между тем, если бы они знали, что, вынося то или иное отрицательное решение, они рискуют своим местом, дело пошло бы куда живее... Принят закон, согласно которому каждый гражданин имеет право подать в суд на должностное лицо за превышение им служебных полномочий. Это хорошо, но мне кажется, что в действительности случаи применения этого закона будут не очень часты. А между тем необходимо, чтобы любое должностное лицо ощущало не меньше ответственности за отрицательное решение, чем за положительное — прямо противоположное тому, что имеет место сегодня.

Второе предложение относится к проблеме борьбы с бюрократизмом. Смысл предложения прост: перестать играть в голого короля. Едва ли не каждый из нас тратит значительную часть своего рабочего времени на абсолютно бессмысленную работу. И тем не менее, прекрасно зная это, продолжает заниматься никому не нужной деятельностью. Настала пора встряхнуться и решительно заявить: «Король голый!» Чтобы понятнее было, что именно я имею в виду, приведу примеры из близкой мне жизни научных институтов, хотя абсолютно уверен, что и в других местах положение ничуть не лучше.

Недавно я получил бумагу, предлагающую мне написать перспективный план работы теоретического отдела до 2005 года. Всякий, кто мало-мальски знаком со спецификой фундаментальной теоретической физики, понимает, что не только на 20 лет, а и на два года невозможно планировать подобные исследования. Невозможно по той простой причине, что фундаментальная наука потому и фундаментальная, что завтра будет заниматься тем, что сегодня неизвестно. Ситуация с экспериментальной физикой все-таки немного иная — здесь требуется время для создания сложных экспериментальных установок, что, конечно, может и должно планироваться. Что же касается теоретической физики, то единственный честный ответ на вопрос о том, чем каждый из нас будет заниматься через полгода, это — «не знаю». Чтобы дать более определенный ответ, надо как минимум прочитать несколько еще не вышедших номеров журналов и крепко над ними подумать...

И тем не менее каждый год мы пишем план работы теоретического отдела, состоящий либо из настолько общих пунктов, что они решительно ничего не означают, либо из фактически уже законченных исследований... В последнем случае дирекция иногда раздраженно возражает: не смейте включать в план уже опубликованные работы! Но ведь мы это делаем не от нежелания работать в следующем году, а от абсолютной невозможности поступить другим образом.

Не пора ли перестать писать такие планы? Что-то я не видел в научных учреждениях на Западе подобных планов. Неужели нельзя понять — и не испугаться! — того факта, что даже при повальном планировании есть области, где оно является дорогостоящим фарсом!

Так обстоит дело с планом. Другое дело — отчет. Несомненно, для любого вида фундаментальных исследований должна существовать определенная отчетность... Но и здесь ни в коем случае нельзя пытаться загнать ее в прокрустово ложе определенной формы. Недавно один выдающийся физик-теоретик из Харькова, работами которого гордится вся страна, жаловался мне, что от него требовали написать, на сколько у него в отделе повысилась производительность труда. «Я в конце концов написал: на семь процентов»,— признался он.

Самое удивительное, что это действительно — сказка про голого короля. Потому что все прекрасно знают, что невозможно оценить в процентах рост производительности труда в теоретическом отделе. И тем не менее серьезные, занятые люди продолжают участвовать в позорной комедии.

Размышляя обо всем этом, я спросил как-то ученого секретаря нашего института: а что если мы просто перестанем отвечать на особо глупые бумаги, поступающие, скажем, из Ленинградского научного центра? Это очень сложно,— вздохнул он,— в конце концов нам могут задержать разрешение на выплату премий, финансирование по всяким другим статьям...

Значит, снова дело упирается в то, что кому-то невыгодна отмена заведомо бессмысленных планов, отчетов, указаний...

Но тогда единственный выход из положения — это объявить всему этому бой. Каждому на своем месте. Покончить с засильем бюрократов можно только путем упорного сопротивления этому насилию.

Конечно, в отношении такого сопротивления не может быть предложено единого рецепта. Просто призывать не отвечать ни на какие бумаги означало бы призывать к анархии. Однако значительная часть всех этих бумаг — очевидно бессмысленная, и вот в этом-то случае мне представляется важным не идти по легкому и привычному пути и отвечать отписками, а яростно сопротивляться появлению таких бумаг. Мне кажется, что, если раньше такое поведение было бы маниловщиной, сегодня — это прямой долг каждого честного человека.

Юрий
АНДРЕЕВ

СОН РАЗУМА

22 июня 1988 года «Литературная газета» опубликовала материал «Боль и надежда», принадлежащий перу Ю. Бондарева, чья крайне неловкая оговорка, заключающая это его выступление, в общем-то, не соответствует уровню его же ранней прозы. Итак, вот резюме данной статьи: «Главное — быть душеприказчиком своего народа».

Если мы вспомним, что, согласно В. Далю да и другим толкователям русского языка, душеприказчик — это исполнитель последней воли покойника, по поручению его самого или назначению властей, то испытаем чувство, близкое к шоку. Нет уж, пусть вечно живет и здравствует наш народ, и лучше уж пускай именно он выполняет по мере сил и возможностей функции распорядителя последней воли бедных, усопших детей своих!

Да будет эта нелепая оговорка воспринята в качестве много поясняющего эпиграфа и нижеследующему сюжету, связанному с «трактовкой» произведений литературы, который, в свою очередь, я прошу рассматривать как развернутый эпиграф, позволяющий понять существо искажений, связанных с проповедями общества «Память» и близких ей организаций.

1

В 1979 году в Ленинграде увидел свет сборник «О литературе для детей» (выпуск 23). Едва успел он появиться, как в «Комсомольской правде» была опубликована статья В. Липилина, настоятельно рекомендовавшая этот сборник работникам библиотек, методистам и учителям в качестве ценного пособия для эстетического воспитания детей.

Особенно положительно оценивал В. Липилин две статьи этого сборника: «Если сказку сломаешь» и «О народно-национальном в современной сказке для театра». Автором первой из этих статей был Юрий Селезнев, второй — Виталий Пархоменко.

Статьи эти являются беспрецедентными рекордсменами, абсолютными «душеприказчиками» в том плане, что в них перевернут и искажен смысл всех до единого произведений, взятых для анализа!

Вот как трактовал В. Пархоменко, например, пьесу-сказку Ю. Михайлова «Иван-солдат»: «Идею служения Отечеству здесь заменила та же сексуальная озабоченность, которой в пьесе одержима и „элита“. Братьев разделяет глухая вражда-соперничество из-за соседки Маруси, которая переходит из одних рук в другие...» (Справка: Маруся в сказке — с разрешения мамаши! — позволяет себе... с дальнего расстояния поговорить то с одним, то с другим из братьев.)

А вот «истолкование» еще одного эпизода: «*Князь.* Хорошо. Слушай, Иваныч. Фома, конечно, управится, непобедимых нет, сам знаешь. Но если поможешь, большая выгода тебе будет, я говорю».

«Итак,— пишет Пархоменко,— выступает, наконец, один из главных двигателей конфликта пьесы. Князь сулит ничуть не смутившемуся от такого предложения Ивану-солдату „выгоду“ в обмен на защиту им Родины». Далее следует гневная филиппика с историческими справками о том, что наемничества не было в нашей истории: «Так не перепутал ли Ю. Михайлов, кому какие традиции принадлежат?..».

(Справка: Иван у Ю. Михайлова от выгоды как раз *отказывается*, он в награду просит две меры живой воды, которой потом бескорыстно и оживляет убитых и Князя, и Фому, доставивших ему в жизни много зла.)

А вот и вывод неправедного трибунала: «Ю. Михайлов назвал свою пьесу „героической сказкой“. На самом же деле она пытается утверждать антигероическое как нравственную норму в отношениях человека и Родины, подменить понятие патриотического долга соображениями корысти, расчета и „выгоды“».

Какую «нравственную» норму и какие традиции пытался утверждать *такими-то* способами В. Пархоменко, какие понятия и во имя чего подменял он?

Пьесы Ю. Михайлова нет в массовых библиотеках, так как она напечатана ВААПом для театров на ротапринте. Очевидным в данном случае был расчет на то, что читатель подлога не заметит. Но спрашивается: мыслимо ли представить себе математика, который, выводя мелом на доске длинную формулу, записывал бы в нее *заведомо неверные* значения, рассчитывая лишь на то, что эти ошибки не будут замечены коллегами и его вывод, таким образом, будет принят наукой?

Но вот о чем нельзя не подумать далее: а на что же рассчитывал Ю. Селезнев, анализируя сказки, изданные стотысячными тиражами, доступные буквально всем? Вот как комментировал он, к примеру, сказку Б. Заходера «Отшельник и роза», которая бросилась критику в глаза своей «ночной философией» (цитируется дословно): «Вокруг одни враги, а друзья далеко — *„за семью морями* построили алый город“, да не добраться туда раку — вот и живет он в своей скорлупе... по ночам, да и то тихо-тихо».

Фантастические строчки!

Во-первых, закавыченных да еще с многозначительной разрядкой слов нет в сказке. Их *придумал* Селезнев. Воистину удивительное изобретение в технике литературного анализа!..

Во-вторых, в сказке вокруг рака полно родственников и приятелей («вокруг одни враги»...).

В-третьих, рак живет не «тихо-тихо» по ночам, но, наоборот, все время активно и повсеместно ищет и находит себе друга.

В-четвертых, сказка тому и посвящена, как вместе с актинией рак преодолевает все семь морей («да не добраться туда раку»...), испытывая множество приключений.

В-пятых, да при чем же здесь «ночная философия», если сказка кончается веселым хороводом под песню — с дельфином, морским коньком, стаей рыбок — и словами: «Ведь если ты нашел друга и поешь с ним веселую песню, значит, у тебя есть все, что нужно для полного счастья» (Б. Заходер. Сказки. М., «Детская литература», 1970, с. 58)?

Четыре строчки комментария, пять грубых искажений. Это ли не рекорд?..

«Душеприказчество» названных авторов проявилось также и в элементарном незнании того предмета, о котором они взялись судить. В. Пархоменко патетически негодует по поводу того, например, что в сказке-пьесе Э. Успенского и А. Макеева «традиционные антагонисты оказываются... в кровном родстве» (многоточие ужаса — в тексте В. Пархоменко) и Баба Яга приходится теткой Василисе Премудрой!.. Между тем русские сказочники именно так и трактовали их отношения: Василиса Премудрая — действительно племянница Бабы Яги, поскольку она дочь Чуда-Юда, родного брата Бабы Яги (см. «Русские народные сказки», записанные А. Афанасьевым, т. 2, № 225, М., 1957).

Ю. Селезнев был возмущен снижением образа «страшного Змея Горыныча, с которым, помнится, на равных бились самые сильные русские богатыри». Да полноте! Приходилось ли ему вообще читать русские сказки и былины, где Змей мог быть и страшным, и жалким, и трусливым? А в былине «Добрыня и Маринка» Змей, незадачливый возлюбленный Маринки, убегает от Добрыни, и вовсе оставляя на пути вещественные следы своего панического состояния (см. сб. Кирши Данилова).

Что же касается «Серой звездочки», центральным добрым персонажем которой является жаба, то Ю. Селезнев учил: «Безобразное в сказке никогда не было

носителем добра. Добро, по внутренней логике мира, подлинной сказки всегда связано с красотой».

Вот так-то! Оказывается, и Царевна-лягушка в русских сказках, и Гадкий утенок у Андерсена, и Конек-Горбунок у Ершова, и Чудище безобразное в «Аленьком цветочке» Аксакова были не безобразными, а, как писал Ю. Селезнев, «вынуждено одеты в безобразное». Ну и софизм! А может быть, душа тех, кто сталкивался с ними в сказках, как раз и проверялась на способности отличать внутреннюю красоту от внешнего безобразия этих носителей подлинного добра? И выходит, таким образом, что народная мудрость, что мудрость сказочников куда глубже плоских прописей, навязываемых сказке плохо знающими предмет «душеприказчиками».

Ю. Селезнев утверждал, что жаба не имеет морального права быть положительным персонажем детской сказки, не ведая того, что в тысячелетних сказках многих народов именно она является воплощением мудрости и доброты... А, впрочем, почему в таком случае разрешено героем сказки быть холодной и скользкой рыбе? И не пора ли объяснить А. С. Пушкину всю недопустимость его переделки из немецкого источника в гениальную «Сказку о золотой рыбке»? И вообще, зайцы — это грызуны, волки — сухопутные хищники, а всякие там крокодилы Гены — хищники водоплавающие, как можно терпеть их в сказках?

Впрочем, Волка, Зайца и Крокодила Гену (как только Чебурашку — существо подозрительно-неведомого происхождения — вабыл!) истреблял на страницах своей статьи уже В. Пархоменко.

Антинаучные кульбиты и эстетическая глухота — это вопросы профессиональной подготовки. Но вот когда В. Пархоменко пытался навязать писателям свои убогие представления о «русском» духе на основании похвал безвольному трусоватому Ивану в его отношениях с Фифулей и Мнекалкой (неужто неясно, что это стиль «ля-рюсс» — из псевдонародных помещичьих комедий XVIII века?). Когда Ю. Селезнев утверждал, что наивный, но прелестный образ «народного счастья» — это молочная река в кисельных берегах, то здесь просматривалось не только полное отсутствие чутья к народной иронии, к юмору вообще, но к нечто худшее: глубокое непонимание этим «душеприказчиком» самой сути идеалов великого народа, который сражался на Чудском озере с псами-рыцарями, бился на Куликовом поле, создавал могучее государство, осваивал безмерные просторы нашей земли,— не ради бездеятельного блаженства!

Русская народная сказка относится к этому «прелестному образу народного

счастья» со смехом: то преследователь ест берега кисельные и пьет реку молочную, пока не лопается, то этот образ включается в картину того прошлого, когда по полям летали жареные куропатки и жил-был царь по имени Горох, а то и вовсе оказывается, что реки наполнены пивом, медом и вином, и князь оставляет на их берегах все свое войско...

Не зная истории родной культуры, как можно судить о «русском духе»?

Кстати говоря, почему В. Пархоменко и Ю. Селезнев вели себя так, будто, кроме былин и волшебных сказок, в нашей отечественной истории не существует огромного множества сказок бытовых, авантюрных, сатирических, шутейных, пародийных, которые напрочь чужды патетики? Если бы им был ведом этот мощный пласт, вряд ли взялись они защищать выбитый зуб Соловья-разбойника...

2

Но, оказывается, подобная «методология» отнюдь не редкость и для целого течения других «душеприказчиков». Существует лишь свое «нра — не нра», а все остальное изгибается ими так или иначе в зависимости от «ндрава», но не в связи с истинным положением вещей.

Двинемся, однако, далее по маршруту, все более напоминающему боевую тропу, Ю. Селезнева и В. Пархоменко.

«В конце 50-х — начале 60-х годов среди городской молодежи получило распространение самодеятельное песенное творчество,— пишет П. С. Выходцев.— Это были в основном песенки, приспособленные к вечерам отдыха, туристическим походам молодежи, жизни изыскательских отрядов и тому подобному (они и порождены были этой средой). Среди них встречались и серьезные по тематике, и более или менее профессионально написанные, но в массе своей они не поднимались на уровень искусства. Однако некоторые критики поспешили объявить их народным творчеством нашей эпохи».

Оставляю без внимания выпад, который следует далее в мой адрес. Но до чего удручает и незнание, и непонимание сути предмета: «песенки, приспособленные к вечерам отдыха, туристическим походам молодежи...». Можно не принимать песен Б. Окуджавы, А. Галича, В. Высоцкого, например, но сводить их означенному времяпрепровождению — просто непрофессионально. А ведь именно эти авторы, бесконечно далекие от «вечеров отдыха»,— в сердцевине мощного песенного течения, охватившего сотни тысяч молодых современников. Не знать, что огромная лавина песен (а том числе и студенческих, и туристических, и геологических, и так далее) возникла как острая общественная реакция на *отсутствие* песен, выражающих *новое* миропонимание человека после XX съезда КПСС, на новый этап новой народной жизни в целом,— возможен ли подобный профессиональный уровень для специалиста, взявшегося говорить о народности?.. Для течения «душеприказчиков» не только возможен, но является попросту определяющим, в чем мы еще убедимся.

«Каковы результаты такого „народного“ творчества, можно судить по созданному этими „бардами“ под руководством Ю. Андреева сборнику „Круг“ (Л., 1986), который воспринимается как соревнование с бульварной литературой Запада. ...Духовную пустоту и эстетическое графоманство, игру в искусство и жизнь, вызывающую антигражданственность и даже «демонстративное бесстыдство», составляющее внутреннюю идею сборника, «варьируемую на все лады — от эстетизации процесса физической любви в его „законных“ формах до сексуальных извращений в виде „комплекса Электры“ и „Эдипа“, весьма убедительно, я бы сказал, блистательно, вскрыл критик Владимир Васильев». (Информация к размышлению: барды к созданию „Круга“ отношения не имели.)

Думаю, следовало бы дать какому-либо студенту специальную тему для дипломного сочинения: «Виды и разновидности лжи в сочинении Владимира Васильева „Среди миражей и призраков“ («Наш современник», 1986, № 8)». Означенное сочинение несет подзаголовок «Общие размышления по частному поводу». Полагаю, что в подобном обобщающем аспекте статья В. Васильева может стать предметом даже диссертационной работы, ибо ложь как средство достижения цели выступает в ней в качестве внутренне завершенной методологии.

Особой, весьма благодарной темой для будущего диссертанта станет сведение В. Васильевым произведений, порожденных не самой жизнью, а художественными ассоциациями, к жанру китча: очевидно, придется вспомнить в этой связи «Дон Кихота», пародирующего рыцарские романы, и многие рапсодии Листа, по-своему трактующие музыкальные темы других композиторов, и огромный пласт живописи, осмысляющей библейские и евангельские легенды, и литературу, содержанием которой является психологический анализ воздействия на человека произведений искусства (скажем, незабываемый «Портрет» Н. Гоголя или рассказ Г. Успенского «Выпрямила» — о воздействии на смятую, поникшую душу человека статуи Венеры Милосской)...

Трудности будущей диссертации возрастут особенно там, где соискателю придется решать, что хуже: ложь по незнанию или ложь от избытка сверхзнания, от умения читать в душах, видеть даже то, чего в них нет. И уж если говорить об абсолюте, о приближении к тем рекордам предшествующих авторов, о которых речь шла несколько раньше, то В. Васильев достигает своей сияющей вершины, анализируя повесть В. Аксенова «Понедельник, 13 сентября».

Но здесь в диссертации мы выходим на главу II «Ложь политическая». Да, конечно, по-прежнему все базируется на передергиваниях, но тут уже более отчетливо, чем прежде, начинает звучать лейтмотив всей статьи. Вчитаемся, такого лет сорок уже не публиковалось в отечественной печати: «Посреди деревни возвышается холм, а на холме — дорожный участок (намек на общество и его социальную структуру). Главное лицо произведения — поэт, рифмующий «здря» и «ноздря», и, следовательно, переделывающий жизнь по законам красоты; он работает на тракторе с грейдером на прицепе и таким образом пробивает дорогу в светлое будущее. Ведомый им грейдерист, воплощающий народ, напивается до того, что его необходимо привязывать к рулевому колесу и сиденью. Пути они нового не торят, а то и дело чистят старый, бессмысленно гоняя технику взад и вперед, покуда не срываются с нею в заболоченную реку» (с. 189).

Перед нами воистину удивительная трактовка! Полный трагического подтекста рассказ о горестной судьбе бывшего ссыльного Михаила Нордета и неприглядной жизни глухого сибирского села в тупые годы общественного застоя «анализируется» не просто ернически и глумливо, подобно приплясываниям на похоронах, но и самозабвенно-доносительски: «Ату их, ату! Они намекают на социальную структуру общества!..».

И для того, чтобы покрыть все эти логические заплаты и дыры, на величественный монумент лжи набрасывается полотнище с суммирующим заключением: «Итак, обобщая изложенное, должен сказать следующее: авторы „Круга“ под видом исканий молодых прозаиков и поэтов изготовляют в своей „мастерской“ при Ленинградском отделении Союза писателей СССР изделия, которые не могут пользоваться спросом у нашего народа (у Вышинского, что ли, списывал? — *Ю. А.*) и, следовательно, работают вхолостую, не оправдывая народных затрат, вложенных в дело, и пренебрегая доверием общества в групповых, эгоистических интересах и целях. Что же это за изделия? В области философии — субъективный идеализм (действительность есть сумма моих ощущений); в истории — энергетический биологизм (развитие жизни как смена чувственных влечений); в политике — космополитизм (реакционная буржуазная идеология, проповедующая безразличие к родине, своему народу и его национальной культуре); в этике — гедонизм в форме неограниченного эгоизма; в эстетике — снобизм, декаданс, „салонная культура“» (с. 189).

Надо сказать, что статью «Среди миражей и призраков» В. Васильев опубликовал в своем сборнике «Достоинство критики» (М., «Современник», 1988). У рецензента этой книги приведенная цитата вызвала оторопь: «Прочитав этот длинный список отнюдь не „литературных“ обвинений в адрес авторов, по сути, впервые вышедших к своему читателю, невольно думаешь: слава богу, что на дворе 1988 год, а не 38-й в не 48-й! Специалисту, знающему историю советской литературы этих периодов, слишком знакомыми покажутся и стиль, и метод критики В. Васильева» (П. Басинский. Достоинство критики. «Вопросы литературы», 1988, № 9, с. 249—250).

Финал, пик, высшая нота арии, вдохновенно исполненной Владимиром Васильевым, находится даже не в доносительном списке, которым мы только что восхитились, но в приведении характеристики всех авторов «Круга» к единому знаменателю — к личности Смердякова. Мы с особым удовлетворением обращаем внимание на *историзм* его параллелей: с одной стороны, грандиозный роман XIX века «Братья Карамазовы» с изобличением всего содомского в человеке и человечестве и битвой дьявола с богом за сердца людей во всей подлунной, с другой — великолепно им препарированные тексты трех десятков современных литераторов, практически впервые выходящих на встречу с читателем!..

Итак, что характеризует тяготения как Смердякова, так и «Созерцателя», написанного Крамским (на него ссылается Достоевский, а уж Васильев, в свою очередь, на него), так и авторов «Круга»: «Впечатления же эти ему дороги, и он наверно их копит, неприметно и даже не сознавая,— для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно» (с. 190).

Не правда ли, вспоминается методология Ю. Селезнева, который, «анализируя» сказку «Отшельник и роза», *придумал*, напомню, слова о друзьях, которые «за семью морями построили алый город», и вспоминается В. Пархоменко, который возгласил тезис: «„Наши“ и „чужие“, „мы“ и „они“. Социальная психология говорит, что с этого начинается национальное сознание» («Детская литература», вып. 23, с. 36), и с предельным извращением фактов и безвкусием сам же в своей статье его реализовал.

Да, в мире существуют культура и антикультура. И если вы бьетесь за здоровье духовной жизни своей нации и всего человечества, то извольте выдвигать аргументы, доказывать свое кредо и доходить от истоков до устья исследуемого явления, но не бранитесь, не сейте ложь и оскорбления, которые могут с удвоенной силой запущенного бумеранга вернуться к вам же!..

3

Исходная узость, урезанность, поверхностность представлений в сочетании со страстным, фанатическим стремлением утвердить свою кургузость как правило порождает ложь — в качестве органического и скрепляющего элемента всех построений подобного рода. Сразу приведу пример обобщающего характера.

Всем памятна, очевидно, статья Нины Андреевой в «Советской России» от 13 марта 1988 года «Не могу поступаться принципами», автор которой, находясь в принципиальном восторге, утверждал, что даже Черчилль стоял по стойке «смирно» в присутствии Сталина, о чем он и писал-де в своих мемуарах.

«Правда» в редакционной статье от 6 апреля уже сообщила, что цитируемые мемуары принадлежали не Черчиллю, а второстепенному троцкистскому деятелю. Единичная ошибка статьи? О, нет! В том же марте того же года в журнале «Огонек» № 11 появилось письмо проректора МФТИ М. Т. Новикова, где указывалось, что «вольно или невольно вытягивались по стойке „смирно" даже такие руководители великих государств, как Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль, держа руки „по швам"» (и смех, и грех: перенесший полиомиелит Рузвельт вытягивался по струнке в своей каталке? А может быть, судорожно выбирался из нее, повстречав Иосифа Виссарионовича?..).

Лгал «отец народов», лгут его присные, принципиально придерживаются данной «методологии» те, кого истинное освещение вещей не устраивает. И думается мне, прежде чем попытаться выяснить, кому же в конечном счете нужна и выгодна ложь как принцип, следует в целях облегчения поисков рассмотреть эстетические искажения и неправду в филологии в качестве своего рода индикатора, буйка в потоке общественных представлений. Филологические споры, в конце концов, бог с ними,— это драчки в узком кругу посвященных (или мнящих себя таковыми). Но коль скоро на транспаранте, поднятом в Румянцевском саду летом 1988 году на массовом митинге общества «Память», было провозглашено «Привет Нине Андреевой! Ура!», столь скоро мы уверенно можем полагать, что методику достижения цели любыми средствами исповедуют у нас не один и не два человека.

Можно уже составлять целую библиографию работ, которые посвящены множественным и грубым фактическим ошибкам, содержащимся в громкокипящих статьях и выступлениях С. Куняева, но для него все вежливые попреки — не более, чем божья роса, от которой он даже не утирает глаза, агрессивно продолжая сокрушать всех неугодных ему. Честность подобного рода в списке его жизненных ценностей не значится. Ценностью является то восстание «новой, тайно вызревавшей молодой силы против... укоренившейся на русских просторах государственности иноземной», которое началось с Куликовской битвы (см. его статью «Ради жизни на земле» в книге «Огонь, мерцающий в сосуде», М., 1987) и длится до сих пор. Ценностью, по Куняеву, является такое генетически четкое и жесткое родство по крови, которое способно выявить и разоблачить даже тех сородичей, которые полагают, что иноземцы и иноверцы не являются смертельной угрозой для их отечества.

Любопытно, что для С. Куняева, как и для В. Васильева, разного рода религиозные и нравственные поиски С. Есенина — неприемлемы, ибо не укладываются в жесткие нормы чуждого колебаний, непокорного (по явной аналогии чуть не сказал: нордического) характера. Вот как это звучит у С. Куняева: «Если бы мы могли мыслить и чувствовать, как Есенин — мы бы не вкладывали в слово „звериный" неприятный нам оттенок. Тем более, что исторические события последних десятилетий убедили нас, что человек-зверь не так страшен, как человек-машина». (Критик А. Архангельский в связи с этим справедливо, на мой взгляд, задает вопрос: «Почему бы нам не предпочесть „человека-человека"?!»)

Итак, «человек-зверь» (а почему бы не сказать проще: «белокурая бестия»?) предпочтительней, чем сентиментальные меланхолики и расчетливые дельцы. И сам С. Куняев стремится жить так, как исповедует: в горах, куда он забирается, он ясно ощущает «связь синего холода и воздушной свежести со своей судьбой, с присутствием в душе и теле вечномолодой силы. Только боги и звери достойны пить эту воду».

«Вечномолодая сила», направленная, как мы помним, против «укоренившейся на русских просторах государственности иноземной», кипит на страницах публицистики С. Куняева. До мелочей ли тут, помилуйте, во время подобного «божественно-звериного» клокотания, во время битвы против чуждых по духу и крови персонажей, ловко прикидывающихся соотечественниками? Пускай они до времени маскируются под поэтов гражданской войны вроде Э. Багрицкого, именуются поэтами-фронтовиками, павшими на Великой Отечественной, прячутся под личинами «бардов» наподобие Б. Окуджавы или В. Высоцкого, выступают под фальшиво-благообразным обликом широко признанных ветеранов советской поэзии,— их местечково-злобный, маскультовски-авангардистский дух всеми доступными и недоступными выражению средствами будет изобличен и изничтожен! Правда, во время этого чистопородного крестового похода как от взрыва прочь летят не только частные факты, но камни из самого фундамента российской самобытности. Когда князь Владимир Святославович предпринял в конце X века первую попытку создания единой Руси на огромных просторах от Карпат до Волги, от Балтики до Черного моря, на территории этой жили самые разные в этническом отношении племена. Летописец так сообщает о веротерпимости основателя этой великой и многонациональной славянской империи: «И нача княжити Володимер в Киеве един, и постави кумиры на холму вне двора теремного». Что же это были за «кумиры»? Как пишет Д. С. Лихачев, это были: Перуя (финно-угорский Перкун), Хорс (божество тюркских племен), Дажбог и Стрибог (славянские боги), Симарг и Мокошь (божества племени мокша). Д. С. Лихачев сообщает: «Свидетельствует то, что после создания пантеона богов в Киеве он послал своего дядю Добрыню в Новгород и тот „постави кумира над рекою Волховом, и жряху ему людье ноугородьстии яко богу". Как всегда в русской истории, Владимир отдал предпочтение чужому племени — племени финно-угорскому. Этим главным кумиром в Новгороде, который поставил Добрыня, был кумир финского Перкуна, хотя, по всей видимости, наиболее распространен в Новгороде был культ славянского бога Велеса, или иначе Волоса».

Ну, ладно, и Владимир Красное Солнышко, и Добрыня Никитич — все это было очень давно, если вообще было, растворилось в сказки и легенды, и нам, ведущим и лелеющим свою зверо-кровь от более поздней поры — от Куликовской битвы, они не указ. Ну, а как же быть с всечеловечностью русской нации, с ее законом всемирной отзывчивости, обозначенным Ф. Достоевским в пушкинской речи, ведь она-то не летописный мираж, не миф, придуманный невесть кем для отвода наших бдительных глаз, она-то типографским способом отпечатана? А очень просто: речь — отменить! Дело в том, что, по С. Куняеву, в нашем современном обществе все без исключения должно быть обращено на борьбу с «враждебной нашим идеям силой, на которую не распространяется наша способность к „всемирной отзывчивости"». Допустим, что маскульт весь, целиком плох, но ведь Достоевский-то уже не услышит и оспорить не сможет оного рескрипта С. Куняева с наложением ограничений на его мысль...

С. Куняев не одинок в своей едва ли не мазохистской тяге к скандалам, очень близок ему в этом свойстве и М. Любомудров. Сразу хочу оговориться: упорство и устойчивость в защите своих взглядов, на мой взгляд, есть качество достойное, даже единственно возможное для общественного (и литературного) деятеля. При одном только условии: если его позиция опирается на факты, а не на их переиначивание, не на изымание их из контекста, не на предвзятую вкусовщину.

В жилах Любомудрова, безусловно, клокочет та же вечномолодая сила, неуклонно нацеленная на клубление скандалов вокруг имени ее носителя и направленная против иноземной государственности, вцепившейся в русские просторы. Из года в год, как едко писал в своей статье «Во имя истины» народный артист СССР М. Ульянов, М. Любомудров составляет «проскрипционные списки „иноверцев" и их покровителей»: это А. Эфрос, Г. Товстоногов, О. Ефремов, А. Гельман, М. Шатров, М. Рощин, М. Захаров, Л. Додин, Л. Петрушевская, А. Галин, В. Арро, М. Розовский, Вс. Мейерхольд, А. Таиров.

Здесь следует расставить очень четкие акценты, жестко размежевать совершенно разные понятия, которые, однако, слились воедино, срослись, как сиамские близнецы. Подобные «проскрипционные списки», которые со сладострастием составляет не только М. Любомудров, но и практически все ревнители ограниченного подхода к российской литературе, это суть *антисемитские* списки. В головах этих деятелей, совершенно органично для их кургузого кругозора, для их субъективистски-зауженной методологии, происходит отождествление различных понятий: «антисионизм» и «антисемитизм».

Продолжу, однако, цитату из гневной статьи М. Ульянова, посвященной М. Любомудрову: «Он добрался до Вс. Мейерхольда и А. Таирова, их предал анафеме, а заодно и восславил тот порядок вещей, который сформировался в 30-е годы... Но что бы было с нашим театром, если бы не было в нем этих не русских режиссеров? Немца Мейерхольда, еврея Таирова, полурусского, полуармянина Вахтангова? И что бы сделалось с самим Художественным театром, если бы не было в нем полурусского, полуармянина Немировича-Данченко? И куда, спрашивается, девать французскую бабку самого Станиславского? Да разве в цивилизованном государстве важно, кто какой национальности? В общем-то, это же дикость!».

Легко можно продолжить эти рассуждения председателя Союза театральных деятелей России цепью прекрасных примеров из отечественной литературы: ведь в жаркий многоцветный костер русского советского искусства свои прекрасные отблески света внесли башкирка Сейфуллина, армянка Шагинян, украинец Макаренко, еврей Маршак — и сколько еще других духовно высоких, талантливых людей!

Впрочем, я несколько упреждаю события, обращаясь сразу к ущербности позиции и минуя типичнейшее для течения «вечномолодой силы» пренебрежение к фактической стороне дела, антиисторизм, несомненный талант к изыманию цитат из контекста и так далее. Так, например, в статье «Режиссура в идейной борьбе 1930-х годов» М. Любомудров резко отрицательно отнесся к экспериментам в искусстве (к тем самым, которые вызвали в 30-е же годы публикации, подобные уничижительным редакционным статьям типа «Сумбур вместо музыки»). Одобрив эти зубодробительные (мягко говоря) установки сталинского времени, М. Любомудров сообщил: «По духу своему выступления партийной печати продолжали борьбу, которую начинал еще В. И. Ленин, когда обличал „нелепейшее кривлянье“ (Сб. «Из истории русской советской режиссуры 1930-х годов», Л., 1979, с. 18). Хорошо сказано!.. Ленин, разумеется, не только не выступал с установками на разгром, например, будущей оперы будущего великого композитора Д. Шостаковича (кстати: фамилия-то!..), но (судя по обрывку из его цитаты, приведенной М. Любомудровым) объяснял 6 мая 1919 года истоки крайностей пролеткультовского искусства, простительные на первых порах, которые не могут быть поставлены в вину широкому движению, но из которых надо вылезти (см. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, с. 329—330). И вот: В. И. Ленин на глазах изумленной публики превращается в этой и другой статьях М. Любомудрова уже в беспощадного гонителя всяческих «модернистских извращений» в искусстве, то есть... в Сталина. А всего-то и надо для этого: 1) взять отрывок из мысли великого человека, 2) вырвать его из исторического контекста, 3) дать в произвольных извлечениях, 4) приписать ему собственное направление мыслей, лучше — прямо ему противоположное...

Целью моей является не создание полного и систематического каталога всех случаев сознательно лживого обращения с трактуемыми произведениями, но попытка постижения нынешних истоков данной литературной методологии. Назвать ее новаторской, конечно же, нельзя: в сталинские времена (начиная с трудов корифея всех наук) литературный закон тоже был, как дышло, и не только в том смысле, что его можно было вертеть куда угодно, но и в том, чтобы гвоздить им по неугодным головам. Так то — в культовые времена, и ясно, с какой целью, отцу народов и его присным нужно было тогда натравливать один народ на другой, репрессировать целые нации, проводить процесс разоблачения то критиков-космополитов, то врачей-вредителей. Но вот чем движимые и кем побуждаемые иные из современных литераторов под видом защиты русской культуры сейчас гонят ту же сталинскую волну, глубоко антирусскую по самой сути своей? Потому антирусскую, что наш великий и могучий народ изначально не только терпим был к разным верам и этническим группам, но и вбирал их в себя, и ассимилировал и их, и культуру, создаваемую ими, себе во славу. Полагаю, что эта его душевная широта была даже одной из важнейших причин принятия им десять веков тому назад православия как религии, чуждой злобы. Произнесено ведь апостолом Павлом еще в первые десятилетия существования христианства в Галатии, малоазийской области, весьма пестрой в национальном и сословном отношении: «Елицы бо во Христа креститеся, во Христа облекостеси. Несть иудей, ни еллин, несть раб, ни свобод, несть мужеский пол, ни женский: вси бо вы едино есте во Христе Иисусе». Непохоже, что иные из нынешних «православных» литературоведов «едино есте во Христе Иисусе», что для них «несть иудей, ни еллин». Впрочем, и православие для них — фиговый листок, не более, надеваемый по случаю. Спесь, чувство абстрактного превосходства над «иудеями» и «еллинами» всех модификаций встречаются подчас без какого-либо минимального прикрытия. «Среди немцев, например, можно встретить немало людей, обладающих чувством юмора,— сообщает Н. Утехин,— но будем ли мы вправе говорить о склонности к юмору или остроумии немцев как о свойстве их национально-психологического склада в целом? Безусловно, нет» (Н. Утехин. Черты неповторимого. М., «Современник», 1980, с. 114). Трудно сказать, чего в этом «безусловно, нет» больше: незнания немецкого искусства и литературы, быта немецкого народа или воистину расового самодовольства! Но читаем дальше: «Среди итальянцев немало людей, умеющих стойко переносить несчастья, оставаться сдержанными в трагических ситуациях. Но вряд ли это умение характерно для итальянской нации в целом» (там же). Японцев Н. Утехин одобряет — за умение говорить о своем горе с улыбкой, но французов порицает за тщеславие и меркантилизм и так далее. Причем у него есть алиби: соответствующая цитата о французских буржуа из Бальзака!.. (Спрашивается: а если бы французы оценивали русский национальный характер, основываясь на «Истории города Глупова»?..)

И хотя в своей книге Н. Утехин сообщает, что великим достоинством русской литературы было то, что она сформировалась под воздействием государства и идеологии православной церкви, думается, что он лично идеями апостола Павла о недопустимости национальной розни очень уж сильно задет не был.

4

Методология, применявшаяся В. И. Лениным, является тем безошибочным инструментом, который позволяет определить в любой ситуации истинность постановки проблемы национального. Методология эта заключается в следующем: исследователь, минуя запутанные хитросплетения в частных вопросах и отбрасывая тенета спекулятивных рассуждений, сразу задается вопросом: кому выгодно? Неизменной в любых непростых ситуациях должна быть мысль политика, мысль художника, мысль критика: чьи интересы, в конечном счете, стоят за тем или иным конкретным писательским решением? И конкретно, возвращаясь к нашей теме: почему они лгут? Ради чего все эти (и многочисленное количество других) фальсификации? Какие ценности, более высокие, чем честность, чем честь ученого и литератора, вдохноаляют их?..

Раньше на этих страницах приводилось немало неблаговонных, скажем так, примеров, фактических передергиваний, литературных примеров тщеславного, неуважительного отношения к другим народам. Но вот прямые аналогии им из самой действительности: из практики общества «Память». Если вспомнить девиз обитателей джунглей, по Киплингу: «Ты и я — одной крови»,— то здесь он реализуется абсолютно, и мировоззрение, и «система» едины что у тех, что у этих.

Движение это зарождалось в 70-е годы под благородным лозунгом внимания к особенностям русской культуры, со святой целью возрождения русского духовного наследия — в архитектуре, музыке, поэзии, живописи. Но где сейчас культуртрегерская деятельность «Памяти»? Как черт от ладана, шарахнулись ее лидеры от предложения участвовать в восстановлении разрушающихся храмов. Все усилия сейчас сосредоточены на политике, на националистической пропаганде. Вот некоторые из программных документов, переданных активистами этого общества корреспонденту «Ленинградской правды» И. Смирнову. Из листовки «Обращение к соотечественникам»: «Настало время сделать выбор — зарыть, подобно страусу, голову в песок и продолжать движение в рабское стойло „строителей храма Соломона“ или, собрав силы, встать на пути сионизма, оторвать от себя сионистскую гадину, спасти и исцелить нашу израненную, поруганную и оскорбленную Мать — Россию...».

А вот что пишут две сторонницы «фронта», Спиридонова и Е. Глухова (письмо также предоставлено руководством «Памяти»): «„Память“считает коренной причиной известного широкомасштабного развала в разных областях нашей жизни сионизм, который давно подтачивает социалистические устои нашего общества своими коварными психологическими методами».

Хочу обратить внимание на воистину ключевые слова: сионизм — вот причина широкомасштабного развала в разных областях нашей жизни!.. И думается, какое ликование данная формула вызвала в тех бесконечно цинических чиновно-ведомственных кругах, в дотла коррумпированных кланах, которые, блюдя лишь свои корыстно-эгоистические интересы, уже привели нашу великую державу к трудному кризисному состоянию, что называется, «довели до ручки» и продолжают очень умно саботировать принципы и практику перестройки. Воистину «мед на сердце» для них такие-то «откровения». «Вызвала ликование», — написал я. А может быть, просто рождена там?..

Любопытно отметить, что активизация «Памяти» летом 1988 года совпала по времени с резкой активизацией событий в Азербайджане и Армении; она совершенно точно наложилась на период наиболее оголтелого пика антирусских, сепаратистских настроений со стороны националистических элементов в республиках Прибалтики. Ей-богу, впечатление такое, будто задергались, закривлялись удивительно похожие одна на другую марионетки, управляемые из-за темной ширмы умелыми и очень властолюбивыми руками. Корыстные интересы тех, кому свет гласности, кому перестройка — что нож острый, кто одновременно почувствовал, что незримая, но могущественная власть его клана закачалась, начал в разных республиках действовать удивительно сходным образом: разжигая национализм, за которым легко сокрыть социальные, имущественные, политические, экономические причины массовых движений. Пока я не говорю о психологии массы экзальтированных исполнителей, меня сейчас больше интересуют те вполне респектабельные манипуляторы и их «философы», которым это выгодно, кто страстно желает отвести народу глаза от истинного положения дел, от реальных причин того нелегкого, непростого положения, в котором мы, великая держава, очутились. Итак, несколько разрозненных цитат из разных источников.

Е. Гайдар и В. Ярошенко, «Нулевой цикл. К анализу механизма ведомственной экспансии»: «Изучая историю возникновения наших дорогостоящих инвестиционных проектов... не можешь не поражаться, насколько слабы их экономические обоснования, недостаточны аргументы, которыми оправдывались выделение миллиардов и сотен миллионов рублей, создание предприятий и целых отраслей, закупка комплектных заводов. Никого не удивляет, что нередко сначала принимается решение, а потом в полуфакультативном порядке оценивается его целесообразность. Причем оценить ее, как правило, надо срочно и однозначно: время не терпит, необходимо реализовывать принятые решения».

В этом анализе ведомственной вакханалии, которая обходится народу не в десятки — в сотни миллиардов рублей в год прямых потерь и убытков, партийные журналисты одну за другой приводят такие истории с нашим общенародным разорением, от каждой из которых можно лишиться сна надолго.

В. Толпыгин, А. Егурнев, «Что нам стоит дом построить?»: «Достаточно сказать, что того количества металла, который сегодня идет на изготовление сборных железобетонных конструкций для производственных зданий, вполне хватило бы, чтобы соорудить эти здания только из металла, не употребляя бетон. Иными словами, все затраты на производство и транспортировку компонентов бетона вместо металлических конструкций привело к тому, что ежегодно попусту страна расходует 40—45 миллионов тонн цемента, 90—100 миллионов кубометров щебня, 50 миллионов кубометров песка, 50 миллионов тонн угля, затрачивается труд свыше 5 миллионов человек в разных отраслях народного хозяйства, не говоря уже о том, что растут продолжительность и стоимость строительства».

Авторы сообщают, что, «по самым скромным расчетам, общий ущерб, причиненный бросовыми затратами и работами за истекшие тридцать лет в связи с „железобетонной" политикой в капитальном строительстве, достиг не менее 700 миллиардов рублей. Во столько же обошлась стране военная пора с сорок первого по сорок пятый годы».

Возникает вопрос: бережное сохранение обществом «Память» от критики и всяческих упоминаний тех деятелей, которые в одном только единственном ведомстве принесли нам убытки, равные многолетнему военному бедствию, это — кому на руку?

Вот такие удивительные протягиваются нити между ложью в невинных вроде филологических опусах и сокрытием истины в социальной действительности. Отводят глаза — в чьих интересах, ясно. А ведь я не стал приводить данных ни по Минводхозу, где люди, в том числе с прекрасными русскими фамилиями, в гигантских размерах планируют и осуществляют умерщвление родимой земли — во имя ведомственной логики и личного благополучия, ни о рвачестве ведомств, связанных с добычей нефти и газа, ни о строительстве великого БАМа — из никуда в никуда, ни о хищнической вырубке коренных российских лесов, ни об удручающей в прошлом политике станкостроения, ни о... Но, может быть, хватит? Может быть, понятен экономический и политический смысл деятельности тех дирижеров, которые вздымают до высших нот националистический вой?.. Нет, не случайно на митингах «Памяти» выставляют плакаты с приветствием Нине Андреевой, не случайно столь велик там авторитет «отца народов» — основателя административно-командной системы, которую — со всеми ее последствиями (в том числе с «твердой рукой») — они готовы защищать и отстаивать.

Сейчас я подхожу к самому, пожалуй, тягостному и почти необъяснимому социально-психологическому парадоксу. У представителей старшего поколения сохранился в памяти тост, поднятый отцом народов на празднике Победы в честь русского народа: за его ясный ум, стойкий характер и долготерпение. Вождь даже вроде бы немного удивлялся: другой народ давно бы сказал своему руководству в ответ на бедствия, обрушившиеся на него: «Подите вон»; русский же народ снес все безропотно, все вынес... Конечно, любопытно здесь заметить, что Ленин в качестве главенствующей национальной черты выдвинул свободолюбие русского народа, а Сталин — его долготерпение. И тот, и другой были правы, но объяснение кореянтся в том, что долготерпение-то в данном случае было основано на той вере в свободу и торжество революции, которая (вера) базировалась на завоеваниях Октября и энтузиазме, порожденном им вначале, а затем — на уверенной и циничной спекуляции на этом энтузиазме, на обманном использовании его в интересах мощного и самодовлеющего административно-командного аппарата. Но сейчас я веду речь вот о чем: жертвы и ущемления долготерпеливого русского народа действительно были громадны, что поборы, изымаемые властью неправедной с него, стойкого, были несоизмеримо, непропорционально больше, чем с других народов, что разорительная политика казарменного коммунизма, внедряемого сталинской системой, коснулась прежде всего русского народа. Что стоит хотя бы мучительное разорение исторического центра государства российского Нечерноземья!.. И вот, в таких-то тягостных условиях, беспамятные активисты «Памяти» приветствуют идеологов сталинизма и отводят обществу глаза от истинного виновника страданий и тягот русского народа! Воистину, сон разума!.. Вместо аналитического, беспощадного рассмотрения подобной социальной (антисоциальной!) политики «Память» и ее присные... лижут руку, перекрывающую подачу кислорода в Россию, и снова и снова отводят нам глаза от источников худого положения русских деревень и, естественно, городов. Видно, уж очень богатые у них «спонсоры», как ныне принято говорить, либо очень ущербные мозги. Либо и то, и другое, что вероятнее всего. Нарочно не придумаешь ситуации, более вредной для нашей многострадальной Родины!.. Переводят разговор снова и снова (в лучших традициях недоброго прошлого) на рельсы национальной ненависти. Сколько целых народов были облыжно обвинены и репрессированы при Сталине? Так в чем же с ним разница у нынешних деятелей «Памяти», которые готовы приговорить (нет: уже приговорили) евреев если не к физическому уничтожению, то к депортации из Союза? А почему? Да потому что теория тайного и всеобщего заговора инородцев и иноверцев, русофобов куда как удобна для того, чтобы ничего не менять по существу в главном — в обветшалой социальной структуре, разорительной для подавляющего большинства народа.

«Патриоты» всячески поддерживают и реанимируют миф о чуть ли не мистическом всемогуществе сионизма и, запугивая и отравляя жизнь людям еврейской национальности, гонят их подобно загонщикам в зарубежные сети именно сионистских организаций. Я уже не говорю о том, насколько в условиях научно-технического прогресса нашим заклятым врагам выгодна «утечка мозгов» из Советского Союза, но, с другой стороны, насколько легче живется недоучкам у нас, когда устраняется конкуренция сильных работников!.. Коль скоро в 70-е годы в два раза сократилось количество студентов-евреев в вузах, коль скоро эмигрировали десятки тысяч специалистов, у которых и в мыслях не было расставаться с Россией до возникновения трудностей с образованием и дискриминации в общественной жизни, насколько проще стало под солнцем тем лодырям, духовные предки которых рьяно раскулачивали в начале 30-х годов трудолюбивых работников, чтобы «не вылазили», да чтобы и в избы их влезть...

Международный сионизм сейчас, после Женевы, Рейкьявика, Вашингтона и Москвы, расколот и находится в состоянии острой конкурентной борьбы между двумя основными центрами: американским и израильским. Кризис переживает не только организация, но и вся его агрессивная идеология, порождаемая экспансионистским руководством Израиля: против бандитизма фашиствующего на арабских землях фюрера Кахане выступили практически все еврейские общины Америки. В этих условиях идеологи сионизма лихорадочно стремятся вернуть утраченные позиции — любыми путями раздувая миф о своем всесилии, всячески цепляясь за проявления у нас столь угодного сердцу антисемитизма.

Необходимо прямо и четко указать, что антисемитизм, характерный для «черной сотни», не является свойством широких масс русского народа. Черной сотне в России никогда не удавалось стать черной тысячей. Трудящиеся различных национальностей мирно уживались на просторах нашей страны — в этом извечная ее особенность.

Объективно, главное для «Памяти» — уберечь в незыблемости ту агрессивную старину, которая завела нас в глубокое болото застоя. Реальная мощь тех, кто способен разорять нас на финансовые величины, прямо сопоставимые с материальными потерями в годы войны, ох, как велика! Так что же мы, в «Памяти», этого не понимаем? Вовсе память потеряли? Нет, мы разумненько будем занимать положение уникальное и неуязвимое, выгодное дважды: и под высокой рукой сталинских наследников, и под щедрой рукой олигархов сионизма. А что? Алиби у нас абсолютное: и сионистов кроем, и бюрократов облаиваем, а простаков вокруг предостаточно, которым и невдомек, что все решает-то основной вопрос «кому выгодно...».

Конечно, прежде всего надо понимать опорный принцип, ибо конкретная его реализация может быть самой разнообразной. Представляется весьма убедительным, например, наблюдение критика М. Золотоносова. Он показал на ряде фактов передержки и подтасовки в работах М. Любомудрова и других авторов, опирающихся на «методологию», смысл которой — запугать читателя сионистским заговором, прослеживаемым-де в современных советских пьесах, и сделал вывод: «Кому такого рода критика необходима и жизненно полезна — так это чиновникам, занятым управлением культурой: наличие „вредного" и „опасного", того, что надо запрещать, оправдывает их волюнтаристские методы руководства и, в конечном счете, их существование в составе многочисленных „Управлений свободного времени" вообще, так как работать иначе большинство не может, попросту говоря, не знает как».

«Ленинградские социологи провели опрос руководящих работников культуры РСФСР. Картина получилась достаточно тревожной: 84 процента по-прежнему своей главной задачей считают контроль

за идейно-художественным уровнем репертуара» («Аргументы и факты», 1988, № 27).

Вот для этих-то 84 процентов «культуруправляющих» деятельность геростратов остро необходима, ибо помогает удерживаться на плаву. Отсюда взаимная поддержка. Вероятно, и по этой причине разрушительная методология не только существует, но в последнее время даже как-то окрепла, вышагнула вперед, выработала «инструментарий», «„пристреляла“ постоянные цели».

5

Кажется, ясно, кто́ заказывает эту музыку и с какой целью. Ясна и общественная роль «музыкантов», независимо даже от их субъективных побуждений. Но прежде чем попытаться дать характеристику их субъективным побуждениям, попробуем понять психологию тех, кто с готовностью пляшет под эту музыку,— пускаясь вприсядку по обрывкам плаката «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», брошенным под ноги.

«Ложь — религия рабов и хозяев»,— совершенно правильно возгласил еще в начале нашего века Максим Горький устами бомжа Сатина. Кто такие в данном случае «хозяева», враз, как по команде дернувшие за шнурок пушки национальной розни чуть ли не во всех регионах одновременно, нам совершенно ясно. И заветная их мечта о введении репрессивного правления в связи с повсеместной неустойчивостью тоже очевидна: неужели представители могущественной административно-командной системы и сопутствующей ей теневой экономики готовы смириться с демократизацией, с такой перестройкой государственной жизни, которая способна лишить их и безраздельной власти, и безразмерных благ?.. Но вот кто такие «рабы», которые с такой готовностью откликнулись на националистическую наживку? Кто те действительно искренние люди, которые, однако, не способны (да и не хотят) смотреть в корень, не желают видеть за национальной оболочкой ее социально-экономическую суть?.. Разумеется, мы вступаем здесь на путь сложный и практически не расчищенный нашей общественной наукой. Да, нам известны слова В. И. Ленина о разуме и предрассудках масс, но что-то не приходилось встречать очень уж конкретных разработок проблемы предрассудков, хотя в жизни-то каждый из нас встречается с ними сплошь да рядом. Но только ли встречается?.. В резкой и тревожной посмертной публикации раздумий Вл. Тендрякова «Люди и нелюди» («Дружба народов», 1989, № 2) прямо и недвусмысленно рассказано о высоких взлетах и омерзительных нравственных падениях толпы, которые лично наблюдал писатель и в которых ему довелось самому принять участие, о моментах собственного духовного счастья и постыдных личных поступков... Внутренний мир каждого из нас весьма зависит от нашего окружения, нравственный же климат окружения прямо зависит от душевного уровня каждого из нас. закономерности здесь чрезвычайно непросты, но ведь они есть на деле! Даже пора наступившей гласности еще не растревожила застывшую, нерасчлененную глыбу смерзшихся вопросов, столь ярко обозначенных Вл. Тендряковым.

Что тут сказать? Разве это не факт, что Гитлер был кумиром подавляющего большинства немецкого народа, живым божеством для обывателя? Обывателя — по инерции сказал я. Десятки миллионов обывателей в стране, традиционно отличавшейся высоким уровнем культуры и техники?.. Разве не факт, что культ Сталина вобрал в себя почитание сотен миллионов, что с его именем шли на расстрел выдающиеся военачальники, что почитание Сталина сохраняют, невзирая ни на какие ужасные факты не только оголтелые консерваторы, но и те достойные люди, которые проливали кровь в защиту своего отечества, разве не факт, что кровавые репрессии 30-х годов, как и насилья в год «великого перелома», осуществлялись не единицами, но тысячами, если не сотнями тысяч ретивых исполнителей?.. Да, народ — творец истории, но каждый раз надо учитывать, какой именно истории.

Этот долгий подход понадобился в данном случае для короткого вывода: во всех случаях следует добиваться полной и объективной правды, особенно тогда, когда речь идет о столь ответственных категориях, как народная психология, которая может быть и психологией толпы, и психологией подвижников.

Да, казачество, к примеру, попало под левацкие загибы и жестокие репрессии комиссаров, но разве именно казачество не было на практике боевой силой контрреволюции, чьи плети и сабельные удары испытали на себе участники сотен и тысяч разогнанных ими революционных демонстраций по всей Руси? Не проще ли, однако, все эксцессы «расказачивания» свалить на лиц с еврейскими фамилиями, как будто их приказы были бы чем-то бо́льшим, нежели измаранные бумажки, если бы не было тысяч рьяных, лично убежденных в своей правоте их исполнителей? Можно ли не учитывать психологии Михаила Кошевого, с семьей которого жестоко обошлись белоказаки, когда он получил в руки власть над ними?..

Разумеется, безработные в немецких пивных не могли не ощущать последствий военного поражения своей страны на своих же боках: нищета, недоедание, унизительные очереди за благотворительным супом, катастрофическая инфляция... С каким пиететом произносим мы слово «рабочий». Да, рабочие Гамбурга составили основу тельмановской компартии. Но рабочие, а не только лавочники другого крупного города — Мюнхена составили основу штурмовых отрядов Гитлера. Почему? Да потому что им, не мудрствуя лукаво, не замутняя мозги многосложными объяснениями многосложной действительности, коротко и ясно объяснили: во всех ваших бедах виновны торгаши и плутократы с такими-то вот фамилиями, с такой-то вот формой носа и такой-то мастью волос. Наглядно, доступно, эмоционально впечатляет! И до чего же хорошо сильно битому жизнью человеку узнать, что он — сверхчеловек, что стоит ему сплотиться с собратьями по крови, как ему сегодня же будет принадлежать Германия, а завтра — весь мир!.. Много пришлось им пролить крови — сначала чужой, затем своей, чтобы познать реальные причинно-следственные связи в этом мире, чтобы понять (конечно, кто хотел понять), в какие игры и ради чьих интересов они были втянуты. Да, они стали после 1945 года разумны, но разум ли вел эти массы в 20-е годы? Или предрассудок?

И вот теперь подхожу я к той удручающей рефлекторной дуге, которая парадоксально связывает в нашей великой и многострадальной стране рабов и хозяев воедино. Административно-хозяйственная система — вот основной источник бед и отставаний в нашей стране. Да, была ужасная война, но мы в отличие от Японии и Германии вышли из нее победителями. Как же так случилось, что с тех пор победителями в мирной гонке за уровнем развития экономики и за уровнем жизни стали они, а не мы? Как случилось, что буквально каждое из крупных отечественных ведомств наносит нашему народу потери и убытки, эквивалентные убыткам в годы ужасной войны 1941—1945 годов, а все вместе эти министерства-монополисты и пальцем о палец не желают ударить насчет вечной для них обузы, так называемого соцкультбыта?.. И вот: позорное продовольственное снабжение, постыдный ширпотреб (да и того недостает), унылые «хрущебы» в неразличимых микрорайонах, ничтожная по мировым стандартам зарплата и почти никаких возможностей для человека достойно зарабатывать, чтобы мужчина мог содержать семью и уверенно чувствовать себя ее кормильцем и защитником, а к тому же — постоянный, выматывающий душу кавардак на производстве... В чем дело? Почему так? Разве не забродят недоуменные мысли в очереди за пивом или в «соображении на троих»?

А ответ очень прост: ты-то сам — супер, порода твоя и история твоя — самая-самая, и русское крепостничество было самым лучшим, и культура-то наша была единой-неделимой, и цари наши были самые святые, даже лень обломовская и та была у нас святой, и даже белогвардейцы наши были самыми-самыми, и Сталин-то был самый-самый (встречались, правда, кое-какие недостатки и у него, главным из которых было его покорное подчинение еврею Кагановичу). Но вот захватили нашу державу такие-то иноверцы с такими-то фамилиями, такими-то вот носами и такой-то вот мастью волос, разрушили храмы, провели коллективизацию и репрессии, а уж коли ты все понял, дальше соображай сам... И соображают — на радость тем, кто довел их и всю страну до подобного состояния,— и «спасают Россию».

Вот в какие далекие дали завела нас сугубо теоретическая проблема: является ли Василиса Премудрая родственницей Бабы Яги? Да, является, хотя столь разны и розны их нравственные устои. И в этой связи напоследок зададимся вопросом о тайнах психологии тех современных общественных деятелей, которые выступают в качестве «душеприказчиков» русского народа.

Полагаю, нельзя, однако, чохом загонять всех «душеприказчиков» под тягостные для развитого человечества определения «шовинисты» или «националисты» — при том, что упрощенческое решение сложнейшей ситуации — да — является общей платформой для всех, что все односторонние писания объективно служат дымовой завесой для сокрытия реальных причин наших бед и, следовательно, препятствуют их устранению. На мой взгляд, иные из действительно честных, совестливых русских писателей, либо душевно угнетенные бедствиями Иванов Африкановичей, либо потрясенные разгулом всевозможных архароцев, либо искренне возмущенные утратой законов человечности — в тайге и на реках, в городах и весях, в высшей степени талантливо и правдиво поведали о бедствиях, выпавших на долю многострадального русского народа. Вместе с тем философами они оказались не то что слабыми, а просто никакими — на уровне бытового сознания в слабейших его проявлениях, не способного, например, смириться с полной правдой о преступлениях генералиссимуса; бытового сознания, боязливо оберегающего себя от решительного очистительного катарсиса. Куда как проще и безболезненней для сохранения внутренней устойчивости найти истоки бед в каком-либо бездушном Гоше Герцеве, явном «инородце», либо заявить на телевидении, выступая в Западном Берлине, что народ и население России суть категории разные, либо привлечь внима-

ние общества к тому, что хороших жен у положительных русских людей отбивают морально грязные субъекты с нерусскими фамилиями, и так далее и тому подобное.

Смею думать, что время очень быстро отвеет плевелы от злаков в их творчестве, что их способность давать объективно глубокие картины действительности много важнее для читателей, чем подобные «откровения».

Совсем иначе в этом плане «смотрятся» сознательные лжецы и исказители, которые не могут не знать, что фабрикуют и распространяют тенденциозную неправду, кто утверждает себя на разжигании национальной розни и оскорблении.

Когда газета «Советская культура» в июне 1987 года сообщила, что В. Евсеев, В. Бегун и А. Романенко являлись постоянными лекторами и вдохновителями «Памяти», что они изо всех сил пропагандировали идею «заговора» в статьях и книгах, изобилующих обилием ошибок и неточностей, вышеозначенные мужи подали на нее в суд: за содействие... сионистам! Небезынтересно, что А. Романенко перед началом судебного заседания потребовал, чтобы судейский состав доложил ему о своей национальной принадлежности!.. Когда многочисленные научные эксперты показали некорректность фактов, неточность цитат, на которых базируются идеи Евсеева, его адвокат поучительно заметил: «Надо понимать, что научность и достоверность совершенно разные вещи...».

Здесь мы выходим еще на одну «неловкую» тему: подобно тому, как не принято у нас анализировать такую субстанцию, как предрассудки масс, и пушкинское определение «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» с некоторой неловкостью за поэта относим к еще допушкинским временам, так по существу «землей неведомой» являются для нашей широкой печати разного рода психологические аномальные комплексы, присущие вроде бы нормальным людям. Да, Маркс и Энгельс не писали о «комплексе неполноценности», например, им было не до того, они занимались разработкой глобальной политэкономии. Да, классики научного социализма не оставили анализа таких существенных для человеческого общежития категорий, как, например, зависть, злоба, властолюбие. Скажем прямо, антропологические факторы развивающегося общества не очень часто привлекали их внимание. Но значит ли это, что и мы должны обходить вниманием такие явления, которые иначе, чем посредством антропологических линз, не рассмотришь?

Разве, к примеру сказать, стремление возвыситься любой ценой есть атрибут только капиталистического общества? Разве подобные персонажи уже исчерпаны до своего дна в романах Стендаля и Достоевского? Да нет, это, к сожалению, качество, присущее в чем-то, очевидно, усеченным с детства, а потому завистливым особям из всех эпох и народов. Они «круто» самоутверждаются, чтобы возместить всем окружающим за те прежние обиды, которые претерпели,— совсем не от тех, кого они попирают ныне. Они готовы мстить всем, кто лучше них. И это стремление для них — самое главное, оно выше всех остальных ценностей, в том числе и таких, как правда, милосердие, объективность. Разве мы не знаем некоторых нынешних средней руки поэтов, сотворивших себе имя на громком облаивании поэтов, много талантливейших, чем они?

Комплекс неполноценности, который те или иные граждане всю жизнь пытаются компенсировать, прислоняясь своей малостью к чему-то великому и давя, давя, давя последовательно всех, кто, по их мнению, этому великому не причастен, это тоже бич божий: и для них самих, и для ближнего и для дальнего от них человечества. Ну, спрашивается, разве такой, в общем-то убогий, человек не знает, что лгать — нехорошо? Конечно, знает! Но если правда не укладывается в его построения, тем хуже для правды!.. Коль скоро существует масонско-сионистский заговор, следовательно, масоны суть смертельные враги России: коротко и ясно. А как же быть с тем обстоятельством, что многие из декабристов входили в масонские ложи? Что масон Николай Новиков был великим русским просветителем? Что некоторые громкие названия революционной прессы восходят к масонской терминологии?.. А так и быть: измазать всех этих заговорщиков грязью подозрений!.. Простенько и со вкусом! И мудрить незачем. Правда, эта манипуляция заметно искажает и очерняет родимую историю, но ведь не о ней я пекусь: только о себе любимом, о реабилитации своего сильно примятого комплексика.

Да, трудно быть ученым. Нелегко соответствовать русскому народу с его широтой и всечеловечностью, коль скоро собственная натура ущемлена злобой, коль скоро понятия о добре искажены, коль скоро разум спит.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

А. ХОДОРОВ

ЗАВЕРШЕНИЕ И ПРОДОЛЖЕНИЕ

...«Этого дня иркутяне ждали давно». Слова, которыми газета «Восточно-Сибирская правда» начала в сентябре 1975 года свое первое сообщение об Иркутской конференции «Декабристы и русская культура», отнюдь не были лишь эффектным журналистским приемом. Открывал конференцию своим докладом выдающийся ученый и писатель Борис Соломонович Мейлах. Одним из первых он по достоинству оценил деятельность немногочисленной тогда группы иркутских энтузиастов-декабристоведов. И вместе с ними стоял у истоков одного из самых плодотворных ныне движений в сфере нашей духовной жизни, которую Д. С. Лихачев наименовал экологией культуры.

Это движение создало отряд единомышленников, сплотило филологов, историков, искусствоведов и людей многих других специальностей в Сибири и Ленинграде, в Москве и на Украине. Оно вылилось в деятельность проблемного научного совета «Сибирь и декабристы», который провел еще две подобные конференции, вырастившие новые кадры историков русского освободительного движения и послужившие основой уже пяти сборников статей.

Но иркутское декабристоведение сегодня — не одни лишь книги. Они во многом содействовали тому, что деятельность поборников культуры в этом городе стала комплексной. Ныне ее представляют не только историки и писатели, но и музейные работники, создавшие ценнейшие экспозиции в домах С. П. Трубецкого и С. Г. Волконского. Кстати, сделано было это буквально в считанные годы — сроки, неслыханные для России европейской. Для сравнения заметим: музеи-квартиры Ф. М. Достоевского и А. А. Блока в Ленинграде «пробивались» десятилетиями, а дело с открытием в этом городе музея декабристов сдвинулось с мертвой точки лишь теперь. Достойный вклад внесли и реставраторы, воссоздавшие связанные с декабристами памятники культуры. И градостроители, восстановившие декабристские исторические места. И художники, музыканты, артисты, которых декабристская тема вдохновила на произведения, известные сегодня и за пределами Иркутска. «Салон Трубецких» в доме одного из вождей декабризма, где беседуют об истории, читают редкие документы и стихи, исполняют на старинных клавикордах по нотам декабристских времен музыку, в те далекие годы здесь любимую, стал одним из главных центров притяжения духовной жизни уже не одних иркутян.

В сфере гуманитарной культуры понятие провинциальности не всегда подчиняется географии. Воронеж, например,— областной центр, каких немало на Руси, однако по части теории, истории и практики библиофильства он — не только наша столица, но и явление европейского формата. Да и в том, что касается литературного краеведения, его место на карте — отнюдь не областного значения. А Иркутск стал похвальным примером «фронтального» решения задач изучения истории культуры и освободительного движения России, охраны их наследия и памятников. Но каждое дело делают люди. Олег Григорьевич Ласунский, Семен Федорович Коваль, Марк Давидович Сергеев — им мы должны быть благодарны за то, что их города явили нам поучительные образцы не только увлекательных проектов, но и конкретных дел. На иркутском «фронте» профессор Б. С. Мейлах был своеобразным генералом, но отнюдь не свадебным или парадным — главный редактор сериала «Сибирь и декабристы» трудился на этой ниве до последних дней жизни. Этот сериал был лебединой песней Мейлаха — организатора науки, как книга «Декабристы и Пушкин» — Мейлаха-исследователя. Книга[1] — последний личный вклад автора многих работ о великом поэте и в Пушкиниану, и в развитие «иркутского феномена».

Б. С. Мейлах известен как один из ведущих исследователей истории и места в жизни общества Царскосельского лицея. Конечно, на сей раз не обошлось без повторения положений фундаментального труда того же автора «Пушкин и его эпоха» (кстати, не пора ли переиздать эту книгу?). Но есть и существенно новое — уточнено понятие *ближайшего* декабристского окружения, декабристской среды, во многих книгах последних лет основательно (вернее сказать, как раз неосновательно!) размытое.

«Название моей книги — „Декабристы и Пушкин“, а не привычное „Пушкин и декабристы“ — не простая перестанов-

[1] Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987.

ка слов,— предупреждает ученый,— речь пойдет не только о взаимоотношениях Пушкина с отдельными декабристами, а прежде всего о месте и роли Пушкина в декабристском движении, о его позициях в этом движении...». Нам со школьных лет прекрасно известна формула «Пушкин — выразитель идей декабристов», в общем-то (при всей своей схематичности) применительно к молодости поэта справедливая. Но гораздо менее отчетливо в трудах о Пушкине звучал другой мотив, в этой книге — один из главных: Б. С. Мейлаха интересует не столько то, как Пушкин *выражал* идеи декабристов, сколько то, как он их *формировал* и *вырабатывал.*

Принципиально новой в пушкинистике и декабристоведении является тема национального возрождения России первой четверти XIX века, в деятельности декабристов и Пушкина — в первую очередь. Проводя исторически выверенные аналогии с эпохой Европейского возрождения, Б. С. Мейлах доказывает правомерность именно такой постановки вопроса об этой эпохе в жизни России. Она породила истинно возрожденческий тип личности (того же декабриста — многие из них оставили в национальной культуре возрожденчески многогранный след). Она выработала представление о неразрывности политических свобод с национальным достоинством, с прогрессом в науке и искусстве, определила творческое новаторство как ведущий принцип жизни общества.

Доверием к читателю пронизаны последние разделы книги. Ведь речь идет о вещах, о которых именно в произведениях популярных нередко пытались говорить мимоходом, сглаживая острые углы. О попытках Пушкина найти общий язык с самодержавным государством и общественной на них реакции, об иллюзиях великого ума и о горечи их преодоления. О том, что и почему в жизненной и творческой позиции Пушкина и декабристов было взаимно неприемлемым до и после 14 декабря (правда, можно было бы подробнее остановиться на проблеме: почему декабристы так и не приняли онегинский тип героя, в чем особенно укоренились после 1825 года). Не обходится стороной и острый вопрос — почему члены тайных обществ все-таки воздержались от приема поэта в свои организации? Вопросы и ответы не клонятся «в пользу» ни Пушкина, ни декабристов — нам просто рассказывают, как все это происходило в действительности.

Здесь приходится выйти за пределы книги. Впрочем, автор на это и рассчитывал, предупредив читателя: некоторые проблемы им лишь поставлены, над ними надо размышлять. Не помешали бы только размышлениям укоренившиеся в наших умах предрассудки! Живуч синдром миргородского судьи: ну как могли столь достойные люди, как Иван Иванович и Иван Никифорович, между собой не поладить? Увы, подчас тем же принципом мы руководствуемся в оценке мнений, например, Маркса о Герцене или Ленина о Маяковском: как бы сгладить решительное неприятие... А ведь если даже у обывателей Миргорода нашлись несовместимые «острые углы», еще естественнее, если найдутся они у личностей покрупнее.

Столь же деликатны мы в разговорах о том, что во многом отрицательно относились к личности и деятельности Пушкина такие столпы декабризма, как Якушкин, Горбачевский (последнего и трагическая гибель поэта с ним не примирила). Да и в собственной среде... Дружба дружбой, а все-таки лицеист Пущин считал прием лицеиста Кюхельбекера в Тайное общество грубой ошибкой Рылеева. Об одних фактах подобного типа Б. С. Мейлах напоминает, о других следует при случае вспоминать нам самим...

Осмысление опыта декабризма осталось одной из центральных проблем пушкинского творчества до последних дней поэта. Да, Пушкин во многом разошелся с друзьями юности, размышляя о грядущем историческом пути России. Но самый факт их выступления в декабре 1825 года первым в стране оценил как историческую закономерность и неизбежность — в то время, когда и друзья, и враги «первенцев свободы» воспринимали его как случайную страницу российской жизни.

У читателя книги подобного типа не может не возникнуть желания в чем-то и поспорить с автором. Трудно делать это сегодня — ведь Борис Соломонович, всегда корректный в полемике, уже не сможет ответить! Все-таки необходимо сказать, что слишком категоричной и односторонней представляется нам резко негативная оценка А. С. Шишкова. Безусловный консерватор в литературе и политике, он был все же человеком широких взглядов, и его патриотизм не заслуживает презрительно-ироничной характеристики. Тут можно бы и вспомнить, что если юный Пушкин давал для нее материал, то зрелый признавал неотрывность «старца» от «священной памяти двенадцатого года». Нельзя не вспомнить и другого: министр Шишков с нечастой для прошлого (и нынешнего) веков объективностью и приема своего литературного противника Карамзина в Российскую Академию добивался, и печатать непочтительного к нему самому Пушкина — сосланного за оскорбление царя — разрешил (другие не решались), и на облегчении участи декабристов (отнюдь не сочувствуя их взглядам) в суде настаивал — надо не мстить, а судить строго по закону, с учетом реальной вины. А ведь знал, что император смотрит на это совсем иначе! Трудно сегодня нам сочувствовать человеку, не раз порицавшему российских самодержцев «справа» — однако большинство вельмож его ранга и на это не осмеливалось!

Здесь объективность изменила исследователю, но, впрочем, этому есть свой резон. Как Карамзин-писатель шире и глубже карамзинизма, так и Шишков, и ведущие члены возглавляемой им «Беседы любителей русского слова» переросли манифесты этого объединения (неизбежная судьба сильной индивидуальности в любой творческой группировке: литература — дело «штучное»!). А вот рядовые «беседчики» под знаменем патриотизма стремились лишь к тому, чтобы «сохранить в неприкосновенности весь строй старых идеологических понятий». Догматизм и рутина, замаскированные под охрану национального духовного достояния,— в такой оценке Б. С. Мейлах совершенно прав. Подобный урок по своей значимости, думается, пережил пушкинско-декабристскую эпоху. Ни в какие века корни национальной культуры не должны быть фиговым листком, прикрывающим срам политического мракобесия и литературного обскурантизма!

...Жизненный путь одного из старейшин ленинградской филологии завершен. Но проблемный совет «Декабристы и Сибирь» действует, очередной выпуск серийного издания — в работе...

Анатолий
ШОР

ПРОЗА ЖИЗНИ

Рассказы Валерия Попова [1] не вписываются в классификацию литературных явлений. Неуместным кажется сам жанр комического очерка свихнувшихся нравов. Проблемы, требующие вроде бы сатирического обличения или — в иных случаях — юмористического намека, подаются в странном освещении, в калейдоскопической круговерти, размывающей иерархию мелочей жизни и ее устоев. Нарушая пропорции, непроизвольно покушаясь на незыблемость систем ценностей равно и передовой публики и охранительной критики, писатель выпадает из обоймы на обочину, где получает взамен сомнительного авторитета счастливую возможность со спокойствием аутсайдера не отягощать любое ненароком вырвавшееся слово бременем служения обществу и прогрессу, задачам охраны природы или проповеди национальной идеи, борьбе с бюрократией или за мир во всем мире.

Возможно, поэтому Валерий Попов легко совмещает недвусмысленную точность жаргона с иронической, мелькающей сквозь кажущуюся простодушность усмешкой. Но зато у него начисто отсутствует столь распространенная ныне тяжеловесная дидактика, присущая канонизированным властителям дум, заступникам, косноязычно радеющим за благо народное. Приятельские отношения с персонажами раскрепощают автора, демократизм его органичен до такой степени, что порой позволяет пренебречь строгими критериями слишком уж взыскательного вкуса. Сказ на основе современного городского сленга, интонация анекдота вместо утонченного психологизма или эпической обстоятельности — образующие стиля, генетически связанного с незамысловатым авангардом «молодежной прозы» начала шестидесятых (исчезнувшей со страниц журналов и из списка бестселлеров не только потому, что исчерпала себя). Она «оказалась вытесненной на периферию людьми мрачными и тяжелыми». Принципы действия социальной центрифуги четко сформулированы по совершенно другому, но схожему поводу в рассказе «И вырвал грешный мой язык» — хотя название его отнюдь не нарочито, а лишь случайно, но весьма знаменательно совпадает с вивисекторской процедурой, нередко практиковавшейся прежде для соблюдения порядка в официальных литературных салонах (по аналогии с тем, как домашние хозяйки поступают с любимыми котятами, предупреждая их дурные наклонности).

Впрочем, «не настолько мы безупречны, чтобы качать права... поэтому с нами и делают, что хотят»,— похмелье опыта сегодня актуальнее брожения в затоваренной бочкотаре, легкомысленной эйфорин романтического протеста и джентльменского скепсиса. Именно фундаментальность причин неотвратимого конца быстро выдохшейся эпохи «бури и натиска» обусловливала переход к новому этапу, когда рефлексия уравновешивала (чаще, к сожалению, разрушала) непосредственность и волю, и отношения с действительностью становились сложнее и неоднозначнее. Как выяснилось, зрелость — недостаток более катастрофический, чем пресловутая инфантильность.

---

[1] Валерий Попов. Новая Шехерезада. Л.: Советский писатель, 1988.

Характерна эволюция внутри одного рассказа («Никогда»), повторяющая путь от поверхностной наблюдательности к поиску истины. В экспозиции — чуть-чуть небрежная раскованность с оттенком фирменной фамильярности: «Стал к ответственной поездке готовиться — почистил гуталином ботинки, портфель. Жена мне волосы пригладила.— А кепку зачем берешь — тепло ведь.— Я буду ее застенчиво мять в руке». Располагающий артистизм, ненатужная игра словом привлекает, не обещая аналитической проницательности и широты обобщений: «...он говорит, что из простых смазчиков произошел — неплохую, надо сказать, на этом карьеру сделал: купил уже джинсы, джин, джип...». Тем примечательнее почти экзистенциалистский финал. Герой,— кстати, повествование ведется, как обычно у Попова, от первого лица,— печатает свою статью на неисправной машинке: «...буквы бьют, а следов нет... Неправда, останутся следы! Во втором и третьем экземплярах, где копирка подложена,— останутся! Стал печатать... хотя и странно, когда следов никаких не видишь». Своеобразный парафраз стоического «рукописи не горят» приподымает забавное изложение расхожих перипетий до откровения притчи. Эффекта не снижает, пожалуй, даже то обстоятельство, что тема упомянутой статьи — «качество коврокачества». Более того, из-за неадекватности пафоса усилий бессмысленности результата возникает необходимая объемность — пусть и не драматичная (беда как раз в том, что на трагедию не потянуть), но подчеркивающая противоречие, сдвиг, нелепое искажение подвижнического идеала.

Поколение наивных неофитов рассеялось, как эфемерные реформы и возбужденные ими прекраснодушные порывы. Сетуя: «Жаль, что вас не было с нами»,— приходится иметь в виду насмешливое эхо, умеряя излишнюю теперь экзальтацию. Творчество Валерия Попова сопротивляется кризису и надлому, как дичок, отпочковавшийся от вымерших побегов, пробужденных оттепелью, но, вопреки изменившемуся климату, не погибший. По нему сейчас можно воссоздать выкорчеванную флору. Поэтому так важен вывод писателя, достойно определившего меру участия в естественном отборе: «Не порти... крупную беду мелкой суетой». Когда его коллеги, чтобы свести концы с концами, соблазняются должностью редактора на кладбище (там тоже требуется править неутвержденные надписи на могильных плитах — рассказ «Искушение»), когда планы на завтра сводятся к тому, чтобы «побриться, постричься, сфотографироваться и удавиться», следует проявить немалое мужество и отрешенность аскета, рискующего среди клокочущих страстей и злобы дня задавать себе элегический вопрос: «Даже если троллейбус приходит быстро — везет ли он тебя к счастью?». Мáксима: «Немного успокойся! Слишком уж энергичным быть нельзя»,— последняя адаптация десяти заповедей и декларации независимости — звучит как нравственный императив, удерживающий от погружения в маниакальный психоз очередей и деловой ритм остервенелых наслаждений злиты.

Минимальных смещений достаточно для напрашивающейся трансформации дотошного натурализма в тотальный фарс. Впрочем, предостерегает от эстетических загулов и жанрового пережима не столько, по-видимому, школа классической гармонии северной столицы и не провинциальная робость, сколько здоровая, едва ли не фольклорная жизнестойкость. Не зря же так колоритен положительный герой (рассказы «В мягкой манере», «По-нашему, по-водолазному»), простой советский человек — нечто среднее между былинным добрым молодцем и незадачливым Иванушкой. Его цельность — бестолковая удаль и свойские смачные слабости — искренне симпатична В. Попову. В сравнении с крутыми нравами литературного окружения небезнадежного московского однофамильца (где принято язвительнее акцентировать гротесковое начало, последовательнее и целеустремленнее вычленять ядро абсурда из обыденной шелухи) злоупотребление агрессивными приемами, броской и жесткой яростью остро утрированного изображения не свойственно трезвой сдержанности ленинградского автора. С ее помощью он отдает дань местным традициям и нежеланию сводить счеты с судьбой, сохраняя присутствие духа и незлопамятную объективность. Художник должен уметь отстраняться от роли, чтобы к лицу не прирастали театральные маски — ни скорбная, ни ухмыляющаяся. Но и обаятельное остроумие поневоле компромиссно. В пластичном владении податливым материалом, в линейных сюжетах и неплотном тексте, не насыщенном ассоциативными связями (следовательно, не вовлеченном в контекст культуры) — опасность непринужденной безответственности, незатрудненного мышления, ограниченного сферой освоенной реальности.

И все же свободная от нетерпимости, высокомерия и тенденциозной узости книга Валерия Попова допускает и другое прочтение, потому что из разноголосицы прозы жизни пробивается резкая музыка незахиревшего языка, рождаются глубинные гулы смысла.



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Мини-мемуары

Вл. КОНСТАНТИНОВ, Б. РАЦЕР

СОСЕД ПО КОМАРОВО

Знаком ли тебе, читатель, небольшой поселок по Финляндской железной дороге, называемый Комарово? (Название свое он получил не от назойливых комаров, от которых летом нет спасения, а по имени известного советского ученого-ботаника Комарова.) Но повенчанное издавна с наукой (здесь даже есть Академгородок) Комарово стало средоточием и прочих творческих сил Ленинграда. Здесь Дома творчества писателей и актеров, а в соседнем Репино — кинематографистов и композиторов. По концентрации знаменитостей на один квадратный метр Комарово может смело соперничать с московскими Переделкино и Рузой. До сих пор комаровские тропинки помнят Ахматову, Шостаковича, Соловьева-Седого. Да и сейчас возле газетного киоска или на берегу Щучьего озера запросто можно встретить Даниила Гранина, Юрия Темирканова, Иосифа Хейфица и других.

Много позже всех обзавелся здесь дачей Г. А. Товстоногов. (В скобках заметим, что тогдашнее ленинградское начальство всячески препятствовало в этом даже таким людям: иметь свою дачу считалось зазорным, что, однако, не мешало самому начальству преспокойно проводить лето на так называемых государственных дачах, положенных не по таланту, а по должности.)

Товстоногов поселился не один, а с сестрой Нателлой Александровной и ее мужем, блистательным актером Евгением Лебедевым.

Авторы этих строк проживают в Комарово уже более двадцати лет (не потому, что они более знамениты, просто тогда еще разрешалось покупать дачи в этом заповедном районе). Волею судьбы мы оказались почти соседями, да к тому же Георгий Александрович для ежедневного моциона выбрал тропинку, ведущую прямо к нам. Со складным японским стульчиком, который в собранном виде служил ему и палочкой для опоры, он ежедневно вышагивал пятьсот метров, разделявшие нас. Возле нашей калитки он делал остановку, раскрывал стул и присаживался. Это был короткий отдых перед обратной дорогой. Завидев его, мы с радостью бросали сочинять комедии и всеми правдами и неправдами заманивали его к себе. В дом он не входил никогда, а присесть на скамеечку в саду не отказывался (разумеется, когда не было срочных дел).

И начинались его рассказы. Блестящие, с тонким юмором, с грузинским лукавством, рассказы человека, для которого в театре нет никаких тайн. Кое-чему из рассказанного мы были современниками, кое-что происходило еще тогда, когда мы не имели понятия о театре... Жалеем только об одном — почему мы ничего не записывали!.. Впрочем, сделать это было непросто: во время рассказа Георгий Александрович ревниво следил за нашей реакцией (смех, ужас, восторг), так что отвлекаться не было никакой возможности.

Но сейчас мы можем немного отвлечься...

...С Товстоноговым мы встретились в 1972 году во время постановки «Ханумы». Но еще раньше было заочное знакомство.

Совсем тогда еще юный артист БДТ Сергей Юрский сыграл в актерском «капустнике» Чацкого в пародийной сцене, написанной нами. В ней говорилось о наболевших театральных вопросах. Чацкий в финале произносил обличительный монолог, а перепуганный Фамусов, заикаясь, лепетал:

Он глупости ведь может натворить,
Болтал о чем-то вспыльчиво и гневно!
Ах, боже мой, что станет говорить
Екатерина Алексевна!..

Теперь эти строчки можно печатать, а тогда и произносить-то их было небезопасно — ведь Екатерина Алексеевна Фурцева была министром культуры, членом Политбюро. Для присутствовавшего на капустнике Товстоногова этот вечер оказался решающим в выборе актера на главную роль в грибоедовской комедии (в ту пору он как раз собирался ставить «Горе от ума»). Льстим себя надеждой, что он отметил

тогда не только игру молодого Юрского, но и наш текст. Иначе ничем другим не объяснить раздавшийся вскоре звонок.

Товстоногов пригласил нас в театр. Его бессменный завлит Д. Шварц провела нас в кабинет. В клубах табачного дыма утопали знакомые нам по многочисленным шаржам орлиный нос и роговые очки.

— Я давно хочу поставить пьесу А. Цагарели «Ханума». Написана она, правда, лет 150 тому назад, но недавно я видел ее в Тбилиси и очень смеялся. Есть подстрочный перевод, а литературный я прошу сделать вас, но так, чтобы не потерялся юмор. А если добавите и ваш — возражать не буду...

Не чуя ног от счастья, мы помчались домой, сжимая в руках драгоценный подстрочник. Еще сравнительно молодые литераторы (нам было тогда около сорока) — и вдруг стать авторами прославленного БДТ!

Увы, уже через час, пробежав глазами перевод, мы впали в уныние: где мог смеяться Товстоногов? Ни мы, ни наши жены и дети даже не улыбнулись... Немудреный сюжет о тбилисской свахе, перехитрившей старого князя, иссякал чуть ли не в первом акте, а дальше, как говорят шахматисты, шло «доигрывание». Как ни упрашивали нас жены, мы решили отказаться от столь заманчивого предложения...

Наш отказ озадачил Товстоногова, видно, к такому он не привык.

— Так уж не смешно?! — окинул он нас недовольным взглядом.

— Не смешно,— заикаясь, ответили мы.

— Но почему же смеялись в Тбилиси? — пожал он плечами и, закурив, надолго задумался. Мы и Д. Шварц почтительно замерли.

— Ясно! — вдруг сказал он.— На тбилисской сцене все герои говорили на разных языках: приказчик Акоп — на армянском, князь — на русском и даже на французском и все вместе — на грузинском. Интернациональный тбилисский зритель без труда понимал их всех — в этом и была, наверное, прелесть этого спектакля... А перевели на один язык — русский, и все снивелировалось, потерялось — и обаяние пьесы, и ее юмор... Что же делать? Не говорить же с ленинградской сцены на армянском, грузинском и французском языках?.. А что, если так — забыть о подстрочнике и держать в голове только сюжет. Все остальное — дело вашей фантазии и юмора.

Мы фантазировали целых два месяца. Появились не только новые сцены (в бане, на базаре) — мы написали много песен и куплетов с великолепным грузинским композитором Гией Канчели.

И вдруг все застопорилось. В «Правде» появилась разгромная статья критика Ю. Зубкова о московских гастролях БДТ... Еще и раньше делались попытки замолчать или очернить великолепные достижения Товстоногова (так было с его спектаклем «Горе от ума», с «Римской комедией» Г. Зорина, вообще не увидевшей света по воле тогдашнего первого секретаря обкома Толстикова), но на дворе был уже 1972 год, и нам казалось, что все это позади, что творческий авторитет Товстоногова незыблем. Ан — нет! Дух доносительства, витавший над статьей Зубкова, его нелепые обвинения театра в антипатриотизме и тогда еще находили отклик в высоких инстанциях. Правда, никого уже не сажали, как в тридцатые годы, никого не снимали, как в пятидесятые, но... Товстоногов очень обиделся и демонстративно перестал ходить в театр. Узнав об этом, его наперебой стали приглашать в главрежи московские театры, но он одно за другим отклонял предложения. Короче, ему было не до «Ханумы»! Он упорно искал правду, дошел до референта самого М. А. Суслова, но дальше хода не было: там, наверху, оборону держали крепко.

Именно в эти дни нам позвонила Дина Морицевна Шварц, за многие годы детально изучившая характер своего шефа. Она точно знала, что только работа отвлечет его от бессмысленного в ту пору «правдоискательства».

Мы отвезли «Хануму» ему домой.

Уже на следующий день он позвонил и сказал, что на домашней читке пьеса имела большой успех (а надо сказать, что дома у него были весьма квалифицированные слушатели: уже упоминавшийся нами Е. Лебедев с женой Нателлой Александровной, умной и сильной женщиной, и двое сыновей, один из которых — Сандро — впоследствии стал главным режиссером Московского театра имени Станиславского).

Уже через несколько дней нам посчастливилось увидеть Товстоногова в работе. Два месяца, за которые была поставлена «Ханума» (а это рекордный для академического театра срок), мы просидели на репетициях.

Если общение с корифеями эстрады было для нас школой сатиры и юмора, общение с Н. П. Акимовым — университетом, то, пользуясь этой же терминологией, у Товстоногова мы прошли высшие курсы по повышению квалификации.

В «Хануме» участвовал весь цвет театра (Е. Копелян, Т. Макарова, Н. Трофимов, В. Стржельчик и другие). Но мы не почувствовали во время репетиций никакого премьерства, никакого чванства. Здесь все были равны — от народного артиста до юноши,

недавно принятого в труппу. Такую деловую, товарищескую обстановку, создавал, конечно, Георгий Александрович. Хотя авторитет его личности был непререкаем, но личность эта была крайне демократичной. Жестко проводя в жизнь свой режиссерский замысел, он тем не менее давал полную свободу для актерской импровизации, четко и резко, как скульптор, отсекая все лишнее.

Не наша задача подробно описывать спектакль — скажем только, что к тому моменту, когда пишутся эти строки, он идет на сцене БДТ уже шестнадцать лет. А делался, как помните, всего два месяца, лишний раз подтвердив шутливую актерскую мудрость: «Еще ни один спектакль не становился лучше от репетиций».

В редакции БДТ «Ханума» была поставлена более чем в ста театрах страны, ее перевели на многие языки. Хоть мы написали, по сути дела, новую пьесу, но в основе ее была все-таки пьеса, у которой был автор — А. Цагарели. Поэтому на афишах мы значились лишь как «авторы русского текста и стихов». Введенные этим в заблуждение, критики высоко оценили пьесу, а юмор Цагарели кто-то из них сравнил с «брызгами шампанского». Но стоило Георгию Александровичу в одном из интервью раскрыть секрет создания этой пьесы, как оценки круто изменились. Замелькали знакомые нам критические клише: «Опошлили народный юмор... Извратили национальный колорит...».

Вторая наша творческая встреча с Товстоноговым состоялась ровно десять лет спустя — и снова на «грузинской» почве. Он предложил нам сочинить пьесу по повести Д. Клдиашвили «Мачеха Саманишвили».

Работа была и проще, и труднее. Проще — ибо в основе лежала повесть, а не пьеса, к тому же действительно отличного писателя, которого называли «грузинским Гоголем». Труднее — ибо комедийное начало в ней явно заглушалось трагическими нотами. История о том, как старый грузин-крестьянин Бекина решил, овдовев, снова жениться, и как этому противились дети, ибо женитьба отца и возможное появление еще одного наследника означали раздел земли; любовь, зарождавшуюся между Бекиной и специально подобранной ему детьми «нерожалой» невестой Элене,— все это было, если так можно сказать, многожанрово.

Мы же, склонные к жанру комедии, пошли уже проторенным путем «Ханумы». На репетициях не все получалось, актеры нервничали (появилась даже такая мрачноватая шутка: «И мачехи кровавые в глазах...»). Лишь один человек в театре оставался спокоен — Товстоногов. Он еще и еще раз оставлял нас после репетиции и добивался, как он говорил, не просто «спектакля с песнями и танцами», а театральной притчи, местами веселой, местами грустной, но тяготеющей к философским обобщениям. Мы часто вспоминаем теперь об этом, видя, как вдоволь насмеявшись на этом спектакле, зритель утирает и набежавшую слезу.

Между первой и второй «грузинскими» встречами была у нас с Георгием Александровичем еще одна, которую мы назвали «румынской».

В БДТ решили поставить комедию румынского драматурга Баранги «Общественное мнение». «Авторы русского текста» на этот раз не требовались, ибо уже имелся не подстрочник, а перевод.

В пьесе Баранги (кстати, он был в то время министром культуры Румынии) рассказывалось о борьбе молодого редактора газеты Китлару с ретроградом-начальником. Новатор, конечно, побеждал консерватора, но, как казалось Георгию Александровичу, слишком уж прямолинейно. Вот именно эту прямолинейность он и просил нас убрать из пьесы, придать ей большее общественное звучание, ну, и конечно, сделать смешнее (иначе зачем привлекать к работе комедиографов?).

Ставил Георгий Александрович спектакль вначале нехотя — работа была по тем временам просто обязательной (участие в фестивале румынской драматургии), но имевшиеся в пьесе две неплохие роли — молодого газетчика-энтузиаста и партийного функционера-демагога — давали надежду на то, что спектакль получится, тем более, что эти роли исполнялись прекрасными актерами — Олегом Борисовым и Евгением Лебедевым.

Наша работа заключалась в отделке сцен, в сочинении броских современных острот, в придании общественного звучания монологам. Сразу скажем, что работа эта удалась нам только наполовину: Евгений Лебедев, актер импровизационного толка, с трудом принимал сочиненное нами, ему важнее было придумать все самому, а вот Олег Борисов очень легко пошел с нами на контакт.

Самым забавным в этой работе был неожиданный приезд Баранги на премьеру. Нельзя сказать, что мы так уж изменили пьесу,— сюжет остался, но содержание многих реплик и даже монологов очень изменилось. Мы знали, что Баранга не понимает по-русски, но Георгий Александрович все же посоветовал нам в целях конспирации не попадаться автору на глаза. Все обошлось, однако, как нельзя лучше. Как всякий автор, попавший на премьеру, Баранга думал

только об одном — об успехе своего произведения. А он — был. И немалый. Иногда, правда, Барранга удивленно поводил бровью, когда зритель начинал смеяться там, где в его пьесе не было ничего смешного (например, Китлару говорил о том, что газета, не поднимающая проблем, все хуже и хуже продается. На что демагог-начальник отвечал: «И прекрасно. У нас не продажная пресса!»). Но постепенно он привыкал к этим взрывам хохота, относя их, видимо, за счет отличной игры актеров. Надо сказать, что «Общественное мнение» продержалось в репертуаре очень долго. Уже утратив большую часть своей обличительной силы, пьеса все шла и шла на сцене БДТ — уж больно хороши были там Лебедев и Борисов. Наверное, про такие спектакли польский сатирик Е. Лец говорил: «Пьеса была настолько слаба, что сама уже не могла сойти со сцены».

...Чтобы этот затянувшийся «антракт» не превратился в панегирик БДТ и его выдающемуся руководителю, закончим его на шутливой ноте, свидетельствующей, кстати, о том, что один из самых глубоких и серьезных современных режиссеров не был лишен и чувства юмора.

В учебном театре Ленинградского театрального института мы смотрели дипломный спектакль. Тот, кто бывал в этом театре (бывшем ТЮЗе), знает, что зал его расположен полукругом, наподобие студенческих аудиторий, со скамьями, одна из которых отведена для педагогов и приглашенных лиц. В качестве таковых мы и восседали на ней с самого краешка, а в центре ряда тщательно оберегалось одно место: ждали Георгия Александровича. Но он опаздывал, и мы с соавтором, чтоб скоротать ожидание, решили повеселить себя и сидевших рядышком с нами в проходе студентов. Мы стали изображать случайно попавших в этот зал командированных из Магадана, спрашивали студентов, почему не продают пиво — у нас, в Магадане, мол, им торгуют даже во время действия. Мы переврали фамилии всех ленинградских актеров и театры, где они служат. И в довершение всего спросили, будут ли после спектакля танцы. Педагоги посмеивались, студенты гоготали. А мы — мы ждали появления Товстоногова. Ведь чтобы занять свое место в центре, он должен был обязательно пройти мимо нас, а проходя — обняться (такова театральная традиция). Так все и случилось. Теперь уже смеялись мы — надо было видеть удивленные лица студентов: Товстоногов обнимается с какими-то провинциальными недотепами!..

Когда в антракте мы рассказали об этом розыгрыше Товстоногову, он, посмеявшись, сказал: «Эх, драматурги, драматурги! Что ж вы „недокрутили“, не поставили „точку“? Надо было сказать студентам, что мы знакомы с вами еще с Магадана, где вместе сидели!».

Библиофил

Юрий ШУМАКОВ

ПОЭТ НА ЭСТРАДЕ

Игорь Васильевич Северянин — один из основоположников жанра реситалей — впервые в истории нашей поэзии стал устраивать турне с авторскими чтениями по городам России: Петербург, Москва, Киев, Минск, Симферополь, Одесса, Саратов, Нижний Новгород, Казань, Тверь, Кострома, Самара, Рыбинск, Ярославль, Симбирск, Астрахань... Создатель своеобразной исполнительской манеры, он пел свои стихи на сочиняемые им же мотивы.

Игорь Васильевич обладал хорошо поставленным от природы голосом оперной мощи. Недаром его троюродной сестрой была знаменитая певица Евгения Константиновна Мравина (Мравинская) — одна из лучших представительниц русского вокального искусства. Поражал и диапазон его голоса, и умение им владеть. Подчас казалось, что на низких нотах раздается дальний рокот орга́на. В нежных строках, в баритональном басе Северянина слышалась виолончель, затем вступала флейта. На высоких нотах голос поэта приближался к скорбному зову скрипки.

Если б Игорь Васильевич не был автором декламируемых им стихотворений, а выступал лишь исполнителем чужих, он и тогда бы пользовался большим и заслуженным успехом даже у самой взыскательной публики. Северянин был подлинным мастером эстрады. В читке его пленяло обилие контрастных переходов: от лирической взволнованности к сарка-

стическим интонациям, от любовного интима до высокого гражданского пафоса.

Что же касается достижений Северянина в области интерпретации стиха, то они все больше уходят в края предания, в пределы мифа, и дальнейшим поколениям придется либо усомниться в свидетельствах современников о редкостном исполнительском даровании Игоря Северянина, либо принять их на веру.

На родине и за рубежом поэт дал свыше четырехсот концертов. «На Северянина» ходило не только великосветское общество, его вечера всегда охотно посещались студентами и курсистками, демократически настроенной молодежью. Его поэзоконцерты вызывали живой интерес среди актеров и чтецов, а исполнительское мастерство оказало некоторое воздействие и на поэтов.

Вечера Игоря Северянина любили посещать композиторы и певцы и за границей. В середине тридцатых годов меня навестил в Тарту Сергей Сергеевич Прокофьев. Композитор заговорил о Северянине, жившем в то время в Эстонии, поделился впечатлениями о его вечерах, подчеркнул, что «Северянин — поэт-музыкант, в его творчестве ощущается применение контрапункта и фуги»,— и проиллюстрировал эту мысль несколькими стихотворениями Северянина, в том числе «Квадратом квадратов», где в одном четверостишии — шестнадцать пересекающихся рифм:

Никогда ни о чем не хочу говорить...
О поверь! Я устал, я совсем изнемог...
Был года палачом,— палачу не парить...
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог...

Исполнительская индивидуальность поэта оказала значительное воздействие и на русских шансонье — хотя бы на Александра Вертинского, чей стиль исполнения и тексты песен во многом обусловлены находками Игоря Северянина. Кое-что навеяно Северяниным и в песенках Н. Агнивцева. Манеру его исполнения любили имитировать многие актеры, особенно удачно это получалось у артистки петербургского Малого театра О. П. Игоревой...

Не зная Игоря Северянина как исполнителя, можно попасть впросак при восприятии глазом его поэзии: слова зачастую раскрепощаются от своего обычного ударения. Обусловлено это все той же песенной манерой исполнения, дававшей возможность пользоваться паузами в самых неожиданных местах, ставить в одном и том же слове несколько ударений, превращать безударный слог в ударный, убыстрять темпы. Северянин не боялся употреблять слова, далекие от принятого поэтического обихода, казавшиеся неповоротливыми, не «лезущими» ни в какие распространенные размеры. Мало у кого из поэтов встречаем мы, например, такие «слова-комоды», как: следовательно, свойственно, могущественные, переворачиваются.

Это расширяло грани ритма, открывало перед стихом неслыханные возможности, обогащало русскую поэтическую речь, придавало слову необыкновенную гибкость и ковкость, выкристаллизовывало новые словесные сплавы. Некоторые словоновшества Северянина были подхвачены другими поэтами, в частности Маяковским, и способствовали развитию языка поэзии...

Я недостаточно стар для того, чтобы помнить выступления Игоря Северянина в России, но...

Это «но» заключается вот в чем: в Эстонии, где я рос, мне нередко приходилось слышать этого удивительного поэта, читавшего и в своем прежнем стиле, и в совершенно новом. За годы на чужбине он во многом переродился; изменилось не только содержание его произведений, но и манера исполнения.

Навестив меня как-то весной в середине тридцатых годов, Игорь Васильевич сказал: «Как неполноценно исполнял я прежде свои стихи. Вот вы, Юрий Дмитриевич, никогда не слышали меня ни в Петербурге, ни в Москве, где у меня была своя аудитория. Хотите, я исполню вам кое-что из давно позабытого в моем прежнем стиле?».

И поэт запел:

Весенний день горяч и золот,—
Весь город солнцем ослеплен!
Я снова — я: я снова молод!
Я снова весел и влюблен!

Увлекшись, он пропел еще одно из своих давних «коронных» стихотворений:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...

С каким вдохновением исполнял Игорь Северянин стихотворение, которым он в былые годы пленял студенчество! Чувствовалось: мысленно он — в столице на Неве, среди взволнованно внимающих студентов.

Восторгаюсь тобой, молодежь!
Ты — всегда,— даже стоя,— идешь...

Жива была в душе поэта память не только о Петербурге и Москве, очень по сердцу было Игорю Васильевичу Поволжье. Вспоминая о своем пребывании в Саратове, он написал в 1926 году стихотворение, посвященное Садовникову, автору песни «Из-за острова на стрежень»:

Как смеет быть такой поэт забыт,
Кто в русских красках столь разнообразен,
В чьих песнях обессмертен Стенька Разин
И выявлен повольниц волжский быт?..

Как наяву, вставали в рассказах Игоря Северянина Нижний Новгород, Ярославль, Самара, Казань, Кострома, Тверь, Симбирск, Рыбинск, Астрахань... Поэт повествовал о давно минувших днях со свойственным ему юмором. «Успех повсюду неизменен»,— вспоминая о своих гастролях, говорит Северянин в романе «Колокола собора чувств» (1923). Действительно, ему повсеместно сопутствовала удача:

Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!

И совсем иным представал Игорь Васильевич перед зарубежными слушателями...

Я был тогда молод, писал стихи, беспредельно любил поэзию, мне хотелось стать актером...

И вот в один из осенних дней я обратил внимание на газетный анонс, извещавший об очередном вечере Северянина. Вечер этот проводился в старинном уютном помещении в Таллинне. На сцене — письменный стол, на нем лампа, озаряющая мягким полусветом эстраду.

Встреченный дружными аплодисментами, на сцене появился Игорь Северянин. Вытянутое лицо его, изрезанное морщинами, было мрачно, глаза полуопущены. Поклонился как бы нехотя: было видно — его ничуть не трогают аплодисменты.

Публики было много: люди старшего поколения, профессора, молодежь, особенно студенты.

Вечер Игорь Васильевич открыл чтением одного из своих наиболее музыкальных зарубежных стихотворений «Классические розы»:

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Эти стихи Игорь Северянин исполнял так, словно в зале он один и перед его мысленным взором проходят картины былых лет.

Как всегда, он и на этот раз прочел немало стихотворений о весне и любви. Произведения эти, написанные в Эстонии, обнаруживают мало сходства с его ранним творчеством, да и читал их поэт в совсем новом стиле, глубокохудожественном, гармонировавшем с реалистическим содержанием его поздних элегических стихотворений:

Наступает весна... Вновь обычность ее необычна,
Неожиданна жданность и ясность слегка неясна.
И опять — о, опять! — все пахуче, цветочно и птично.
Даже в старой душе, даже в ней наступает весна!

Как очаровывали молодежь стихи о любви! С каким-то юношеским пылом исполнял их Игорь Северянин:

Любовь — беспричинность.
Бессмысленность даже, пожалуй.
Любить ли за что-нибудь? Любится — вот и люблю.
Любовь уподоблена тройке взбешенной и шалой,
Стремящей меня к отплывающему кораблю...

В любовной лирике Северянина слушателей особенно привлекала ее чистота и восторженная нежность:

Как хорошо, что вспыхнут снова эти
Цветы в полях под снегом голубым!
Как хорошо, что ты живешь на свете
И красишь мир присутствием своим.

Нельзя было не изумляться разнообразию тем и ритмов, восхищала их волнующая мелодичность, которую поэт умел донести, не расплескав, до слушателей.

И трудно передать отчаяние, сквозившее во всем облике Северянина, когда он исполнял одно из самых своих задушевных стихотворений, созданных на чужбине:

Десять лет — страшных лет — отреченья от многих привычек,
На теперешний взгляд — мудро-трезвый, ненужно-дурных...
Но зато столько ж лет рыб, озер, перелесков и птичек,
И встречанья у моря ни с чем несравнимой весны!

Без всяких прикрас, трезво изображал поэт окружающую действительность, делился раздумьями о горестных перспективах, ожидающих русских людей на чужбине:

Осенью себя осенью — в дальний лес уйду.
В день туманный и серенький подойду к пруду.
Листья, точно кораблики, на пруде застыв,
Ветерка ждут попутного, но молчат кусты.

. . . .

Берега всюду топкие с четырех сторон.
И кусты низкорослые стерегут их сон.
Листья легкие-легкие, да тяжел удел:
У пруда они выросли и умрут в пруде.

После антракта Северянин снова вышел на сцену. Глаза его были мертвенно тусклы, еще резче, чем обычно, обозначились морщины у глаз.

Несколько мгновений поэт стоял в горестном безмолвии, смежив веки, весь уйдя в себя, и вдруг — выпрямился и с гордой простотой промолвил: «Стихи о России». И все второе отделение концерта посвятил исключительно родной стране.

Как жгуче-призывно увещевал Игорь Северянин всех находившихся в зале, что настало время вдуматься в главное:

Ты потерял свою Россию.
Противоставил ли стихию
Добра стихии мрачной зла?
Нет? Так умолкни: увела
Тебя судьба не без причины
В края неласковой чужбины.
Что толку охать и тужить —
Россию нужно заслужить!

Нынешней молодежи трудно представить, как воспринимались русскими юношами и девушками зарубежья заветные строки о смысле жизни, о счастье вернуться домой:

И будет вскоре весенний день,
И мы поедем домой в Россию...

Просоветски настроенную часть аудитории Северянина особенно трогали строки стихотворения «Ночь на Алтае» — поэтического отклика на письмо одного знакомца из Советской России:

На горах Алтая,
Под сплошной галдеж,
Собралась, болтая,
Летом молодежь.

. . . .

Ночь на бивуаке.
Ужин из ухи.
И костры во мраке,
И стихи, стихи!

Кедры. Водопады.
Снег. Луна. Цветы.
Словом, все, что надо
Торжеству мечты.

. . . .

Молодежь проснла
Песен без конца:
Лишь для русских — сила
Русского певца!

Игорь Васильевич много выстрадал за пределами родины, подчас заблуждался и вполне постиг: горек хлеб чужбины. Его нередко обуревали сомнения, он вопрошал:

Я русский сам, и что я знаю?
Я падаю. Я в небо рвусь.
Я сам себя не понимаю,
И сам я — вылитая Русь!

Я всмотрелся пристальнее в лицо Северянина, когда он читал это стихотворение: обычно маловыразительные глаза его сияли голубоватым огнем, и тут я понял — у Игоря Васильевича голубые белки глаз, глаза его — словно фиалки.

Когда он объявил со сцены: «Моя Россия» — многие радостно переглянулись. Это стихотворение, поражавшее грандиозностью охвата темы, было хорошо знакомо друзьям лирики. И надо было его слышать в неповторимо-проникновенном исполнении автора:

Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!

Зал огласился восторженными рукоплесканиями. Даже те, кто относился с предубеждением к поэзии Игоря Северянина, были околдованы музыкой стиха...

На воссоединение Прибалтики с Советским Союзом Игорь Северянин откликнулся приветственными стихами, напечатанными вскоре в журнале «Красная Новь».

А. Фадеев и П. Чагин, бывший тогда директором Государственного издательства, вступили с поэтом в переговоры об издании его стихов, обсуждался вопрос об организации выступлений в Ленинграде и Москве.

Помню, как радовался поэт, как взволнованно готовился к предстоящим гастролям. Еще в «Колоколах собора чувств» поэт выразил надежду:

И может быть, когда-нибудь
В твою страну, товарищ Ленин,
Вернемся мы успех вернуть!

Продумывая в Таллине программу выступлений, поэт составил авторские монтажи по своим поэмам и романам в стихах. Эти композиции Игорь Васильевич читал мне. В исполнении автора они производили неизгладимое впечатление. Тщательно отбирались им и стихотворения для исполнения на советской эстраде. В кругу близких друзей Игорь Васильевич как бы репетировал эти вечера. Свой первый концерт в Ленинграде он хотел начать словами:

О России петь — что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть!

А закончить —

И как и горд, и как безбрежно рад,
Что все твои республики стальные,
Что все твои пятнадцать остальные
В конце концов мой создал Ленинград,
И первою из них была — Россия!

Не удалось ему пропеть свою лебединую песню.

Летом 1941 года Северянин опасно заболел и скончался 20 декабря в Таллинне. Архив поэта, в том числе и его авторские композиции, к сожалению, дошел до нас далеко не полностью.

Мог ли кто-либо из слушателей концертов Игоря Северянина предугадать, что на его могильной плите будут высечены две конечные строки из последнего четырехстишья «Классических роз», которыми Игорь Васильевич так крылато начинал свои выступления:

Но дни идут — уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Вернисаж «Седьмой тетради»

Иван РАК

АТОН ЖИВОЙ, ВЕЛИКИЙ...

Считается, что ни один народ не способен творчески продолжить и развить духовные традиции другого народа, тем более если этот «другой народ» жил в иную эпоху. Мы можем скопировать греческую вазу или древнеегипетских сфинксов, но в рамках чужой эстетики, чужого миросозерцания мы не сможем измыслить ничего своего, а значит, не сможем полноценно творить. К этому выводу приходили многие философы.

Картины Михаила Михайловича Потапова опровергают этот постулат. Глядя на них, начинаешь верить в переселение душ (кстати сказать, «воскресшим из мертвых древнеегипетским живописцем» его называли выдающиеся египтологи В. В. Струве и Ю. Я. Перепелкин). Художник Потапов — не подражатель, он последователь древнеегипетских мастеров — в таком примерно смысле, в каком Энгр считается учеником и последователем Давида. Картины и скульптуры Потапова — не копии, для создания которых достаточно виртуозной техники. Это — именно творческое развитие древнеегипетских традиций. Портрет Хемиуна, строителя пирамиды Хеопса, решен в необычном ракурсе. Портрет Имхотепа, гениального зодчего, ваятеля и теоретика искусств, впоследствии обожествленного, выполнен строго по древнему канону, во фронтальном развороте, но у мудреца наморщен лоб, печаль в глазах, глубокая задумчивость на лице. Портрет молодой царицы Тии, «великой жены» фараона Аменхотепа Третьего Небмаатра, тоже во всем соответствует канонам, но царица улыбается. Главная черта потаповских работ — рембрандтовская одухотворенность и чуть ли не эллинская динамика, и при всем этом художнику непостижимым образом удается сохранить древнеегипетский монументализм. Создавая свои картины, Потапов берет за основу подлинные скульптурные портреты и вместо идеализированных изображений творит живые лица.

Подобные «новаторства», конечно, вызвали бы гнев египетских зодчих и ваятелей, живших ранее XIV века до н. э., и были бы ими безоговорочно осуждены. Но те, кому посчастливилось созидать в эпоху фараона Эхнатона — Бек, Пареннефер, Хеви, «хвалимый добрым богом начальник скульпторов Тутмес» (предполагаемый автор знаменитых портретных скульптур Нефертити), да и сам Эхнатон — они бы, несомненно, восславили и поддержали талант мастера. Не случайно сам Потапов чаще всего обращается в своем творчестве к тому периоду египетской истории, когда воспевался «Атон живой».

«...Атон живой, великий, владыка неба, владыка земли, владыка Фив...». Это одна из официальных титулатур солнечного диска, объявленного божеством. На постаментах сфинксов Аменхотепа Третьего Небмаатра, что вот уже полтора столетия высятся на невской набережной, подобных славословий солнцу нет: в период правления Небмаатра главным государственным богом Египта был Амон. «Царь богов», а следом и весь пантеон, будут низложены позднее, когда венценосный владыка Небмаатра упокоится в гробнице, и трон Обеих Земель займет легендарная чета: семнадцатилетний сын покойного фараона, Аменхотеп Четвертый, и «жена фараона великая, госпожа Верховья и Низовья» Нефертити. Блистающий диск солнца, прежде никогда не имевший ни храмов, ни жречества, будет объявлен единственным богом. На недолгий срок восторжествует солнцепоклонничество — перван в мировой истории попытка отвергнуть языческое многобожие и установить монотеизм. Четвертый в династии носитель державного имени «Амон доволен», юный Аменхотеп отречется от этого имени, включающего в свой состав имя отвергнутого кумира, и назовется в честь нового бога — Эхнатоном. В считанные годы фараон-реформатор воздвигнет на голом месте город Ахетатон, и перед новою столицей померкнут стовратные Фивы. Нечто подобное тридцать два века спустя совершит в России Петр Первый.


Эхнатон — колосс из храма Атона в Карнакском храмовом комплексе Амона-Ра


Эхнатон — портрет, реконструированный по колоссу (фрагмент)

Потом фараона-еретика и «владычицу сияний» Нефертити повсеместно предадут анафеме. Забудут провозглашенное Эхнатоном учение, по которому отвергалась издревле господствовавшая в Египте идея могущественного бога-покровителя и за четырнадцать веков до христианства выдвигалась идея бога доброго, «объемлющего весь мир своей любовью». Превратят в руины Ахетатон, имена царской четы сотрут с гранитных стел, и вновь расцветет культ «великого силой» Амона.

Однако в искусстве солнцепоклоннические традиции успеют укорениться. Греки говорили, что «жизнь египтянина состоит из приготовлений к смерти». Эхнатон, вопреки тысячелетним верованиям, проповедовал любовь к земной жизни, и при нем культ земной жизни явно возобладал над загробным


Царица Тия

культом. На ахетатонских стелах прославляются не мощь и величие фараона, а любовь Эхнатона и Нефертити, их родительская нежность к дочерям. В ахетатонском искусстве впервые появляется пейзаж, воспевается красота природы... Фараон-реформатор был великим меценатом, он окружил себя талантливейшими мастерами — недаром эпоха его правления считается одной из самых ярких в истории не только древнеегипетского, но и мирового искусства. Наверно, поэтому она привлекла в наши дни Потапова.

В 1929 году он работал в египетском отделе Эрмитажа. Но увлечение его Древним Египтом началось гораздо раньше. «В первом классе гимназии,— вспоминает художник,— я раскрыл учебник по Древнему Востоку и был просто потрясен иллюстрациями, посвященными Египту. И Большой Сфинкс, и пирамиды, и мумия в саркофаге, и богиня Баст с головою кошки — все это показалось мне бесконечно близким... С годами увлечение Египтом росло. Я надоедал школьным товарищам расспросами, нет ли у них книг по этой теме, а уж если доставал желаемое, то прочитывал от корки до корки и усердно перерисовывал иллюстрации. Во втором классе мне подарили только что вышедшую на русском языке „Историю Египта“ Д. Х. Брестеда. Главы о фараоне Эхнатоне захватили меня всецело, и я на всю жизнь полюбил этого необычайного, удивительного фараона, философа-солнцепоклонника и поэта. По моей просьбе мне сшили из полупрозрачной белой кисеи длинную одежду древнеегипетского покроя, и я в ней выбегал через сад к обрыву и ждал восхода солнца. Едва диск выплывал на горизонт, я воздевал к нему руки и пел гимн: „Твой восход прекрасен на небосклоне, о бог живой, Атон, первоисточник жизни!..“. Мелодию я сочинил сам и помню ее до сих пор. Привычка встречать восходы светила так укоренилась во мне, что уже взрослым юношей, в бытность мою в Севастополе, я чуть свет спешил к Панораме, с террасы которой открывался вид на восток; спешил, чтоб встретить солнце и пропеть ему гимн».

М. М. Потапов родился в 1904 году, окончил студию Ю. И. Шпажинского в Севастополе. Участвовал в оформлении античного отдела Херсонского музея (1927), работал в египетском отделе Эрмитажа (1929), в Дарвинском музее в Москве (1933—1935). В 1946 году, пережив к этому времени арест и ссылку, Потапов был рукоположен в сан дьякона. Он работал и церковным художником: в стиле византийской живописи XII века им расписаны главный храм Одесского монастыря и Мукачевская церковь (50-е годы). Сейчас Потапов живет в Соликамске. Недавно там состоялась его персональная выставка, имевшая огромный успех. Художник продолжает работать, и главной темой его творчества по-прежнему остается Древний Египет.

Детский сад

Сергей ПОГОРЕЛОВСКИЙ

ТЕЛЕМОСТ

Телемост!
Телемост!
Хоть до Марса,
хоть до звезд!

Расстоянье покорить
здорово умеем —
по душам поговорить
с Бонном и с Бомбеем.

У меня полно друзей
в Дели и в Детройте...
С папой мне теперь скорей
телемост устройте!

Хоть и рядом папа мой
на планете кружится,
побеседовать со мной
все не удосужится...

Письма из прошлого

Л. АГАМАЛЯН

АДРЕСАТ ИЗВЕСТЕН

Вопрос о декабристских связях Алексея Николаевича Оленина, первого директора Императорской публичной библиотеки, президента Академии художеств, известного мецената и общественного деятеля первой трети XIX века мало изучен. А между тем имена декабристов и Олениных давно уже стали неразрывными: по крайней мере, с конца прошлого века, когда старшая дочь Оленина, Варвара Алексеевна, предоставила издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу письма к ней Алексея Николаевича и Елизаветы Марковны Олениных, вышедшие из-под пера через десять дней после событий 14 декабря 1825 года и содержащие описание и оценку восстания. Они были опубликованы в четвертом номере журнала за 1896 год. По-видимому, тогда же Варвара Алексеевна записывает для Бартенева свои воспоминания о декабристах, посещавших «дом батюшки», давая каждому собственные, зачастую весьма наивные характеристики. В мемуарной литературе, связанной с декабристами, об Олениных также упоминается весьма часто. Многообразные родственные и дружеские узы связывали это семейство с виднейшими из декабристов: С. Г. Волконским, С. И. и М. И. Муравьевыми-Апостолами, Н. М. Муравьевым, С. П. Трубецким, А. и Н. Бестужевыми, А. О. Корниловичем, Е. П. Оболенским.

Князь Сергей Петрович Трубецкой, чье письмо к Алексею Николаевичу мы здесь впервые публикуем, бывал в их доме, по словам Варвары Алексеевны, «comme l'enfant de la maison» (как член семьи). Истоки этой дружбы, по-видимому, в том времени, когда сыновья Оленина — Николай и Петр служили вместе с Трубецким в лейб-гвардии Семеновском полку [1]. В 1812 году братья участвовали в Бородинском сражении (Николай погиб, а Петр был тяжело ранен). В воспоминаниях очевидца, М. И. Муравьева-Апостола, впервые упоминаются рядом эти имена: «Князь Сергей Петрович Трубецкой, ходивший к раненым на перевязку, успокоил старшего Оленина тем, что брат его только контужен и останется жив».

По возвращении русских войск Трубецкой постоянно бывает в петербургском доме Олениных и в их загородной усадьбе — Приютине: скорее всего, его связывают дружеские отношения с младшими Олениными — Петром и Алексеем, чье «либеральное направление» было общеизвестно [2]. Однако и сам Алексей Николаевич с присущим ему замечательным чувством изящного, сделавшим его дом, по выражению П. Анненкова, «нейтральной почвой, на которой сходились люди противоположных воззрений», был, безусловно, интересным собеседником.

Вот что писал Трубецкой Оленину перед самым отплытием во Францию [3]:

«Милостивый Государь Алексей Николаевич. Весьма сожалею, что не успел иметь еще раз случай быть у вас сегодня. Я и сам весьма захлопотался, ибо в обход получил повестку приготовиться к отъезду, почему сомневаюсь, чтобы вы имели время прислать ваши письма. В одиннадцать часов мы будем на пароходе, и как скоро войдем на фрегат, то Эскадра подымет якорь. Если ваши письма не застанут уже меня, то ваше превосходительство может послать их по почте на мое имя через миссию или просто post restante [4]*; я буду часто о них наведываться и исполню по желанию вашему. Сундук получил и из Гавра пошлю к Максиму Ивановичу.*

Позвольте принести чувствительнейшую благодарность за ваше ко мне благорасположение, которого быть достойным всегда будет первым попечением вам преданнейшего

Князя Сергея Трубецкого.
26-го июня 1819.

Елисавете Марковне прошу засвидетельствовать мое почтение, также и всему семейству вашему.

Посланному вашего Превосходительства я дал наставление, как меня найти, если уже мы и уйдем отсюда. При попутном ветре он на лодке с парусом может догнать пароход, а если ветра не будет, то найдет нас на якоре. К тому же могут многие обстоятельства замедлить наш отъезд отсюда на несколько может быть часов».

Упоминаемый в письме Максим Иванович — явно хороший знакомый и Оленина, и Трубецкого, называющего его запросто, по имени и отчеству. Из друзей Оленина только один носил это имя — барон Максим Иванович де Дамас (1785—1862), француз, эмигрировавший в Россию во время Великой французской революции и определившийся на службу в русскую армию. В 1812 году он уже полковник, батальонный командир в Семеновском полку, где служат братья Оленины и С. П. Трубецкой. После реставрации Бурбонов Дамас возвращается на родину и занимает там крупные военные и государственные должности [5]. Однако Россия и оставленные в ней друзья близки его сердцу, свидетельством тому — оживленная переписка с Олениными: *«Я часто о вас думаю, а вечером всегда: когда я на месте, мне все кажется, что я вечер у вас провести должен, ан не тут-то было... Зачем только Приютино не в моей дивизии? Я бы часто его посещал».* В 1819 году у него гостит Петр Оленин, и бывший командир опекает его самым трогательным образом: *«Я Петрушу отправил в Италию, потому что он здесь недостаточно был занят, ежели он здесь будущую проведет зиму, я его по той же причине по южной Франции путешествовать пошлю...».*

Возможно не столь тесными, но, безусловно, дружескими были и его отношения с Трубецким: четыре года прослужи-

ли они в одном полку [6], частенько сиживали в одной походной палатке.

В письмах Дамаса к Олениным не раз встречается просьба переслать оставшиеся в России вещи: *«...Я прошу Алексея Николаевича переслать карты мои графу Ланжерону в Одессу, а он их мне легко доставит... Что касается до указа об отставке, до патентов и до шпаги, я прошу вручить все человеку верному и обстоятельному, который их в Париже вручит... Сделайте одолжение, пошлите в Одессу карты мои и книги русские, а из Одессы перешлют в Марсель для меня».*

И наконец 2 октября 1819 года: *«Я получил карты мои, адрес-календарь и две палатины, которые я послал жене и матери: их именем я вас благодарю...».*

Трубецкой отплыл из Петербурга в конце июня 1819 года, Дамас сообщает о получении вещей в начале октября. В этом же письме он справляется о прибытии в Россию Петра Оленина; тот в середине июля намеревался отплыть из Бордо [7]. Если сопоставить эти даты, можно не сомневаться, что Сергей Петрович Трубецкой и был тем человеком, с кем А. Н. Оленин отправил во Францию просимое Дамасом.

На следствии Трубецкой показывал: «За границей я жил только в Париже, с двоюродным моим зятем отставным полковником Потемкиным, занимался слушанием курсов естественных наук, физики, химии, механики, и особенно химии, иногда ходил слушать известнейших профессоров по другим частям; ходил на некоторые лекции в Политехническом училище... Все мое знакомство в Париже также известно г. Потемкину, я не стану его исчислять, чтобы не увеличить... сие объяснение...».

Не исключено, что Трубецкой встречался с Дамасом во Франции. Правда, в 1819 году барон пишет Олениным из Марселя, но ведь Трубецкой пробыл во Франции более двух лет, так что встреча там бывших однополчан более чем вероятна.

---

[1] Трубецкой вступил в полк в 1808 году, а братья Оленины — в 1809-м.

[2] Алексей Алексеевич был членом Союза Благоденствия. Однако «отстал и не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 года. Высочайше повелено оставить без внимания» (Алфавит декабристов).

[3] За границу Трубецкой был отпущен на неопределенное время для поправки здоровья.

[4] До востребования.

[5] В 1823 году — военный министр Франции, в 1824-м — министр иностранных дел.

[6] Де Дамас вступил в полк в 1800-м, а вышел из него в 1812 году.

[7] В письме к А. Н. Оленину от 10 июля 1819 года Дамас пишет: «Он (Петр Оленин.— *Л. А.*) через 3 дня отправится в Бордо, потому что оттуда корабли чаще идут в Россию...».

СОДЕРЖАНИЕ
за 1989 год

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

СТИХИ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

НЕОБХОДИМАЯ РЕПЛИКА

СРЕДИ КНИГ

ИСКУССТВО

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ